

ДРУЖБА НАРОДОВ



- *Ася Умарова*
Приходи свободной
Повесть
- *Елена Елагина*
Быть листком среди листьев других
Стихи
- *Валерий Былинский*
Ночь с идиотом
Рассказы
- *Анатолий Гаврилов, Павел Елохин*
Записки фрилансера
Повесть
- *Андрей Столяров*
Война миров
Исламский джихад как историческая неизбежность



9'2017

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzha/
LIVEJOURNAL: http://druzha-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.07.2017.
Подписано в печать 28.08.2017.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 6460. Цена свободная.

Дружба народов 9'2017

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Лев
АННИНСКИЙ
Ирина
ДОРОНИНА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид
НАГИМ

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

Александр
ЭБАНОИДЗЕ

ЭЛЬЧИН

Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Ася УМАРОВА. Приходи свободной. <i>Повесть</i>	3
Елена ЕЛАГИНА. Быть листком среди листьев других. <i>Стихи</i>	52
Валерий БЫЛИНСКИЙ. Ночь с идиотом. <i>Рассказы</i>	55
Алексей ДЬЯЧКОВ. Мирумир, минарет, монумент. <i>Стихи</i>	71
Тамирлан БАДАЛОВ. Неоправданные ожидания. <i>Повесть</i>	74
Ольга ЗЛОТНИКОВА. Если б не эта любовь. <i>Стихи</i>	98
Наталья КЛЮЧАРЁВА. <i>Рассказы</i>	101
Михаил ФЛОРЯ. Долгозвучным голосом. <i>Стихи</i>	112
Василий АВЧЕНКО. Цилиндрическая свекла. <i>Рассказ</i>	115
Лиана ШАХВЕРДЯН. Белое платье. <i>Рассказ</i>	121
МИНСКАЯ ИНИЦИАТИВА	
Михась СТРЕЛЬЦОВ. «Пабудзі мяне рана-раненька...»	
В переводах Инги Кузнецовой, Марии Марковой, Татьяны Светашёвой,	
Ольги Злотниковой, Натальи Бельченко, Аркадия Штыпеля	124
Анатолий ГАВРИЛОВ, Павел ЕЛОХИН. Записки фрилансера. <i>Повесть</i>	127

Первые стихи

Сергей НАДЕЕВ. Как рождается поэт	139
---	-----

Дружба на вырост

Светлана ВОЛКОВА. Золотой цыплёнок. <i>Повесть</i>	146
--	-----

Публицистика

Андрей СТОЛЯРОВ. Война миров. Исламский джихад как историческая неизбежность .	170
МОЯ МАЛАЯ РОДИНА	
Арслан ХАСАВОВ. Здесь и сейчас	193

Нация и мир

Анатолий ЦИРУЛЬНИКОВ. Поцелуй юкагирки. Записки путешественника. Окончание ..	196
---	-----

Критика

Продирание сквозь слепоту. Ольга ГЕРТМАН; Заза АБЗИАНИДЗЕ.	
Последние романы Отара Чиладзе: два прочтения	216
«А дни — как тополиный пух...». Памяти Андрея Туркова	229
БИБЛИОНАВТИКА	
Ольга БАЛЛА. Тихий шорох времени (В. Голованов. «На берегу неба»)	244

Книжный развал

Евгения ДОБРОВА. Книга с потерянным смыслом (И. Кузнецова. «Пэчворк») ...	248
Елена САФРОНОВА. Человек с горящей головнёй (А. Кабанов. «На языке врага»)	251
Данила ДАВЫДОВ. Тонкая настройка слуха (В. Курносенко. «Совлечение бытия») ...	255
Александр ЛЮСЫЙ. Что видит новый Гильгамеш? («Новый Гильгамеш»)	257
Женя ДЕКИНА. Магический кристалл легенды (А. Евсюков. «Контур легенды»)	261
Борис КУТЕНКОВ. Своевременно и грустно (Л. Вязмитинова. «Тексты в периодике») .	263

Культурная хроника

Юрий ПОДПОРЕНКО. Юбилей, который НЕ состоялся	267
---	-----

Эхо

Миг безвременья. Рубрику ведёт Лев АННИНСКИЙ	269
--	-----

Ася Умарова

Приходи свободной

Повесть

Если от площади Тависуплеба подняться в сторону Сололаки, то можно очутиться в старом Тбилиси — Тбилиси «итальянских» дворигов. Это типичные грузинские дворики старого города, просто их стали так называть после вошедших в моду итальянских фильмов эпохи неореализма. Здания оплетены перекошенными от благородной старости резными балконами, деревянными лестницами и большими застекленными верандами. Выстиранное белье колышется на ветру, сияя перламутровой белизной, как облака в солнечную погоду.

Вокруг сохнувших наволочек, простыней, пододеяльников кружатся в вальсе парашютики одуванчиков. На ажурном балконе второго этажа за игрой в домино громко бранятся пенсионеры Гивико и Шалва, а снизу их хриплым голосом зазывает на обед бухгалтерша Сопо с накрашенными алой помадой морщинистыми губами. В одной руке она держит сигарету, другой — переворачивает на сковороде ломтик баклажана. «Шени!..»¹ — сдавленно шипит она, обжегшись.

Три бабушки с разных балконов громко, иногда переходя на крик, делятся слухами о молодой грузинской поп-певице, поедая виноград, оплетающий балконы, и сплевывая косточки вниз. Их перекрикивает уличный продавец:

— Симинди гиндат²?! Симинди гиндат?!

— Ар минда³, рааа !!! — кричат бабушки им в ответ, размахивая руками.

Неподалеку по узким улочкам, над которыми нависают потрескавшиеся стены, украшенные изображениями греческих амфор, проносятся трое иностранцев с пиццами в коробках. Намечается пикник в парке Мтацминда по случаю их приезда в Грузию по волонтерской программе. У одного волосы заплетены в длинные дреды, у второго — ирокез всех цветов радуги, на третьем — три пары солнечных очков. Неожиданно из-за угла, оживленно обсуждая вчерашнее заседание парламента, появляются пожилые подруги, Диана и Эленэ, и резко сталкиваются с парнями. Тот, что в трехах парх очков, еле успевает подхватить свою пищу.

Ася Умарова родилась в 1985 году в Калмыцкой АССР. Живет в Чеченской Республике. Окончила Чеченский государственный университет и Кавказский институт СМИ в Ереване. Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Юность», Звезда», «Нева», «Пролог», Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung и др. Увлекается графикой. Картины выставались в России, Америке, Италии, Германии, Швеции, Германии, Бельгии, Польше и Грузии.

¹ Грузинское ругательство.

² Кукурузу не хотите? (груз.).

³ Не хочу (груз.).

— Упс, — выдыхает он.

— Вай ме-е-е¹, — тянет старушка в черном платье, украшенном бархатным кантом, и, изящно поправив шляпку, добавляет: — Ра хдеба²?

С наступлением утра на первых этажах жилых многоэтажек распахиваются двери небольших магазинчиков. Разносятся ароматы сыров — сулугуни, гуда, чанаха, имеретинского, кобийского — и запахи грузинского лаваша деда³ и шоти, испеченных в глиняных печах.

Чуть дальше — веселая тучная продавщица в нескольких кофтах, надетых одна на другую, зевая, брызгает водой из пластмассовой бутылки на кинзу, базилик, петрушку, чабер, мяту, укроп и прочую зелень, протирает от пыли бутылочки и баночки с приправами и соусами сацебели, ткемали, бажа, сациви и гаро.

Каждый «итальянский» дворик охраняли собаки. Нас сторожил пес по имени Джузеппе. Его пра-пра-пра-прадед эмигрировал из Италии в Грузию, как считалось, с итальянским архитектором. Имя Джузеппе передавалось собакам этого рода из поколения в поколение. Джузеппе слыл умной собакой. Он заскакивал в автобус, выходил на остановке у Сухого моста и долго прогуливался в парке. А спустя час так же, на автобусе, возвращался домой.

Именно в одном из таких «итальянских» дворики, на втором этаже снимали трехкомнатную квартиру двадцатидвухлетняя чеченка Малика и тридцатидвухлетняя американка Кэт.

Кэт, несмотря на упитанность, выглядела намного моложе своих лет и была невероятно подвижной. Малика, наоборот, казалась полной ее противоположностью. Она медленно гладила простыни, опрыскивала дихлофосом комнаты и после проветривания считала количество погибших мух, брызгала изо рта воду на комнатные цветы, тремя пальцами катала на деревянной доске галушки для чеченского национального блюда жижиг-галнаш и коллекционировала... чеки.

Малика не переносила, когда кто-то склеивал осколки глиняной вазы или громко сморкался в ее присутствии, а также не любила, когда чеченцы, услышав, что она из тейпа нашхой, отмечали наличие шаройского акцента в ее произношении. Ведь она не была виновата, что ее прапрапрадед во времена царившей на Кавказе вендетты отомстил за убитого родственника, в результате чего всем пришлось покинуть Нашху и переселиться в Шаройский район.

Малика боялась застрять в лифте, в очереди, в пробке — вообще застрять в жизни, топтаться на месте или оказаться не на своем месте. Но известно, что человек притягивает именно то, от чего пытается убежать.

Кэт смотрела мультипликационный сериал «Барбапапа», запасаясь тремя пакетами чипсов и двухлитровой бутылкой кока-колы. Барбапапа — глава семейства, Барбамама — его жена. У них разноцветные дети: оранжевая умница Барботина, черный волосатый художник Барбабарба, зеленый музыкант Барбалалла, красный силач Барбафортэ, желтый натуралист Барбадзоо и синий изобретатель Барбабраво. Наверное, супруги архитектор и дизайнер Анет Тайзо и преподаватель математики и биологии Талус Тэйлор не предполагали, что, придумав комиксы об этом забавном семействе, создадут такой ажиотаж среди детей и не только.

Кэт бегом спускалась по эскалатору в метро, устраивала каждый день вечеринки по поводу и без, а рано утром считала количество выпитых за ночь банок пива и выкуренных сигарет. Она не выносила, когда люди впереди нее шли медленно, а еще хуже, когда они не только не знали, куда им идти, но и сомневались, нужно ли им идти вообще? Избегала людей, у которых отсутствовало личное мнение, а также американских друзей, интересовавшихся по скайпу, не украл ли ее еще какой-нибудь всадник-

¹ Ой, мама (груз.).

² Что происходит? (груз.).

³ Мамин хлеб (груз.).

джигит в папахе и бурке. Кэт не любила однообразия, но почему-то предпочитала только черные и белые воздушные шары.

Малика, среднего роста худая блондинка, собирала волнистые волосы в пучок, холила и лелеяла их разными бальзамами, масками, ополаскивателями и объясняла это тем, что в Чечне за девушек с длинными волосами платят гораздо больший калым. Весь ее облик — крупные бледные губы, зеленые глаза, широкие скулы — производил впечатление человека, либо больного простудой, либо не выпавшегося. А еще она уверяла, что ямочка на щеке появилась у нее оттого, что отец улыбнулся, увидев ее, новорожденную, в первый раз, и что она, в отличие от некой своей знакомой, вовсе не ездила в Махачкалу на димпл-эктомию — операцию по формированию ямочек на щеках стоимостью в десять тысяч рублей.

Малика никогда не красилась, так как считала, что ее кожа предрасположена к аллергии на декоративную косметику. На самом деле она просто купила как-то просроченную пудру и, не обратив на это внимания, нанесла на лицо. Теперь она лишь клеила искусственные ресницы в салоне красоты «Карина», неподалеку от метро «Марджанишвили», чтобы выглядеть более ухоженной.

Одевалась она во все черное. Долгое время друзья Кэт считали ее готом, но Малика утверждала, что именно этот цвет популярен в Чечне. На все уговоры Кэт надеть брюки или джинсы стоически отвечала отказом.

При этом ходила она только на десятисантиметровых и даже пятнадцатисантиметровых шпильках, хотя в гористом Тбилиси все предпочитали обувь без каблуков.

Кэт любила вспоминать первое появление Малики в квартире.

— Знаете, когда Малика вошла с двумя огромными чемоданами и на таких высоченных каблуках, на каких я и постоять-то не решилась бы, даже без чемоданов, я подумала: «Вау!!! Вот это и есть сильная чеченская женщина, о которых я столько слышала».

Вот уже семь лет Малика тайно утешалась иллюзией любви к парню по имени Мовсар. На какой-то свадьбе он два раза пригласил ее на лезгинку и несколько раз, случайно повстречав, заплатил за нее в маршрутке. Малика посчитала это достаточным поводом влюбиться. Она ничего не знала о нем — ни того, что он предпочитает одежду фирмы «Collin's», ни того, что его любимая песня — «Город золотой» группы «Аквариум», ни того, что его хобби — вырезание шахматных фигур из дерева. Не потому, что ему это нравилось, а чтобы не свихнуться в перерывах между помощью отцу, который выполнял заказы на изготовление и установку ворот. Такова была теневая экономика, дававшая основной доход семье, где подрастало еще шестеро сыновей. Мовсар неплохо играл в КВН, и ребята из бывшей команды приходили к нему, чтобы уговорить вернуться.

— Ты можешь припомнить, чтобы наши предки играли в КВН, Мовсар? — говорил отец. — Я тоже нет. Не мужское это дело. Вот сварка — это вещь! Я состарюсь, ты продолжишь дело.

Мовсару очень хотелось сказать, что их предки не знали также и что такое сварка, но он молчал.

Малика ничего об этом не знала, но перед глазами у нее всегда стоял трепетный образ Мовсара.

Кэт — высокого роста и полноватого телосложения. Синие маленькие глаза, аккуратный маленький нос и тонкие губы. Она посещала турецкие бани у шиитской Голубой мечети. Одевалась пестро. Рыжие сухие волосы до плеч часто заплетала в несколько косичек, которые завязывала цветными ленточками. Носила ковбойские сапоги с бахромой и кирпичного цвета пончо.

Над кроватью Кэт — огромное количество стикеров с переводами грузинских слов; после обеда она берет уроки языка у двух школьников, а вместо оплаты учит их

английскому. Над кроватью Малики — такое же количество стикеров, только с переводами английских слов. Между собой они говорят только по-английски.

Внешне Кэт напоминает Джерри Холливелл из группы «Spice Girls», только постаревшую лет на десять. Ни одна неделя не проходит у нее без похода в «Макдоналдс», где иные церковные служители, выступающие против западных ценностей, тоже не прочь пообедать.

А Малика покупает у уличной армянской торговки за восемьдесят тетри небольшое яблоко, покрытое тонким красным слоем карамели.

Кэт всегда сопровождала бездомная маленькая белая собачка по кличке Хатуна, которую она приютила, поселившись в Тбилиси. Ошейник Хатуны украшала такая же искусственная розочка, как и на ободке у Кэт в волосах. После «революции роз» такой атрибут стал популярен в одежде грузинок. Хатуна прогуливалась без поводка, да и кто бы посмел держать ее на поводке? Иногда собачка останавливалась и деловито рассматривала неоновые вывески на стильных кафе или ворчала что-то себе под нос.

У Малики не было собачки, зато ее подоконник украшала голубая клетка с попугаем, которого она назвала Саксесс, что в переводе с английского означает «успех». С тех пор как они с Маликой поселились в этой квартире, Саксесс почему-то притих, да и успех запаздывал с визитом. Может, Малика не указала в послании, что именно подразумевает под словом «успех». А может, все дело в птице, которая была смущена идеей своего превращения в амулет для приманивания успеха. Так или иначе, лимонно-бирюзовый попугай молча, с философским видом взирал на мир через окно.

— Саксесс, я никогда тебя не брошу. Если я уеду в Чечню, то только с тобой. Я никогда тебя не оставлю, — каждый день шелестела птице Малика в унисон завываниям ветра, уютно устроившись на подоконнике и спрятавшись за тяжелыми зелеными шторами. Птица уже давно привыкла и бесстрастно наблюдала за происходящим.

Саксесс для Малики — что-то вроде личного дневника, только птица не могла понять: если девушка выбрала его доверенным лицом, почему она не до конца искренна и открыта? Даже будучи наедине с ним, после каждой рассказанной истории она испуганно озиралась по сторонам.

— Матери моей подруги не стало, как только та открыла ночью дверь. Они забросили гранату... В чем она была виновата? В семь лет остаться без матери... А его они застрелили на глазах у детей. Какая у них психика должна быть, когда они вырастут? Саксесс, почему люди стали такими жестокими?

Попугай только сочувственно пожимал крыльями.

Воспоминания навещали Малику неожиданно, как контролер в тбилисском троллейбусе. От них невозможно было спрятаться даже на шумных вечеринках Кэт.

Малика позиционировала себя мусульманкой, но это нисколько не мешало ей посещать церкви и синагогу. Она считала, что ей необходимо быть в курсе разных религий и учений, чтобы уметь поддерживать разговор с людьми разных конфессий.

Ее левое запястье украшал браслетик, сплетенный из красных ниток с узлами. Американка Кэт объяснила Малике, что такой нитяной красный браслет носят приверженцы религиозного учения каббала и что только красная нитка, купленная в израильском городе Нетивот, обеспечивает чудодейственную защиту от сглаза, а нить, приобретенная на старом рынке Грозного, никак не повлияет на дальнейшую судьбу.

— Я не понимаю, почему ты посещаешь еще и Свидетелей Иеговы? Тебе мало тех мест, где ты бываешь? У меня такое ощущение, что, если бы в Тбилиси существовало общество атеистов, ты бы непременно и их навестила, — говорила Кэт, наполняя собачьим кормом миску.

— Важно знать другие религии, особенно для будущего писателя, то есть для меня. Кроме того, там бесплатно преподают углубленный английский два раза в неделю.

— Ну и что? Я могу преподавать тебе английский, а взамен... взамен ты научишь

меня русскому. Или можешь купить мне новые комнатные тапочки синего, нет, фиолетового цвета. Ты же говорила, что преподаватели из Иеговы читают вам какие-то молитвы. — Кэт залезла на дубовый шифоньер и развешивала по потолку толстую искусственную паутину. Она уверяла, что, если ночью подсветить ее снизу, она будет сиять розовым неоном.

— Да, но это после окончания урока... К тому же их не обязательно слушать... Ты же говорила, что без тапочек ногам комфортнее.

— Знаешь... Не обязательно посещать моленные заведения. — Кэт присела на шифоньер, свесив ноги, и посмотрела вверх. — *Он* всегда с нами...

— Даже когда ты смотришь мультфильм про семью «Барбапапа»?

Кэт посмотрела на листья винограда за окном, которых осталось совсем немного, и на минуту представила, что когда-нибудь будет лежать в могиле и на нее будут падать такие же листья. Она тайно желала, чтобы ее могила оказалась рядом с могилой лучшей подруги детства Джейн, которую в девятом классе сбила мусорная машина. Но сейчас Кэт уже тридцать два года. И если подруге в загробной жизни по-прежнему пятнадцать, они не смогут найти общий язык. Это беспокоит Кэт.

— Неважно, где ты находишься. Важно, что Бог всегда с нами. — Кэт спустилась с далеких облаков.

Их подруга из Голландии Мэри приехала в Тбилиси по европейской программе, чтобы преподавать в грузинских школах английский язык. Недавно она записалась на курсы вышивания крестиком и бисером. Хотя изначально намеревалась посещать уроки церковного пения, но от запаха свечей ее кожа покрывалась жуткими пятнами. Наверное, аллергия.

Мэри повсюду таскала с собой нитки мулине, деревянные пяльцы и инструкцию по вышиванию крестиком. Ей с легкостью удаются стежок, стебельчатый и гобеленовый швы, а также французский узел. Но Мэри не может дождаться урока по грузинской вышивке. Ее узор отличается сложностью геометрического и растительного орнаментов. А пока вышивает кисет цветным бисером и прислушивается к разговору подруг.

— Я сегодня спросила детей, кто из них верит в Бога, и была удивлена, что все подняли руки. У нас в Голландии это большая редкость. Я им сказала, что я католичка...

— И что?

— Они были шокированы.

— Мэри, будь проще, не задавай детям такие сложные вопросы, — не удержалась Кэт. — И зачем тебе понадобилось говорить о своей религии? Это личное дело каждого.

Но голландка уверяла, что дети задавали не менее личные вопросы о том, есть ли у нее дети и собирается ли она замуж. Мэри тридцать один год, и ее недавно бросил бойфренд. Оповестил об этом через эсэмэс.

Малика пыталась найти свое место в жизни, свой центр, определиться и стать лучшей в чем-то. Пока она не ощущала в себе гармонии и в своем окружении видела таких же людей, как и она, — в постоянном поиске.

На общих вечеринках, которые каждый день устраивала Кэт, Малика познакомилась с молодым французским ученым, который приехал в Грузию изучать кавказский обычай кровной мести. Непонятно, как он успевал заниматься исследованиями, если каждый день пропадал то на свадьбе, то на поминках в Кахетии, в Батуми, Кутаиси или Казбеги.

А с Маликой он больше обсуждал взаимоотношения между мужчинами и женщинами, существование или отсутствие геев и лесбиянок в Чечне. Больше всего его поразило, что чеченская женщина не может выйти замуж за человека другой национальности, а мужчина может жениться на ком ему заблагорассудится.

— Тут много нищих... вижу, как они копаются в мусорном баке в поисках чего-

нибудь съедобного или какой-нибудь одежды. Это странно, — говорила Малика француз, откусывая сникерс и запивая кока-колой.

— Но почему? Это нормально. У нас во Франции тоже есть бомжи. А в Швеции они даже выпускают свою газету. — Он тщательно размешивал свой грибной суп-пюре. — Я общался с чеченскими беженцами. Каждый четверг вы обязаны раздавать еду в нескольких семьях. Думаю, за счет этого вы и не нищенствуете, — предположил француз и добавил шепотом: — А еще все чеченские женщины обязаны носить платок. Только не рассказывай об этом Малике, а то она рассердится.

Девушка шутку не оценила. Малика не надевала платок, но уверяла, что покроет голову, если так скажет будущий муж. Однако в глубине души ей, конечно же, хотелось, чтобы этого не случилось.

Кэт сказала, что французский ученый невероятно мил и очень похож на оранжевую умницу Барботину, несмотря на их гендерное различие. Малика в сердцах бросила, что все герои ее мультфильма на одно лицо и невозможно отличить, кто из них мужчина, а кто женщина.

Кэт с детства страдала фобией одиночества. Это началось после развода родителей. Она пожелала остаться с мамой, и, недолго думая, они перебрались из Калифорнии в Вашингтон. А впереди их ждало множество городов, пока мама не нашла постоянную работу в прачечной: она развозила на велосипеде выстиранные вещи по домам. Смена школ и университетов отразилась на характере и поведении Кэт. Отсутствие друзей вылилось в острую социофобию. Но со временем она переборола ее и, обосновавшись в Тбилиси, первым делом зарегистрировалась на международном сайте путешественников. Любой человек мог оставить свои контакты, чтобы туристы из разных стран мира могли переночевать в его доме. После ночевки гость делился впечатлениями на сайте и давал советы другим желающим, можно ли останавливаться у этого хозяина.

Съемная квартира Кэт и Малики превратилась в настоящий хостел, где останавливалось на ночевку до десяти-пятнадцати иностранцев. Но Кэт и этого было мало. Поэтому она энергично разузнавала через знакомых об иностранцах, которые учатся или работают в Тбилиси, и звала их в гости. Квартира напоминала уже Ноев ковчег, куда все сбегались, чтобы спастись от чего-то и найти долгожданное эфемерное успокоение.

Тени огромных «снежинок» играли на их счастливых лицах. Это были тени от люстры, сделанной одним итальянским дизайнером-путешественником. В небольшой шар с дырочками он воткнул длинные спицы, а на их кончики нанизал бумажные снежинки.

Вначале девушек это забавляло — знакомство с новыми людьми, изучение новых слов, культур.

— Мы дадим вам переночевать, только взамен вы приготовите что-нибудь из своей испанской кухни. Например, лазанью. Что? Нужен шафран? У нас есть. Гости из Индии подарили почти килограмм, — радовалась жизни Кэт. — Я всех угощаю шампанским, а взамен... вы поможете помыть полы в нашей квартире!.. Выгуляете Хатуну перед сном... Почистите клетку Саксенса... Придумаете фасон моего будущего свадебного платья...

Хотя свадьбы у Кэт вовсе не намечалось в ближайшие дни, или даже месяцы, или годы, а может, и тысячелетия.

Идея Кэт поменять обои в их «хрущевке» была встречена положительно. Старые, серо-коричневые, и впрямь навевали хандру. Но каково было удивление Малики, когда Кэт притащила новые, бледно-салатные. Теперь их не покидало ощущение болотной меланхолии.

Вдоль стен, словно солдатики в строю, стояли пустые винные бутылки, из горлышек которых торчали восковые свечи, — дизайнерское новаторство Кэт.

Одна стена в комнате Кэт была обклеена открытками из разных стран мира. Другую украшала мишень в виде увеличенной фотографии ее бывшего бойфренда. Все лицо незнакомого симпатичного блондина было изрешечено дырками.

— Чтоб ты переел гамбургеров, покрылся целлюлитом и задыхался от жира!!! — причитала Кэт, целясь дротиками.

Вокруг мишени по всей стене суперклеем приклеены книги Достоевского, Чехова, Толстого, а также Ги де Мопассана и Гюстава Флобера.

— Это виселица книжной индустрии, — грустно объясняла Кэт. — Интернет скоро заменит книги. Они станут винтажным украшением интерьера дома. Грустно, но такова жизнь. Поэтому наши книги не для чтения, а для красоты.

Книги они выкупили за небольшую сумму в подземном переходе у седовласого старика. Те лежали на цементном полу. Продавец рассказывал, что купил их за еще меньшую сумму в доме грузинского писателя, который к тому времени скончался. Вдова, чтобы прокормить себя, решила продать его огромную библиотеку.

Как-то азербайджанцы вымыли пол во всех комнатах, и Кэт восторженно произнесла:

— Я слышала от исламских друзей, что после того как помоешь полы и вообще чисто приберешься, дом посещают ангелы, а шайтаны его покидают. Вот это и произошло у нас сейчас.

Они сидели и наслаждались чистотой, пока в комнату не заскочила после дождливой прогулки Хатуна. (По секрету: она встречается с Джузеппе, но еще не решила, любит ли его, так как пес намного старше и более консервативен во взглядах. А еще он итальянец. Как воспримут это ее уличные товарищи?)

Дойдя на грязных лапах до середины комнаты, собака энергично отряхнулась. Азербайджанцы сослались на чрезмерную занятость и, подталкивая друг друга, поспешили покинуть дом. Кэт ничего не оставалось, как вымыть пол заново. После чего, чтобы выплеснуть злость, она и принялась метать дротики в бывшего бойфренда.

В интернациональных вечеринках — свои прелести. Действительно, здорово каждый день дегустировать разную кухню. Тут и настоящая итальянская паста, приготовленная самими итальянцами, и тушеные овощи с мясом, приготовленные турками, и особый расслабляющий чай, привезенный китайцами, который надо неторопливо попивать, вдыхая дымящиеся благовония.

Как-то раз девушка из Индии по имени Зита предложила провести магическую церемонию прощания с уходящим годом, для чего собрала еще пять женщин, помимо Кэт и Малики, а парней попросила удалиться — иначе волшебство обречено на неминуемый провал. Надели они на себя блестящие тонкие браслеты, кольца и другие украшения, чтобы привлечь магию. Одна американка из Нью-Йорка запротестовала:

— Мне не нравится, когда меня заставляют что-то делать! Хочу, чтобы уважали мой выбор, каким бы он ни был.

Сначала каждая из них по велению Зиты изложила на листке бумаги свои проблемы и обиды, накопившиеся за жизнь. Малика, например, никак не могла забыть, как ее избила родная тетя. Ей было тогда двенадцать лет, и как-то раз после школы она захотела пойти поиграть с детьми. Однако тете понадобилась ее помощь в огороде.

— Но Апти... ему... купили новый конструктор, — запинаясь, пыталась объяснить Малика.

— Апти! Апти!!! — закричала тетя, схватила толстую дощечку и стала бить ею по спине, по рукам, по голове Малики. Та едва успела укрыться в папиной вишневой «Ниве», защелкнув замки.

Раны и синяки больно щипали тело. Малика ждала: вот придут родители и заступятся за нее. Но папе в тот день пришлось уехать в Москву к родственникам, а

мама сказала, что по чеченским обычаям невестке не пристало жаловаться на родственников мужа, она должна улыбаться несмотря ни на что и выполнять все их указания.

Зита заявила, что обиды блокируют удачу, необходимо от них избавляться. Поэтому они сожгли все свои обиды в деревянном бочонке. В комнате запахло гарью, все начали кашлять. Затем по кругу передавали стакан с водой и рассказывали о своих мечтах в настоящем времени, как будто бы они уже осуществились. Чистая вода помогает исполнять желания. В заключение церемонии они вышли на улицу, закопали пепел под деревом и полили подслащенной водой.

Однажды Кэт отправила Малику с Ящиком из Польши за шоти в ближайшую пекарню. Сопо с излишне ярко накрашенными губами вынесла на балкон ковер и, выкурив сигарету, стала энергично шлепать по нему выбивалкой из ротанга. Ковер сполз с балкона и упал на Гивико и Шалву, которые играли в домино.

— Вай ме-е-е! — хором закричали они.

Сопо лишь громко рассмеялась.

— Рааааа... Гиждеби... Тащите этот ковер сюда! Что вы ковыряетесь в нем? Еще испортите! А это антикварный ковер. От бабушки остался.

Ящик любит рассуждать о капитализме и буржуазной политике. Хотя сразу и не разглядишь в этом человеке с потупленным взглядом, одетом в розовую футболку с изображением Микки Мауса, задатки политолога.

— Абсолютная свобода вредна для всех. Нужно пропагандировать труд, только он делает человека человеком. — Странно было слышать это от того, кто не работал уже несколько лет.

— Но ты ведь... не работаешь, — удивилась Малика, одновременно пытаясь читать вывески на грузинском языке.

— Такова жизнь.

Малика подумала, что все идеи, законы, приказы могут разными людьми трактоваться по-разному. И если кто-то выдвигает собственные гипотезы, нужно производить впечатление осведомленного человека, время от времени вставляя: «Смотря с какой стороны взглянуть».

Но сейчас она просто помалкивает. И вообще у нее разболелась голова от сложных рассуждений. По дороге Ящик рассказывал, что хочет устроиться на работу в Тбилиси. Правда, еще не определился, кем именно. В качестве примера рассказал об одном менеджере из Италии, который попал под сокращение штатов из-за кризиса и, мечтая начать новую жизнь, переехал в республику Острова Зеленого Мыса, недалеко от Африки. Там из-за ишемии его парализовало. Итальянские друзья привлекли деньги благотворителей, привезли его на родину, оплатили лечение, и он пошел на поправку.

— И что ты хотел этим сказать? — поинтересовалась Малика.

— Что стоит ездить по миру и быть открытым всему. Если бы он не отправился на Острова Зеленого Мыса, то не узнал бы, что у него есть такие хорошие друзья и что в Италии много добрых людей. И что только трагедии вдохновляют нас на подвиги. — Он сам удивился завершению своего логического построения.

— Научись доводить до конца свои дела, мысли, поиски. Никто не сделает это за тебя, — сказала Малика, откусывая горячий шоти.

Возвышенные разговоры о социализме, капитализме, зарождении глобализма как будто бы смело ураганом. Теперь вместо этих китов в океане плавали и бубнили о своем обыденном две небольшие кильки.

— А ты уже нашла свой путь?

— Я думала стать писателем, но для этого нужны талант и тишина. А ты же знаешь, как шумно бывает у нас. И еще не факт, что твою книгу заметят.

— Ты собираешься всю жизнь здесь прожить?

— Еще не знаю. Пока работаю менеджером в туристической фирме. Денег хватает на самое нужное. — За две недели пребывания в Грузии Ячик так и не предпринял ни одной попытки найти работу. — Я отдыхала в Польше один месяц, — продолжала Малика. — Детей из Чечни пригласили. Были среди нас дети беженцев из Ингушетии. И когда ты сказал, что тебя зовут Ячик, я вспомнила нашего Ячика. Он присматривал за старшей группой чеченских мальчиков. А нам кто-то рассказал, что, если с нами что-то случится, польских воспитателей посадят в тюрьму. И один мальчик решил это проверить. Он лег на пол и притворился мертвым. Мы все с паническими криками побежали за Ячиком. Тот мигом примчался и стал делать ему искусственное дыхание рот в рот, представляешь?

— И что? Это обычный способ.

— Ты не понимаешь. У чеченцев другой менталитет. Тот мальчишка хотел лишь проверить, приедут ли полицейские, а в итоге его все принялись дразнить: «Ну как, понравилось тебе с Ячиком?»

Тбилисский Ячик не понял шутки, но сделал вывод, что гомофобия в Чечне имеет место. А через неделю он уехал в Польшу.

Раза два у Кэт и Малики останавливались калифорнийцы, которые путешествовали по Европе на велосипедах, нагруженные огромными рюкзаками. За спиной у них торчали лыжи. Один из них, Дэйв, показался Кэт странноватым, так как в Фейсбуке у него на аватарке вместо фотографии была... могила, вокруг которой обильно разрослись дикие кусты. Как пояснил Дэйв, это было надгробие его покойного отца.

— Не всегда нужно пребывать в празднике. Смотри по сторонам.

Дэйв только недавно стал верить в Бога. А до того считал, что это пережиток прошлого и вообще не модно. Но однажды он сходил на аттракцион 4D под названием «Метро», где открытый вагончик преодолевал препятствия. Надел стерео-очки и приготовился повеселиться от души, но неожиданно вагончик очутился внутри вулкана, где бурлила лава, и на Дэйва хлынул горячий пар.

— Все весело смеялись, а я представил, что это та самая лава, которая обжигает грешников в аду. Мне стало не по себе, захотелось выпрыгнуть, побежать навестить свою престарелую бабушку, позвонить маме. И тогда я понял, что Бог есть.

Кучерявые волосы Дэйва торчали в разные стороны, и даже о самых обыденных вещах, таких как покупка моющего средства для посуды, он говорил воодушевленно. Себя он относил к субкультуре фриганизма¹. Нет, он не рылся в мусорных баках, но выступал против слепого следования глобализму в массовом обществе.

— А почему ты путешествуешь?

— У меня есть маленький плюшевый зайчик Сэмми. Он всю жизнь провел рядом с дедушкой и, кроме Калифорнии, ничего не видел. Мне показалось, что Сэмми было бы неплохо повидать мир. Я решил повозить его по разным странам и фотографировать на фоне достопримечательностей. А потом выпустить книгу странствий зайчика, где он будет рассказывать о том, что видел.

Из Франции приехала погостить Эмили, молодая художница, а также дальняя родственница Мередит. Малика умоляла ее показать свои рисунки, но Эмили сказала, что те остались в Европе и вообще в современном искусстве гораздо популярней перформансы, которыми она и занимается последние несколько лет: это когда художник сам изображает какое-то действие, но оно не должно переходить в театр. Француженка утверждала, что лет через десять перформансы станут главным родом искусства, отменив даже паблик стрит арт и граффити. Правозащитные темы она предпочитала всем прочим.

Эмили талантлива не только в перформансах, но и ловко вырезает фигурки из фруктов, из обыкновенных бананов у нее получаются дельфины, из киви и

¹ Фриганизм — стиль жизни, отрицающий принципы потребительства.

апельсинов — кувшинки, а из яблок — настоящие лебеди. Первые полчаса все боялись испортить их, но потом приступили к дегустации, уютно устроившись на подушках, креслах и диване. Эмили говорила, а все одобрительно чавкали.

— Перформансы Марины Абрамович остаются актуальными во всем мире, хоть ей и за шестьдесят. Последний ее перформанс прошел в МОМА. Она села на стул, а желающие подходили и устраивались напротив. Между ними возникал контакт, они разговаривали глазами. Вы не можете представить, какая очередь там стояла. Это длилось несколько дней. Марина хотела сказать, как важно остановиться, сесть и поговорить без слов.

— Ну, и что в этом необычного? — сказала Малика. — Моя учительница такие перформансы закатывала! Могла в начале урока подойти к окну и разговаривать с мухой. Мы так робели, что начинали слушать внимательно.

— Понимаешь, наше мышление сильно отличается от кавказского. Мы постоянно куда-то спешим, — грустно ответила Эмили. — Надо успеть создать семью, построить карьеру, заработать, родить детей и вырастить их. А ведь нужно осознавать уход времени.

На Кэт эта история произвела большое впечатление, и она вспомнила игру, которой любила забавляться в детстве. Вообще-то она давно в нее не играла, с тех пор как приехала в Тбилиси, но об этом знала только Хатуна и догадывалась Малика. Она запрыгивала в первую попавшуюся маршрутку и ехала до конечной остановки, понятия не имея куда. Иногда могла сойти на любой остановке, перейти на другую сторону и сесть в автобус, идущий в обратную сторону. Потом запутывалась, и приходилось спрашивать у прохожих, как доехать до площади Тависуплеба. Однажды она поинтересовалась у соседки по маршрутке:

— А какая конечная остановка?

— Африка, — ответила та.

Кэт решила, что над ней решили пошутить, и задала этот же вопрос водителю. Тот ответил:

— Африка.

Потом местные жители объяснили ей, что этот район на самом деле называют Африкой, потому что он находится на окраине города. Кэт долго смеялась.

Однажды конечная остановка незнакомой маршрутки оказалась кладбищем.

— Приехали навестить кого-то? — спросил шофер, поправляя фуражку.

— Да, — ответила Кэт.

— Без цветов?

Кэт потупила взгляд.

— А разве тут не продаются?

— Это кладбище, да-ра-гая, а не рынок.

Холод пронизывал ее, она скукожилась. Серые разводы акварелью раскрашивали небо и отражались в редких лужах вдоль железного забора. Вот несколько человек зажгли свечи и плачут над одной могилой.

Кэт больше всего боялась одиночества и избегала таких мест, похорон и грустных историй. Ее все чаще посещали мысли о смерти. И она решила, что хотела бы покоиться в такой же скромной могилке под маленьким деревянным крестом. А вместо цветов предпочла бы черные и белые воздушные шарик.

— Последняя маршрутка! Торопитесь! Если не ночевать приехали. Все мы успеем здесь побывать.

Маршрутка затарахтела, тронулась с места и помчалась навстречу густому лиственному парку. Веяло хвойной корой. За окнами шумел ветер. Из радиоприемника доносились жаркие дебаты. Отношения между Россией и Грузией — основная тема. На могилах еще горели свечи, и чем дальше отъезжала маршрутка, тем меньше становились огоньки. Хорошо, что они продолжают гореть, а то бы грустно было тем,

которые ушли от нас, подумала Кэт и стала напевать себе под нос песню Фрэнка Синатры «Странники в ночи».

Первый раз она услышала о Фрэнке Синатре от бабушки. Его звали Джон. Он был африканского происхождения.

— Самое главное в жизни, Кэт, — умение слушать и отсеивать мусор. Неважно, музыка это или люди, дом или отдых, город или чистое поле. Главное для человека — это вкус, остальное приложится со временем, — повторял он.

Джон подходил к граммофону, осторожно снимал с полки пластинку Фрэнка Синатры, бережно доставал из бумажного чехла, уютно устраивался в бархатном кресле, закрывал глаза и качал головой в такт песне. Иногда подпевал. Иногда шелкал пальцами. Иногда притопывал ногами. А то и вскакивал с кресла и с закрытыми глазами подтанцовывал.

Он ценил людей, которые не четко изъясняли свою позицию, а приходили к новым заключениям в ходе размышлений, и не планировал жизнь заранее, любил, чтобы она сама становилась захватывающей и интересной. Джон преподавал в детском церковном хоре. Сколько раз его уговаривали взяться за взрослый, но он отказывался: «В детском пении нет фальши. Я говорю не о нотной грамоте, а о чем-то большем».

Поэтому Кэт не может смириться с тем, что бабушка Джон ушел в мир иной и некому настроить струны Кэт, чтобы избежать фальши.

Шли дни, страничка Кэт на сайте путешествующих пополнялась десятками положительных откликов от тех, кто останавливался в их съемной квартире. Она притягивала желающих, как магнит. Все чаще в ответах о цели поездки приезжих звучало: «Хочу написать книгу о моих путешествиях», «Непременно напишу книгу о своих поездках»...

Будущих писателей становилось все больше и больше. Порой Малике не хотелось общаться с ними. Она уходила к Саксесу и устраивалась на подоконнике.

— Саксес, привет. Я всегда разговариваю с тобой на русском. Прости. Я же не знаю, кто ты по национальности. Из Чечни твои предки не могли быть... В Грузии ты вполне мог выучить грузинский, но я не говорю на нем. Языки очень трудно даются, видишь, сколько лет я английский учу? Мне звонила сегодня мама. Кажется, она заболела, но я посоветовала пить больше чая с лимоном и вареньем, делать ингаляцию и есть фрукты. Как ты думаешь, я же... правильно посоветовала? Но я уверена, что с ней рядом папа. А еще, представь, мама подстригла волосы до плеч. Папа был против, но мама настояла. Наверное, маму все соседи осуждают. Ведь по исламу не принято стричь волосы, так как в Судный день мы все предстанем нагими, и закрыть наготу можно будет только волосами. — Малика запнулась, потом открыла рот, намереваясь произнести что-то еще, но передумала.

Кэт решила пойти в «Макдоналдс» и попросила Дэйва составить ей компанию. Тот согласился, но наотрез отказался там есть.

— Мне близка философия Жижека¹, а он утверждал в своих публичных лекциях, что призывы пить кока-колу, спасти тропические леса и голодающих в Гватемале ему претят. Я с ним солидарен.

— Дэйв, опять ты о Жижеке, ну сколько можно? А Эмили придумывает дизайн моего свадебного платья, — заулыбалась она.

— Ты выходишь замуж?

— Нет, но, согласишься, лучше пусть платье будет наготове в чемоданчике. На всякий случай...

¹ Славой Жижек — словенский культуролог и социальный философ фрейдомарксистского толка.

Хатуна с розочкой на ошейнике смотрела то на Дэйва, который уже несколько дней не брил бороду и все больше становился похожим на отшельника или моджахеда, то на Кэт, которая от бигмаков и чизбургеров с каждым днем становилась все пышнее. Два вечных странника в поисках уюта и смысла жизни. Она не могла больше их лицезреть и решила подождать у выхода.

Малика дружила с кистинкой Самирой, студенткой Тбилисского университета. Та родом из Панкисского ущелья, и фамилия у нее заканчивается на «швили», что в переводе с грузинского означает «ребенок». Кистинцы — потомки чеченцев, которые двести лет назад переселились в Грузию. Когда в 1944 году началась депортация чечено-ингушского народа, Грузия предложила им добавить к фамилиям окончание «швили», чтобы уберечь от переселения. Так чеченцы стали грузинами.

— Кто-то издал указ, и нас не выселили, — просто объяснила Самира.

— Но кто? — заволновалась Малика. — Ведь этот человек — грузинский Оскар Шиндлер.

— Малика, перестань, вай ме-е-е... Я так и знала, что твои походы в синагогу добром не кончатся. Как ты не можешь понять? Грузия спасла! Грузия!

Чеченских семей в Тбилиси не так много, большинство живет в Панкисском ущелье. Молодежь, которая учится в вузах, снимает квартиры. Самира снимала комнату на окраине города — там намного дешевле. Хотя она и любила поговорить о любви к исламу, в ее комнате висела православная икона. По ее словам, так захотела хозяйка, а она не стала ей перечить.

Несколько лет Самира прожила у тетки в Бельгии, но потом передумала и вернулась в Тбилиси. Ее замучили депрессия и их эротические скульптуры, приелся даже бельгийский шоколад. Язык давался с трудом.

— Знаешь, я раньше не задумывалась над многими важными вещами. Там у меня не было друзей. Если я болела, то могла несколько дней пролежать дома, и никто бы не хватился меня: все работают, всем некогда. А я сидела на пособии в ожидании гражданства. Они охотнее дают гражданство семьям. И потом, я не хотела бы, состарившись, доживать последние дни в доме престарелых. А если я умру, где меня похоронят?

— Неважно, где тебя похоронят. Мы все живем на одной земле. — Малика с удовольствием поглощала приготовленные Самирой хинкали.

Они долго спорили о том, что чеченцы, проживающие в Европе, всегда стараются перевезти умерших в Чечню, чтобы не хоронить на чужбине. Но зачем тогда уезжать? И почему они возвращаются в Чечню лечить зубы, проводить медицинские обследования, почему покупают в Чечне земельные участки и квартиры на будущее?

— А ты знаешь, что наши устроили? — Самира расплылась в улыбке. — На площади Тависуплеба танцевали лезгинку, засняли на мобильные телефоны и выложили в Youtube. Приехала полиция и их оштрафовала. Но они молодцы, правда?

Может, Самире этот поступок показался невероятно смелым, но Малика поняла его как реакцию на давление со стороны местной власти: беженцам ничего не остается, как выплескивать свое национальное самосознание вот так, на площади Тависуплеба.

Малика хотела рассказать подруге, что последние годы Шиндлер прожил в нищете, существуя на пособие от еврейских учреждений и подарки от спасенных им людей, но передумала, вспомнив дебаты об эмблеме одной кавказской организации, призванной объединить молодежь разных конфессий. Кистинцев возмутило, что крест будет сверху, а полумесяц, олицетворяющий ислам, внизу. Малика имела неосторожность поинтересоваться, а где же будет расположена звезда Давида, на что ей ответили, что евреев в их организации нет, как и атеистов. Если они не могут достигнуть единомыслия в вопросе всего лишь об эмблеме, как они собираются работать в

организации под названием «Кавказская дружба»? О каком объединении Кавказа можно говорить? И зачем они продолжают ездить в другие страны и, раздувая щеки, твердить о кавказском единстве?

Тревожные мысли Малики прервала новая гостья Самиры, ее землячка, кистинка Хеда лет пятидесяти. Крашенная блондинка, невероятно подтянутая, с горделивой осанкой, она так и излучала флюиды гордости просто за то, что она существует. Хеда зарабатывает, продавая разноцветные вязанные крючком браслеты и кольцо. Все восхищались ее работами.

— Я в советское время часто приезжала в Чечню. Работала даже учительницей в школе. Потом война. А тебе сколько лет? — поинтересовалась Хеда, разворачивая свои пакеты.

— Двадцать два.

— Не замужем?

— Нет.

— Это плохо. У меня иностранцы все скупают. Наши не купят. Иностранцы приезжают отдыхать в Панкисское ущелье. Они так любят чеченцев! Я иногда бываю их гидом. У нас там так красиво! — Хеда устремила перед собой восторженный взгляд, будто тамошняя красота воочию предстала перед ней. — Когда я в Тбилиси, все равно тянет домой, в Панкиси. Наш род там знаешь какой уважаемый!

— Самира говорит, что их род там тоже самый уважаемый, — пролепетала Малика.

— Нет, — покачала головой Хеда. — Это наш род самый уважаемый. Мы не принимаем людей других национальностей в наш тейп, как некоторые. У нас чистый тейп, без примесей всяких. Мы чистокровные чеченцы. И очень этим гордимся. А ты, я слышала, одна сюда приехала? Когда уезжаешь?

— А почему я должна уехать? — нервно засмеялась Малика.

— Хочешь выйти замуж и здесь остаться? Кто он?

— Это шутка?

— Как тебя родители отпустили?

— У меня тут родственники живут.

— Работают? Какая зарплата?

— Нет, на пособие живут.

Самира поспешно стала собирать грязную посуду со стола.

— Понятно. А тебе знаешь как подошли бы браслет и кольцо из белых розочек? Давай быстро крючком свяжу, у меня все с собой. Ты же сможешь заплатить прямо сейчас? Завтра утром я еду в Панкиси, и мне нужны деньги.

Через час все было готово. Вместо замысловатого узора это были наспех нанизанные петли и торчащие с разных концов узелки.

— Интересно... — протяжно вздохнула Самира, так и не сумев найти подходящего слова.

— Сто лари! — улыбнулась Хеда.

— Что?! Это пятая часть моей заработной платы!!!

— Ты получаешь пятьсот лари?! — хором выдохнули Самира и Хеда.

— Нет, я получаю семьсот, но... но это очень дорого! — возмутилась Малика. — За эти деньги я могла бы купить золотые сережки.

— Я знаю, сколько стоит моя работа. — Хеда поправила платок, жестикулируя правой рукой. — Нельзя себя недооценивать. Скоро сайт запустят, где будут мои украшения, и я выйду на мировой уровень. — Она напомнила об участии своей бижутерии в каких-то сельских и районных выставках так, будто они выставлялись в Лувре или Эрмитаже, и, получив наконец заветную сумму, добавила: — Дай мне тебя обнять, моя сестра. Моя мусульманская сестра. Мы же вайнахи, одна кровь, и должны

держаться вместе, помогать друг другу, — после чего, сославшись на усталость, поспешно удалилась.

А Малика отправилась на вечерние курсы английского языка, что находились у метро «Техникури Университети».

— Гамарджобат¹, гамарджобат, — весело оглядываясь по сторонам, произнесла она.

Учительница задала ей вопрос по-грузински, но потом, вспомнив, что Малика не знает языка, перевела:

— Малика, ответь на английском, на каком кладбище ты бы хотела быть похороненной?

Малика о многом думала в тот день: о стране, куда бы хотела переехать, чтобы начать новую жизнь, о том, что неплохо бы сменить косметолога, о том, чтобы договориться с Кэт и для уюта закупить комнатных цветов, о том, чтобы освоить в совершенстве английский язык, научиться делать из яблока лебедей, как Эмили... О чем только она не размышляла, но только не о смерти! Пока она думала, что ответить, несколько человек хором отчеканили:

— Мтацминдас пантеони!

— А почему именно там?

— Там хоронят известных писателей и общественных деятелей Грузии.

— То есть ты мечтаешь прославиться и стать полезным стране?

— Да, я все сделаю для этого, — заявил один юноша.

— Малика, а ты хочешь, чтобы тебя похоронили на Мтацминдас пантеони?

— Нет, я не хочу быть успешной на кладбище.

— Что?!

— Неважно... — растерянно ответила Малика после небольшой заминки. — Я хочу, чтобы на мои похороны пришло много людей и я не чувствовала бы себя одинокой в этот... очень сложный для меня день.

В аудитории наступило ошеломленное молчание.

Малика решила больше не появляться на курсах, хоть Джейсон и настаивал доходить, ведь оплачено за целый месяц. Или забрать оставшуюся сумму, но Малику в тот момент тревожило совершенно другое. Она же записалась туда, чтобы отвлечься от грустных мыслей, которые часто терзали ее — о смерти, о конце света, о страхе перед предстоящей старостью, — и вовсе не хотела задумываться о будущих похоронах и самом печальном в ее жизни — о пережитых войнах.

Приближался день рождения Кэт. Мерedit предупредила всех и собрала деньги на подарок.

— А ты уверена, что этого будет достаточно? — спросила Малика.

— Главное — внимание, — ответила Мерedit.

Но на всякий случай Малика поехала к железнодорожному вокзалу, вдоль которого раскинулся большой ювелирный рынок, и купила маленькие серебряные сережки в виде морских звездочек. В представлении Малики день рождения — это когда целый день трудишься на кухне, и к концу дня стол ломится от обилия еды. А потом до утра моешь посуду. Каково же было ее удивление, когда она увидела около пятидесяти пар обуви у входной двери и... на круглом столе в комнате две небольшие миски, в одну из которых было высыпано содержимое одной пачки чипсов с сыром, а в другую — чипсов со вкусом болгарского перца. Рядом стояли две трехлитровые бутылки с пивом «Натахтари» и кока-колой и одноразовые пластмассовые стаканчики. В стороне покачивалось несколько надувных шариков. Бумажные клоунские колпаки торчали у приглашенных на головах, а под носами были приклеены усы.

¹ Здравствуйте (груз.).

— Что ты стоишь? Заходи. Надевай! — заулыбалась именинница.

— А теперь ТООООРТ! — закричали все дружно.

В воображении Малики предстал двухэтажный торт с розочками и красивой надписью «С днем рождения, Кэт!» Вот именинница, загадав желание, старательно пытается задуть свечи, но так как их тридцать три, получается не сразу. Сахарная пудра поднимается с поверхности торта и оседает на лицах. Но на самом деле Малика увидела маленький, с кулак, шоколадный кекс, на котором одиноко догорала маленькая свечка.

— ТООООРТ! — восторженно воскликнула Кэт, задула свечку и съела кекс.

— А теперь подарок!!! Подарок!!! — снова закричали присутствующие.

Под бурные овации внесли огромную коробку, обернутую праздничной бумагой и перевязанную алой лентой.

— Друзья, огромное спасибо! Вау!!! — запрыгала Кэт и достала из коробки большую пластмассовую лейку желтого цвета. — Это самый полезный и нужный подарок! — вынесла она вердикт.

Малика, уйдя в свою комнату, долго не могла оправиться от происходящего.

— Саксесс... звонила мама. Ей намного лучше. Она прислала мне через Вестерн Юнион триста долларов. Думаю, хватит на ближайший месяц. А папа сказал, чтобы я больше улыбалась, тогда на фотографиях я получаюсь гораздо лучше. И еще он сказал, что умерла та бабушка, соседка. Сколько себя помню, она все умирала. А ей уже было девяносто лет. Родители часто ходили к ней, так как она боялась умереть одна. И вот ее не стало. Саксесс, мы не знаем, сколько нам отмерено. Но мне бы хотелось прожить мало, но ярко.

Кэт проводила гостей и слушала Фрэнка Синатру, вырезая сердечки из бумаги. Затем она раскрашивала их маркером в красный цвет, а на обороте писала письма будущему избраннику, приговаривая:

— Не смейся, Хатуна. Без любви нет жизни. Вот влюбишься — поймешь.

Хатуна, между тем, давно встречалась с Джузеппе и не понаслышке знала, что такое любовь.

Как-то Малику пригласила на день рождения Мэри из Голландии. Она решила позвать только самых близких друзей на гламурную улицу Шарден, в кафе «KGB still watching you» с советской атрибутикой: старые коммунистические плакаты, пожелтевшие папки с делами осужденных...

— Эй, посмотрите под столом, нет ли подслушивающих устройств! — смеялась Кэт.

Малике взгрустнулось, и она, взглянув на всех словно со стороны, вспомнила, как классная руководительница после первой войны в Чечне спросила у школьников, какая у них мечта. И Малика неожиданно сказала, что мечтает уехать в Америку и жить там.

— Ты хочешь уехать в Америку, оставив нас в Грозном? — спросила учительница. — А кто же будет восстанавливать республику, очищать город от развалин, разбивать парки, сажать деревья?

— Строители, архитекторы и дендрологи, — ответила Малика.

— А если и они решат покинуть Грозный, как ты?

— Тогда его восстановят те, кто разрушил.

Неожиданно на дне рождения оказался двоюродный брат Самиры Ильяс, недавно съездивший в Грозный.

— Ты из Чечни? — обратился он к Малике. — Я там был на прошлой неделе. Люди такие хмурые ходят, огрызаются. Не понравилось. Со злыми лицами. — Он соорудил брезгливую гримасу. — И бурчат что-то себе под нос. Раньше такого не было. Я думаю, они несчастливы.

— Все? — уточнила Малика.

— В Ингушетии мне больше понравилось. А в Грозном... Только неделю смог там выдержать и уехал. А вообще-то в Грузии лучше. — Малика ничего не ответила. Но парень не унимался. — В России чеченцы обрусели. Столько русских слов используют в чеченской речи, — продолжал он по-русски. — Самые чистые чеченцы живут в Грузии, потому что вас высылали в Казахстан и вы многое у казахов переняли. А мы как два века назад сюда переехали, так и живем в Панкиси, сохранив наши традиции и обычаи. Даже те, кто несколько веков назад попали в Турцию, турками стали. Вот у вас окончания фамилий на ов или ова...

— А у вас на швили, — улыбнулась Малика.

Дальше их разговор перешел в полемику. Этого парня Малика знала заочно. Во время военных событий в Чечне он пытался устроиться в одну грузинскую фирму в Тбилиси. Директор фирмы по фамилии понял, что это кистинец, но решил проверить характер человека.

— А вы случайно... не кистинец?

— Нет, не кистинец, это мамина фамилия. А так... папа грузин, — смешался парень.

— Жаль... Я-то думал, что вы чеченец, и хотел помочь вам устроиться на работу. Мы ведь понимаем, какое там сейчас горе. Я вырос и жил в Грозном. Но нет так нет. До свидания.

В «КГБ» просидели до полуночи, потом все пошли в кафе «Чача», чтобы продолжить празднование, а Малика собиралась лечь спать, потому что ей нужно было рано на работу, но неожиданно раздался звонок из Франции.

— Привет. Как дела? Спасибо тебе за идею перформанса с двумя людьми, которые кружатся, взявшись за руки. Помнишь, ты придумала? А потом один отпускает руки, и другой падает на землю.

Малика терла глаза, пытаясь проснуться. За дверью, судя по всему, шла бразильская вечеринка.

— Эмили, это ты?

— Да, я! Не разбудила? Вспомни, ты подала мне эту идею. Этот перформанс представят во Франции... Ты рада? — смеялась Эмили.

Но связь прервалась. Сел мобильный Малики, и заряжать его не было сил.

Рада ли была Малика? Она хотела выразить в этом перформансе боль взаимоотношений между людьми. Когда все хорошо, люди словно держатся за руки и кружатся, но потом одному надоедает, и он отпускает руки. И ему абсолютно все равно, что другой упадет и ему станет больно. Это жестоко и несправедливо, но такова жизнь.

Когда Малика жила в Чечне, в нее был влюблен один гитарист. Он подарил ей золотой браслет и взял с нее слово, что она не выйдет замуж и дождется его возвращения из Польши. Порой он не ночевал дома, прятался, так как воевал во вторую войну в Чечне. Его разыскивали. Он удачно перебрался в Польшу и звал ее к себе. Наверное, забыл чеченские обычаи. Но это неважно. Тем более, что Малика никогда не любила его.

Она как-то отправилась на местное радио, чтобы передать диск с его песнями. Целый час простояла во дворе под моросившим дождем; вышел сотрудник с сигаретой, в мятой одежде. Было такое ощущение, что он только что пробудился ото сна.

— Это ты принесла диск? — Он сделал затяжку и выдохнул дым.

— Да, вы берете? Вам понравилось?

— Как тебе сказать?... Тексты песен отличные, но... — Он снова сделал затяжку. — Качество записи ужасное... Может, вы не доплатили аранжировщику или не смогли найти профессионала с качественной студией?

— А... он сделал нам бесплатно, — воскликнула Малика.

— Ну, вот оно и видно. — Очередная затяжка.

Промокшая, перепрыгивая через лужи, Малика поплелась домой.

У каждого в жизни свой перформанс. Вот и она сейчас держится за Саксенса и Кэт. Хотя ее в последнее время раздражают чрезмерная молчаливость Саксенса и шумные вечеринки Кэт. Скоро кому-то из них станет тошно, так как человек не может долго кружиться с другим человеком. Нужна передышка. И кто-то обязательно отпустит руки.

В последнее время Кэт стала говорить очень общо и отвлеченно. Может, это связано с участвовавшими поездками на маршрутке или ежедневными утренними занятиями йогой? А может, с тем что она приступила к чтению Франца Кафки?

— Войны во всем мире происходят из зависти, а не из-за земли, женщин и власти. Все это объединяет одно слово — зависть, — говорила Кэт, тщательно орудуя зубной нитью перед потрескавшимся зеркалом в ванной. — Скоро наступит глобальное потепление. Наводнения в разных странах — это только предпосылки. Солнце в этом не виновато. Это мы загрязняем атмосферу. Люди стали черствыми, утратили милосердие. — Теперь Кэт яростно рвала старые наволочки на тряпки. — Я тебе рассказывала о Софии Бутелло, известной хип-хоп исполнительнице? Ее заметил сам Майкл Джексон и пригласил участвовать в его концерте, но у нее был контракт с Мадонной, пришлось отказаться. Теперь она лицо Nike и... Впрочем, зачем тебе все это знать? Не забивай голову ненужной информацией. Ты мечтаешь найти свое место? Не живи годами, живи днями.

— А ты считаешь, что уже нашла себя?

— Мое счастье — в общении с людьми. Эмоции.

Саксес в клетке и Хатуна на коврик о чем-то бормотали во сне.

В обед Малика встретила с подругой из Чечни — Палехат. Это старинное чеченское женское имя. «Пал» в переводе означает — чепуха, а «лех» — собирать, подбирать. Палехат на самом деле собирательница чепухи. Она высокая, жесты и мимика у нее немного мужеподобные.

— О, как вам идут эти сережки. Какая красота! Можно потрогать?! — восклицала она, например, а Малике говорила, что терпеть не может не то что сережки, а даже то, что человек добровольно разрешает проколоть себе уши.

— О, я обожаю Дагестан и все народности, которые там проживают! Кубачинские мастера, Каспийское море, крепость Гуниб, махачкалинский коньяк... — В узком же кругу она выражала открытую неприязнь к дагестанцам. Ее раздражало их «колхозное поведение», манера речи и то, что в Махачкале «не на что смотреть, кроме как на летающие в воздухе целлофановые пакеты».

Она с легкостью имитировала рабочую обстановку и чуткость к окружающим.

Палехат работает в Чечне ведущим специалистом в департаменте образования, у которого договор с каким-то грузинским вузом приглашать талантливых студентов, интересующихся Кавказом, на стажировку и конференции. Она признавалась, что эти поездки спасают ее от домашней рутины. В одном дворе живут две семьи. Жена брата любит посплетничать о том, что Палехат абсолютно неинтересно. Брат Палехат Ибрагим одно время страшно пил. Был наркоманом. Родственники решили привить ему веру, ожидая, что он изменится. И чудо произошло, однако он так сильно ударился в религию, что стал поучать всех в доме, как нужно молиться и что должен делать истинный мусульманин.

Сейчас Палехат с Маликой гуляли по проспекту Шота Руставели, где Палехат покупала подарки для друзей и знакомых. Килограмм бразильского кофе уютно устроился на дне сумочки Палехат.

— Моя подруга Зайбат, которая работает в департаменте культуры, просто помешана на кофе. Вот она обрадуется. Неважно, что стоит дорого. Ведь Зайбат помогла оформить документы на получение званий и грамот моим родственникам.

О, какой аромат! Подарю этот парфюм Анисе, она часто замещает меня на работе. А вот этот «Дживанши», пожалуй, подарю Миле...

— А ей за что? — поинтересовалась Малика, но Палехат, похоже, не заметила иронии.

— А за то, что познакомила меня три года назад с одним парнем из правительства. Мужем и женой мы не стали, зато теперь появились связи в правительстве.

Малика подумала: интересно, а с ней она ради какой выгоды общается?

— Ты знаешь, я такой человек... Мне не жалко денег ради тех людей, которые ... ко мне... ммм... хорошо относятся. Может, когда-нибудь... мне понадобится их помощь. А какие у тебя тут намечаются перспективы?

— Я устроилась на работу менеджером. На квартплату, одежду, еду хватает.

— У тебя заниженная самооценка. Я бы даже сказала, что у тебя ее вообще нет. Приезжай в Грозный. Я договорюсь, устроим тебя в школу. Будешь преподавать... географию или вести... кружок шитья.

— Я не умею ни шить, ни преподавать. Это не мое.

— А что твое? Крутиться надо в этой жизни, милочка.

— Я хотела стать... писателем... но...

— Стоп! Ты забыла мой девиз: «Никаких пессимистов вокруг меня». Это блокирует возможности, без которых не складывается карьера. А я хочу стать в будущем министром образования...

— Чечни?

— России.

Во время военных действий в Чечне Палехат уехала с семьей в Москву, но любит говорить, что пережила войну. Как некоторые чеченцы после первой военной кампании любили привирать о своих военных подвигах. Троюродный дядя Малики Товсолт рассказывал, будто защищал президентский дворец, но когда другие подавали бумаги на получение военных наград, никуда не пошел, сказав: «Я воевал не ради них». А на соседней улице Хусейн, который был ранен во время разгона митинга в центре Грозного, получил через знакомых звание Народного героя.

Малика часто задумывалась над тем, по кому или по чему она будет больше всего скучать, когда покинет Тбилиси.

На следующий день Кэт познакомилась с бразильцами и устроила очередную вечеринку с путешественниками из Дании. Она в тот день сильно напилась и, размахивая руками, кричала:

— Не смейте шутить со мной! Моя подруга — чеченка из самой Чечни!!! Не верите? Да вот же она — с ножом!

Все посмотрели на Малику, которая в тот момент действительно нарезала ножом шоти.

Как ни было ей это неприятно, Малика отправилась ночевать к Мередит. У Мередит дома темно и тихо, как в зиндане. Она экономит на электричестве. На книжных полках — собрания сочинений Маркса и Ленина. В прихожей на стене изображено огромное дерево, и каждый новый гость должен пририсовать листочек и вписать свое имя. Проходя эту обязательную церемонию, Малика подумала, что, окажись это дерево в их съемной квартире, оно оделось бы пышной листвой за несколько дней.

— Я же тебе говорила: приходи ко мне ночевать! Даже в моей культуре это ненормально, когда такое количество людей собирается дома. Ладно в неделю раз-другой, но не каждый же день.

Мередит постелила Малике в большой комнате, и та, не привыкшая спать в такой тишине, мгновенно уснула, даже не заметив большого количества пропущенных звонков и эсэмэсок. Это подруга из Чечни спешила сообщить, что ее троюродный брат

тайно уехал в Египет учиться в исламском университете, ни с кем не попрощавшись, оставив дома троих детей и беременную жену. Его матери вызвали «скорую», но она умерла, не доехав до больницы. Отец попросил всех родных говорить, что сын уехал на заработки в Санкт-Петербург.

На следующий вечер Кэт решила отпраздновать свой новый маникюр и собрала по этому случаю тридцать человек. Малике она пообещала, что вечеринка закончится не позже двух часов ночи и что никто не останется ночевать. Дэйв притащил с собой африканский барабан из «Чачи» и блистал виртуозным исполнением. С барабаном Малика готова была смириться, но ее терпению пришел конец, когда армянин стал играть на дудуке. А впереди ее ожидал еще больший сюрприз: она получила эсэмэс сообщение от Кэт: «Малика, ты не против, если останутся три индейца из Америки? Они завтра обещали научить нас всех делать боевую раскраску лица». В ответ Малика настрочила из своей спальни: «У меня есть выбор?»

Через несколько минут отворилась с тяжелым скрипом дверь и появилась Кэт.

— Знаешь, мне всегда нравилось кавказское гостеприимство. Я считаю, что это самый лучший обычай в мире.

— Но то, что творится у нас в доме, — перебор.

— Как ты не можешь понять: то, что с нами происходит сейчас, это настоящий подарок. Все эти люди, обычаи, традиции, культуры... Когда еще мы сможем это увидеть? Когда-нибудь мы окажемся дома, ты в Чечне, я в Америке, и что? Жизнь должна быть разнообразной...

— Ты очень красиво говоришь, Кэт. Но мне утром на работу, мне нужно выспаться. И еще я хочу стать писателем, а тут шумно. — Она посмотрела на Саксесса. — Для него тоже слишком шумно, и даже Хатуне это не нравится. Человек должен иметь хотя бы два дня тишины, чтобы разобраться со своей жизнью и побыть в уединении.

— О, для уединения можно устроиться в монастыре, в морге или в библиотеке. Не переживай. Мы все успеем отдохнуть в могиле.

— Конечно, никто не избежит этой участи. Но пока мы живем... Ладно, пусть остаются сегодня, но завтра у нас точно никто не будет ночевать.

— Обожаю тебя, — закричала Кэт. — Но я бы тебе посоветовала обратиться к психоаналитику.

— У чеченцев не принято ходить к психологам и делиться с чужими людьми личными проблемами.

У чеченцев не принято ходить к психологам, но они охотно делятся семейными проблемами с местными муллами. И каждый такой визит завершается одинаково: «Молись. Все трудности — это испытания. Значит, Он тебя любит».

Малика давно мечтала, чтобы в их квартире наконец наступил день тишины, но ее радость омрачилась исчезновением собачки Хатуны.

— Хатуна! Хатуна! — кричали Малика, Мередит, трое индейцев в роучах¹, Дэйв и другие, бегая по узким улочкам Тбилиси. На них с кружевных деревянных балконов взирали тбилисцы.

Мэри заглядывала во все водосточные люки. Дэйв не пропускал ни одного мусорного бака. Индейцы смотрели на реку и кликали собачку. Наверное, они ожидали, что она вынырнет из воды. Кэт плакала навзрыд. От нее пахло валерьянкой. Прохожие останавливались и интересовались, когда именно потерялась женщина? На что, к большому своему удивлению, получали ответ, что это вовсе не женщина, а собачка. Шалва и Гивико тоже недоумевали, как можно так убиваться из-за собаки, но им было интересно, чем все это закончится, поэтому и они примкнули к поисковой

¹ Индейские головные уборы из перьев.

группе. Впрочем, их участие длилось недолго, только до начала вечерних новостей, которых они не могли пропустить. Шалву интересовало, чем закончится недавний визит Хилари Клинтон в Грузию и как он отразится на экономике и инфраструктуре Тбилиси.

Хатуна покинула квартиру в тот момент, когда Кэт играла с индейцами в игру «Исполни желание» и первым заданием оказалось влезть на стол и десять минут прогавкать.

«Пожалуй, мне пора, — подумала собачка. — Это уже без меня».

Долго еще Кэт хранила миски и жилетики Хатуны. В доме пахло шерстью собачки, поэтому Малика решила выстирать постельное белье и чехлы с кресел и дивана. А все комнаты опрыскала дихлофосом, но на этот раз она не считала убитых мух. Не сезон.

Малика давно хотела признаться подруге, что довольно долго ждала тишины в их доме, но не знала, что она достанется такой ценой. Меньше всего ей хотелось, чтобы Хатуна ушла. И теперь она чувствует свою невольную вину. Но ее отвлекли телефонные разговоры Кэт, та созывала гостей на очередную вечеринку, на сей раз по случаю дня рождения Фрэнка Синатры, 12 декабря.

Так получилось, что именно после этой вечеринки скончался Саксесс...

У попугаев слабые сердца, они не выдерживают боли. Малика решила, что это она переборщила со своими ежедневными военными воспоминаниями, и ее чувство вины удвоилось.

Попугай любил разглядывать стаю снегирей, которые прилетали на куст рябины под окном и клевали ягоды. А Саксесс все сидел в клетке. Видимо, он задумался над тем, что зима закончится, наступит весна, а ему суждено сидеть тут и дальше, слушая жалобы и плач Малики. И он предпочел умереть.

В тот же день все собрались проститься с Саксессом. У чеченцев принято хоронить покойного в день смерти. Но если человек скончался после обеда или вечером, то лучше дождаться утра.

Хатуна пришла на похороны, но стояла в отдалении, прячась за деревьями.

Малика пополнила счет в ближайшем терминале и нервно набрала знакомый номер.

— Алло, мама? Папа? Попугай умер... Нет, я его кормила. Нет, у нас тепло. Почему эхо отдается в телефоне? Что? Нас подслушивают? Им что, больше подслушивать некого?! Почему бандитов не подслушивают? Что? Пожалуйста, не клади трубку. Он погиб, потому что я постоянно рассказывала о войне и жаловалась... Это я убила его. Вы хорошо меня слышите? Как я могла задушить? Я имею в виду, что своим нытьем убила! Да, спасибо, мама, за поддержку, я знаю, что я не от мира сего! У вас все хорошо? Я скоро приеду. И я вас люблю.

Мобильный телефон, приобретенный за тридцать лари в билайн-центре, утонул в кармане ее пальто. Голые ветви деревьев, покрытые снегом. Наверное, попугай любил наблюдать за погодой. И, быть может, задумывался, в какой именно сезон ему суждено умереть. Малике вдруг захотелось, чтобы ее похороны тоже были зимой. Хотя раньше она думала, что могильщикам будет тяжело копать замерзшую землю. Но сейчас ей не было их жалко. В конце концов, им платят за это. И еще она мечтала, чтобы после похорон все поиграли в снежки и от души повеселились.

Зита решила провести кремацию попугая, а пепел поместила в золотистый глиняный флакончик с плотно закрытой крышкой. Мэри в память о бедном попугайчике вышла портрет Саксесса цветным бисером.

Малика долго не могла решить, везти ли прах попугая с собой в Чечню и тем самым сдержать слово, данное Саксессу. Но потом вспомнила таможенников на границе, которые наверняка придрались бы к сосуду с пеплом. И она поняла, что лучше выпустить его на свободу, хотя бы после смерти...

Решили рассеять пепел над Курой, чтобы Саксенса хоть в загробной жизни покинуло чувство затворничества. Лицо Малики в черных полосках пепла: две — на лбу и по одной на щеках, носу и подбородке. Так посоветовали индейцы. Друзья стали дружно отбивать на барабанах веселый ритм. Африканское племя никогда не грустит по усопшему, так как считается, что его жизнь и общение с ним продолжится в загробном мире.

А китайские друзья в знак солидарности зажгли воздушные желтые светильники и пустили в небо. Это было самое трогательное и красивое прощание, на каком Малике доводилось присутствовать. Она никогда не любила салюты, вместо них она предпочла бы воздушные китайские светильники. Фейерверки и салюты напоминают ей войну и вселяют тревогу. Чеченская пословица гласит: «Увиденное в детстве подобно надписи, высеченной на камне».

— Уходи свободным... уходи свободным, — шептала Малика, сдерживая слезы.

У чеченцев не принято говорить «до свидания» или «здравствуйте». Здраваясь и прощаясь, они говорят: «Приходи свободным!», «Уходи свободным!» или: «Оставайся свободным!»

Человек приходит в жизнь с пустыми руками и уходит так же, без ничего.

Первая одежда, в которую его одевают, — белая пеленка, и при погребении заворачивают в белый саван. Белый цвет — цвет чистоты и свободы. Даже на древних вайнахских башнях поверх многоступенчатой крыши ставили небольшой белый камень треугольной формы. Как олицетворение вечности и чистоты.

Вечеринки по просьбе Малики отменили на семь дней, пока не закончится траур. Она грустно продолжала ходить на работу. Пила только чай с лимоном, есть отказывалась. Она исхудала и жаловалась на непрекращающуюся головную боль.

Кэт зажгла четыре конфорки газовой плиты и оставила открытой дверь зажженной духовки. Хозяйка квартиры Софико обещала разобраться с необъяснимым отключением отопления в ближайшую неделю, но пока она находилась на отдыхе в Казбеге.

Мерedit сочла нужным предупредить, что нельзя газ оставлять долгое время горящим, если на поверхности не стоят кастрюля или сковородка, так как от этого у людей начинает высыхать мозг и наступает оупение. Но Кэт убедила всех, что за одну ночь это не отразится на их умственных способностях.

Обогревались только кухня и гостиная, до спален тепло не доходило. Кто-то предложил разжечь костер на железном противне, поставив его на два кирпича. Все дружно отвергли эту идею. Но от шашлыков не отказался никто. Попросили у Шалвы мангал и шампуры. Через полчаса на балконе приятно потрескивали дрова. А еще через час были готовы шашлыки из баранины. Только для Мерedit сделали отдельный — из кусков баклажана и болгарского перца, поскольку она вегетарианка. Удивительно, но вегетарианство ничуть не мешало Мерedit носить кожаные обувь, пояса, сумки и бумажники.

Кэт пожертвовала годовым запасом ароматизированных свечек, предназначенных для ее будущей супружеской жизни. Комнаты Малики и Кэт наполнились десятками звезд из ароматизированных свечей в медных подставках. Мерedit предложила изобразить фигурками с помощью свечей знак мира и сфотографироваться для инстаграма. Малика написала свечками имя «Саксенса» и расплакалась навзрыд.

— Я, наверное, уеду в Чечню... на следующей неделе, — сказала она, уставившись на одну из ароматизированных свечек. — Навсегда.

— Интересное предложение?

— Нет. Просто так.

— Что ты там будешь делать без работы? Так и в депрессию впасть недолго.

— Откуда ты знаешь, что там?

— Я читала в газете...

— Мама и родственники звонят, просят, чтобы я приехала домой.

— Ты должна им сказать, что у тебя есть право жить так, как ты считаешь нужным. У тебя есть право...

— Кэт, успокойся, — прервала ее Малика. — Послушай, это Чечня. Это не Европа и не Америка.

— Нет, ты скажи: у меня есть право! — не унималась Кэт. — Ар ю окей?

— Я окей. Просто я не знаю, чего хочу от жизни. К чему стремиться...

— Езжай в Европу. — Джейсон повторял это с того дня, как они познакомились.

— Чтобы жить на беженское пособие? Я не знаю английского!

— А что, все ваши едут туда с сертификатами о сдаче международного языкового экзамена?

— У каждого своя судьба. Богу виднее, как нами распорядиться, но Он также дает все, что бы мы ни попросили. Только просить нужно искренно и сосредоточиться на одном желании. Посмотри, сколько свечей горит в этой комнате. Выбери одну и говори только с ней. — Кэт взяла одну свечу. Лицо ее озарилось дрожащим светом.

— Я не просила смерти Саксенса... — сказала Малика. По ее лицу снова покатались слезы.

Зашли двое местных веселых парней, и все вместе стали курить какую-то траву. Малика удалилась в спальню и плотно прикрыла дверь, за которой еще долго смеялись и пели. Дэйв хвастался, как он из Голландии провез в спичечном коробке траву и никто из таможенников ничего не заметил.

— Ребята, смотрите, гондолы плывут. Эй, прокатите нас по Венеции. Люди! Мы плывем на гондолах!!! А-а-а, у меня кружится голова.

— Эта гондола сегодня перевернется или нет? — процедила сквозь зубы Малика, кутаясь в одеяло.

Рано утром они проснулись от того, что квартира наполнилась дымом, что-то горело. Нет, загорелись не гондолы, а брюки и свитер Дэйва: забыли задуть одну свечу. Кэт уверяла, что не стоит беспокоиться из-за таких мелочей, она может дать несколько адресов магазинов секонд-хэнд, но Дэйв еще больше разозлился. Оказалось, что свитер принадлежал его покойному отцу и вязала его мама, когда была беременна Дэйвом.

Кэт позвонила хозяйке и потребовала немедленно приехать и решить проблему с отоплением.

Малика направилась в писательский клуб, но так и не смогла дочитать до конца небольшое эссе, написанное на смерть Саксенса, — заплакала и выбежала из зала. Потом вернулась, взяла забытую вышивку Мередит с портретом Саксенса, извинилась и захлопнула дверь.

Зайдя в пункт обмена валюты, она обменяла лари на рубли в предвидении отъезда и в центре, на площади Тависуплеба, встретила Кэт с аккуратно подведенными стрелками на веках.

— Малика, я думаю, что мы с тобой выглядим очень молодо, как тинэйджерки, ты не находишь?

— Возраст прибавляют носогубные складки. У нас они не так ярко выражены. А если обозначатся, мы обратимся за помощью к ботоксу.

Малика не знала, что Кэт давно делает уколы ботокса.

— И мы всегда улыбаемся, как девочки. И мужья наши будут младше нас.

Впереди них шла мама с мальчиком на руках. Ребенок внимательно разглядывал двух незнакомок, а потом с ужасом произнес:

— Де-да, ка-ле-би! (Мама, тети.)

— Ки, калеби (да, тети), — подтвердила мама.

Малика и Кэт переглянулись и одновременно разразились хохотом. Чтобы как-то сгладить разочарование, они купили у уличной торговки по яблоку в карамели.

— Мы так давно не общались наедине. И многого не знаем друг о друге.

— Это правда.

— Кем ты мечтала стать в детстве?

— Мне хотелось мыть звезды на небе. Мама рассказала сказку про человека, который каждую неделю по пятницам мыл звезды. Всем было некогда, все на работе, в делах, и он осознавал, что кроме него это никто не сделает. Мне хотелось ему помочь.

— А я... боялась стать взрослой. Мне казалось, что чем старше становятся люди, тем выше. И я представляла, как вырастаю над песочницей, потом над домами и над всей Землей. Мне становилось так одиноко и не с кем было поговорить. После развода мама часто влезала в долги или брала что-то в кредит. Я была маленькая и не понимала, как можно расстраиваться из-за того, что каких-то бумажек больше или меньше. Мне хотелось занять машинку по печатанью таких купюр, чтобы мама больше не плакала из-за них.

— Кэт, ты очень хороший человек, несмотря на...

— Вечеринки?

— Да. Ты думала над тем, куда мы движемся и что с нами будет? Для чего мы здесь?

— В Тбилиси?

— Нет, на этой земле.

— Я хочу над этим задуматься, но вот, к примеру, сегодня вечером приезжает Мик, немецкий молодой ученый...

— Что?! — яблоко выпало из рук Малики. — И где он собирается спать?

— На кухне есть свободное место.

— Кэт, когда ты успеваешь с ними договариваться? Ты не можешь убрать свою анкету с сайта?

Кэт лишь тяжело вздохнула в ответ.

Минут десять они молча гуляли по проспекту Костава. Малика успокаивала себя тем, что скоро покинет этот город. А новую квартиру искать не было ни сил, ни желания. Она и так сменила уже шесть квартир. Одна находилась слишком далеко от работы, в другой не было душа, в последней хозяйка донимала ее вечерними разговорами.

— Мы с чеченцами всегда были братьями. Как они могли пойти в Цхинвал воевать? Говорят, они наших военных предупреждали, чтобы уходили. Вай ме, когда в Рачу стали привозить первые трупы... Я чуть с ума не сошла! Чеченцы же могли не ехать. Вот ингуши молодцы, не поехали. Ингуши раньше христианами были, нашими братьями...

У Малики из родственников никто не воевал, но после таких разговоров ей казалось, что эти претензии касались лично ее.

Вечером к Кэт приехал тот самый Мик, молодой ученый из Берлина, исследовать проблему грузинского национализма. Мик предпочитает спорить о фашизме и национализме, всячески пытается доказать, что национальные меньшинства более закомплексованы. Ненавидит, когда кто-то точит карандаш ножом или лезвием. А еще он боится отсутствия альтернативы. Ему, как всем исследователям, которые проводят изыскания в разных странах, надоел извечный вопрос, не шпион ли он.

— Представьте себе, вам задали такой вопрос, и вы, почесав в затылке, с тяжелым вздохом сознаетесь: «Да, вы правы» — и все ликуют.

Мику родители с детства старались привить уважение ко всем расам и для этого купили африканскую куклу. На ужин по поводу его приезда приготовили хинкали и бадриджаны.

Хозяйке квартиры Софиго так и не удалось починить отопление, поэтому она вызвала мастеров, которые в углу гостиной возвели настоящий камин. Квартира стала постепенно прогреваться.

Мик рассказал, что в социальных сетях случайно увидел фашистскую атрибутику на граффити недалеко от Тбилиси. Ему стало интересно, и он не задумываясь поменял первоначальную тему кандидатской о «лагерной» теме в произведениях Александра Солженицына.

— А почему вас интересуют проблемы именно России и Грузии? Разве в Германии нет никаких проблем?

— Я просто чувствую, что мне это интересно. А нужно заниматься исследованиями только тех тем, которые тебя задевают. Понимаете, я долго изучал стрит-арт на стенах Тбилиси. Правильная свастика под углом, 14/88, WhitePride, «Грузия только для белых», кельтский крест... Об этом могут знать только настоящие фашисты. А еще рассказывали, что есть бритоголовые, которые ходят по улицам с флагом, на котором фашистский знак.

— Это невозможно! — возмутилась Самира. — Просто маленькие дети хулиганят. Как можно об этом писать диссертацию?

— Эта не баловство. Такие вещи не могут знать обычные люди, только те, кто в теме.

Когда-то и Малика подумывала стать ученым. Но ее планы поменялись после визита к четвероюродной сестре по материнской линии в Германию, где та писала диссертацию о различиях кавказских диалектов и их происхождении.

Ее звали Хава. Двадцать восемь лет. Много лет назад поехала в Берлин по программе обмена студентов и осталась. Каждый год на летние каникулы приезжает в Чечню. Родственники уговаривают приехать насовсем, чтобы скорее выйти замуж и избавить их от лишних расспросов окружающих, а то их репутация уже под угрозой.

— Зачем тебе эти дипломы? Все равно тут нужные связи ценятся больше, чем знания. Представь, выйдешь замуж за фермера или в какое-нибудь горное селение. Там твои дипломы никому не нужны.

Когда Малика увидела встречавшую ее в Берлине Хаву, то сразу не смогла и узнать. Ей навстречу шла девушка в обтягивающих черных лосинах и футболке с надписью «My life, my rules» (Моя жизнь, мои правила). В одной руке она держала поводок, собака все время порывалась бежать куда-то. А в другой — большой пакет кошачьего наполнителя. Как выяснилось, Хава в свободное время подрабатывает, присматривает за домашними питомцами. Ей за это платят пятьсот евро в месяц. Эти деньги идут на фитнес и билеты на концерты известных певцов.

У Хавы беспорядочно распушенные волосы чуть ниже плеч, рваные кеды.

— Тут не обращают внимания на одежду. И на людей.

— Как? На людей не смотрят?

— Можешь полгода прожить в доме и не знать, кто твои соседи. А у нас все в курсе чужих дел, вплоть до заработной платы и личной жизни. Тут же главное, подготовил ли ты вовремя эссе, статью, какие исследования провел, — объясняла Хава.

Ее комната в общежитии напомнила спичечный коробок — три метра на четыре. Голые стены, потолок низкий и скошен, как чердак. Крохотные закутки: душ, кухня, туалет. Небольшая кровать, в углу столик, на нем ноутбук, книги с торчащими разноцветными закладками. Толстые книги сложены и вдоль стены на полу.

— Понимаешь, тут ничто не отвлекает. Библиотека внизу, научный руководитель в своем кабинете, всегда могу позвонить. Он даст совет. А у нас там нужно бегать за ним...

— Хава, ты читала Коран? — не удержалась Малика.

— Нет, я хочу прочитать его в оригинале.

— Ты изучаешь арабский?

— Нет, но, как приеду в Чечню, начну.

— Мы никогда не читали с тобой книги других религий и даже свою — Коран. Мы так мало знаем об этом.

— Малика, ты с ума сошла?! Тебя не должны посещать сомнения. Ты выбрала религию наших предков. И точка.

Возвращаясь из Германии в Москву, Малика решила, что не будет ученым. Если уедет за границу, не хочет жить в спичечном коробке и смотреть за питомцами богатых людей. А если останется в Чечне, — бегать за научным руководителем.

— А ты зачем сюда приехала? — вопрос Мика прозвучал неожиданно.

— Потому что планета общая, и я имею полное право быть там, где я хочу, — улыbnулась Малика.

— А мама, папа как отпустили? На Кавказе же с этим строго. Ты чеченка?

— Прости, но я не хочу отвечать на «вопросы паспортного контроля», — оборвала Малика.

— Я хочу узнать больше о ваших обычаях...

— Мик, мой дедушка воевал в Отечественную войну. Фашисты перестреляли весь их взвод. Деда ранили, он лежал, истекая кровью. Фашисты обходили лежавших на земле и добивали живых. Один из немцев долго смотрел на деда, держа пистолет на взводе, но выстрелил в сторону. Затем, быстро оглянувшись по сторонам, достал из рюкзака ломтик хлеба, положил рядом и ушел. Важен человек и его поступки, независимо от национальности.

— Мик, прости, но ты не мог бы прийти в другой день? — неожиданно сказала Кэт. — Уже ночь, и я не готова обсуждать тему твоей диссертации.

В ту же ночь Мик написал на страничке Кэт: «Люди, ни в коем случае не останавливайтесь в доме у Кэт. Там живут люди, которые не уважают чужое мнение!»

Назавтра — день рождения Самиры. Каждый год она сама себе покупает огромный букет роз на день рождения, День святого Валентина и на 8-е марта. Перед подругами делает вид, что цветы дарит ее парень, вымышленный, конечно.

Малика покупает красивую бижутерию для подруги. Торжество проходит в азербайджанском ресторане. Лезгинка. Кистинцы шепчутся о Малике: «Она действительно чеченка? Наверное, мама не чеченка. Как ее отпустили?»

К Малике подходит Бека, грузин двадцати трех лет. Приехал после окончания Московского университета погостить к родственникам. Недавно устроился в адвокатскую контору. Узнал, что друг приглашен на день рождения, и напросился в компанию. В Малику влюбляется с первого взгляда. Он не знает, что в Чечне даже разговор о свадьбе чеченской девушки с человеком другой национальности недопустим.

— Привет. Меня Бека зовут. А тебя как? — улыбается он.

— Привет. Малика.

— Я не здесь живу. Только недавно приехал. — Бека производит впечатление смелого и целеустремленного человека.

— Я поняла, что ты не местный.

— К тебе боятся подойти, ты знаешь?

— Знаю, — Малика прячет улыбку и внимательно смотрит в его зеленые глаза.

— Ты очень красивая. Давай встретимся.

— Это невозможно.

— У тебя есть парень?

— Нет.

— Тогда что мешает?

— Я скоро уезжаю.

— Дай мне свой номер.

— Нет, даже и не проси.

— Я так просто не отстану от тебя! — Он перекрикивает музыку, но именно в этот

момент кто-то ее выключает, и его слышат все. — Вот, возьми мой сотовый и впиши свой номер.

— Нет, я ухажу. — Малика поспешно хватается пальто и вызывает такси по мобильному.

Он достает из кармана бумажку, берет у кого-то ручку и быстро черкает свой номер.

— Я не уйду, пока ты не возьмешь.

Они стояли у заснеженной дороги. Мимо стремительно проносились машины. Снег валил густыми хлопьями. Волосы, уложенные мастером Артуром, трепал ветер. Малика напевала про себя песню Фрэнка Синатры: «Let it snow». В одной руке она держала листок с номером мобильного Беки, в другой — черный клатч. Когда подъехало такси, она повернулась к Беке, протянула ему листочек и, сказав: «Прости, я правда не хотела тебя обидеть», — решительно села в машину.

Калитка с причудливыми коваными узорами оказалась запертой. Малика выкрикивала имена всех, кто мог бы выйти открыть ей, но никто не отозвался. Обзвонила знакомых, которые могли находиться в их квартире, никто не взял трубку.

Из их квартиры на полную мощность неслась песня Джастина Тимберлэйка «Sexy Back». Малика лепила и бросала снежки, но они не долетали до заветного окна Кэт. В конце концов она выбилась из сил и рухнула в сугроб. Глядя на небо, она пыталась найти падающую звезду. Ей вспоминалась та далекая холодная ночь, до начала военных действий, когда она ездила с родителями в пастушью кошару в Наурский район. Им с мамой пришлось сесть в кузов грузовика, так как в кабину сел папин дядя. Маме как снохе было положено уступить место. Грузовик мчался. Мама крепко обнимала ее, и когда ветви деревьев ударялись о кузов, осыпая их снегом, они громко смеялись.

Малика стала плакать.

— Вай ме-е-е. Рах деба? — поинтересовалась прохожая и подала ей руку.

— У нас калитка закрыта... А трубку никто не берет, — зашмыгала носом Малика.

— Не реви! Ты же не одна. Можешь в любой дом зайти, никто не прогонит. Это Грузия! Конечно, в такое позднее время люди по домам сидят и калитки запирают. Раньше, при Шеварднадзе, такое было бы невозможно представить. А теперь везде криминал! Манана меня зовут. Тут недалеко живу, пойдем, отогреешься, — улыбнулась пожилая женщина с редкими зубами.

Манана получала пособие для малоимущих и подрабатывала уборкой в чужих домах и огородах. Ей шестьдесят два года, но на вид можно дать все семьдесят. Она живет с дочерью в однокомнатной квартире. На самом деле у них была всего одна комната, сразу за входной дверью, разделенная на четыре части кружевными занавесками. Досталась по наследству от покойной матери. Но комната была намного больше спичечного коробка Хавы.

У маленького стола, уютно устроившись и обмотав вязаным свитером ноги, штудировала алгебру ее улыбающаяся дочь. На ней были дутая куртка, шапка и перчатки с открытыми пальцами. Она все время дула на пальцы, пытаясь их согреть. Когда они разговаривали, изо рта вырывался белый пар. Небольшая газовая плита с одной конфоркой стояла под столом.

— Здесь у нас и кухня, и ванная одновременно. Ставим тазик и моемся. А это зал.

В «зале» стояли телевизор, полка с книжками и кресло. В третьей комнате — одна кровать, на которой спали Манана с дочерью, и еще в одной комнате спала ее пожилая больная сестра. Та иногда постанывала и отхаркивалась в тазик, который задвигала под кровать. Манана взяла с подоконника апельсин и, разрезав его, заварила кофе в турке.

— Это все, чем могу тебя угостить, — улыбнулась она.

— Не нужно! Может, я пойду? — Малика лихорадочно обзванивала знакомых, но слышала лишь гудки в ответ.

— А ты кто по национальности?

— Чеченка.

— О, чеченка! У нас в Грузии Алла Дудаева живет. Ее часто по телевизору показывают. Такая добрая и мужественная женщина. Я ее очень уважаю. Хотя и не разбираюсь в политике...

Они просидели так еще час, пока не перезвонила Кэт, которая, стараясь перекрыть Бритни Спирс, заорала:

— Где тебя носит? Ты собираешься домой сегодня?!

Дэйв утром, узнав эту историю, был в шоке. Малика пыталась сосредоточиться на новом рассказе.

— О чем ты пишешь? — спросил Дэйв.

— Оглянись вокруг. Все, что ты видишь, — это то, о чем я пишу. О жизни.

— Ты собираешься домой?

— Да, Дэйв, не всю же жизнь слушать твои барабаны и признания в любви.

— Вот об этом я и хотел говорить. Предлагаю выйти за меня замуж и жить в Калифорнии. Буду подавать тебе гамбургер в постель.

— Дэйв, из-за тебя я опаздываю на семинар по противодействию насилию над женщинами.

Семинар был рассчитан на несколько дней, но Малика ушла оттуда, как только увидела знакомую, Тамилу. Та еще в детстве прославилась как человек с садистскими наклонностями. В летнем лагере издевалась над маленькой сиротой. Заставляла мыть полы в ее комнате, стирать ее вещи и избивала. И даже продала золотое колечко, доставшееся девочке от покойной мамы. И вот эта Тамилла с назидательным видом учила всех бороться против издевательств над женщинами.

Малике стало тошно, и она решила незаметно удалиться. У выхода столкнулась с Зарой. Три года назад та вышла замуж за кистинца и переехала в Тбилиси.

— О, Малика!

— Зара, оставайся свободной.

— Ты работаешь?

— А... Да.

— Кем работаешь? И сколько тебе платят? Ты замужем?

— На какой вопрос мне ответить?

— Тебе сложно ответить на все, чего ты испугалась? — Зара поправила платок на голове.

— Работаю... менеджером в туристическом агентстве. Не замужем. 720 лари.

— О, ваааа, серьезно? Как тебе идет эта губная помада, похорошела. Почему не заходишь ко мне? Мы же чеченцы и должны держаться вместе. Мы же мусульмане. Мы братья и сестры. А еще говорят, что ты пишешь повести. Тебе платят?

— Но я же пишу не ради денег. Ради денег я работаю, а это — для души. Зара, я спешу.

— Так и не скажешь, сколько тебе платят? Тогда зачем писать? А как тебя родители отпустили?

Малика с трудом сдерживала себя. Перед ней словно стоял человек с другой планеты.

Был в ее жизни момент, когда она даже хотела эмигрировать в Европу и стала наводить справки у знакомых, живущих за границей. Друг троюродного брата Лечи несколько лет назад уехал в Польшу. В Украине сел на поезд, заплатил проводнику, и тот перевез его через границу. Полгода спустя к нему присоединились жена с двумя детьми. Теперь их семья жила на пособие.

Лечи не советовал Малике приезжать одной: в Европе настороженно относятся к одиночкам. Они вызывают подозрение, спокойно смотрят лишь на семейные пары.

Лечи подчеркивал, что остается там только ради детей, чтобы дать им образование, а потом они вернутся.

— Тут многие только и делают что сидят в интернете, редко кто пытается заработать. Есть чеченцы, которые выучили язык и нашли работу. А эти только и следят друг за другом, кто что сделал, чтобы всем миром накинуться и осудить...

После общения с Лечи Малика приуныла. Она поняла, что всех зарубежных чеченцев связывают тоска по родине, накопленные былые обиды, радикальное отношение к действующей власти, поклонение национальной идентичности и нежелание понять другую культуру, особенно старшее поколение утверждает, что чеченцы стали не те, и жизнь не та. Они покидают республику из-за того, что не видят перспективы для реализации собственного потенциала, в надежде на радужное будущее — но пассивно живут за счет пособия.

Если Малика соберется приехать, то Лечи просил привезти диски с записями чеченских свадеб и народной музыки, учебники родного языка, национальные костюмы и вайнахские украшения. Удивительно, почему они не могут музыку и книги скачать в интернете, ведь сегодня это не так трудно сделать? А если Малика собирается стать писателем, то Лечи рекомендовал писать только о депортации чечено-ингушского народа, о чеченской войне и чеченских обычаях и традициях.

— Пиши о нас только хорошее. Лишь тогда тебя полюбит весь чеченский народ, — говорил он ей по скайпу.

Но Малика всегда считала, что писатель не обязан плыть по течению в общем русле и стараться понравиться всем.

Тем временем Кэт влюбляется в Агостино, а Агостино в Кэт. И они решают через несколько недель пожениться.

— Будет свадьба! — объявила всем Кэт, счастливая, в ободке из белых искусственных роз на голове и с золотистыми блестками на щеках.

Дэйв как раз коротал время за просмотром документального фильма Би-би-си «Прогулка с монстрами: жизнь до динозавров». От удивления он подпрыгнул и рассыпал свой поп-корн из бумажного стакана.

— За кого?

— За Агостино. А что?

— Сколько дней вы знаете друг друга? Может, рановато со свадьбой? — поинтересовался Дэйв, собирая с полу поп-корн.

— Мы знакомы достаточно. Тем более что у меня есть свадебное платье, которое сшила Эмили.

— Свадьба состоится в Тбилиси?

— Нет, мы отпразднуем ее в Польше, чтобы у Малики не возникло трудностей с визой.

— Малика, ты слышишь?

— А что я могу сказать? — ответила Малика, выходя из своей спальни. — Главное, чтобы Кэт была счастлива.

— Ты решила соблюдать нейтралитет. Но в политике — это самое ужасное. А в жизни — вдвойне. Нейтралитет — хуже войны!

— Что ты знаешь о войне, Дэйв? То, что показывают в документальных фильмах Би-би-си?

— Сорри... — вмешалась Кэт. — Но мы говорим сейчас о моей свадьбе! К черту войну! Скажите, вы рады или нет?

— Мы рады, просто вы мало знакомы. У него есть брат или сестра?

— Я спрошу, не проблема.

— О чем он мечтает? — не унимался Дэйв.

— Я спрошу. Все, пресс-конференция окончена! Прошу всех к столу.

Чтобы лучше узнать друг друга, Агостино и Кэт решили поехать в Венецию, на целый месяц. Раньше Кэт о Венеции предпочитала не говорить. В школьные годы она побывала там на летних каникулах и запомнила только запах сырости и помет от множества голубей повсюду.

— Малика, собирайся, мы идем в индийский ресторан «Махараджа»! Познакомлю тебя с Сэмом. Я ему сказала, что ты мусульманка. А там свинину не подают.

— Сэм? Какой еще Сэм?

Сэм — в прошлом журналист, освещавший все горячие точки, в том числе боевые действия в Чеченской республике. Теперь читает лекции по конфликтологии в разных странах мира. В журналистике разочаровался, так как пришел к выводу, что снимать плачущих, убитых горем матерей и детей, рядом с которыми лежат трупы их близких, неэтично. Некоторые фотографии Сэма даже не разрешали выставлять, поскольку они могли слишком глубоко травмировать психику. Но тогда он считал, что должен показать все как есть, чтобы мир узнал, как жестоко лицо войны. И чтобы политики не развязывали войны. Малика заметила, что мышца под правым глазом Сэма дергалась и руки, покрытые шрамами, немного дрожали.

— Убивать можно, а смотреть нельзя?! — с горечью произнесла она.

Им принесли заказ. Ароматные небольшие лепешки со всевозможными соусами. Ели руками.

Сэм блондин. Длинные густые волосы с проседью, которые постоянно падали на лоб, и он откидывал их назад, серые внимательные глаза. Белая рубашка, поверх которой надет вязаный синий жилет, и военные брюки.

На второй войне в Чечне он пробыл недолго, быстро покинул республику через грузинскую границу. Объяснял, что в той войне никакие правила не соблюдались.

— А разве на войне соблюдаются какие-то правила? — удивилась Кэт.

— Конечно. Женевская и Гагская конвенции, которые входят в Международное гуманитарное право... Правила поведения в вооруженных конфликтах. Существуют виды оружия и боеприпасов, которые запрещены.

— А если они запрещены, почему их выпускают? Не легче ли запретить их производство? — возмутилась Малика.

— В идеале это верно, но мы-то понимаем, что не все так просто. Я много встречаю в моей среде людей, которые написали десятки книг о войне в Чечне, но сами при этом ни разу не побывали не то что на войне, а просто в Чечне.

— А вы писали книги?

— Я участвую только в научных конференциях, где нет прессы. Не хочу зарабатывать деньги за счет чьих-то слез.

Наступила неловкая пауза.

— Вот как после таких рассказов есть этот десерт? — сказала Кэт, давно хотевшая сменить тему разговора.

— О, простите, я вовсе не хотел портить вам настроение.

Сэм охотно поделился другими, невоенными наблюдениями. Например, о том, что у чеченцев все связано с деньгами. Во время свадьбы, когда невеста выходит из дома родителей, обязательно надо дать за нее выкуп. Деньги дают также родственникам жены, которые передают ее родственникам мужа. Детям, перекрывающим дорогу свадебному кортежу. Если девушка красиво танцует на свадьбе, в ее сторону бросают денежные купюры, а потом тамада собирает их и передает ей.

Во время похорон, свадеб, поминок родственники всегда помогают друг другу деньгами или продуктами. Каждую пятницу в мечетях молящиеся вносят деньги в общую казну, чтобы их потом раздали нуждающимся.

Но больше всего Сэма поразила стрельба из автоматов во время свадебной процессии и исполнения лезгинки.

— А еще помню, невесту привезли в дом мужа. Не успела она выйти из машины,

как свекровь начала осыпать ее конфетами из глубокой пиалы. Сладости падали на землю, и дети их подбирали. А потом свекровь протянула одну конфету невестке, та откусила, а свекровь доела и обняла сноху. Я так понял, чтобы жизнь была сладкой. Кстати, а почему у вас в похоронных процессиях не бывает женщин?

— Потому что женщины плачут, а на мусульманских кладбищах плакать не принято, — объяснила Малика.

— Нет. — Кэт сморщила нос. — Я бы не согласилась. Как можно?

— Ну, такие обычаи у нас. Меня тоже многое в других культурах не устраивает, но это не значит, что я не уважаю чужие традиции.

— А что может тебя не устраивать в наших традициях? — удивились Кэт.

— Много чего. Давайте сменим тему.

— Кэт, ты надолго в Тбилиси? — спросил Сэм.

— Я выхожу замуж.

— Как?! Еще неделю назад ты говорила, что у тебя нет бойфренда.

— Мы с ним познакомились на следующий день после нашего с тобой чата. Ты что, не рад?

— Кэт, вы знакомы всего несколько дней!

— Но я люблю его.

Их беседу прервал звонок подруги Сэма из Америки. Она суррогатная мать и после искусственного оплодотворения ждет ребенка для одной семьи, проживающей в Европе. Подругу сейчас мучает сильный токсикоз, и она хотела бы, чтобы близкий человек был рядом. Она согласилась стать суррогатной матерью, чтобы заработать деньги на онкологическую операцию для любимой бабушки. Сэма несколько не смущает эта ситуация, и они хотят пожениться, как только она родит.

— Вы же христиане! — воскликнула Малика.

— А в исламе запрещен суицид, самоубийц не разрешается хоронить на общем кладбище. Но во время войны в Чечне очень многие люди кончали собой, и их семьи скрывали этот факт.

— Это не одно и то же. Война — совсем другое дело.

— Рак — тоже война, — ответил Сэм.

Кэт, Агостино и еще несколько человек курили в гостиной. Обкуренная Мерedit взобралась на стол и пела песню итальянских партизан «Bella Ciao».

Малика, прикрыв ладонью, шепотом разговаривала с матерью.

— Мама, привет. Что делаешь? Не скучай. Я скоро приеду. Что? Плохо слышно. Нет, я не уволилась. Приеду домой на месяц, потом вернусь. За границу? Кто тебе это сказал? Нет, это неправда. А папа дома? Почему он никогда не берет трубку? Занят? Скажи, что я люблю его. Он спрашивает обо мне? Все хорошо, я довольна квартирой. Тут не соскучишься. Мама, я не грущу. И не плачу, просто хлюпаю носом, потому что простудилась. Я уже собрала вещи. Что тебе привезти? Себя? Хорошо.

Рано утром они передают ключи хозяйке Софики, которая строго, как жандарм, обходит все комнаты.

— Если передумаете снимать квартиру, обязательно сообщите за две недели, чтобы я могла найти других постояльцев. Я буду скучать. Кай гогонеби. (Хорошие девочки.) Когда вернетесь, обязательно повезу вас в деревню. — Малика и Кэт улыбнулись, так как она не в первый раз приглашала. — Нет, на этот раз точно. Я вас в Рачу повезу и научу готовить хинкали. Малика, привези мне футболку с надписью: «Если чо — я чеченка», а ты, Кэт, привези мне сувенирную венецианскую маску. Сакартвело гаимарджос! Пошли. Нам еще несколько домов обойти надо, — скомандовала она мужу.

Сопо, как всегда с идеальным маникюром и красными губами, жарила баклажаны. Пес Джузеппе от нечего делать ловил падающие снежинки. За Маликой приехал таксист Сергей и, загрузив чемоданы, дожидался в сторонке.

— Знаешь, что каждую снежинку на землю приносят ангелы с небес? — сказала Малика, обращаясь к Кэт.

— Невероятно, столько ангелов сейчас с нами, а мы не ценим этого. В детстве я всегда боялась ходить по снегу, представляешь? — откликнулась та.

— А я, когда была маленькой, всегда спешила первой пройти по снегу, а потом обернуться и с гордостью смотреть на свои следы.

— Вот так, когда состаримся, пройдем длинный путь, мы тоже обернемся, чтобы взглянуть на свои следы и увидеть, что мы натворили. Малика, ты была мне как сестра. Нет, не перебивай, дай мне закончить. — Синие глаза Кэт наполнились слезами. — Я не знаю, что нас ждет впереди, но будь верна внутреннему голосу. Никогда не плачь. Знай, что у тебя есть я и есть Он, — она указала пальцем в небо. — Поверь, Он любит всех нас и думает о каждом. Не забывай благодарить за все что имеешь: за еду, одежду, деньги. Даже если у тебя рубль или тетри в кармане. И еще я разговаривала с Агостино. После окончания моего и твоего контракта мы можем поехать и поработать в Италии.

Малика рассмеялась.

— Что ты смеешься, как ненормальная? Слушай, там есть школа для пожилых людей по изучению редких и исчезающих языков. Будешь преподавать чеченский... Я тоже до утра думала, чем бы себя занять в Италии, и наконец придумала. Ни за что не догадаешься, я буду преподавать грузинский язык...

— Но ты же не знаешь грузинского языка!

— Я могу их обучить алфавиту. Или скороговоркам.

— А может, лучше разукрашивать венецианские маски?

— Я подумаю над твоим предложением. О жилье не думай, дом у Агостино трехэтажный. Достался от покойного отца. Место найдется для всех. Вечеринки будем устраивать. Вот и Мередит поедет с нами.

— А другая сторона в курсе?

— Мередит?

— Нет. Агостино, что она будет жить в твоём, то есть в его доме?

— Он любит меня.

Малика посмотрела на Агостино, который лепил снежки и бросал в Дэйва. А тот изображал, будто его подстрелили.

— Мэри будет учить итальянских бабушек вышивке крестиком и бисером. Упс, про Дэйва-то мы забыли...

— Может, его устроят работать э... как его, гондольером?

— Дэйва? Пусть сам выплывает отсюда. Должен понимать, что всю жизнь нельзя провести в путешествиях. Пора взрослеть. Всему когда-то приходит конец.

— И дружбе?

— Да, когда человек умирает, а бывает и раньше. Хатуну вспомни.

— И поэтому ты не придешь ко мне на кладбище, раз дружба заканчивается после смерти?

— Посмотрим.

Малика увидела старушек Диану и Элинэ, которые, держась за руки, осторожно возвращались из пекарни. Странно, но если следовать логике перформанса, придуманного Маликой, то они живут вот так, держась за руки, кружатся вокруг себя уже много лет.

Таксист нервно засигналил.

— Что за голливудское у вас там прощание?!

— Вай ме-е-е, — хором протянули Малика и Кэт и засмеялись.

Малика приехала в Чечню поздно вечером. На двух блокпостах ее долго допрашивали. Хотелось плакать, но она дала слово Кэт.

На следующий день Малика навестила могилы погибших родителей... Их нет в

живых, и общение по мобильному телефону с ними — фантазия. Просто Малике хотелось, чтобы у нее была полноценная семья, как у других, чтобы дома ее ждала мама. Друзья в Грузии об этом не догадываются.

Родители Малики, Хасан и Элина, погибли во вторую войну. Их вишневая «Нива» хотела объехать длинную колонну и направилась в объезд. На обочине дороги была заложена мина.

Интересно, о чем думал тот человек, который ее закладывал? Задумывался ли он над тем, кто погибнет от нее? Или этот человек бездушно, как робот, выполнял приказ? Ведь ходят слухи, что во всем мире в армию предпочитают брать людей с низким IQ, наверное, чтобы они тупо выполняли приказы. А может, минер плакал?

Родителей собирали по кускам.

Звонки Малики маме и папе — иллюзия ее мира. Ими она успокаивается. Ей не хочется верить, что их больше нет. Родители часто навещают ее во сне. Приходят счастливые, в белых одеждах и с угощением. У чеченцев такой сон считается хорошим, плохо, когда мертвые приходят просить еду во сне. Тогда нужно сразу же трем нуждающимся семьям раздать продукты, а прежде чем отдать, рукой провести над ней и прочесть молитву, чтобы на том свете эта еда дошла до них.

Элина мечтала, что ее дочь станет акробаткой, которая ходит по канату, улыбается и ничего не боится. В мечтах дочь представлялась ей в блестящем костюме, машущей рукой публике.

А Хасан видел в ней швею — как главную героиню мексиканского сериала «Просто Мария», которая ему втайне нравилась. Во время первой войны отца Малики прозвали «Бибиси». За то, что он был в курсе всех новостей, которые слушал по своему автомобильному радиоприемнику.

У «Бибиси» была сестра, Кэйпа, страдавшая умственными отклонениями. Она жила вместе с ними до двадцати пяти лет, пока не стала нападать на людей. Ее часто забирали в психбольницу в село Закан-юрт. А потом определили туда на постоянное лечение. Она перестала узнавать брата, отца, маму, кричала, когда кто-то к ней подходил. И успокаивалась только тогда, когда ей давали гуашь, банку с водой и кисть. Тогда она уютно устраивалась перед окном и рисовала ветки сосен с елочными игрушками и снежинками, напевая полупрошепотом колыбельную. Над своей кроватью в больнице она огромным гвоздем прибила куклку, сделанную ее мамой. Куклу в свадебном белом платье...

В психбольнице Закан-юрта находились тогда и вполне здоровые люди, но из-за громадных долгов, с которыми они не рассчитались бы и за всю жизнь, приходилось прятаться. Психбольница напоминала спасательный круг, наверное, как съемная квартира Кэт и Малики. И ничего, что рядом в палате были сумасшедшие люди. Главное — теперь, после череды бессонных ночей по неизвестным дворам и сараям, им спится спокойнее. И пусть родственники стирают с ворот надписи: «Верни долг!»

Психбольницу во время первой войны покинули врачи и доктора. Больные стали сами спасаться кто куда. Многие умерли или пропали без вести. Где сейчас Кэйпа, не знает никто. Но когда Хасан и Элина в поисках ее поехали в психбольницу, то узнали на осколках стекла ее рисунки.

После смерти родителей Малику определили на воспитание к Анжеле, двоюродной тете папы. Тридцатипятилетняя Анжела, два раза побывавшая замужем и собиравшаяся выйти в третий раз, никак не предполагала, что на нее ляжет такая ответственность. Поэтому, когда узнала, что девушке предложили работу в Грузии, охотно дала согласие.

Анжела без ума от комплиментов, украшений, платков со стразами, одежды тигровых расцветок, от омолаживающих масок, кремов и различных обертываний для коррекции фигуры. А если вместо ожидаемого естественно-каштанового цвета волос

в салоне красоты получается рыжий или с красноватым оттенком, она приходит в ярость.

Анжела втайне опасается остаться без детей, без мужа и доживать свой век одна.

В двухкомнатной квартире Анжелы так тепло, что можно ходить в одной футболке и без носков. Сначала очень трудно к этому привыкнуть. Ведь в Грузии так тепло в квартирах не бывает. Малика привезла ей бижутерию и пиджаки.

— Вот в этом пиджаке и с этими сережками пойду завтра на работу. А в красном пиджаке с красным ожерельем — послезавтра, — решала трудные ребусы Анжела, всматриваясь в силиконовые губы, татуированные алой подводкой. Брови тоже обрисованы коричневым татуажем, как у царицы Нефертити.

— Ты знаешь, что людей с татуажем не хоронят по мусульманским обычаям? Даже брови нельзя выщипывать и волосы отрезать. Представляешь?

— А ботоксом накачивать губы можно?

— Женщина обязана быть красивой для мужчины, есть такая сунна, мне кажется. Я считаю, что можно подровнять нос и накачать губы.

Тетя осталась довольна подарками и еще долго крутилась перед высоким зеркалом. Пока от усталости не свалилась в постель и не уснула. Ее айфон до утра вибрировал от звонков ухажеров, и чехол, усыпанный стразами, поблескивал в свете, падавшем от уличных фонарей.

В ее обязанности на работе входит сидеть в приемной рядом с кабинетом начальника и приносить кофе, чай и конфеты для него и его гостей. А еще она отправляет факсы и обзванивает необходимых людей. Ей бывает очень скучно, поэтому она торчит в «Одноклассниках», где ей часто набиваются в друзья бутики, косметические салоны и рекламные газеты.

Говоря о политических предпочтениях, следует заметить, что Анжелу абсолютно не волнует, кто находится у власти, лишь бы ей вовремя платили ее секретарскую зарплату, ибо она не может прожить и неделю без посещения салона красоты.

Анжела интересовалась женихами племянницы и тем, имеются ли в Грузии богатые кавалеры, а также — что там дарят на свиданиях. Поначалу Малика смеялась, но потом ее охватило тревожное недоумение: неужели тетю на самом деле ничего больше не интересует? Хотя, с другой стороны, будь Анжела такой же строгой опекушкой, как другие, она никогда бы не отпустила Малику в Грузию.

Кэт прислала по эсэмэс фотографию: они с Агостино, довольные, на фоне гондол. Подпись гласила: «Италия ждет тебя».

Спустя неделю Малика побывала на встрече одноклассников в Грозном. Место проведения — ресторан «Японский дворик». В приглушенном томном свете они фотографировались, строя рожи друг другу. Кто-то скромно сидел на диване, а кто-то не зевал и уже выпрашивал номера телефонов у красивых девушек за соседними столиками.

Некоторые опаздывали на встречу. В частности Зара, которая устроилась на работу в аппарат правительства. Зара уже в школе отличалась хитростью, всегда знала, где нужно улыбаться, а где оставаться серьезной. Никто не сомневался в осуществлении ее амбициозных планов. Любила доносить учителям, за что привечалась ими и во время мероприятий в актовом зале всегда сидела в первых рядах. Зара названивала каждые десять минут.

— Еще не собрались? А кто уже пришел? Я немного задерживаюсь — дела, но постараюсь прийти.

Зара часто меняла мобильные номера, так как, узнав, что она работает в правительстве, ей названивали незнакомые люди с просьбой решить их проблемы: срочно вывезти сына на лечение в Америку, занести в Красную книгу редкие травы, растущие в горных районах Чечни, проложить в какое-то село долгожданную дорогу...

Слушая их, Зара обычно просматривала модные журналы, выбирая, скажем, платье от Dolce Gabbana.

Точно известно, что не придут Муслим, Абу, Пэпа и Супьян.

Пэпа умер в девятнадцать лет. Он был отличником в школе, носил очень сильные очки, поехал учиться в Москву, сдал вступительные экзамены на пятерки, но через год вернулся домой с какой-то непонятной болезнью. Он не выходил из дома, лежал на кровати исхудавший, обессиленный, с потускневшим взглядом и ничего не ел, только пил воду. Однажды он попросил мать открыть окно, так как ненавидел запах медикаментов. Почему-то именно в этот день соседи решили сжечь старые автомобильные шины. Из-за густого черного дыма, валившего с их двора, мать Пэпы не увидела смерть сына. Когда дым рассеялся, мальчик уже был холодным.

Мать собрала книги Пэпы и сожгла их перед домом, полив керосином. Она, как и ее односельчане, имела привычку быстро прощаться с прошлым. Село озарилось красным огнем. А на следующий день пошел «снег» — это кружился в воздухе пепел от сгоревших книг. Как бы обрадовался Пэпа, он всегда мечтал увидеть снег летом.

Муслима, тогда еще десятиклассника, ночью похитили люди в военной форме. Он дружил с ваххабитами, играл в компьютерные игры, слушал «Queen», и ему была совершенно безразлична нетрадиционная ориентация Фредди Меркури.

Его мама в ночной рубашке выбежала во двор и на коленях умоляла отпустить Муслима. Ей посоветовали зайти в дом, чтобы не простудиться. Их не волновало, что это ее сын, что ей не нужна жизнь без него и плевать ей на простуду. Родители Муслима делали запросы в суд, прокуратуру, в администрацию района... В восьмом классе Муслим победил в школьном конкурсе на «лучший скворечник», и в безумии отчаяния его мама показывала эту грамоту в прокуратуре, но до сих пор неизвестно, где он находится. И жив ли?

А Абу умер от шальной пули... Он ехал в свадебном кортеже друга. Из окон автомобилей мужчины выставили автоматы, пистолеты и палили в небо. У одного из стрелявших затекла рука, и ствол чуть опустился. Именно в этот момент Абу высунулся из окна — хотел сосчитать количество машин в колонне, чтобы похвастаться на следующий день перед друзьями. Но счет был прерван случайной пулей.

Супьян? В народе его дразнили — «с утра пьян». Испытывая судьбу, он лазал по заброшенным домам и развалинам даже после того, как подорвался на mine и лишился руки. Скончался он в лесу, когда ходил с тетей собирать черемшу в запретной местности, где часто проводились операции по поимке боевиков. На этот раз он наступил на мину последний раз. Его тете вместо черемши пришлось собирать его останки.

Малике тяжело листать альбом с фотографиями. Везде — лица четырех покойных мальчиков.

— А Седа не придет?

— Нет. Вышла замуж. Двое детей. Муж ревнивый. Она не выходит из дому.

Седа в юности собирала редкие волосы под кепку, ходила в шортах, закатав рукава рубашки, разгружала с кузова трактора овес и ячмень большими ведрами. Как-то младшего двоюродного брата Седы избили старшеклассники. Она подкараулила их на следующий день. Отобрала школьные рюкзаки и закинула на прицеп, груженный навозом. Побила обоих, привела к двоюродному брату и заставила извиниться. И только по вечерам, на чеченских танцах, она превращалась в грациозную лебедь. Красила губы вишневой помадой и надевала платье, подчеркивавшее фигуру.

За ней ухаживал парень, занимавшийся бизнесом и ездивший на собственном джипе. Седу никто не спрашивал, все решили родственники, сыграли свадьбу. Теперь она сидит дома, смотрит за двумя детьми и ждет третьего.

Седа после замужества, по мнению родственников мужа, сошла с ума: целовала цветы и деревья, разговаривала с ними. Мулла долго читал молитвы на арабском языке,

потом вынес вердикт: джинны коснулись ее рук. Теперь муж Седы каждую неделю приносил для нее из мечети две канистры воды, напитанной молитвами.

— А что с Айной?

— Неудачно вышла замуж, вернулась домой. Братья, охраняя ее честь, контролируют все ее выходы в свет.

Айна была тихой, закомплексованной и самой молчаливой девочкой в классе. И поэтому, когда в девятом классе она вышла замуж, новость всех ошеломила. После замужества она благодаря родственным связям работала акушеркой в родильном доме. Очень доходный заработок по местным меркам. Если акушерка сообщает родственникам мужа о рождении мальчика, ей дают до пяти тысяч рублей. Если рождается девочка, — до трех. Скольких новорожденных Айне довелось купать и пеленать! Она мечтала в один прекрасный день искупать и своего. Весть о бесплодии повергла ее в депрессию. Муж за очередной чашкой чая с молоком озвучил решение: «Разводимся!»

Айна сменила работу и теперь целыми днями прокручивает фарш на рынке. Бизнес доходный. Рынок посещает и бывший муж, который, завидев ее, опускает глаза и идет покупать фарш у других продавцов.

Не придет и Таиса... В детстве она посмотрела фильм о супер-героях, которые умеют летать. Ей тоже захотелось полететь... со второго этажа. Она осталась жива, но стала калеккой на всю жизнь. Сначала ее в инвалидной коляске привозила в школу мама. Но чем старше становилась Таиса, тем больше стыдилась своего положения. Теперь она целыми днями сидела одна в комнате и наблюдала за разноцветными рыбками в трех аквариумах. Сиделки у Таисы все время менялись, так как она часто закатывала истерики и била кулаками по потерявшим чувствительность ногам.

Стены ее комнаты вместо обоев обклеены рентгеновскими снимками и результатами МРТ. Она считает, что нужно смотреть действительности в глаза.

Малика заметила, как неохотно официантки обслуживают их стол и, наоборот, суетятся вокруг мужчин в вытуженных костюмах и при галстуках.

— Это сотрудники аппарата правительства, поэтому и обслуживают их в первую очередь, — пояснили Малике.

Подошла Оксана. Она чеченка, но первой любовью ее отца была русская женщина с этим именем, в честь нее Оксану и назвали. Оксана, как и Малика, не замужем. Поэтому не обошлось без шуток в их адрес.

— Вы, девочки, поторопитесь, после двадцати вы уже никому не нужны.

— Мои года — мое богатство, — пропела Оксана.

— Не переживай, нашему бывшему учителю физкультуры тридцать восемь, а он еще не женат. Так что у тебя есть шанс, Малика.

Но Малика переживала не по этому поводу, а из-за того, что бывшим одноклассникам не о чем было говорить.

Несколько лет назад Оксанина мама подарила ей и Малике небольшой отрез ткани, чтобы они пошли к швее и заказали себе две мини-юбки с запахом (ударение на втором слоге). Довольная швея сняла мерки, но через неделю неожиданно надела хиджаб и отказалась шить.

— Мини-юбки носить грех. Если я их вам сошью, на том свете с меня спросят, — поучала швея. — Я сделала две наволочки для себя, теперь эта материя принесет больше пользы, иншааллах, и ваш грех можно считать прощенным.

Идрис, одноклассник Малики, студент медицинского факультета, кичился тем, как он за деньги родителей «сдает» каждую сессию. Он показал двумя пальцами небольшое расстояние и пояснил, что за три года учебы даже вот столько не прочел. И все одобрительно засмеялись. Интересно, кто попадет на его операционный стол?

— А вы знаете... что тут продолжают исчезать люди?

— Малика, успокойся. Начиталась газетных уток. Не порть нам настроение, — вспылил Идрис.

— Представь, что твои близкие исчезнут.

— Если исчезнут, то как-нибудь решим этот вопрос. Не беспокойся. А если случилось, значит Аллах так захотел. Улыбайся — это сунна. Мне папа часто говорит: «Улыбайся — люди любят идиотов», — засмеялся Идрис.

Они сфотографировались на мобильные телефоны и пообещали собраться еще раз. Но Малика решила, что для нее это последняя встреча.

К их счету добавили десять процентов за обслуживание. И не вернули сорок восемь рублей сдачи. «А-а-а, мелочь. Пусть оставят себе», — отмахнулся Идрис.

Кто уехал на джипе, кто на такси, кто на автобусе или маршрутке, а кто и ушел пешком.

Малика прокручивала в памяти видео, которое показал на мобильном телефоне Идрис: после развала Чечено-Ингушетии идут митинги оппозиции, и каждая группа людей предъявляет свои требования. Доходило до абсурда. Представители села Шалажи Урус-Мартановского района провозгласили создание независимой республики. Их предводитель готов был возглавить ее, опираясь на бойцов своего отряда.

— Мы, граждане России и Шалажинского суверенного государства, в скором времени станем жить как братья. Все у нас будет справедливо и прекрасно на зависть другим народам мира. Я убежден, что российское государство будет сильнее Америки и всех остальных государств. Ура!

— Ура! — подтвердила толпа.

Спустя годы он даже написал брошюру «Государство Шалажи, или Как я стал первым президентом». Малика поинтересовалась у Идриса, что стало с ним сейчас. Оказалось, этот человек пытается судиться с самим Джеймсом Кэмероном, уверяя, что тот украл его сценарий с сайта Проза.ру и снял по нему свой фильм «Аватар».

Смеркалось. Малика зашла в местную библиотеку. В читальном зале кроме сотрудников никого нет. Может, из-за позднего времени. Малика никогда не знает заранее, какую книгу попросит. Это как игра. Сейчас она выпаливает два имени:

— Фредерик Бегбедер и Вуди Аллен.

Библиотекарши удивленно переглянулись.

— Как вы сказали? Федирик Биг...Биг?

Малике не захотелось повторять, она медленно развернулась и пошла к выходу.

И вдруг ее окликнули. К ней приближался незнакомый пожилой мужчина в строгом костюме, теребивший между пальцами дужки очков и сверливший Малику взглядом. Седой незнакомец заговорил медленно, тихо, но настойчиво.

— Что за авторов ты назвала? Иностранные? А кого-нибудь из чеченских знаешь? Послушай меня. Нохчи — самая великая, древняя и лучшая нация. Запомни! Читай Арсанукаева, Айдамирова, Бадиева...

— Простите, мне надо идти, и я вас не знаю.

— О детях Ноя слышала? Так вот. Его звали на самом деле Нох, а не Ной. Оттуда и пошло слово — нохчо, то есть чеченец. В первую очередь ты чеченская девушка и должна думать о потомстве, а не о карьере. Об очаге, муже и семье. Единственная женщина в политике, которую я уважаю, это Маргарет Тэтчер. Почему, знаешь? Потому что она умела готовить и была прекрасной домохозяйкой и матерью. — Пожилой человек тыкал указательным пальцем в пространство, как будто выступал на сцене.

Малика сделала попытку уйти, но незнакомец не отставал.

— Что ты делаешь? Хочешь нам Запад навязать? Не получится, так и передай тем, кто тебя сюда послал.

— Никто меня не посылал! Почему я не могу читать литературу разных народов?

— Европа и Америка нам не нужны. У нас все свое. Будем отталкиваться от своих

корней и собственной высоконравственной культуры. Наша нация самая древняя, с самой высокой культурой, поэтому нас и истребляют. — Незнакомец наступал на Малику, и ей ничего не оставалось, кроме как медленно пятиться в проходе между стеллажами. Видно, у него давно не было благодарных слушателей, и он решил отыграться на ней. Малика могла оставить его и выбежать, но мешало воспитание: не могла она так обойтись со старым человеком.

— Эти бесконечные споры по поводу того, кто древнее, ни к чему не приведут! — попыталась она возразить.

— Вот видишь, ты разговариваешь как настоящий Запад. Иблисы и шайтаны сейчас твои друзья. Их дома престарелых — разве это культура?

— А вы были на Западе? В каких странах вы жили?

— Я не был, но знаю. И ты не должна мне перечить, я намного старше тебя, и ты обязана слушать все, что я говорю! Чтить законы предков!

— Что вы хотите от меня? — взмолилась Малика. — Разве вы не читали, как трагично заканчивались из-за этих законов судьбы людей в произведениях Саида Бадиева? Как они погибали?

— Зато достойно погибали. Достойно! И время тут ни при чем. — Он внимательно посмотрел на нее и, как будто выйдя из образа, спокойно добавил: — Прочитай «Загадку и причину гибели Хазарского каганата», может, поймешь, что я хотел тебе сказать.

С облегчением Малика выскочила на свежий воздух, присела на лавочку перевести дух и вспомнила выписанные когда-то слова Шопенгауэра. Достала блокнот и сверилась с записью: «Самая дешевая гордость — это гордость национальная. Она обнаруживает в субъекте недостаток индивидуальных качеств, которыми он мог бы гордиться, ведь иначе он не стал бы обращаться к тому, что разделяется кроме него еще многими миллионами людей. Но убогий человек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственное и гордится нацией, к которой он принадлежит, он готов с чувством умиления защищать все ее недостатки и глупости».

На следующий день Малика решила пойти на почту и отправить иностранным друзьям открытки. Пока она бегло надписывала конверты и засовывала в них аляповатые новогодние открытки, ее окликнула незнакомая девушка в зеленом хиджабе, поверх которого блестели стразы на атласной белой чухте¹.

— Бехк ма биллахь (прости), я отсылаю бандероль в Париж... но не могу указать свои данные. — Она замялась. — Не можешь ли ты дать свои координаты?

— Да, конечно, — ответила Малика и тут же пожалела. Но согласие было дано, и она выпалила фамилию и имя наугад. — Хусинат Сапарбаева. — Адрес она назвала покойной бабушки, однако номер телефона пришлось дать свой, так как незнакомка оказалась напористой — захотела услышать гудок, чтобы проверить. Домой Малика шла расстроенная и злилась на себя за то, что не смогла отказать незнакомой девушке. Откуда ей знать, что в той бандероли?

Уже через неделю ей названивала из Франции чеченская семья.

— Бонжууур, Хусинат. Твой номер нам указала племянница, которая живет в Грозном. Если посылка до нас не дойдет, она вернется обратно. Пожалуйста, подойди тогда с паспортом на почту и заberi ее.

Паспорт? Как же она сразу не додумалась? Может, поменять номер мобильного? Или, если позвонят, сказать, что она Малика Исрапилова и ей некогда разговаривать, так как она идет забирать троих детей из детского сада?

Хотя зачем придумывать, все равно через несколько недель она снова уедет в Грузию. А если придет по почте план от религиозных экстремистов? Например, по захвату Шатойской или Чеберловской администрации?

¹ Чухта — головной убор замужней женщины у народов Кавказа — шапочка, плотно закрывающая волосы.

В личных сообщениях с того французского номера поступали фотографии и тексты с призывом носить хиджабы, с рассуждениями о Судном дне, об умирающих в лесах моджахедах и о том, что все неверные, гомосексуалисты, а также слушающие музыку будут гореть в аду.

Призывы Малики: «Пожалуйста, больше не пишите мне» результата не возымели. Прошло еще две недели, и Малику вызвали на главпочтамт. В закрытом помещении ее ждали сотрудники правоохранительных органов.

— Добрый день, Хусимат Сапарбаева. Присаживайтесь. Перейдем к делу. Что это такое? — Человек в форме показал ей коробку, в которой лежали ичкерийские флаги и книга Джохара Дудаева «Тернистый путь к свободе».

— Это не моя посылка. И меня зовут Малика, вот мой паспорт. — Они внимательно изучили документ. — Одна девушка на почте посылала бандероль и попросила у меня разрешения указать мои данные в обратном адресе, так как свои она дать не могла. Я просто хотела ей помочь, и отказаться было неудобно. Но я назвала не настоящие имя и адрес.

С Маликой проговорили целый час и отпустили. Растерянная, она зашла в кафе и заказала чашку кофе.

— И все?! — возмутилась официантка. Малика только кивнула.

Кружка дрожала в руке у Малики, но она старалась убедить себя, что это из-за холода. Ее тревожные мысли прервал новый собеседник. Длинная борода, тубетейка, дутая черная куртка. Малика не была готова к новым знакомствам, поэтому демонстративно достала журнал со сканвордами.

— Меня Сулиман зовут.

— Здесь занято, — ответила Малика.

— Нормально отвечай. Слышишь, э? Кроссворды тебе не помогут, когда попадешь на тот свет и будешь гореть в аду. Платок надень. Брат куда смотрит, отец куда смотрит?

— У меня нет ни отца, ни брата, и это мое личное дело.

— Ты что, э? Какое личное? Лиричное... Телевизор надо смотреть. Мы, чеченцы, обязаны присматривать друг за другом. Особенно за чеченками. Две войны ничему не научили наш народ. Память потеряли. Триста тысяч погибших чеченцев, вслушайся в цифры! Война в Сирии. Это ли не преступление против ислама? Асад убивает правверных, он поборник сатаны. — Незнакомец производил впечатление зомби, запрограммированного на религиозную пропаганду.

— Я пришла выпить кофе и побыть одна.

— Да не перебивай ты. Политика США направлена против ислама. Масонский заговор.

— Так кто виноват — масоны или США?

— Тц... Тц... Тц... — сокрушенно поцокал он языком. — В тебе сидит шайтан. Обратись к мулле. Ничего, скоро Даджаль¹ спустится, недолго осталось. Уже в космосе, говорят, слышали непонятные звуки. Ты вообще ничего не знаешь. Принцессу Диану убили, потому что она хотела стать мусульманкой. Очистись, пока не поздно, очистись!

Малика закрыла журнал, кофе остыл. Не то что его пить, но и жить расхотелось!

Незнакомец неожиданно разругался: в кафе вошли несколько девушек в обтягивающих тигровых юбках и с распущенными длинными волосами.

— О, какие девушки! Серьезно, краше чеченских девушек не сыскать на белом свете...

Малика вышла из кафе и побрела в сторону рынка «Беркат». Здесь торгуют в закрытых помещениях, с кондиционерами. Но Малика больше любит наблюдать за

¹ Даджаль в исламе — это сущность, которая должна появиться перед концом света.

торговлей на открытом воздухе. Вот женщина в дутой куртке, укутанная шерстяным пуховым платком, продает свежую рыбу. Спрос на рыбу большой. Сейчас не каждый купит баранину или говядину, не зная, скорее, не кто зарезал, а какие молитвы при этом произносились. Нельзя быть уверенным, что мясо халяль. А рыбу, считается, можно есть даже не халяльную.

Рядом девушка зажигает спичку, плавно водит ею по верху своего товара и шепчет молитву. Тонкий белый дым змейкой вьется за спичкой. Таким образом она убирает с глаз со своего товара.

Чуть правее — лавка с галошами и резиновыми сапогами, их охотно берут жители сел.

— Вчера четыре пары продала галош и одну пару резиновых сапог. Сейчас сезон, поэтому так хорошо продаются, — делится женщина, которая оказалась дипломированным учителем математики. Рядом ее маленькая дочка старается согреться возле горячей газовой конфорки.

Чуть правее, за ларьком нижнего белья, продает шаурму молодой парень. Это тоже новое веяние, ведь у чеченцев не принято мужчинам вот так в ларьках готовить еду. Малика знает его. Раньше он был певцом, но из-за отсутствия спонсорской поддержки пришлось уйти со сцены. Он женат, у него уже трое детей. Чтобы прокормить семью, он расстался с мечтой вокалиста.

Грустная тетя Таня, пожилая ссутулившаяся женщина, продает черемшу. Когда-то давно, в советские годы, она работала стюардессой на международных авиалиниях. Во время первой военной кампании ей с соседями пришлось тринадцать дней прожить в подвале, питаясь одними сухарями и водой. Однажды они узнали, что в Грозный прибыла делегация из Москвы. Наспех натянули на палку белую простыню и направились к президентскому дворцу, прямо через взрывы и пролетающие пули. Охранники провели их в подвальное помещение. Таня увидела делегацию из Москвы, сидящую за накрытым столом с представителями чеченского правительства.

— Мы хотим знать, какая помощь будет нам оказана, чтобы выехать отсюда? И долго ли будут продолжаться военные действия? — спросила тетя Таня.

Их заверили, что в скором времени все закончится и выезжать никуда им не придется. Непрошеным гостям ничего не оставалось, кроме как покинуть помещение. Таня до сих пор не может простить, что им даже не предложили поесть.

Если посмотреть сверху на эту часть рынка, видны разные навесы: из шифера, из брезента, из клеенки, из ткани, из досок. Под ними продавцы с разными судьбами и с разными налоговыми крышами. Но никто не задумывается над тем, какая у них там жизнь.

Почти на каждом углу — женщины с весами. Почему люди так любят взвешиваться на рынке? Вот женщина встает на весы. Девяносто семь килограммов.

— Ну, еще чуть-чуть, Тамара, — подкалывает она сама себя. — До ста осталось совсем немного. Постарайся, ты сможешь. Я в тебя верю.

Дед с длинной бородой продает брошюры со священными сурами и плакаты с расписанием намазов. Делает он это весело, с азартом расхваливая свой товар и себя заодно.

Время намаза. С нескольких минаретов доносится азан — призыв к молитве. Несколько лет назад звучал только один азан, сейчас перекликаются десятки. Некоторые мужчины и женщины оставляют свои ларьки, достают кто коврики, кто развернутый ящик из картона или идут в маленькую мечеть посреди рынка.

Малика решила поиграть в игру Кэт. Пошла на остановку и села в первый попавшийся автобус. Внутри расклеены плакаты, разделенные на две части. На одной — женщина в платке на фоне зеленой листвы, на другой — девушка с распущенными волосами на фоне огня. И подпись: «Девушка, задумайся, где лучше».

Вместо музыки из динамиков льется проповедь религиозного деятеля.

Двое парней в мусульманской одежде повторяют суры на арабском языке, уткнувшись в учебники. Какой-то старик перебирает четки и рассказывает, что недавно вернулся из Мекки. Все дружно порадовались за него, поздравили и заплатили за его билет.

На правой руке водителя — черная шерстяная перчатка. Сейчас многие водители надевают такие, чтобы случайно не коснуться голой рукой, когда девушка будет передавать деньги за проезд. Еще двое молодых парней жали кнопки на своих электронных четках, которые носят на указательном пальце.

Только сейчас Малика заметила, что она единственная девушка без платка, поэтому, наверное, все так на нее косились. Она занервничала, из ее рук выпала иллюстрированная энциклопедия «Древний Египет». Она поспешила поднять книгу, но ее опередила незнакомая женщина лет шестидесяти.

— Пойдем, там сзади места свободны. Лайла меня зовут. Такие книжки читаешь. На историческом учишься?

— Нет, просто интересуюсь.

— Ну, ты второй незомбированный человек, которого я встречаю в последнее время. А первый — учитель истории на пенсии. Приезжал за сладостями для диабетиков в нашу аптеку. Мы с ним вот так же в автобусе обсуждали роль чеченской женщины в произведениях современных писателей. Так к нам еще одна женщина подседа: давно, говорит, не слушала таких умных бесед. А раньше как было? Все в Чеховскую государственную библиотеку ходили. Люди были начитанными...

— Но тогда еще не было интернета, мобильных телефонов.

— Это тоже верно. Но я считаю, что мы, пройдя через две войны, должны быть терпимее. Мне не по душе национализм. Раньше в Грозном было столько национальностей, а как дружно жили! И наши родители учили нас, что главное не национальность, а поступки человека... В девяносто девятом году нам на сутки открыли «коридор». Мне нужно было вывезти больного отца. С трудом договорилась с водителем маршрутки. Не передать, что творилось на Терском хребте! Люди шли пешком, ехали на машинах. И надо ж такому случиться: наша маршрутка сломалась, а дело уже к вечеру. Подхожу к федералам, умоляю помочь сдвинуть маршрутку или перетащить отца в их автомобиль. Военные в ответ: «Не имеем права. У нас приказ». А один из молодых солдат сказал своим: «Доложите старшему, что я нарушил приказ» — и помог. Она разрыдалась.

— Все хорошо, Лайла. Война закончилась. У нас мир...

— Знаю... Мир. Отец скончался через несколько дней. Но благодаря этому солдатику я смогла похоронить его по мусульманскому обычаю. Вспоминаю своего помощника-солдата. Как его наказали? Жив ли он?

— На Автобазе кто-нибудь выходит? — поинтересовался шофер.

Лайла сошла, а Малика продолжила путь в автобусе под звуки зикра. Случайно глянув в окно, она увидела знакомую остановку и тоже вышла. Это был поселок Катаяма в пригороде Грозного, где жил дядя Али.

Она издали узнала его дом: большие ворота, высокий кирпичной забор, закрывающий дом почти до крыши. В Чечне многие строят такие заборы — от чужих взглядов. Большой навес между двумя домами. Навес нужен для предстоящих свадеб и похорон, да и все теплое время года чеченцы проводят там. Это и своего рода летняя кухня, и столовая, и приемная для гостей. За навесом — русская баня и огород, засаженный кукурузой и картошкой. Чуть дальше — коровник и хлев. Куры гуляют по огороду. Вдоль сарая — дрова, заготовленные на случай, если отключат газ.

На веревке сушатся куски марли, с помощью которых цедают молоко. Доносится звук сепаратора из сарая. Это жена Али отделяет сметану. Над входной дверью — старинная подкова. Говорят, приносят удачу. Неподалеку — низкая табуретка, рядом тазик и кувшин, видимо, кто-то совершил омовение.

Из сарая выходит полноватая женщина, держится за поясицу и, тяжело отдышавшись, здоровается с Маликой:

— Приходи свободной, лягушка-путешественница. Хорошо, что платок надела. Сама догадалась? Что ты обижаешься? Я старшая и могу сказать что хочу, наставить на путь праведный. Ну, как там Анжела, еще не нашла жениха?

В кухне шумно. За столом все аппетитно уплетают жижиг-галнаш: макают галушки с вареным мясом в чесночный соус, сделанный из картофельного пюре, жареного лука и моркови, и запивают мясным бульоном. Малика здоровается со всеми. Ее засыпают вопросами

— Как Грузия? Зарплаты хватает? Еда? Есть где жить? Я против твоих поездок туда, но ты же не слушаешься никого. Если что случится, вина на мне будет, а не на Анжеле. Вот выйдешь замуж, пусть твой муж все решает. Иди, поешь. Как там семья Хасановых?

— Я их редко вижу. Они в Панкисском ущелье живут.

— Это Грузия?

— Да, но в пяти часах от Тбилиси.

— Случайно, не те Хасановы, чей сын в охране Масхадова работал? — оживляется дядя.

— Да, поэтому им лучше там оставаться. Хоть тяжело, еле сводят концы с концами.

— Детей сколько?

— Четверо сыновей.

— Чтобы долго жили, — улыбнулся дядя Али. — Жаль, что нет хотя бы одной девочки.

— Если там тяжело, почему в Европу не переберутся?

— В Грузии горы. И как ни крути, это Кавказ. А Европа... — Дядя Али сморщился, как будто закусил лимоном.

— Да, говорят, они там на какое-то пособие живут.

— Пусть живут. Как состарятся, наверное, приедут сюда. А пока время мутное. Малика, достань из шифоньера коробку. Да, эту. Вот, недавно сосед совершил хадж в Медину. Посмотри, какие красивые четки привез мне. И носовой платок. Сын у него работает в министерстве, как-то получилось поехать.

Малика поспешила сесть за стол. А разговор дяди Али и усатого соседа продолжился. Сегодня похоронили одного человека рядом с могилой покойной матери дяди Али. А его больной отец хотел, чтобы эта земля сохранилась для него.

— Самое обидное, что там был наш родственник Закир. Дебил! Наверное, рот разинул и стоял, — возмущался Али.

Малика не могла понять сути спора. С одной стороны, жалко дедушку, который мечтал быть похороненным рядом с женой. Но с другой — какая разница? Это же наша общая земля, которую дал нам Аллах. И не сами ли старики говорят, что мы встретимся в загробном мире, где бы ни были похоронены?

Родственники отняли у Малики дом, поселив с тетей Анжелой. Нет, сначала отобрали пол-огорода, а потом, наверное, подумали, что не стоит мелочиться, и отобрали дом. И ничего. Родителей она любила, но их уже нет...

Вечером Малика ехала в маршрутке домой. Из одного пакета пахло сметаной, творогом, айраном и молоком. Из другого — старинным сундуком: Малике подарили несколько отрезов шелка, шифона, фланели, велюра и вельвета. Ткани остались от покойной бабушки. Она собирала их на приданое будущей дочке, но та так и не родилась. Поэтому бабушка завещала отдавать по несколько отрезов ткани в год внучке.

Малика тоже могла не появиться на свет. Несколько лет ее мама страдала бесплодием, пока не посоветовали ей попросить ребенка у Хеды, матери Кунта-Хаджи

Кишиева, святого праведника. Паломничество в Введенский район далось тяжело. Палило солнце, но мама не собиралась сдаваться. Это сегодня «Хедина гробница» восстановлена и отделана богатым строительным материалом. А тогда это была обыкновенная комната, в центре которой возвышалась гробница, покрытая зеленым бархатом. Мама Малики сделала три круга и вспомнила, что не выучила специальную молитву, но не растерялась:

— Хеда, очень хочу, чтобы у меня родилась дочь. Без детей нет семьи. Обещаю прийти и отблагодарить тебя.

И Аллах послал им дочь, которую назвали Маликой. Хотя все советовали назвать Хедой, но так звали мать мужа, а жена не имеет права называть детей по имени родственников мужа.

На следующий день Малика поспешила на тренинг по правам человека, куда ее пригласила Оксана. Собрались местные девушки и женщины. Руководили процессом иностранные правозащитницы в платках. Они передавали друг другу искусственный цветок и представлялись.

— Внимание: задание. Жил-был король. Ему понадобилось срочно покинуть по важным делам королевство. Будучи ревнивцем, он издал указ, запрещающий всем выходить за стены королевства в позднее время. Первой ослушалась королева и поспешила к тайному другу. А когда вернулась, стражники ее не пустили, так как не могли нарушить приказ короля. Королева обратилась к лодочнику, знавшему тайный ход. «Заплати одну золотую монету», — сказал лодочник. Королева сказала, что готова заплатить десять, когда вернется в королевство. Лодочник не поверил, что она королева, и отказался. Тогда королева попросила золотую монету взаймы у подруги, но и та отказалась, опасаясь гнева короля. Отчаявшаяся королева решила проскочить через ворота, когда стражники отвлекутся. Но они замахнулись копьями, не разглядев, и убили королеву... Внимание, вопрос: «Кто виновен в смерти королевы?»

Разделили всех на пять групп и раздали листочки, где каждый должен был составить иерархию виновности героев.

— Что тут думать?! — поправляя вязаные серые гольфы, воскликнула полноватая женщина. — Королева виновата!

— Конечно, королева! Не ослушайся она короля, была бы жива! — подхватила другая.

— И что за тайный друг? Она замужняя женщина! — подметила третья. — Пусть теперь в аду горит!

Из разных групп хором прозвучало: «Королева виновата». Иностранные правозащитницы зафиксировали результат на доске маркером.

— Вы знаете, — смущенно начала одна из них, — удивительно, что кавказские женщины склонны обвинять именно женщину. Ведь вы должны ратовать за права женщины. В Европе обвинили бы короля за то, что издал такой дурацкий закон. Но если подойти с юридической точки зрения, то ответ на вопрос: «Кто виновен в смерти?», конечно же, — «стражники». Они нанесли смертельный удар.

Все заулыбались.

— Простите, в одной швейцарской газете я прочла, что чеченские адаты почитаются в республике выше конституции. Правильно я понимаю, что, если женщина забеременеет до свадьбы, ее убьют?

— Это невозможно! Хочу сказать, что она никогда не будет беременной до свадьбы, — возмутилась чеченская правозащитница.

— Но если такое все же случится?

— Ее просто... — Чеченка не могла подобрать нужного слова. — Убьют.

Наступила тишина.

— Но ты же правозащитница! Ты обязана защищать права женщин и вообще

людей, — повысила голос иностранная гостья. — Неужели так думают все правозащитники Чечни?

— Я думаю, да. Это наши адаты, передаваемые из поколения в поколение. И мы никогда не сможем воспринять ваши европейские ценности. Это Кавказ. Хотя мы очень гостеприимный народ и рады гостям.

Малика решила больше не ходить на такие тренинги. А правозащитники поехали на кладбище в село Кошкельды на могилу убитой чеченской правозащитницы Натальи Эстемировой.

По дороге Малика завернула к своей подруге Зезаг, которая рисовала непонятные картины. На заборе ее дома вот уже пятнадцать лет написано: «Продается».

Когда Малика открыла ворота, Зезаг пропалывала клумбу.

— Пойдем в дом, заварю тебе чай с мятой и новые картины покажу.

В мастерской звучала песня запрещенного барда Тимура Муцураева:

Часы пробили, и кончен жизненный отсчет.
И ты в могиле, а душу дьявол унесет.
И страшным вихрем средь небес ее умчит,
И долго-долго старуха-смерть вам вслед глядит...

Папки с рисунками, набросками, эскизами были разбросаны по полкам. В ящиках беспорядочно валялись краски, угли, карандаши, кисти и железные перья. Натянутые холсты, картоны, ватманы ждали своего часа. На стенах висели рисунки: цветное кладбище, летающие сумки, мегаполис, где только в одном окне горит свет, выключенные лампы и поднятые вверх руки.

— Прости, но... — запнулась Малика. — Тут написано «Певица», а я кроме летающих книг и контуров города ничего не вижу. Где же певица?

— Она на концерте. — Зезаг удивительно спокойна. — Каждый человек в погоне за чем-то особым не замечает, что пропускает в жизни что-то важное.

— Поэтому ты не рисуешь пейзажей, натюрмортов, портретов?

— Я просто их не рисую, без объяснений. Продавать картины тоже не буду. Искусство невозможно оценить в деньгах.

— А как ты оцениваешь картины? По выставкам, галереям, музеям?

— Думаю, оценят после смерти — искусствоведы, эксперты.

— Ты рисуешь для них?

Повисла неловкая пауза.

— Для себя. А потом — как получится.

Зезаг рассказала, что скоро выходит замуж. Показала на мобильном телефоне фотографию возлюбленного. Парень с рыжей бородой в красной футболке с надписью «СССР» стоял на фоне ичкерийского флага, подняв вверх большой палец.

Сели за стол, начались воспоминания.

— А помнишь, какие письма написали Диана и Мака этому... Серажди в лагерь беженцев? — вспоминала Зезаг. — Хорошо, что я их решила прочесть до блокпоста, как чувствовала. Да вот оно, у меня до сих пор хранится. «Привет, Серажди! Узнала, что Зезаг едет к вам в палаточный городок в Ингушетию, и не удержалась, решила написать тебе. Помнишь папину снайперскую винтовку? Нам пришлось продать ее боевикам. Правда, всей суммы у них не оказалось. Они заплатили триста долларов, а на остальное дали автомат. Мы его спрятали в огороде, обмазав специальным маслом. Когда война закончится, продадим. На сто долларов купили у федералов всякие тушенки и сгущенки. Остальные деньги запрятали. Как война закончится, куплю себе обновки.

Все, керосинка заканчивается. Всем привет от меня. Скоро встретимся. Твоя Диана».

И еще письмо: «Салам, Серажди! Как вы там? Мать умерла позавчера. На

кладбище похоронить не удалось, сильно бомбили. Закопали в огороде, даже белого савана не нашлось. Как война закончится, похороню нормально. Султана помнишь, все время у бревна болтал? После очередной зачистки федералов повесился на детских качелях. До утра скрип качелей не давал нам спать. Я начала делать намаз. Так спокойнее на душе стало. Сестра Диана».

— А помнишь, как все село заступилось за русского дезертира, когда Тагир хотел его застрелить? Сказали: иди на войне убивай, а этого не трогай. Тагир еще сказал, что у нас все ненормальные, все коммунисты.

Выйдя за ворота Зезаг, Малика встретила старушку Кельмат по прозвищу Яга. Прозвище ей дали вовсе не дети, а, как ни странно, взрослые. Одежда на ней висит, как на вешалке. Поверх какого-нибудь халата — жилет из шкуры. Поясница перевязана пуховым серым платком. На лице несколько бородавок. Концы головного платка она запихивает у щек, точно как Баба-Яга.

Кельмат прославилась после того дня, когда в село привезли первых погибших 11 декабря 1994 года. Издали с похорон доносился плач женщин. А Кельмат тем временем спешила к дому тех, кто на митингах призывал бороться за независимость Ичкерии, чтобы излить злость, вспыхнувшую, когда она увидела трупы — кто без ноги, кто без руки, кто без головы. Встала она напротив двухэтажного дома и что есть силы закричала:

— Выходите, мать вашу! Выходите и сбивайте самолеты посохами! Вы же так похвалялись... А теперь спрятались, шакалы?! Сбивайте, мать-перемать, эти проклятые самолеты! — кричала Кельмат, грозно размахивая тростью.

Тогда еще маленькие Малика и Зезаг стали хихикать, услышав матерные слова. Из уст старой бабушки они звучали комично. Но неожиданно им по-настоящему стало жалко старушку Кельмат. Они ничего не поняли из того, что она говорила, но почувствовали, что ей очень больно за происходящее.

— Ну, сбивайте же! Шакалы! — крикнула она еще раз, а потом опустила на землю и тихо заплакала. Они подбежали и помогли ей встать.

Никто так и не вышел из того дома. А Кельмат, хоть и была самым далеким от политики человеком, с тех пор прослыла оппозиционеркой.

— Оставайтесь свободной, Кельмат, — поздоровалась Малика.

— Приходи свободной. — Руки у старушки дрожали, она еле удерживала трость.

— Бабушка, чем-нибудь могу вам помочь?

— Нана и дада давно умерли твои... Хоть бы пожили ради тебя еще несколько лет. Снятся тебе? Не скучаешь по ним? — Последние два вопроса обычно задают тем, кто потерял одного из родителей или обоих... — Не скучай. Я за всех четки перебираю. Ходить не могу, правда, но пальцы еще, хвала Аллаху, двигаются. Главное — двигаться. Не останавливайся. Иди.

Малика остановилась возле нескольких акаций на окраине села. Во время войны щенята собаки бабы Раисы вмиг осиротели. Шальная пуля задела ногу, и собачка хромала, а потом исчезла. Говорят, собаки, предчувствуя приближение смерти, уходят подальше, чтобы никто не видел их конца. Когда Малика с другими детьми ходила к лесополосе за хворостом, она часто слышала, как выли от холода четверо новорожденных щенят. Когда выпал снег, они сдохли. Малика с ребятами решили их похоронить. Вырыли четыре небольшие ямки и поверх каждой вместо могильной плиты, какие ставятся на мусульманских кладбищах, поставили крестики из палочек. Так как баба Раиса была христианкой, решили, что собака была одной веры с ней.

Обойдя село вдоль и поперек, ничего, кроме воспоминаний, Малика не обнаружила.

Спустя несколько дней она везет Анжелу на рейсовой маршрутке в Нальчик для обследования почек.

— Тут никто нормально не сможет сделать описание УЗИ и МРТ. Видела я этих студентов-медиков во дворе университета. Все пары прогуливали в своих белых халатах, — говорит Анжела.

— Значит, ты тоже прогуливала?

— Я ладно, от меня жизнь людей не зависит. Я всего лишь экономист. А они медики, поняла?

— Может, и в наших больницах есть доктора, которые приехали из других городов России или из заграницы?

— Умоляю, Малика. Кто из наших захочет отдать свои рабочие места?

— Я сказала Оксане, что везу тебя на обследование...

— Что?! Что еще за Оксана? Я же велела тебе никому не говорить, куда мы едем! Ни один мужчина не женится на больной женщине, особенно в Чечне, — Анжела схватилась за голову.

— А как же любовь?

— Малика — это Чечня. Главное — внешний вид, богатство, сколько тебе лет и из какого ты рода! И здоровье!!!

У Анжелы обнаружили в почках камни и песок. Порекомендовали срочно прооперироваться. Но она наотрез отказалась: если ее кавалер узнает, он прекратит все отношения. Результаты обследования выбросила в первый попавшийся мусорный бак.

Добравшись домой, тетя Анжела сразу же легла спать. А впечатлительная Малика вспомнила историю чеченки, которая тоже приезжала в Нальчик обследоваться. Когда-то она перенесла трудные роды, ребенка врачи не смогли спасти, а сама она ослепла. Но больше всего поражало решение мужа и его родственников: они объявили о разводе, объяснив, что их роду нужно продолжение. Муж женился на другой девушке, а слепой женщине пришлось вернуться к родителям. Через год зрение неожиданно вернулось, и бывший муж, узнав об этом, развелся с молоденькой женой, послал подальше своих родственников и снова отправил сватов к бывшей жене. Но та прогнала их и велела передать, что, если даже это будет последний мужчина на земле, она все равно за него не выйдет.

Скоро Новый год. Как весело отмечали этот праздник раньше, когда были живы родители! С каждым годом все меньше чеченских семей празднуют дома Новый год. И сейчас Малика получала эсэмэски следующего содержания: «Нохчи¹, которые покупают елку и накрывают стол на Новый, типа, год! Если вам больше некуда тратить деньги, у меня есть адреса нуждающихся. Обращайтесь!» Или «стихотворное»: «Здравствуй, Дедушка Мороз, кяфир² бородатый... Праздник куфра³ нам принес, мушрик⁴ ты проклятый». Последнее сообщение ее добило: «Как можно водить хороводы вокруг елки? Это не Кааба, чтобы ходить кругами вокруг нее».

Она не могла понять, почему некоторые люди так озлобились. Почему стали маниакально следить за чужими жизнями? Почему сделались самозванными судьями? Не празднуешь — не празднуй, это личное дело каждого. Некоторые публично, в социальных сетях, рекламируют свои милосердные деяния. Но ведь ислам не приветствует показной благотворительности. У Малики двоюродный дядя взял из родильного дома отказного ребенка и растит как своего, но он никогда не кичился этим. А тетя Анжела, несмотря на все ее стразы и наклеенные ресницы, тайно передает мягкие игрушки и пакеты с продуктами, подаренные кавалерами, детям в ПВР⁵.

¹ Чеченцы (*чеч.*).

² Кяфир — то же, что гяур, то есть неверный.

³ Куфр — неверие.

⁴ Мушрик — язычник.

⁵ Пункт Временного Размещения.

По дороге Малика ненароком забрела в картинную галерею. Там готовились к выставке. Звучала композиция «Мой город» покойного чеченского композитора Аднана Шахбулатова. Между организаторами шла перепалка по поводу картин, на которых были изображены девушки с приоткрытыми плечами и распущенными волосами.

— Может, накинуть на них болеро или шарф? — смеялся один.

— А давайте, чтобы получилось креативно, завесим картину черной материей и подпишем: «Скрытые... потому что так надо!»

— Да вы что? — возмутился автор картины. — Это же моя дипломная работа. Все преподаватели в Москве хвалили.

— Прости, но до лучших времен отложим, — с сочувствием ответили сотрудники галереи и вместо этой повесили картину с вайнахским пейзажем, где на фоне сторожевых башен весело резвились на лужайке лани, олени, рыси и серны.

Сотрудники галереи долго не могли решить, повесить ли картину, где девушка сидит у окна в шляпе. Но поскольку ее голова была покрыта, ей все же дали зеленый свет.

— Пожалуйста, не забудьте передать художнику, что расстояние между глазами должно соизмеряться с длиной самого глаза. А шляпка ничего, стильная, — заметила Малика.

Все разом взглянули на глаза, и вправду они были чрезмерно близко посажены. А Малика, глядя на шляпу, вспомнила даму в возрасте, заслуженную учительницу ЧИАССР Тамрико Гивиевну, во время войны не пожелавшую покинуть свой дом из-за больного супруга: на ней всегда были деловые костюмы, туфли-лодочки, разные сумочки к каждому костюму, перчатки и непременный атрибут — шляпа. Когда начинали бомбить, Тамрико Гивиевна бежала в подвал, непременно надев... шляпку. Ее дети возмущались:

— Мама-а-а, ты что-о-о? Какая шляпа?! Война-а-а!!! Не смеши людей!

А однажды утром все увидели в шляпе сквозное отверстие — память о снайпере... Шляпа спасла Тамрико Гивиевну.

Малика давно не виделась с подругой Гитой. Индийским именем ту назвала тетя в честь героини фильма «Зита и Гита». Малика перед встречей решила сделать маникюр, но нужного лака цвета коробочек от Тиффани никак не могла найти. Она тщетно перебирала флакончики в пластмассовой корзинке.

— Я тебе говорю: такого цвета не найдешь, — увещевала ее укутанная от холода продавщица. — И вообще, настоящая чеченка не должна красить ногти в непонятные и вульгарные цвета!

У самой продавщицы ногти были кроваво-красными.

— Простите, я настоящая чеченка, но мне нравится именно такой цвет, и он очень моден сейчас.

— Очнись! Ты намаз делаешь? Ты в курсе, что с накрашенными ногтями нельзя молиться? Представь, что жена твоего брата покрыла ногти таким лаком... — кипела продавщица.

— Мне абсолютно все равно, какого цвета будут ее ногти. Главное, чтобы она была хорошим человеком. Если бы все было так просто, проблемы можно было бы решать с помощью жидкости для снятия лака.

До Малики начинало доходить, от чего она так хотела спрятаться, уезжая отсюда. Тут поучения, даже высказанные из самых добрых побуждений, порою граничили с тиранией.

Гита каждую неделю в кого-то влюблялась. Малика запуталась в ее ухажах: встречается с Арсеном, созванивается по мобильному с Хасаном, переписывается в «Одноклассниках» с Исламом, по эсэмэс — с Бекханом, а ее счет пополняет Саламбек...

Так Гита расцветивает серую жизнь в финансовой фирме, где работает. Она выпрямляет свои курчавые от природы волосы, носит обтягивающие юбки и нагло заставляет всех ухажеров покупать ей подарки. Больше всего она страшится остаться без внимания окружающих.

— Представляешь, он сейчас в Америке, а такие сообщения присылает!.. — Гита расплылась в улыбке. — Он спортсмен, накачанный. У него есть жена и дети, но по исламу он может жениться еще три раза. Так что у меня есть шанс. А самое главное, он искренний и порядочный человек, — отчеканила Гита, делая селфи для Бекхана.

— Искренний? Он рассказал своей жене о том, что вы встречаетесь?

— Ты о чем?! Нет, конечно. Как могло тебе прийти такое в голову? И вообще, ты на себя посмотри, Малика. Все осуждают тебя за то, что ты живешь в Грузии.

— Грузия не так далеко. Мне нравится их кухня, люди... Семь часов — и ты там. Семь часов — и дома. И это Кавказ.

— Моя мама говорила, что грузины не любят другие национальности.

— А мы, чеченцы? Мы даже себя делим на горных и равнинных, на девять тукхумов и сто сорок с лишним тейпов...

— Тебе нужно начать делать намаз — и все станет на свои места. Ты уже должна думать головой. Тебе двадцать два года. Анжела больная, судя по слухам, скоро замуж выскочит. А ты останешься одна. Нужно молиться.

Делать намаз и тайно встречаться с чужими мужьями. Это по ее мнению было нормальным.

Дверь квартиры оказалась открытой. Малика решила, что тетя забыла ее закрыть.

— Тетя Анжела, представляешь, жена Али поправилась еще на пятнадцать килограммов. И спрашивает: а у Анжелы женихи есть?.. Тетя? Тетя?!

Пачка тянучек, купленных по дороге, упала на старинный ковер. Анжела лежала с открытыми глазами, из уголка рта вытекла тоненькая струйка крови.

— Нет! Нет! Тетя!!!

Ноги у Малики подкосились, она упала в обморок.

Поминки прошли как во сне во дворе у дяди Али.

— Приходила Жанна... не помнишь? Ну, она insult перенесла после обыска, когда ее сына увезли. Две тысячи рублей от нее. Держи. Еще Петимат, та, которая химиотерапию от рака перенесла в Китае. Вот три тысячи от нее. От Вахи, который сахаром болеет уже десять лет, — одна тысяча. Кто еще тебе деньги передавал-то?.. А, вот Ларисины еще две тысячи... — бегло перечисляла жена Али.

— А у нее что? — не выдержала Малика.

— У нее на ноге лопнул сосуд. Ее прооперировали и сказали, что сосуд просто был пережат, поэтому переполнился кровью и лопнул...

Раньше, когда говорили о том или ином человеке, его определяли по должности, по имуществу, по автомобилю. Сейчас стали указывать на болезни...

Малику уже ничего не удерживало в Грозном.

Пришла эсэмэска от Кэт: «Малика, приезжай срочно домой. Я вернулась в Грузию. С Агостино не сошлись характерами. Он не собирался на мне жениться. Хорошо готовить я так и не научилась. А у них там это очень важно. Я купила нам всем маски, устроим вечер венецианского маскарада».

Через две недели Малика уехала в Грузию.

Впервые в жизни ей перед отъездом не поставили ведро чистой воды на пороге. Это чеченский языческий обычай. Богиню воды называли Хинана. Считается, если посмотреть на эту воду перед дальней дорогой, то дорога будет такой же чистой и спокойной, как вода в ведре. Малика не знает, сохранилась ли эта традиция. Ислам ведь не приемлет язычество.

Ее мама Элина рассказывала, что во время затянувшейся засухи дети и женщины,

украсив себя венками из полевых цветов, ходили от дома к дому и пели песни, вымаливая у Дели (так Бога называют чеченцы) дождя. В каждом доме хозяева обязаны были облить их водой и вынести угощение. Обойдя все село, дети и женщины с собранной едой шли на окраину села и устраивали пиршество, которое заканчивалось детскими играми и танцами взрослых.

И надо же так случиться, что на следующий день наступил настоящий потоп. Разразился ливень, и вода в некоторых местах поднялась на целый метр. Три дня, не переставая, лил дождь. По улицам перемещались только в резиновых сапогах выше колен. Кусты помидоров и огурцов плыли по улицам, а за ними — детские игрушки, огородные чучела, тюки сена. Вонь от застоявшейся воды стояла несколько недель. Все утята, цыплята, индюшата, находившиеся в сараях, утонули...

На обратном пути в Грузию у железнодорожного вокзала Владикавказа Малике попался толстый и лохматый таксист-балкарец, который согласился довезти ее до Тбилиси. Хотя она заплатила за всю машину, он по дороге взял еще трех пассажиров.

— Ты заплатила, чтобы тебя довезли за эту сумму! А кого я подсаживаю, кого не подсаживаю, тебя не касается. Все! — констатировал таксист.

Однако Малике пришлось добавить еще 500 рублей, чтобы он не продолжал рассказывать о притеснениях балкарцев кабардинцами и о том, что их народы не были в восторге от соединения в одну республику.

Незаметно пролетели шесть часов — и вот Малика уже в Грузии. На автовокзале ее ждала растрепанная Кэт с табличкой, на которой написала вместо имени: «Come free!»¹

Спустя три дня устроили вечеринку в честь возвращения. Квартира за время их отсутствия успела насквозь промерзнуть.

— О, какого красивого джигита ты мне привезла! Давай поставим его рядом с грузинской красавицей. — Кэт взяла глиняного сувенирного чеченского джигита и устроила рядом с куклой в грузинском национальном костюме. — Я не смогла найти себе пару, а вот моя кукла нашла.

Кэт поделилась сумасшедшей идеей: выйти на улицу и утеплить дерево напротив их балкона. Для этого она еще в Италии связала длинный красный шарф. На Кэт сильно повлиял уход Хатуны из дома, и она стала бережнее относиться ко всему, что ее окружало. Она обвязала ствол дерева шарфом. Может, дерево и не было радо такой обновке, но его никто не спрашивал. Кэт посчитала нужным так с ним поступить.

— Теперь ему будет тепло, — улыбнулась она, и подбородок у нее задрожал. Глаза наполнились слезами. — Надеюсь, оно почувствует нашу заботу, и ему станет не так плохо в этой жизни. Дерево, мы любим тебя, как и все, что создал Бог на Земле.

Малика вспомнила легенду о тейпе кесалой. Как-то зимой два кесалойца разожгли огромный костер. Завидев огонь, сбежались жители близлежащей округи. Приблизившись, долго молчали, потом кто-то поинтересовался, зачем они жгут костер.

— Мы решили согреть землю, — спокойно ответили кесалойцы.

На укутывание дерева вышли посмотреть все жители «итальянского» двора. Сопо выбежала прямо с миской, в которой перемешивала ореховый соус для бадриджанов.

— Вай ме-е-е... — воскликнула она, увидев плачущую Кэт.

Снег шел еще долго.

Через несколько месяцев Малика и Кэт навсегда покинут Тбилиси. Кэт влюбится в американца и уедет жить в Нью-Йорк. Она создаст общественную организацию и

¹ Come free (англ.) — приходи свободной.

будет помогать бездомным собакам. Выйдет замуж, и у нее родится дочь, которую она назовет Маликой. Жизнь наполнится смыслом и покоем.

Ежедневные вечеринки закончатся, на смену им придут тихие вечера с семьей перед камином. За домом, в саду, будут жариться стейки для мужа и дочери, а для Кэт — куски болгарских перцев и помидоров. Каждую субботу будет составляться список продуктов перед поездкой в супермаркет. Кэт больше не будет плести косички с разноцветными ленточками. Вместо них ее лицо будет обрамлять строгая прическа из окрашенных в естественный каштановый цвет волос, а к фигуре добавятся двадцать три килограмма. Носить она теперь будет бесформенные футболки и свитера, украшенные изображениями оленей и пингвинов. Что останется неизменным? Она будет по-прежнему слушать Фрэнка Синатру.

Малика получит грант и уедет учиться в Лондон. Встретит будущего мужа. Детей у них не будет. Они усыновят мальчика, мать которого умерла от рака. Писателем Малика так и не станет, но у нее откроется талант, о котором она и не подозревала: она начнет рисовать самодельные открытки. Ими заинтересуется местный бизнесмен и предложит открыть небольшую фирму по их изготовлению, которая в дальнейшем перерастет в довольно крупный бизнес. Назовет она фирму «Саксесс», в честь умершего попугая.

Жить с мужем и сыном она будет в двухэтажном доме, и их семья ни в чем не будет нуждаться. Малика откроет фонд помощи раковым больным в Чечне.

Их друзья-путешественники продолжают ездить в разные страны и познавать мир. Собранный материал пригодится им в написании мемуаров. Книги издадут, но ни одна из них не станет известной. Они будут пылиться на полках книжных магазинов.

Атеистка Мередит переберется из Ирландии в Италию и примкнет к коммунистам. Они будут устраивать массовые беспорядки, требуя справедливости и соблюдения прав человека.

А любительница вышивания бисером Мэри вернется на родину в Голландию. Она забросит шитье и откроет небольшой тир. А еще запишется в школу румбы и будет участвовать в местных конкурсах. Мэри превратится в философа и станет во всем искать смысл. Над входной дверью своей квартиры она повесит табличку: «Прежде чем зайти сюда, подумай: нужен ли ты здесь?»

Дэйва разочарует одна из последних речей любимого философа, он решительно поменяет былые принципы и идеалы и станет ведущим одной из программ калифорнийского телевидения. Он больше не будет считать постыдным мелькать на экране и сниматься для обложек журналов. Наоборот, уверится, что благодаря известности можно помогать людям, поскольку она открывает многие двери.

Все они будут жить в разных уголках мира, но их всегда будут объединять воспоминания, связанные с маленьким «итальянским» двориком на окраине Тбилиси.

Елена Елагина

БЫТЬ ЛИСТКОМ СРЕДИ ЛИСТЬЕВ ДРУГИХ

* * *

*«Бог проживает в скворешнике...»
Сергей Васильев*

Бог деревенский в скворешне живёт,
Бог городской, знамо дело, в подвале
Вместе с бомжами. А то! Не видали?
Брезгует ими почище народ.

Бог деревенский с природой в ладу,
Бог городской про неё и не помнит
В тихой мечте о скромнейшей из комнат,
Рай — это там, не у всех на виду.

Бог деревенский, дай чувств — зарыдать!
Бог городской, дай ума и сноровки!
Оба не слышат, глухи и неловки,
Оба устали, торопятся спать.

* * *

Спать бы, спать на скамейке в саду,
В пиджачишке, укрывшись газетой.
Не в раю, а у всех на виду,
В городском населённом саду,
Спать, как бомж, как дурная примета,
Как бревно, что в глазу не видать
У себя по евангельской притче.
Непристойно и сладко так спать —
Дай вам бог разобраться в сем китче.

Елена Елагина (настоящее имя Елена Васильевна Зузенко) — поэт, литературный критик, журналист. Окончила Ленинградский институт точной механики и оптики. Первые стихи опубликовала в 1990 г. Автор нескольких книг стихов, в том числе «Как есть» (СПб., 2006), «Островитяне» (СПб., 2007), «В поле зрения» (СПб., 2009). Лауреат премии журнала «Звезда» (1998) и др. Живет в Санкт-Петербурге.

Спать бы, спать... Но, увы, не заснуть —
Что в саду! — даже в мягкой постели.
Бесприютна душа.
Ни обуть,
Ни обнять,
Ни зазвать
В самом деле.

* * *

Знаешь ты, знаю я — ничего не случится,
даже если случится всё, что может случиться,
даже смерть, если в двери она постучится,
ничего не изменит, и пусть разлучиться
предначертано свыше — теперь иль потом,
разлучите-ка птиц, разделяя ножом
на две части закат, на две части рассвет,
будто Книгу на Новый и Ветхий Завет.

* * *

Что-то живёт в этом ветре, застрявшем в балконном проёме,
По занавеске сползающем выдохшимся марафонцем,
Что-то в нём дышит, вздыхает, тоскует, и кроме
Этих глаголов ещё что-то тает под солнцем.

Не отвернёшься и не отвлечёшься, покуда
Странный сквозняк будет биться, бороться, тревожа
Память — несбывшимся, чувства — небывшим, и чуда
Век свой прождавшим напрасно, похоже.

Вывись, отпрянь, улети на свободу, спешащий
В сети чужие, как будто в родную берлогу,
Ветер, бродяга, невидимый и настоящий,
Ангел небесный, в свой дом позабывший дорогу.

* * *

Быть листком среди листьев других,
В серединке тихонько шептать
То молитву, то собственный стих,
И на высшие силы роптать.

Безотрывно глядеть в облака,
Не страшась листопада ничуть
Эта жизнь и горька и легка,
Что до смерти — не в ней, может, суть.

* * *

Мы все уйдём в навоз и в удобренье,
Чтоб некое тщедушное создание,
Тщеславное, погрявшее в гордыне
И множестве назойливых пороков
Сумело горлом дивным прозвенеть,
Озвучив эту жизнь не тем тапёром,
Который прилагает к кинокадрам
Заученные назубок пассажи,
Но новую гармонию вбирает
Набрякшим ухом, ясно понимая,
Что судей нет среди смертных для него...

А мы, трудяги, муравьи прогресса,
Сосновыми иголками сбираем
Свой вавилонский ровный муравейник
Усердно щели конопатим старой
Прогорклой рифмой, точно так же зная
Все сроки всех деяний, но надувшись
От важности, как пара брачных жаб,
Друг друга мучаем поэзии подобьем
И в судьи выбираем только смертных,
И требуем признанья, понимая,
Спесь избранных среди бесчинства званых
И то, что в антологию эпохи
Дай Бог хотя б одной строкой войти...

Валерий Былинский

Ночь с идиотом

Рассказы

На том дворе

— Ба, что такое смерть?

Бабушка посмотрела на меня сквозь свои очки. Чуть пристальнее, чем обычно. Потом снова принялась за прерванное вязанье. И сказала — спокойно, уютно, словно самой себе, слегка пожав при этом плечами.

— А смерти нет.

— Как — нет?

— Так. Когда человек умирает, душа остается живой и попадает в другой мир. Туда, где живут Бог и ангелы.

— На тот свет, что ли?

— Ну да. Видишь, ты и сам все знаешь.

Знать-то я знал, все-таки мне уже почти десять. Третий класс закончил. И энциклопедию медицинскую читал. И в Библию бабушкину заглядывал. Да что толку? Если так все просто и не страшно, то чего же сама мысль о смерти вызывает страх? Что-то здесь не так.

— Ба, а долго на том свете после смерти живут?

— Долго. Вечно.

Мерно тикают настенные часы с гирями. Пыльно и тихо тут у бабушки в ее квартире на Комсомольской улице. Она вяжет, а я рисую цветными карандашами индейцев, которые убивают ковбоев, и наоборот, ковбои убивают индейцев. Кровь, стрелы, пули. Смерть.

— Ба!

— А?

— А если папа мой, например, завтра умрет, или мама, то это значит, ничего страшного, они все равно живые и плакать не нужно?

— Боже! Что ты такое говоришь!

У нее аж очки на лоб выехали и щеки задрожали.

— Ага! Видишь, ба. Почему же люди тогда умирать не хотят, если смерти не существует?

Валерий Былинский родился в 1965 году в Днепропетровске. В 1997 году окончил Литературный институт имени А.М.Горького. Его рассказы печатались в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Литературной газете». Лауреат премии «Ясная Поляна» в номинации «Детство. Отрочество. Юность» за книгу «Риф», в которую вошли повесть и двенадцать рассказов.

Живет в Санкт-Петербурге. Предыдущая публикация в «ДН» — № 11, 2016 г.

— Да кому ж умирать по доброй воле хочется... — бабушка явно растеряна.

— А почему, если просто в другой мир переходишь, к ангелам? Там же хорошо, на том свете, ты сама говорила.

— Да потому что.... Потому что так положено — умирать человеку. Но — каждому в свое время, когда старым становишься. Вот если умрешь раньше срока, молодым — тогда плохо.

— То есть, если я умру в свое время, ну там лет в сто, ты не будешь плакать?

Бабушка охает, потом смеется, встает, гладит меня по голове и говорит что-то успокаивающее. Она забывает сказать, что она сама старая и поэтому должна умереть раньше меня. А я уже готовился сказать, что так и быть, плакать не буду, когда она умрет в свой срок лет в девяносто. Но не говорю. Бабушка ведет меня на кухню, чтобы накормить обедом. Наливает в тарелку красный борщ, отрезает черного хлеба — хрустящую горбушку, как я люблю, натирает ее солью и чесноком. Я беру ложку, откусываю от горбушки.

— Ба!

— А?

— А ты когда в моем возрасте жила, что делала?

— То же, что и ты, в школу ходила. Церковно-приходскую. А потом в наш Игрень махновцы приехали.

— Махновцы? Те самые?

— Ну да. Война же была, гражданская.

— Это же сто лет назад было!

— Ну да. Видишь, какая я старая, — усмехается бабушка.

— И что махновцы, стреляли? Убивали, мучили?

— Нет, не мучили. Махновцы были веселые, меня на тачанке увезли.

— Как? Ба, ну ты даешь! Расскажи.

— Так я и рассказываю. Остановилась тачанка с пулеметом возле нашего дома, из нее знамя торчит, черное, с нарисованным черепом и костями, и надписью белыми буквами «Свобода или смерть». В тачанке трое сидят, и командир их, усатый, в папахе, в пулеметных лентах, спрашивает, как лучше к Днепру на переправу проехать. Я говорю: я знаю, могу показать. Он: «Сидай, дивчинка!» и сам улыбается во весь рот. Я — прыг на тачанку, махновец как дернет за вожжи, закричит: «Ну, пошла!» В это время из дома мама моя, твоя прабабушка Аня, вышла, ей люди кричат: «Смотри, Нинку махновцы увезли!» Мама в крик, в слезы, да только тачанки уже след простыл. Довезли меня до обрыва, откуда переправу видно, я все им рассказала, показала, меня махновцы отпустили, велели домой бежать и еды дали: сало, хлеб, огурцы. И я помчалась по дороге. Прибегаю к дому — а меня уже все похоронили, плачут. Мать как увидела меня живую, хотела высечь, но когда я ей еду отдала, передумала. Голодно тогда было. Ешь давай.

Я ем.

— Ба.

— А?

— А во вторую войну, с немцами, ты же в оккупации была?

— Была. Уже с твоей мамой. Ей было так же, как и тебе, девять. Немцы у нас на постое в хате стояли. Офицер немецкий маму твою шоколадками все угощал. Добрый он был, Гитлера ругал. А когда наши подходили и канонада уже была слышна, он за голову схватился, плачет, мне говорит: «Матка, что же мы делать с тобой будем, красные идут». А я смеюсь: «Так это же мои идут, Ганс, не твои, я знаю, что делать буду». Он: «Ох, я и забыл», и смеется. Потом, когда немцы перед отступлением хаты жечь собрались, он нас предупредил, мы вещи успели вынести, спрятали в яме.

— Ба.

— А?

— Ты про войну все невоенное какое-то рассказываешь. Было же там, когда стреляли, убивали, мучили?

— Было. Но я не хочу это вспоминать. Зачем? Люди-то все добрые.

— Как все? А кто же тогда нападает, войны начинается? Кто негров в Африке мучает?

— Ну, иногда люди становятся злыми. Но они все равно хорошие. Просто их злая сила заколдовывает, на время. А потом они расколдовываются.

— Ой, ба, — смеюсь я, — я же не маленький, чтобы верить в эти твои сказки.

— Вот иди тогда и деда отцова расспрашивай про войну, он воевал, лучше меня знает, — сердится бабушка и отворачивается.

— Ладно, ба. Я пойду погуляю на Тот двор, — говорю я.

— На Тот двор? — Бабушка недовольно хмыкает. — Только недолго, к восьми возвращайся. Я пирожков напеку.

— С яблоками?

— С яблоками.

— У-у-у, — я облизываясь.

— Только к восьми чтоб был, как штык, слышишь?

— Слышу, ба, слышу...

Одеваясь, я вижу в зеркале, как бабушка тихонько крестит меня, пока я стою к ней спиной. Мне хорошо, легко, весело. Сегодня суббота, родители за мной приедут в воскресенье. До вечера еще можно бегать и играть на Том дворе. А когда я вернусь, будут готовы пирожки с яблоками. Еще горячие, липкие от выступившего сахарного сока, в корзинке будут лежать, накрытые полотенцем.

— Ну, я пошел...

Хлопнув дверью, я сбегаю с веранды по деревянной лестнице. Прохожу наш двор с малышкой и вальяжно шествую через арку на Тот двор. Тот двор — дело серьезное. В него пускают только с девяти-десяти лет, тут большие пацаны играют, иногда и хулиганы заходят. Драки случаются. Но меня уважают, потому что мой старший брат на Том дворе часто бывает. Правда, сейчас его нет, он уехал в пионерлагерь. Это плохо. Потому что может появиться Витька Сероштан, верзила-двоечник из параллельного класса. Говорят, зимой он одного пятиклассника на катке сильно избил. Витька меня не любит. Пару раз побить обещал, но брат был рядом. А теперь... Но делать нечего — я уже на Том дворе. Вон пацаны играют в битки, вдалеке старшеклассники курят под деревом, кто-то играет в ножички. Витьки нигде не видно. Вот и отлично.

— Привет, — ко мне подбегает Сережка Ухов, приятель из соседнего дома. — В войнуху будем?

— Только давай не в немцев и наших.

— А в кого? В индейцев и ковбойцев?

— Не. В махновцев и красных.

— Давай. А кто махновцем будет?

— Я, — говорю. — И Тиху возьму.

Мы вооружаемся, распределяем территории и расходимся. Оружие у нас — самострелы с резинкой по типу рогатки, только длинные, как ружья. Делаются они просто: к палке ближе к прикладу прибиваются маленькими гвоздями бельевая прищепка, а на носу «ствола» вколачиваются два расходящихся гвоздя покрупнее. К гвоздям петлей привязывается широкая и длинная резинка. В петлю резинки вкладывается вишневая косточка, резина оттягивается, вставляется вместе с косточкой в прищепку и зажимается в ней. Когда делаешь выстрел — нажимаешь сзади на прищепку, она открывается, и резинка выстреливает косточкой во врага.

Мы обороняем от красных дальний гараж, тут удобная диспозиция — потому что есть две песчаные кучи, на которые можно спрыгивать прямо с гаража или с дуба, что растет над гаражом. Но с патронами мы просчитались. Тиха рассыпал почти весь запас

косточек, и поэтому гараж пришлось сдать. Но зато мы подкараулили одного из красных, Веню Бережного, когда он пытался обойти нас по песчаной куче, прыгнули вдвоем на него, быстро скрутили. У пленного в кармане нашлось много косточек, и мы расстреляли ими Уху так, что он с криком повалился в бурьян, закрываясь руками от пуль. Еще и гранатами забросали — комками глинистого песка. При этом я орал: «Свобода или смерть!»

Потом мы вчетвером отправились пить лимонад в магазин через дорогу — туда, куда бабушка мне ходить запрещает, но она все равно не узнает.

Вернувшись на Тот двор, я внезапно нос к носу сталкиваюсь с Витькой Сероштаном. Он в окружении молчаливых, сосредоточенных старшеклассников. Я собрался дать деру, но затем понял, что им до меня нет дела. Они куда-то торопятся, многозначительно переглядываясь. Витька, увидев в моих руках самострел с висящей резинкой, небрежно бросил:

— Что, все из детских пукалок стреляешь? — и презрительно сплюнул.

— А ты из чего? — сам от себя не ожидая такой наглости, поинтересовался я.

— Я? Вот из чего, — ухмыльнулся Сероштан, вытащил руку из кармана и показал мне тяжелый, сверкнувший на солнце самопал. Да, это, конечно, серьезно. Самопал — настоящее огнестрельное оружие, водится далеко не у всех пацанов. Еще большим авторитетом пользуются те, кто может качественно его изготовить. Делается самопал так: берется крепкая металлическая трубка, один ее конец сплющивается и плотно сворачивается. На трубке надфилем вытачивается отверстие для поджигания пороха из измельченных спичечных головок. Готовое дуло прикручивается проволокой к деревянному цевью, которое делается из похожего на рукоять пистолета обструганного и зашкуренного куска дерева. Обычно это обрезок толстой ветки.

— Дашь пальнуть? — зачем-то сказал я и тут же пожалел о своих словах.

— Чего? Тебе? — кривясь от презрения, начал возмущаться Сероштан, но его перебил один из старших парней, долговязый Чока, одноклассник моего брата:

— Да ладно, я его брата Андрюху знаю, ему можно, — Чока покровительственно положил руку мне на плечо, кивнул: — Пойдем, малый, постреляем.

Мы приходим на пустырь, останавливаемся перед старой полуразрушенной каменной стеной. Двое пацанов подтаскивают и прислоняют к стене три секции деревянного забора.

— Чтобы не срикошетило, — поясняет Чока и протягивает мне самопал:

— На, пали.

Я беру в руки оружие — и вдруг понимаю, что не смогу из него выстрелить. Брат всегда говорил: прежде чем стрелять из самопала с руки, нужно его испытать — привязать к чему-то, подпалить порох и отбежать — иначе, если трубка плохо сплющена или сделана из некачественного материала, во время выстрела ее может разорвать. Такие случаи были — некоторые глаз лишились, а одного пацана, я слышал, даже убило.

— Ну, чего телишься? — пристально смотрит Чока.

— Трубка тут тонкая, — вру я, — мне брат рассказывал...

— Что он тебе рассказывал?

— Что испытать сначала надо.

— Ну так испытывай!

Я мялся. Меня уже колотила дрожь — я понимал, что и выстрелить страшно, и отказаться нельзя. Брат мне рассказывал, как некоторые смелые пацаны для показухи испытывали самопал с руки — просто отворачивались в момент выстрела. Но это же...

— Андрюха никогда не ссал, — услышал я насмешливый голос Чоки, — а ты, я вижу, заструил что-то.

— Точно, — язвительно подхватил Сероштан, — да он ссыкло, пацаны.

— А еще сам вызвался, — добавил кто-то из старшеклассников.

— Ну так что, будешь палить или нет? — спросил Чока.

Я понял, что если сейчас безвольно мотну головой и скажу «нет», то это будет такой позор, который мне уже не смыть ничем. И с Того двора после этого погонят. И Сероштан будет бить, когда захочет. И в школе каждый узнает. А брат... неужели и брат не вступится? Нет, он конечно, вступится... Но я же сам должен, сам...

— Ну? — послышался, словно из тумана, голос Чоки.

В это мгновение мне ужасно захотелось швырнуть самопал на землю и убежать. Рука моя задрожала, пальцы уже почти разжались. Но мой собственный голос внезапно четко произнес:

— Спички давайте.

Мне молча поднесли коробок спичек.

К самопалу — там, где на стволе имеется отверстие для пороха, — уже был прикручен проволокой пучок из нескольких спичек. Что ж, оставалось только чиркнуть коробком по спичечным головкам. Что я и сделал. Вспыхнул огонь, повалил дым. Затем жажнул выстрел. Руку тряхнуло, я оглох, и даже не помню, успел ли отвернуть голову — так все мгновенно случилось. Наверное, успел, ведь я точно хотел это сделать. Но самое главное, я четко, хотя и зажмурил глаза, запомнил картинку, которую в этот момент увидел: мимо меня, в каком-то сантиметре от головы, пронеслась огненная, похожая на комету, смерть. Она улыбалась и, кажется, подмигнула мне.

Я опустил дрожащую руку — ствол еще дымился.

Чока подошел, забрал у меня самопал, потом наклонился к заборным секциям.

— Все три пробило, — сообщил он.

— Сила! — восхитился кто-то.

— Надо мишень нарисовать, — предложил кто-то.

— Молоток, — Чока, закуривая, легонько ткнул меня кулаком в плечо, — а я думал, сдрейфишь.

— Я видел ее... — сказал я тихо.

— Кого?

Я молчал, у меня подрагивали плечи и руки.

— Да у малого крыша поехала, — заржал Сероштан, — ты не обкакался, а? А ну штаны покажи.

Чока повернулся к Сероштану:

— Слышь ты, штанина, — неспешно сказал Чока, выпуская дым в лицо Сероштану, — если ты колупнешься еще раз на Андрюхиного брата, я тебе твою жопу на голову натяну, понял? Не слышу — понял?

Сероштан, недовольно кривясь и отворачиваясь, что-то пробормотал в знак понимания.

Я плохо помню, как очутился в бабушкином доме.

Помню только, что бабушка начала было ругаться из-за того, что я вернулся поздно и пирожки уже остыли, но потом успокоилась. Она постелила мне раньше положенного, и я в этот вечер не стал просить бабушку разрешить мне посмотреть фильм для взрослых после программы «Время». Все тело ныло, я быстро уснул. И увидел фильм. Был летний день. Я ехал по степи на тачанке с пулеметом. Мне было столько же лет, как и сейчас. Кроме меня, на тачанке находились двое — возница с винтовкой за плечами, погоняющий лошадь, и перевязанный крест-накрест пулеметными лентами усатый махновец в папахе. Над тачанкой реяло знамя с черепом и костями, над которыми было написано: «Свобода или смерть». Махновец с пулеметными лентами весело улыбался и о чем-то кивал мне. Фильм шел без звука, но при этом цветной. Степь закончилась, мы подъехали к невысокому обрыву, за которым текла река. На том берегу, в низине, стояло много людей, и все они радостно махали мне руками. Почему-то мне показалось, что я всех их знаю, просто забыл. Но кое-кого

узнал. Это была бабушка Аня, моя прабабушка и мама бабушки Нины. Еще на том берегу стоял священник в длинной рясе и ласково мне улыбался. Я узнал его по фотографии в папином альбоме — это был Федор, отец моего деда. Рядом стоял тоже священник — я узнал и его, это был брат Федора, его звали Иакинф. Все люди радостно махали мне руками, но не звали к себе, а просто, как мне казалось, приветствовали. Но все же я подумал, что сейчас вместе с тачанкой перееду неглубокую в этом месте реку и встречу с ними. Улыбчивый махновец в папахе нагнулся ко мне, и, как я понял без слов, пояснил, что на тот берег они поедут без меня. А мне пора возвращаться. Я кивнул в знак согласия, слез с тачанки. Махновцы дали мне в руки большой сверток какой-то вкусной еды — я почувствовал это по запаху. И сказали неслышимо: «Иди». Я улыбнулся, помахал всем свободной рукой и пошел босиком по пыльной дороге домой.

По обе стороны

Утром, часов в десять, или может быть позже, я позвонил своему другу. Было еще прохладно, начало апреля, но террасу на улице под тентом уже открыли. Володя приехал, как всегда, вовремя, а я опоздал. Прохладное солнце лениво освещало зеленую скатерть стола, за который мы сели. Заказали немного водки в графине, томатного сока, греческий салат, жульены, цыпленка, что-то еще. Сквозь приоткрытое окно в зале был виден работающий телевизор. После дежурных улыбчивых реплик я сказал, что видел прошедшей ночью странный сон, в котором участвовал и он, мой друг.

— И чем же он странный? — спросил Володя, не спеша разжевывая кусочек цыпленка.

— Тем, что в этом сне я убил человека, а ты мне в этом помог.

— Вот как? — мой друг взглянул на меня сквозь очки пристально и чуть снисходительно, затем поднял свою рюмку водки. Водка была холодной, на заиндевавшем стекле графина застыли капельки влаги.

— Давай, — я тоже поднял рюмку, мы чокнулись и выпили. Горячий жульен был хорош на прохладном воздухе, а глоток томатного сока удачно завершил маленький ритуал гастрономии. В животе и груди пошел жар, наполняющий тело легкостью.

— Не хотел с утра пить, — сказал я, — но все же...

— Давай, сон рассказывай, — лениво ухмыляясь, сказал друг.

Я начал. По мере того как я говорил, мои слова превращались в картинки, которые я описывал, и эти картинки, словно кадры зыбкого и тревожного кинофильма, снятого сквозь воду вместо воздуха, всплывали в наше кафе и в наш мир, и сновидение становилось реальной картиной, обрамленной лишь в рамку легкого безумия.

Во сне мы очутились с Володей в небольшом колоритном местечке, весьма напоминающем Яремчу — западно-украинский город в Карпатах. Горы вокруг низкие, местами лысоватые, много мха, из деревьев растут в основном ели. Мы пришли в большой, трехэтажный деревянный дом, стоящий на окраине города. В доме находилось много людей, в том числе и дети, почти все незнакомые. Был среди них парень наших лет — от тридцати до сорока. Чернявый, худой, сутулящийся, в белой рубашке, в очках, как у Володи. Впрочем, мой друг находился здесь почему-то без очков.

Чернявый парень, похоже, был таким же гостем, как и мы, и зашел по каким-то своим коммерческим делам. «Странно, что рядом не было реки», — сказал во сне Владимир. (Да, он так и сказал, в прошедшем времени, я помню). Даже маленькой горной речушки в округе не наблюдалось, точно. И кранов в доме — не помню. Да и

кровь какая-то маленькая и плоская, будто нарисованная в мультфильме, вытекала из парня, когда я ударил его в бок и спину ножом. Три раза.

Здесь следует кое-что прояснить. То, что мне кажется важным.

Первое. Я не помню причины, по которой мы с другом решили убить того парня в светлой рубашке и в очках. Напрочь — забыли ее. И он и я. Потому что, наверное, сам факт убийства всегда важнее его причины. Так? Не знаю. Помню только, что мы с Володиной не только ненавидели за что-то худого ботана в очках, но и переживали, что он сильно нам навредит, может быть, сдаст полиции или разорит.

В доме на втором этаже в комнатах, выходящих на веранду, хранились тюки с товаром, стояли пустые или чем-то наполненные клеенчатые хозяйственные сумки.

Во-вторых, да... Сам момент убийства и мысли, ему предшествовавшие, — оказались какими-то простыми, легкими. Точнее — естественными. Ну, это как если бы вы ехали в машине, увидели на дороге поваленное дерево и естественным образом вылезли бы из автомобиля и оттащили ствол в сторону. Понятно, да?

Что ты сказал, Володя? Ах да, конечно, давай еще выпьем. Наливай.

Хорошо тут. Закурить бы. Весной, странное дело, хочется одновременно бросить курить и начать. Не замечали?

Что еще в том сне... Да, слово «убить» стало там в один ряд с такими, как «есть», «делать зарядку», «заработать деньги», «искупаться», «заняться сексом», «родить ребенка», «полюбить». Кусочки жизни, нанизанные на один шампур и поедаемые с одинаково равномерным аппетитом.

А? Точно, становится теплее.

— Жаль, что там не было воды, — сказал, покусывая губы, Владимир. — Убивать в воде или вблизи нее грешнее, чем на земле.

— Ты думаешь?

— Нет. Но хочется. Ладно, а как мы убивали-то вместе?

Когда мы с тобой решили избавиться от этого парня в очках, ты стал «на стрёме» и принялся следить за дверью. А я подошел к нему, достающему свертки с одеждой из тюка, левой рукой схватил его за плечо, а правой вонзил в его тело тонкий длинный нож. Три раза. Легко вошел, не задев ни единой кости. И крови капнуло мало. Он быстро умер — один из ударов пришелся в сердце.

Потом ты подошел ко мне и помог упаковать парня в один из тюков. «Постоит тут до завтра», — решили мы, потому что сейчас выносить невозможно: в доме полно гостей, да и белый день на дворе. А вот завтра... Завтра мы справимся, потому что напросились к хозяину дома ночевать и он выдал нам ключ от черного входа.

Настала ночь. Мы вновь в чужом тихом доме, быстро поднимаемся на второй этаж, находим наш клетчатый тюк. Тяжелый — но не сильно. Половицы скрипят как стоны умирающих птиц. Почти не дыша, без передышки, мы сносим убитого вниз, выносим, укладываем в багажник моего «Пежо». «Черт, — вдруг соображаю я, — машина же белая, ее видно в ночи!» Ты морщишься, машешь рукой: мол, не к месту сейчас твои причитания. Садись за руль. Со странной аргументацией «Ты устал, тебе больше досталось, давай я...» Как будто это за то, что я убивал, а не ты. Тебе и дела-то нет, идиоту, что только за рулем я и успокаиваюсь.

Ладно, не возражаю. Едем. Один только Бог или друг знают, куда. Какие-то дебри, лес, ели. Пахнет сырым мхом, прелыми еловыми иголками, грибами. Все, можно здесь. Была ли в небе луна? Не помню. Но не так уж темно. Шишки шуршат под ногами. Машина светится белым пятном. Мне не страшно, только дрожь пробирает — наверное, простудился.

— Еще выпьем?

— Не могу уже эту водку, надо было коньяк.

— Тогда лучше ром.

— А он тут есть? Так, и что там дальше?

На экране телевизора слева от нас, в открытом окне зала, бубнили о том, что кто-то записывается добровольцем на войну и едет куда-то воевать. Потом стали показывать кадры: сожженные танки, трупы в снегу.

Дальше... Значит, так: мы его зарыли. Сухим валежником, шишками, иглами забросали, чтобы со стороны не заметили. «Жаль, что сейчас не зима, — подрагивая, сказал я тебе, — по следам машины могут найти». «Что ты, в самом деле, ноешь как поц! — поморщился ты. — А если зима без снегопада? Будет как будет — не найдут».

«Ты же не убивал, тебе легко рассуждать...»

«Да какая разница! — досадливо махнул ты рукой. — Представь, что мы поменялись местами и убил я».

«Если поймают — тоже так скажешь?»

«Слушай, садись, а? Заводи».

Я послушно сел, завел, мы двинулись. К рассвету въехали в низкий готический город. Темная улица, угловой дом светился призрачно-красным светом, вверх вывеска «Отель». Ты, мой друг, принял душ и сразу завалился спать. А я...

— Ты?

— Не спалось. Смотрел телик с приглушенным звуком, потом вроде бы стал засыпать. И...

— Почему ром не пьешь?

— Да пьяный уже.

— Как хочешь, — Володя опрокинул рюмку с солнечной желтой жидкостью, закусил ананасом. И закурил.

— Слушай, а ты не боишься, что нас тут... — сказал я, показывая на круглую табличку с перечеркнутой сигаретой.

— А, — поморщился друг, — поверь, и будь что будет, как говорил не помню кто... Ну ладно, что дальше? Заснул?

— Сигарету дай.

Он протянул пачку.

— Я не заснул, потому что... потому что очнулся.

— Проснулся?

— Да нет. Очнулся во сне. Понимаешь? Меня как будто толкнуло что-то изнутри — и я пробудился. Там, во сне, пробудился, не просыпаясь. И... словно очнулся от морока.

— Да?

Я внимательно посмотрел на его серовато-серебристые глаза за стеклами очков — они были спокойны. И в то же время черты лица были слегка напряжены: ждал, что скажу.

Выдохнув сигаретный дым, я допил ром. Затем выдал:

— Я понял, что я убийца. Понимаешь? Я понял, черт побери, что перешел эту проклятую черту, о которой с детства знал. И я ее перешагнул, сломал, перепрыгнул. Как это случилось, блядь, как?! Не понимаю, как же я мог забыть про черту, но я... я ее перешел. Перешел. Переполз. Перегрыз. И теперь мне крышка.

— Ну, от этого не умирают, — чуть приподняв брови, Владимир выпустил струйку дыма.

— Не умирают... Но и не живут! — почти выкрикнул я. — По крайней мере такие, как я. Как мне теперь, а? Как переснять этот фильм? Как пересмотреть этот сон... Или вообще забыть его. Как?

— Слушай. Ты что, серьезно считаешь, что ты — убийца?

— Не знаю. Да. Нет! Прости, я... я не понимаю, что несу сейчас. Но я не представляю, как теперь на исповедь к священнику буду ходить. Я же не смогу признаться, что убил. Не смогу!

— Будто ты раньше на исповеди ходил, — насмешливо хмыкнул друг.
— Ходил. Ходил! — я едва не зашелся в истерике, но сдержался и добавил тише, — два раза ходил. Слышишь? Два.
— Понятно, — кивнул он, — а теперь надо третий. Да? Как те три удара ножом?
— Как ты можешь...
— Могу. Мы же не во сне.
— А где?
— О-о... похоже, — мой друг наклонился ко мне, — ты реально наклюкался.
— Черт. Да может, вообще все в мире всегда пьяные, а те, кто выпивают — трезвеют.

— Какая глубокая мысль!
— А может...
— Что?
— Может...
— Не может.
— Слушай, Вов.
— Ну.
— А пошли прямо сейчас.
— Куда? На хер?
— На исповедь. Я скажу, что убил.
— Ты что, идиот?
— Нет. То есть да.
— Охренеть. Послушай. Ты же все это увидел во сне.
— Ну и что?
— Как что?
— Во сне — понимаешь?
— Достоевский перед смертью говорил жене, что даже мысленно ей не изменял.
— Да при чем тут, блин, Достоевский и его жена? При чем тут вообще смерть?!
— Ну, потому что... считается ведь, что мысли материальны, и... если ты убил в мыслях, то значит, на самом деле мог, и... и нужно отвечать за каждое свое...

Меня прервал взрыв его смеха. Друг хохотал так, словно танцевал и бил по луже ногами, трясая головой, и казалось, его очки сейчас с него слетят. И весь мир вокруг трясся, звенел, вибрировал, булькал. Но смеялся он не безудержно зло — просто карнавально весело. А потом остановился — и наступила тишина. Володя вытер ладонями слезящиеся глаза, выдохнул и посмотрел на меня.

— Бесполезно, — мотнул я головой, — я иду.
— А что, — сказал вдруг друг, — это мысль. Только знаешь, какая?
— Ну?
— Давай покаемся в убийстве не на личной исповеди, а на общей.
— Это... будет полноценная исповедь?
— Конечно. Так давно делают. И ничего не надо никому рассказывать. Просто стоишь в общей толпе, ну там молитву про себя читаешь, батюшку слушаешь, грешки свои мысленно перечисляешь, и все.
— Все?

— Конечно. И я, так и быть, схожу с тобой.

Тут я почувствовал вливание в себя какого-то теплого ручейка. Словно в кровь впрыснули разжижающую специальную жидкость. Стало наполовину неприятно и наполовину легко. А что: похоже, найден лайт-вариант исповеди. Разве можно, в самом деле, подойти к живому человеку, пусть и проводнику, как там считается, с небесами — и все ему выложить? Да еще не то, что сделал реально, а в каком-то дурацком сне.

Где я, а? Где мы сейчас находимся, мой друг?

Пока ты не умер — здесь.

Что? Вот как ты сказал...

Из кофейной террасы мы вышли на Пятницкую улицу. Было солнечно. Пахло побегами травы и чуть влажноватой землей. Девушки. Сколько же их вокруг, прекрасных, пронизанным весной, куда-то идущих, спешащих. Мы подошли к машине. Белый «Пежо» сверкал солнечными зайчиками, сливаясь с прозрачным миром вокруг, и кажется, тоже стал живой.

— Подожди. Ты что собираешься делать?

— Ехать на исповедь.

— Ты идиот?

— Ты уже это говорил.

— Пьяным за руль? А если собьешь кого-нибудь и убьешь? По-настоящему, а?

— Я и не собирался, Володя. С чего ты взял, что я на машине?

— Ты к ней подошел.

— Да я же просто к ней подошел. Понимаешь, просто!

— Не ори. На этой, значит, машине, мы вывозили вчера труп?

— Да, на ней.

— Ладно, идем. Церковь тут рядом.

Мы пошли. Впереди был перекресток. Мы перешли его и продолжили путь к Третьяковской.

— Слушай, у меня к тебе просьба, — через какое-то время, не поднимая головы, сказал я.

— Ага. Какая?

— Не говори мне так часто «идиот». Иначе я тебя когда-нибудь ударю.

— Только не убей! — засмеялся Володя.

Когда я переходил дорогу у Третьяковской — мой друг немного отстал — я вдруг проснулся. И не сразу сообразил, что меня сбила машина. Это был красный «Ниссан Ноут», за рулем сидела юная хрупкая девушка с очень короткой прической. Она разбила себе подбородок, по пульсирующей жилке ее белой шеи стекала кровь. Огромные распахнутые глаза девушки испуганно смотрели прямо перед собой, в пустоту. Не знаю, почему я увидел ее и запомнил — ведь она сразу, как только бампер ее машины ударил меня и я отлетел на несколько метров, врезавшись головой о бордюр, — вдавила ногой педаль газа и на большой скорости умчалась.

«Я не виновата, не виновата... — повторяла девушка сама себе уже в своей квартире, лежа на постели и трясясь от рыданий, — он сам побежал, сам». «Да он шел, шел на зеленый по пешеходному, на зеленый! А эта гадина смылась», — громко объяснял кому-то на месте происшествия мой друг. Полицейский понимающе кивал и спросил: «Вы номер запомнили?» Володя отрицательно покачал головой.

А я был мертв. Мгновенная смерть, как определили приехавшие на «скорой» врачи.

Здесь, в реальности, оказалось все по-другому, чем там, в земном сне. И, что интересно, свое земное сновидение я вскоре стал точно так же забывать, как это случалось часто наутро во время жизни там, у вас. Но кое-какие, видимо, важные вещи для обоих миров — я все еще помню. Например, та девушка почти не вспоминает обо мне и на исповедь не пошла. Недавно она уехала в другую страну, вышла замуж, родила ребенка, и я теперь редко ее вижу. Еще иногда, когда я прилетаю в свой бывший мир (в который, я знаю, когда-нибудь вернусь), я зависаю над разделительной чертой, которую, как я думал когда-то, перешел в том сне. И я вижу, что черта эта становится малозаметной, затирается, как затирается непогодой и колесами машин сплошная белая разделительная полоса на проезжей части. Ее никто не подкрашивает, не обновляет, и кажется, вот-вот она исчезнет совсем. Но она не исчезает. Какие-то

крохи, пятна, остатки этой черты можно увидеть, если присмотреться. Надо только смотреть внимательнее, надо. Не забыть бы об этом, когда вернусь.

Впрочем...

Впрочем, если честно, тут не все так гладко, как кажется.

Обо всем не расскажешь — слов здесь нет.

Помолитесь обо мне, думайте и молитесь. Не надо тюрем, наказаний и даже, если не хочется, исповедей не надо. Посылайте мне ваши слова, мне их передают, я их слышу.

Они мне нужны.

Зачем ты это сделал

Он поднялся на последний этаж дома, глянул вниз из открытого окна. Люди и машины ползали букашками по асфальту. Через чердачный люк он выбрался на крышу. Здесь свистел ветер, возле антенны валялась мертвая птица. Подошел к краю дома. Отхлебнул коньяк из горлышка и понял, что пить совсем не хочется. Курить тоже. Да и вообще. Зажав пальцами нос — словно прыгал в воду с пирса, как в детстве (а на самом деле от отвращения) — полетел ногами вперед в тугой воздух. Его отнесло немного в сторону и даже показалось, что руки стали крыльями, но потом все перевернулось, и он рухнул. На мгновение только увидел небо, в котором летел самолет.

Очнулся за столом. В круглое, как иллюминатор, окно ярко светило солнце. Напротив сидел лысоватый человек в серой форме с усталым лицом.

— Имя? Фамилия? — спросил человек.

Он назвал. Тот записал.

— Место работы, жизни, семья, цель смерти?

Он начал было отвечать, потом удивился:

— Послушайте, вы же и так все знаете.

— Не совсем, — усталый дернул щекой. — Про жизнь, в общем, да. Но цель смерти — не ясна.

— Так я и про цель жизни не знаю.

— Ладно. Зачем вы это сделали? — устало спросил человек.

— Я же сказал, не знаю.

— Знаешь. Бессмысленных действий не бывает.

— Можно мне побыть одному?

Его отвели в одиночную камеру. Допрашивали еще в течении двух недель. Он молчал. Сначала терпел молча, потом стал орать. Все его крики сводились к единственной мысли:

— Оставьте меня в покое! Пожалуйста. Я не хочу ничего никому объяснять! Даже себе. Да, даже себе. Понимаете?!

Они качали головами, и похоже, что-то понимали, но делали свою работу. В зале суда его приговорили к низшей мере, хотя прокурор просил вечное. Он обрадовался низшей, как ребенок сладкому. Молчал, покусывая губы. В последней речи он произнес:

— Уважаемые судьи. Вот что я хотел бы отметить. Прежде всего скажу, что многое из того, что казалось мне в живой жизни одним, здесь, в жизни мертвой, оказалось совершенно иным. Конечно, я предполагал, что примерно так все и будет. Но некоторые вещи, признаться, меня поразили. Например, я не ожидал, что вы потребуете моего словесного признания в том, что и сами знаете. Неужели слово так важно даже здесь? Впрочем, мне, вероятно, тоже. Точнее, мне на него наплевать. Даже

зная, что вы тут легко читаете мои мысли, я не собираюсь подтверждать или опровергать их словами. Мне хочется одного — чтобы меня оставили в покое. Да, в покое — относительно причин моего самоубийства, или греха, неважно, или там, помрачения, недовольства жизнью, да мало ли еще чего. Я не хочу говорить. Не хочу оправдываться, объяснять. Я и сейчас хранил бы молчание, просто проявляю к суду уважение. Но признаваться, каяться ни в чем не буду. Может, потому что... сам ничего не понимаю. Мне было плохо. Так хреново, что хотелось просто удара, жуткого, страшного удара о что-то твердое, чтобы хоть как-то кончились вся эта боль и бессмыслица. Почему в моей жизни возникли боль и бессмыслица — для меня уже не важно, да может, я и забыл. Прошу только одного — не трогайте меня больше. Не заставляйте искать какой-то новый смысл, объяснять что-то прилюдно. Не хочу. Хочу молчать и ничего не чувствовать. Не желаю ни с кем, ничего. Отпустите меня.

Самое удивительно, что кто-то в зале бодро похлопал его речи. Но он не успел увидеть, кто, потому что его увели.

Рано утром, по земному часам, может, в пять, стукнул замок двери, в камеру вошли трое и его разбудили. Выдали ту же одежду, в которой он прыгнул с крыши. Повели по коридору, потом подвели к стене. Зачитали приговор: так-то и так-то, за то-то и то, обжалованию не подлежит.

Затем открыли незаметную поначалу в стене дверь — и он понял, что находится в том самом самолете, силуэт которого успел заметить в небе перед смертью.

Странно, но сейчас он почему-то ощущал приступ липкого ужаса перед открывшейся бездной. Ноги задрожали, сердце ушло в живот.

— Не-е-е хо-о-чу-у! — заорал он, но никто его не услышал: поток встречного ветра забил рот тугим кляпом. В спину толкнули, он вылетел из самолета.

Земля стремительно приближалась. Вот уже виден город, в котором он жил, ходят по тротуару маленькие люди и ездят сверкающие на солнце автомобили. Вот залитая смолой крыша высотного здания, с которого он прыгнул. И бутылка с недопитым коньяком. Он попытался ухватиться за край крыши, но просвистел мимо. Прямо под собой вдруг заметил летящего вниз такого же, как он, — да это ведь он и был. Влетел в себя за мгновение до удара о землю. Удар оказался точно такой, какого он желал, — страшный, всесокрушающий. Невероятная боль, по сравнению с которой его земные страдания сразу стали ничтожными. Лежа на асфальте с проломленной головой, переломанными ногами и позвоночником, он все еще жил, медленно погружаясь в черную лаву забвения. Хотелось говорить, кричать, все на свете кому угодно рассказывать. Но было поздно. Мертвая смерть наступала...

Нет.

Еще не поздно. Времени нет.

И не было никогда.

Ночь с идиотом

Это был самый снежный и морозный январь, не припомню таких страшных морозов за всю свою жизнь. Впрочем, не такая уж моя жизнь и длинная. Хотя, я не о том. О чем же я хотел сказать... Да. Сознание мое несколько спутано, потому что я болеваю. И кажется, серьезно. Сколько же мне было лет? Черт, почему я говорю — «было»? Это, по крайней мере, как-то даже смешно. У меня грипп, который в этом году называли «свиным». Отвратительное название, верно? У меня никого из родственников в этом городе, а все друзья куда-то уехали в связи с Новым годом. Наверное, стоит позвонить в «неотложку» или еще куда, но это же смешно — из-за какой-то высокой температуры куда-то звонить. В наш век не умирают от высокой температуры. Хотя

нет, умирают. Мама рассказывала, что у ее коллеги дочь-шестиклассница, как раз моя ровесница, прямо во время урока упала на пол и возле парты скончалась. Зубрила была девчонка, пошла в школу, чтобы контрольную по математике не пропустить. А теперь — похороны. После этого вся школа и наш подъезд пестрят объявлениями, что нельзя отпускать в школу детей с высокой температурой, что грипп — это не шутки. Ну вот, опять. Мне же давно уже не двенадцать и даже не двадцать и не тридцать лет. Какая еще школа? И мать моя давно умерла. Я, взрослый сорокалетний с чем-то мужик, снимаю эту квартиру на окраине Москвы, чтобы писать. Да, я работник медиасферы, прикидывающийся писателем. Или писатель, прикидывающийся журналистом. Боже... как же меня вставило! Неужели от высокой температуры? Где же градусник... Где он?

Надо позвонить. Позвать хоть кого-то. Жар неимоверный, и одновременно морозит, колотит всего. Хочется завернуться в сто одеял. Но я помню, что при высокой температуре нельзя укутываться, нужно наоборот — охладить тело. А как? Выбежать, что ли, голым во двор и прыгнуть в сугроб? Ха-ха... Идиот, не правда ли?

«Идиот», да. Откуда это слово впервые взялось во мне? Помню... лет в восемь я рылся в отцовском книжном шкафу, искал книги про приключения, и упал мне на ногу маленький кирпич, больно ударил. Я взглянул на обложку: «Идиот». Это же надо — придумать книгу с таким идиотским названием! Я полистал старую, затхлую книжку, ничего интересного. Иллюстрация: гнутый мостик, какой-то шпиль на дальнем фоне, и закутавшийся в плащ человек идет, гнется под ветром.

Я точно так же шел по мосту, когда впервые приехал в Петербург. Чувствовал себя то Мармеладовым, то Иваном, то Раскольниковым, то Идиотом. И галерея похожих на развешанное белье людей, сырое, мокрое, хлесткое белье.

Вот так. Приложил ко лбу смоченное холодной водой полотенце, стало легче.

Точно так же я заболел в шестом классе. Радовался, что завтра не нужно в школу, а под утро подскочила температура. И тоже зима. И мороз за окном. Но не Москва и не Питер. Другой, южный город, Екатеринослав, где в ту зиму тоже бродила эпидемия гриппа.

Странно, но я не понимаю, в каком из трех городов сейчас нахожусь. Или... Точно, я нахожусь в трех городах одновременно. И в трех возрастах — тоже. Разве так бывает?

Как же прекрасно быть сразу в трех разных временах и видеть их, слышать их. И если оглянуться и посмотреть назад, то можно добраться до своего рождения, да? А затем взглянуть вперед — и попасть в смерть. Но какая разница, вперед смотреть или назад? Нет направлений.

Здесь просто — «Есть».

Эй! Кто это сейчас сказал?

Молчание смотрит на меня со стен и со штор, усмехаясь.

Сколько мне лет?

Бесконечно.

Что?

Неважно. Времени на самом-то деле нет.

Да ладно, хорош врать. Я болен, да? Неужели все так серьезно? А может... я умираю?

Сыночка, деточка, в школу ты завтра не пойдешь. Вот у тети Лизы, дочка Алена, пошла в школу с температурой и умерла. Прямо посреди урока упала. Оказалось, у нее температура сорок два градуса, это же смертельная.

А у меня, у меня какая сейчас? Я потерял градусник...

Мама, ты плачешь? Твоя теплая слеза падает мне на щеку. Я хочу сказать тебе, что все отлично, что, мам, я не умру, и я ужасно рад, что не пойду завтра в школу, и смерти вообще не существует... но не могу. Почему-то у меня пропали слова — как

пропадают вещи, очки или часы, карандаш, стёрка, которые в квартире не можешь найти. Слова — это ведь вещи, миллиарды, триллионы мелких окружающих нас вещей, часто нужных, удобных, но нередко и пустяковых, пустых. И вот, они куда-то все исчезают, будто их вытирают резинкой, и я хожу по дому и не могу их найти.

Сейчас раннее утро. За окном — чернота с желтыми глазами фонарей. Мой жар достигает космической высоты, и теперь все, что мне хочется, это попить холодной воды. Надо позвонить. Позвать хоть кого-нибудь, хоть даже черта или идиота. Я помню, там, в нашей гостиной, стоит на столе хрустальный кувшин, в нем старые увядшие цветы, и между зеленых листьев плещется холодная вода. Вот туда бы дойти — и выпить.

С невероятным трудом поднимаюсь, дохожу до стола. Нахожу на ощупь кувшин. Наклоняю его, тяжеленный, на себя, и из него льется мне в рот воздух, тяжелый, плотный, как вода. Но не вода. Горячий и пустой.

Я очнулся. Мне померещилось, что я напился воды. На самом деле я даже еще и не встал. Не могу пошевелиться — каждое движение кажется лишним, ненужным, будто нахожусь в убаюкивающем саркофаге из тепла и тьмы. Может, действительно наступает смерть? Как у той глупой отличницы, как ее зовут... Мама, ты была права. Зачем только ты раньше меня умерла, а?

Родители не должны умирать раньше детей.

Должны, должен... Никому я ничего не должен! Не хочу я в школу и не пойду. И умирать не обязан.

Я хочу пить. Воображением не напьешься. Горло пересыхает без воды.

Стук.

Жаль, что так рано. Я еще не написал, что хотел. Своего «Идиота». Или как бы лучше книгу назвать. Придурок? Болван? Раскольников? Смердяков? Мармеладов? Какие дурацкие названия. Но прямые. Жизнь — тоже прямая штука. Как черточка на надгробии между датой рождения и датой смерти.

Стук. Повторяется.

Какая-то вязкая сила поднимает меня с дивана и тащит к входной двери. В полной тьме приникаю к дверному глазку. Там — какое-то тусклое мерцающее свечение.

Кто там?

Тишина.

Это — ты?

Я ясно слышал кивок головой.

Пальцы мои сами отпирают дверь.

В темноте стоит человек. Нет — мальчик, подросток. Он смотрит на меня и молчит. Лет двенадцати-тринадцати. Как я. С высоким лбом, бледный, худой, с большими и, как у меня, воспаленными глазами.

Он смотрит на меня.

Вы...Ты... ко мне?

Мальчик кивнул.

Я посторонился, пропуская его.

Он вошел и остановился посреди прихожей. Только стоит и молчит. В странной какой-то одежде. Будто не из нашего времени. Гимназический сюртук с латунными пуговицами. Такие же брюки. Черные начищенные туфли. Почему-то мальчик не страшен, даже приятен. И в общем, мне нравится, что он молчит.

Мы в гостиной. Я предлагаю ему сесть. Тут же, на столе, стоит хрустальный кувшин со старым букетом. В окно смотрит ночной зимний свет. Он падает на нас обоих.

Ты... Идиот? — спрашиваю я.

Мальчик как-то задумчиво и покорно кивает.

Знаешь, Идиот, мне почему-то кажется, что я уже читал про тебя. Хотя мне

только двенадцать лет и Достоевского мы еще не проходили. Я только видел книгу, в которой ты есть. И она мне жутко не понравилась.

Ты с пониманием усмехнулся.

Погоди... Но ты же вроде в той книжке взрослый, да? Почему же здесь ты маленький?

Идиот опустил глаза и как-то невесело пожал плечами.

Это потому что времени не существует, да?

Мальчик несмело кивнул.

И... я тебя еще прочитаю, потом... и тоже... когда вырасту, напишу про тебя? Да?

Идиот хотел было кивнуть, но, взглянув на меня, почему-то застеснялся и не сделал этого.

Слушай, а где мы сейчас?

Он промолчал.

И там, и здесь, и везде? Да?

Помедлив, мальчик кивнул.

А почему ты пришел ко мне? Я... я умираю? Ты ангел, что ли?

Идиот посмотрел на меня с каким-то задумчивым сожалением.

Вдруг он вздрогнул, решительно сдвинул брови и покачал головой.

Что? Ты не ангел? Бес?

Мальчик отрицательно покрутил головой.

Ты не умрешь, — вошли в меня его слова.

Но разве... Что, смерти нет?

Он покачал головой.

Вообще? И мама... она тоже не умрет? И папа, и я?

Мальчик кивнул.

И ты? Ты тоже — живой?

Он улыбнулся.

Я дрожал. Я по-прежнему лежал в постели и пытался пошевелиться, чтобы встать и дойти до кувшина с холодной водой и терпкими листьями.

Я не могу без воды. Без нее я точно умру.

Мальчик снова качнул головой: нет.

Затем Идиот встал, вышел из спальни и вернулся с хрустальным кувшином в руках. Букета в нем уже не было. Зато в кувшине была вода — я ясно ее видел: прозрачная, холодная, с маленькими кусочками терпких зеленых листьев.

Но я... даже пить не смогу, так мне плохо, — думал я, не в силах произнести хоть слово.

Мальчик кивнул. Он набрал в рот воды, с раздутыми щеками подошел к моей постели и наклонился надо моим лицом. Его губы коснулись моих и мягко приоткрыли их. В тот же миг губы его увлажнились, и холодная вода, как из птичьего клюва, журчащим потоком потекла в меня. Я протянул свои руки-крылья, обнял моего Идиота-птицу и пил, пил, глотал живительную влагу. Напившись, я откинулся на подушку. Идиот с детской счастливой улыбкой смотрел на меня и гладил ладонью мои волосы. За его головой на черном фоне окна светил фонарь, а может быть солнце, и от этого света края его волос вспыхивали и искрились.

Все будет хорошо, мой ангел, — услышал я.

На меня капнула теплая слеза.

Что? Это я ангел, не ты?

Конечно, а кто же еще. Когда любишь кого-то — то превращаешь его в ангела. Разве ты не знал?

Знал, наверное, знал.... Но забыл, — я счастливо рассмеялся.

И появился свет. Я увидел над собой лицо матери, чуть поодаль за ней стоял отец.

«Какая температура?» — спрашивал папа.

«Тридцать девять и семь. А было сорок один».

«Она падает, падает! Он выздоравливает».

«Да. Скоро подъедет "скорая". Я думаю, все уже хорошо».

«Милый, любимый наш мальчик. Мой ангел, все хорошо».

«Мама...»

«Да, сыночек?»

«Ты живая?»

«Конечно. А какая же я еще должна быть?» — мать рассмеялась, и я увидел, что глаза ее мокрые от слез.

«Я знал это, знал...»

«Как ты себя чувствуешь? Пить хочешь?»

«Нет, я уже напился, ма. Меня напоил Идиот».

«Кто?»

«Идиот. Он приходил ко мне, такой мальчик, как я. Мы одноклассники, только в разные времена. Он дал мне воды и сказал, что я вырасту и никогда не умру. Что я стану писателем и напишу про него книгу. Как писал когда-то про него другой писатель. А до него еще один писатель, который написал про всех нас. И все про это пишут, поэтому и времени нет. Знаешь, а я видел себя в сорок лет или старше... но уже забыл, что там было.... Мама. Но это все будет. И было. И есть. Понимаешь?»

«Да, понимаю, мой мальчик... — улыбаясь, мать встревоженно обернулась к отцу, — он все еще бредит, у него жар».

«Ничего, — сказал папа, накладывая на мой лоб смоченное холодной водой полотенце, — худшее уже позади. «Скорая» приехала, пойду встречу». Он поднялся с колен возле моей постели и сбил ногой пустой кувшин. «Кто его сюда притащил? Ты не спи сына, не спи. Сейчас врачи укольчик сделают, и тогда уже засыпай. Ладно?»

Я кивнул. Я не спал, просто лежал и улыбался. Мне было легко и хорошо. Мне снова двенадцать лет, и я снова знал, что все мы живы и впереди вечность.

Алексей Дьячков

Мирумир, минарет, монумент

Сердце

Тогда замечает во всём перемены
Проснувшийся Лазарь с щетиной трёхдневной.
Вода с гибкой ивой нарушила связь,
Как пряди каната, трава расплелась.

Как детская лейка, склонился репейник,
Разбух под крапивой в тени муравейник —
Пороги и мягкие окна среди гор,
Подвижна толпа многоликих монгол.

То тени без формы, то ангельский облик,
Над лесом инвентаризация облак,
Овечья покорность. Пух в траву осел.
Инструкция света истлела совсем.

В лесу, где лучи прорастают отвесно,
Где также я останавлиюсь и воскресну,
Ручей молчаливо по щебню течёт.
И рай недоступен пока что ещё.

Рыбалка

Гимнастёрку отец застирывал.
Трезвый дед наблюдал стрекоз,
На бумаге верже фиксировал,
Что стереть не успел склероз.

Ни войны, ни победы в перечне —
В небе облако, кровь в траве.
Перепутала память девичья
Всё, что помнила обо мне.

Оловянный солдатик садика.
Дня продлённого длинный стих.
Неуёмная нумизматика
Лунных волн переправ ночных.

Умер дед, и деревья умерли.
Ветки голые, мир идей.
Марганцовка осенних сумерек —
Фотография без людей.

Титры

В кино всё правда — снег и море,
И меры веры и вины.
По просьбе выживших героев
Их имена изменены.

Выходят школьники из леса,
До станции бредут пешком.
Их ждёт на полотне железно-
Дорожном человек с флажком.

То поезд в кадре, то автобус.
Трясутся в фокусе друзья.
Весь цимес, — говорит оболтус, —
В том, что покинуть пост нельзя!..

Но дальше ничего не слышно.
Кондуктор надорвал билет.
Лес мельтешит листвою рыжей
Под стройный гул ленивых флейт.

Платформа 153 км

Снег и двор пустой на киноплёнке,
Мутные разводы от белил.
Господи, он был твоим ребёнком,
Как живых, воробышков лепил.

Тили-тесто, жениха простила
Родина, оставленная им.
Снег и зоопарк из пластилина,
Двор безлюдный — всё, что он любил.

Вымпел со значками — всё, что поезд
Унести со станции не смог.
Туго затянув библейский пояс,
Мирно спит на верхней полке волхв.

Музыка плывёт, стучат колёса.
Сыплются во тьму за годом год.
Серенький волчок глядит из леса,
Словно мультик кончится вот-вот,

Побегут загадочные титры,
Звёзды побегут наоборот.
Пробубнит — спокойной ночи! — диктор
И программу «Время» заведёт.

Наизусть

На раскисшей от снега земле
В ноябре я поставлю себе
Гору мела — фонтан для монет,
Мирумир, минарет, монумент.

Ниша в узкой груди для божка.
Рёбер лес, сад души, потрошка,
Несмолкающий грустный рожок
И сухих сухожилий мешок.

Простужусь под дождём без плаща,
Возводя его, как завещал
То ли Квинт, то ли Квант, то ли Флакк,
Толик-дворник, подросток, дурак,

Чтоб в рожок школьник ветреный дул,
Помнил море, мементо, амур,
Свет тянулся с утра из-за штор,
И снежок долгожданный пошёл.

Тамирлан Бадалов

Неоправданные ожидания

Повесть

В его жизни брак был вполне продолжительным, точнее, затянувшимся на годы. Как водится в таких случаях, не без ухабов и колдобин, не без житейских заморочек — ничего странного, все как у людей. В протяженном семейном сосуществовании без синусоидных всплесков не обойтись. Модель бытия, быть может, и задумана, гармоничная, в небесных канцеляриях, но в действительности выглядит изрядно потрепанной. В воплощенном, многостраничном томе, среди всякого-прочего, были светлые и благопристойные страницы, даже счастливые. Были главы спокойные, без всплесков, но от того не менее памятные. Однако встречались и тягостные параграфы. О некоторых из них впоследствии он предпочитал даже не вспоминать.

Но так было. Год за годом все шло по накатанной, внешне невидимой, но подспудно как бы заданной колее, будто отмеченной волей providения. Этому не мешали ни периодические внутрисемейные встряски, которые потом забывались, ни случайные его увлечения, уводившие ненадолго в сторону от колеи, впрочем, не оставляя заметных следов. В целом, казалось, так будет всегда, так предначертано судьбой, в которую он верил, пока не обнаружилась выхолощенность семейной жизни, какая-то ее монотонная пустотелость. И как развеять обреченность постоянства, как разорвать порочный круг, никто толком не знает.

В ее же представлении он отнюдь не был принцем на белом коне, о котором она мечтала с детства. Суть, как раз, была в этом, но жизнь распорядилась по-своему, пришлось смириться с реальностью и выбирать из окружающего *немножества*. На первых порах выбор казался вполне удачным. Позже, вглядываясь пристальней, она обнаруживала в нем все больше и больше изъянов, а со временем число недостатков только росло. Она постоянно натывалась на них, тщательно разглядывала и фиксировала. С годами стал заметно черствее, — отмечала она в своем приватном дневнике, — менее сдержанным, слишком колючим. Одним словом, и изначально был не очень, а с годами становился все хуже и хуже.

Тамирлан Бадалов родился в Баку. Архитектор, кандидат наук. С 1963 по 2010 год жил в Москве, работал в проектных и научно-исследовательских институтах, преподавал на кафедре градостроительства МАРХИ. Пишет стихи, рассказы, сказки, лирические и сатирические этюды. Публикуется в различных интернет-изданиях. С 2010 г. живет в Баку.

И продвигался по служебной лестнице слишком уж медленно, без должного рвения, не проявляя необходимой устремленности. И диссертацию написал под ее нажимом, а следующую, докторскую, между прочим, так и не защитил. Умные люди, как только свалился коммунистический частокор и дозволили частную инициативу, тут же начали создавать свое дело, сколачивать состояние, умножая его, а он плелся по обочине жизни, уткнувшись в свои книги и шахматы, не утруждая себя ничем серьезным.

И друзей себе выбирал никудышных, не понимая порой, с кем связывается. Ей постоянно приходилось указывать на их неблагоприятные поступки, многие из которых, с ее точки зрения, были совсем не случайными, а диктовались отчетливой злонамеренностью. Но разочарования не шли впрок, и новые друзья семьи со временем оказывались то слишком назойливыми, то меркантильными, то бесцеремонными, и терпеть их дальше не было сил.

— Послушай, — говорил он ей, — тебе не кажется, что нас окружает слишком много «плохих» людей. Согласись, это ведь довольно странно, неправдоподобно...

— Нет, — отвечала она, — мне так не кажется. Просто не следует изменять своим принципам в угоду сиюминутной ситуации. Надо иметь твердые убеждения и собственное достоинство, тогда не придется подстраиваться под случайные обстоятельства, и все поступки окружающих предстанут в истинном свете. Я выросла в семье, где честность и справедливость ценились выше всего.

— Мы, — говорила она, имея в виду семью в целом, — не любим людей лицемерных и корыстных, стремящихся только к своей выгоде.

И по-своему была права: корысть и лицемерие — качества, безусловно, плохие, а честность и справедливость — качества хорошие. Вот ведь, как все, оказывается, просто.

«Чего уж греха таить, — подумал он, — я ведь тоже далеко не всегда честен и справедлив, часто лицемерю, да и корысти во мне хоть отбавляй. Как же дальше жить с таким тяжким грузом, о котором тебе регулярно напоминают. Или еще изощренней, демонстративно и молча, насуплено и хмуро, и ты находишься под гнетом невысказанного упрека, тащишь на себе тяжесть постоянной вины, не понимая, как от нее избавиться».

Изменить свою сущность, наполнив ее добродетелью, еще никому не удавалось. Еще сложнее, а по правде говоря, просто невозможно изменить мироощущение взрослого человека, заменив один фрагмент его серого вещества другим. Эта матрица — неизменная часть материнской платы. С такой внутренней установкой, с таким волевым «софтом» бороться бесполезно, приходится мириться.

Воля, дурацкая мессианская убежденность в собственной правоте, не зависит от числа прочитанных книг, она задана и закреплена изначально, свойство сие — природного происхождения. Родовое проклятие сначала вытаптывает милосердие в собственной душе, а потом принимается за ближнего. Волевой человек рожден доминантным, и независимо от того, мужчина это или женщина, ощущает себя нормально только при подчинении партнера, предполагает «исправление» любого, попавшего в зону соприкосновения, принуждая его к правильной жизни. Если тот готов выполнять отведенную роль, если роль его не корбит, не стесняет, то совместное проживание может быть вполне счастливым. Как только эта готовность ослабевает или исчезает, желание безоговорочно подчиняться пропадает, такой союз распадается.

Все сущее имеет границы, все живое имеет конец; совместная жизнь исчерпала себя, продолжать ее, насилуя природу, стало бессмысленно и тягостно. В сложившихся обстоятельствах расставание стало наилучшим выходом для обоих.

Возвращение...

В промежутке между известным и неизвестным, между прошлым и будущим, возникла идея возвращения туда, в некое пространство, где угораздило родиться и прожить пару десятков юных лет. Там жили родственники и друзья, знакомые, малознакомые и вовсе незнакомые соотечественники, там были похоронены родители, туда он изредка навещался и знал об этих местах не понаслышке — небось, не Америка какая-нибудь.

Незаметно, как бы исподволь, жизнь подталкивала именно к этому непростому решению.

Брат, с которым вел продолжительные беседы по скайпу, в целом обрисовывал довольно радужную картину житья-бытья, в которой было много солнца и моря, разнообразие привлекательных ландшафтов: от пустынных до субтропических, от предгорных до горных. Копилка местных достоинств включала фольклорные шутки и анекдоты о темпераменте мужского населения и скромном обаянии женщин. Вдобавок к перечисленному, сказ был приправлен ярким живописанием шумных и обильных застолий, а чревоугодие, как известно, неисправимый порок. А чтоб жизнь не казалась малиной, не скрывал и трудностей, которые встретятся в период адаптации.

— Послушай, Милан, в конце концов, тебя же не на цепь посадят, не в кандалы закуют. Гражданство твое сохранится, ноги и голова при тебе, если почувствуешь, что это не твое, чужое, — скатертью дорога. Всегда можешь вернуться туда, откуда «понаехал». Уверен, ты приживешься и еще будешь благодарить меня за разумный совет.

Оставалось только нырнуть в этот заманчивый водоворот обстоятельств, рассчитывая выплыть; просчитать все последствия до конца все равно невозможно, а по жизни случалось выбираться и из более крутых воронок судьбы.

Он понимал разницу между временным визитом в страну, при котором местные хитросплетения обычно воспринимаются с юмором и постоянным накапливающимся раздражением от нелепых традиций и несуразиц, утяжеленных восточным конформизмом — «так положено», — которых здесь всегда хватало с избытком. Одно дело быть долгожданным гостем, и совсем другое — жителем.

Но все-таки решился...

Возвращение, особенно на первых порах, всегда расцвечено светлыми, радужными тонами. Так было и в этом случае: мажорные тона явно преобладали над печалью по утраченному, но некоторая настороженность все-таки сохранялась. Еще бы, ведь столько лет прошло. Уже не было той многонациональной среды, в которой он прежде жил, не было старой городской атмосферы, которую помнил. Переехать привелось в совсем другую страну, самостийную, незнакомую, замкнутую на себя.

Но на душе, в глубинных ее ощущениях, почему-то было спокойно. Приятно согревали воспоминания о счастливом детстве и безмятежной юности. А вдруг да повезет в грядущем отрезке, и все завершится эдаким «хеппи эндом», как принято в американских фильмах? Мало ли превращений случается в жизни, фортуна — дама непредсказуемая, бывает она и доброй. На это, собственно, и вся надежда, иначе нет смысла оставлять привычные широты, взваливать на себя неизбежные хлопоты, связанные с многоступенчатой юридической волокитой, заботы по переброске своего скарба из северной столицы в южную; это ведь не романтическое путешествие на острова в океане, не к морю на недельку съездить.

Наконец, свершилось, — новый этап стал фактом биографии. Как ни странно, процесс «вживления клетки в биомассу» прошел вполне успешно, практически, безболезненно. Он довольно быстро освоил правила новой жизни и нашел много способов обращать их в свою пользу. Особенно забавно выглядело, когда в разных

нестандартных ситуациях незнакомые, услышав его нелепые речевые обороты, отмечая некоторые причуды во внешности и манере одеваться, принимали его за иностранца, старались всячески угодить, а он, шутками да прибаутками, включался в эту незатейливую игру.

На первых порах не обходилось, конечно, без каверз, в первую очередь со стороны блюстителей правил дорожного движения. Куда уж без них... Они были такими же «санитарами» на дорогах, как полиция нравов на Сицилии или рыбаки-экологи, радетели чистоты водоемов, с тротилом в снастях. Гаишники своими искусно расставленными сетями с завидным постоянным штрафовали его, имевшего немалый опыт вождения. А когда начинался диалог, их опытный глаз и острое ухо безошибочно определяли несомненные достоинства выловленного джентльмена, что позволяло вдоволь покуражиться, вежливо обкладывая витиеватую словесную вязь претензией. Иногда казалось, что менты пополняли свой бюджет в основном за счет его скудного кошелька. Но и это миновало... Со временем он научился не попадать в примитивные ловушки, и темная полоса с бесконечными поборами была преодолена, или почти преодолена, а число штрафов уменьшилось в разы.

Возрождение...

Жизнь как-то незаметно наладилась, балуя небольшими сюрпризами и неожиданными радостями. Легко писалось, что-то печталось, кое-что зрело, а что-то в виде набросков и черновиков копилось в памяти компьютера. Появился новый круг знакомых, в том числе виртуальных, со схожими или близкими интересами. Было много лестных отзывов на его газетные статьи, рассказы и колонки, с просьбами не оставлять ту или иную затронутую тему. Количество зарегистрированных отечественных и зарубежных сетевых друзей, а также число постоянно читающих, за короткий промежуток времени резко возросло. Среди них было немало миловидных дам, на которых, судя по аватаркам, можно было бы положить глаз, а при случае, распустив павлиний хвост, поумничать в инбоксах. Впрочем, как ни странно, удавалось просто приятно поболтать на разные темы, обменяться впечатлениями об увиденном, услышанном и даже поговорить по душам.

Точно так же, из ниоткуда, в фейсбуке впервые мелькнула Элина: неприметным лайком, затерявшимся среди прочих. И осталась бы незамеченной, как часто бывает с иными туристами, случайно забредшими на многолюдную, кишашую зеваками, городскую площадь. Но когда через некоторое время лайки повторились — отметил про себя факт внимания к статусам, но и не более того.

Позже, уже задним числом, обнаружил, что по нынешним временам знакомы-то, оказывается, давно. Почти два года назад их свели извилистые фейсбучные тропы, но тогда контакт казался малозначимым, поверхностным, каких в сети миллионы, — подавляющее большинство из них не оставляет следа, растворяясь в эфирной тине.

Всемирная паутина многолика и многообразна, не всегда сдержанна и благообразна, но и не так безобразна, как пытаются изобразить ее хулители. Фейсбук — часть паутины, виртуальная скамейка для эфирного общения, со всеми достоинствами и недостатками. К пишущему человеку, естественно, подсаживается больше людей, и это не только те, кто от случая к случаю читает популярные страницы, еще реже их комментирует, в основном просматривая видеосюжеты, слушая музыкальные клипы на You Tube.

Элина, став сетевой френдессой, робко подседа на скамью, с краешка. Посидела некоторое время тихонечко, видимо, присматриваясь к словам хозяина и репликам гостей, потом несколько раз обозначилась лайком. Спустя еще пару месяцев появились первые ее комменты. Заметные, нетривиальные... Ответил... И тут же возражение...

Последовала полемика, затем другая, уже по другому поводу, которая как-то плавно утянула в личку, где больше свободы и больше откровенности. Взаимный интерес проявился сразу, это угадывалось уже с первых ее увесистых фраз: злободневных, острых, колючих. Она умела четко сформулировать мысль, писала практически без ошибок, что не так уж часто встречается. Это не могло не заинтриговать.

Если уж совсем откровенно, то, конечно, не только умение связывать слова привлекло его внимание; приглянулась и аватарка, а последующий нырок в глубь фотоальбома только укрепил интерес. Неясно было только одно: это обычное знакомство на основе совпадения взглядов, случай распространенный, или же нечто большее? Одного ведь желания здесь недостаточно, — как известно, это улица с двусторонним движением...

А жизнь, между тем, продолжала свое ежеминутное, неназойливое тиканье; продолжала настойчиво и бесстрастно, не останавливаясь ни на секунду, вертеть шестеренки бесконечности.

Бытовая канитель

Все было бы хорошо и мило, если бы не постоянная бытовая мелочевка, назойливая, как августовские мухи. Эта ежедневная канитель, от которой не отобьешься, оказалась для него неожиданным неприятным открытием.

В квартире с видом на море, купленной в новом доме, почему-то постоянно пачкались окна, загрязнялись полы и балконы, пылились кресла и диван, гостиная и кухня, все горизонтальные и вертикальные плоскости. Все, что имело массу и тело, стремилось как можно быстрее замараться, включая экран телевизора и монитор ноутбука. Все, буквально все... И что необычно, происходило это непрерывно, без пауз на выходные дни.

К сожалению, это предполагало не просто констатацию факта, мол, свобода не бывает без издержек, — требовалась регулярная уборка. Когда уровень загрязнения зашкаливал, а гости вот-вот должны были нагряться, приходилось спешно прибираться, затапливая все неприглядное в шкафы, ящики, стиральную машину.

К счастью, не пылились персидские ковры, белоснежные ажурные занавеси, бархатные гардины с кисточками и шторы с тесемочками, по причине их отсутствия. Зато после еды посуда и столовые приборы каждый раз настойчиво требовали немедленного мытья. Постельное и нательное белье, полотенца и тряпки, рубашки и носки неоправданно быстро пачкались, накапливались и нуждались сначала в стирке, сушке, а потом еще и глажке.

Мусорное ведро, между прочим, тоже жило по собственным законам, не поддающимся человеческой логике. Опережая время и нарушая все правила, оно заполнялось быстрее, чем в него бросали бытовые отходы.

Еда и питье — и эти туда же! — сами собой не заполняли холодильник, их надо было регулярно покупать и раскладывать по полочкам с жуткой частотой. Зато они имели тенденцию внезапно исчезать в самый неподходящий момент, вынуждая постоянно за этим следить, чтобы держать холодильник в тонусе.

Но и этого было недостаточно: часть продуктов по пути к желудку следовало предварительно отмыть, очистить, нарезать, смешать в определенных сочетаниях и пропорциях, затем долго готовить, то на сильном, то на среднем, то на слабом огне, причем, ни в коем случае нельзя было путать эту последовательность. Только после этой занудной тягомотины, отдающей откровенным языческим колдовством, продукты превращались в нечто, отдаленно похожее на пищу. Самое обидное, что, несмотря на все старания, блюдо, на которое было затрачено много времени и сил, не всегда

можно было назвать едой. Окончательный продукт редко получался вкусным, чаще не совсем съедобным, а иногда совсем даже не...

И еще: оказалось, что думать о еде надо не тогда, когда проголодаешься, а загодя, когда ты сыт и доволен жизнью. Вот ведь какая напасть. Это было самым неприятным открытием человека, не обремененного прежде заботами о желудке.

Если готовить было лень (а это — как правило), приходилось напяливать на себя цивильную одежду и ехать в ближайшие закусочные или рестораны на бизнес-ланч. Но там своя головная боль — парковка автомобиля. Еще один полулегальный способ отъема денег у граждан.

Парковка превратилась в специфическую форму полицейского бизнеса: искусственные запреты на стоянку, даже на второстепенных улицах, услужливые информаторы, как правило, таксисты, и эвакуация автомобиля на штраф-площадку, работали как хорошо отлаженный механизм. Бизнес-ланч, и без того не очень качественный, становился к тому же весьма дорогостоящим удовольствием.

Короче, в неравной борьбе холодильника с компьютером, пузатого с тощим, всегда побеждал упитанный меркантильный холодильник. Он, в отличие от емкого и уступчивого хард-диска, всегда готового поделиться своим содержимым, был прожорлив и ненасытен, требовал постоянного пополнения и не намеревался милостиво ждать.

Нельзя сказать, что бытовая канитель была неподъемной, вовсе нет, но она чистила, трепыхалась, мешала сосредоточиться, постоянно отрывая от работы, разбивая каждый день на множество мелких осколков.

Хозяюшки...

Неожиданно вызрела гениальная идея — а не свалить ли всю эту назойливую мелочевку на кого-нибудь другого? Наверняка, кто-то может делать эту работу быстрее и лучше.

Идея радовала оригинальностью и поражала проницательностью. Но не нужно оаций, не все так просто на этом свете; не всякая глубокая задумка имеет ясное решение, не всякая реализация оптимальна. И все же нет таких рубежей, которые бы не покорились внезапно разбуженному могучему интеллекту. Мысль, рожденная в извилистых складках больших полушарий объемом в полторы тысячи кубических сантиметров, требовала воплощения, и остановить этот процесс было уже невозможно.

Время, вперед! — клич был брошен: нужна подсобница, чистоплотная хозяйка, готовая убрать квартиру, постирать и погладить, приготовить что-то съестное на несколько дней.

Глас был услышан, и через пару дней появилась первая претендентка, приглашенная сердобольными родственниками на роль спасительницы творца. Это была молодая миловидная женщина с пышными формами, зорким, прицельным, наметанным глазом. Быстро оценив ситуацию, характер и объем работы, она назвала вполне приемлемую сумму за свои услуги и согласилась сразу же приступить к осуществлению «благотворительной» деятельности.

Через несколько часов квартира была убрана, обед приготовлен, и на предложение вместе пообедать она охотно согласилась. Обед прошел «в теплой и дружеской атмосфере». Так началась новая, писанная с чистого листа, незамутненная глава в жизни новоиспеченного репатрианта, представлявшаяся ему розовым облаком над голубым заливом.

Хозяйка оказалась добросовестной, с работой справлялась успешно и была приглядна во всех смыслах. И все бы ничего, можно даже сказать замечательно, но на работу «хозяюшка» приходила с маленькой дочерью: девочкой шустрой, шаловливой, любознательной, требовавшей к себе постоянного внимания. На первых порах это

было не слишком тягостно, но работать при ней было непросто. Она требовала бумагу, фломастеры, карандаши, линейку, интересовалась всем, что попадало в поле ее зрения, спрашивала, о чем он пишет, советовала, как это лучше сделать, но больше всего ей нравилось смотреть веселые, шумно мелькающие мультики.

Чтобы на время отвлечься от этого милого, активного существа и сосредоточиться на своем, приходилось на несколько часов становиться гостем у ближайших родственников или друзей.

Иногда, чтобы не докучать родным и близким частым незванным присутствием, просто бродил вдоль набережной по бульвару. По ходу обкатывал задуманную версию какого-нибудь сюжета, мысленно прорабатывал канву повествования, уточнял формулировки и обороты, а когда фразы складывались, или почти складывались, чтобы не утерять их, а такое случалось не раз, усаживался на близлежащую скамью, делая пометки в блокноте.

По разным причинам не всегда удавалось выбираться: то обстоятельства не складывались, то погода не благоприятствовала, и он вынужден был оставаться дома и развлекать дитя, невольно выполняя роль учителя и воспитателя. Это было несложно, даже забавно, но непривычно, учитывая языковые различия. Говорили они на какой-то адской тарабарской смеси, в которую приходилось активно включать жестикуляцию и мимику. Девочке же очень нравилось играть в наставницу неумелого дяди, которого приходилось постоянно подправлять и учить основам родного языка.

Как позже выяснилось, дочь была гарантом целомудрия хозяйюшки. Ее строгий супруг, не имея особого желания самому работать на благо материального благополучия семьи, не гнушался поденных заработков своей жены. Но будучи человеком набожным, гордым и ревнивым, рьяно следил за нравственностью благоверной. Именно так, с помощью дочки, он надеялся сохранить неприкосновенность суженой и обеспечить целостность семьи. С этой задачей он успешно справился, жена была непорочна, как святая дева, и чиста, как ключ в высокогорье. Таковой и осталась до окончания своей недолгой трудовой вахты, возвращаясь к бдительному супругу в первозданном виде.

Следующая работница, к слову, армянка, всем была хороша: аккуратна, усердна, чистоплотна, готовила прилично. Она была сдержанна и солидна, чуточку горделива, — возможно, отпечаток значимости древнего происхождения этноса, — но, несмотря на тяжкий исторический груз, вполне доброжелательна. Трудность была в том, что она практически не владела русским, только азербайджанским, что казалось странным, даже неправдоподобным, но воспринималось снисходительно. Вероятно, — решил он, — это такой способ конспирации...

Был у нее и более существенный недостаток — она была не слишком обязательна, считая подобную блажь привилегией аристократов, и это сбивало с привычного рабочего ритма. Несколько раз в самый последний момент сообщала по телефону о переносе работы на следующий день, не оставляя ему выбора. Видимо, считала это в порядке вещей. И в самом деле — на день раньше, на два позже, что это меняет в мировом устройстве? Абсолютно ничего. Даже наоборот, понижает энтропию...

И все-таки, когда в очередной раз мадам заявила, что не может прийти в назначенное время из-за очень большой занятости, от ее услуг пришлось отказаться.

Другая хозяйка была само свечение: очень приветлива, улыбчива и пунктуальна. Излучала неподдельную природную доброжелательность и наполняла квартиру солнечным сиянием. Как и предыдущая, она почти ни слова не понимала по-русски. Впрочем, в отличие от прежней, постоянная улыбка на ее лице вполне заменяла речь и смягчала недопонимание. Так-то оно так, но объясняться с ней все же приходилось. Диалог был насыщенный... мычание и невнятные звуки больше напоминали переговоры глухонемых...

Сразу же предупредила, что женщина она простая, не городская, изысканных блюд в их деревнях не готовят, деликатесов не обещает, но будет стараться. Она

действительно очень старалась, прислушивалась к каждому слову, но когда дело доходило до приготовления какого-нибудь незамысловатого блюда, необходимо было объяснять, как это делается. Сам он этого сделать не мог по двум причинам — незнание вопроса и ограниченный словарный запас, поэтому звонил племяннице и та, по телефону, давала бесплатные уроки приготовления вкусной и здоровой пищи. Это, правда, не гарантировало высокого качества кулинарного продукта на выходе, но сохраняло определенную надежду. Некоторое время он бодрился и терпел, надеясь если не на высокий уровень, то хотя бы на сносный, — все лучше, чем есть всухомятку, — но уверенность с каждым днем угасала. Вера в судьбоносность бытия никогда не заменяла ему аналитические знания, а жизненный опыт позволял безошибочно прогнозировать, чем все закончится.

Покорность судьбе продлилась не очень долго, расставаться с солнечной женщиной-хозяйкой было чрезвычайно жалко, но очередное несъедобное блюдо, выброшенное уткой в унитаз, и сильное желание иногда поесть вкусно приготовленную домашнюю пищу вынудили его пойти на этот немилосердный шаг.

Первый зигзаг

Однажды, это было в конце октября или начале ноября, Элина электронным письмом прислала свою литературную зарисовку, попросила оценить и высказаться. Небольшой художественный экспромт, мимолетные ассоциации, связанные с осенью, листопадом и ее душевными терзаниями. Текст в целом ему понравился, но некоторые очевидные просчеты были на поверхности. В меру откровенно, щадя самолюбие начинающего автора, высказал свои замечания. Критику, как ему показалось, Элина восприняла спокойно, проявив заинтересованность в дальнейших контактах. Так завязалось регулярное виртуальное общение.

Темы сначала расширялись, раздвигались границы интересов, нащупывая зону доступного и возможного. Затем освоенное пространство стало углубляться, уплотнилась словесная вязь. Содержание бесед становилось все откровеннее, а контент сужался, напоминая минное поле. Стык в оценке отношений между мужчиной и женщиной ее нервировал, нередко искрился, подходя к опасной черте возгорания, но что-то удерживало разночтения на грани конфликта. А через некоторое время почувствовалось, что и заочное общение себя исчерпало.

Место первой встречи Элина выбрала сама, в историческом центре города, — Ичери-шехер. В определенном смысле место сакральное, музей-заповедник под открытым небом. В одном из выставочных салонов должна была открыться экспозиция какого-то местного художника. Сказала, что будет не одна, что хочет познакомить его с дочерью, неординарным очаровательным созданием и большой баловницей. Позже выяснилось, что пятилетнее дитя — плод запретной любви (или отчаянной страсти, что тоже не слабо) — существо действительно весьма неординарное.

Ну-ну, подумал про себя, вот уже и дитя появилось, воздушно-капельно. И не просто дитя, — экзотическое... В первой, еще не состоявшейся встрече «двух страждущих сердец», интрига уже была довольно круто замешена.

Как всегда, вылезла масса неотложных дел, которые требовалось решить именно в последние минуты, и дела эти поглотили все оставшееся до свидания время под самую завязку: пунктуальность в число его добродетелей не входила. Опаздывать на первое свидание не хотелось — это дурной тон, о приличных манерах он знал, вычитав про это в хороших книжках об этикете. Поэтому по телефону, покаявшись и сославшись на непредвиденные обстоятельства, предложил перехватить девушек у Девичьей башни уже после вернисажа.

Эсэмэски выполнили роль навигатора, и два дивно щебечущих воробышка, как

две неразлучные подружки, разместившись на заднем сидении автомобиля, не обращая внимания на третьего, за рулем, продолжали выяснять что-то архиважное, словно так и надо. Наконец, они вспомнили, что не одни, замолкли и решились представиться. Точнее, не представиться, а обратить на себя внимание.

Если вам нравится мама и непременно надо завоевать ее расположение, лучший способ произвести впечатление — наладить контакт с ее производной. С Кристиной, так звали малышку, проблем не было. Она сходу подхватила его игриво строгий тон и мальчишеский напор и без всяких условностей включилась в игру. Сначала осведомилась, как зовут нового знакомого, отдала должное автомобильному комфорту, а затем, повторив незнакомое имя вслух, сразу же перешла на ты.

Девочка оказалась смышленной, говорливой (порой чересчур), без всяких комплексов (что далеко не всегда благо). Скоро выяснилось, что ей нравится быть в центре внимания: она считала, что взрослые существуют исключительно для того, чтобы развлекать ее, и имела в арсенале множество разнообразных уловок, чтобы этого добиться. Она бесцеремонно вклинивалась в разговор, а если втиснуться не удавалось, обижалась, дуясь по пустякам. Экзотическую внешность, включающую большие круглые глаза, африканские кудряшки и природную коричневатость кожи, дополняло психологическое оружие, которым Кристина владела в совершенстве. Чуть что не так, в ход пускались бровки домиком, кислые губки и слезы, по капельке выдавливаемые из страдающих глаз.

Ну, а мама... А мама была под стать дочери. Так же экзотична, хоть и в ином ключе, в иной эстетической плоскости. Броская молодая черноокая брюнетка персидского типажа, с явными чертами северной Каджарской ветви.

Худоба бледного продолговатого лица дополнялась скульптурно выделенными скулами, смелым размахом красиво очерченных бровей и упрямой горбинкой на носу. Большие глубоко посаженные темно-серые выразительные глаза, отмеченные смутной, затаенной грустинкой. Болезненный сероватый налет на тонкой пергаментной коже: осязаемо тонкой, если на ощупь. Эта прозрачность усиливала флер загадочности и какой-то недоговоренности ее образа, упрямого за рампой жизни.

Законченность портрету придавали роскошные, смолянисто черные, чуть выющиеся длинные волосы. Для своих 35 — 37 лет мама имела невероятно изящную и стройную фигурку, доставшуюся ей скорее всего по наследству, а не в результате изнурительной диеты. Впрочем, худоба не мешала иметь привлекательные верхние и нижние округлости. При навыке обладательницы рельефно обозначенных, вызывающе выпуклых ягодич правильно ступать, они попеременно ритмично возвышались, легко дорисовываясь мужским воображением.

Очевидные внешние достоинства матери дополнялись живым и проницательным умом, умением поставить себя, сохраняя необходимую дистанцию, постоянной внутренней готовностью к противоборству. Впрочем, эти особенности проявились позже, когда контакты стали тесней, а сейчас он почувствовал необычайный внутренний прилив и магнитные импульсы, приятно будоражившие нервные окончания и пронизывающие каждую клеточку тела.

При всей ее внешней сдержанности было ощущение, что Элина несет в себе какое-то нераскрытое вожеление. Будто оно упрятано где-то глубоко-глубоко в тайниках ее души, и она опасается его проявить, боится неосторожно обнажить чувственность, выдав свою интимную тайну.

Вечер прошел на одном дыхании, без сучка и задоринки, как одно мгновение: начался на приморском бульваре катанием на карусели и прыжками на всевозможных аттракционах, в которых участвовала только Кристина, продолжился в людном кафетерии с видом на море на верхнем этаже торгово-развлекательного центра — «Парк бульвар», а завершился у него дома обильными порциями мороженого с соками и газировкой, чаепитием с вареньем, конфетами и тортом.

Где-то к полуночи Милан благополучно отвез девочек домой, а вернувшись к себе в приподнятом, благодушном настроении, обнаружил приватное сообщение в фейсбуке:

«Спасибо большое за этот прекрасный вечер. Кристина в восторге от тебя...»

«Только Кристина?»

«Не только...»

«Ты была прекрасна...»

«.....»

«Ты была само очарование...»

«.....»

«Ты слышишь меня?»

«Да, конечно, слышу».

«А что молчишь?»

«А что в этом случае нужно говорить? Чего ты ждешь от меня?.. благодарности? Или я должна повторять слова, смущающие меня?.. У нас не принято так откровенно выражать свои чувства».

И то верно, не станет такое прелестное существо, уверенное в своих достоинствах, рассыпаться в ответных благодарностях. Не для того девушку растили...

И еле сдерживая напор эпитетов, распирающих его, отщелкал:

«Спокойной ночи».

«И тебе спокойной ночи».

Встречи стали частыми, проходили в разных формах, в разных местах, с разным содержанием и продолжительностью: весело, непринужденно, дурашливо... Иногда по-домашнему, почти ритуально, словно семейное воскресенье, как бывает с близкими, давно знакомыми людьми. Невидимые нити тянулись между ними, кончики притягивались, но не связывались в узелки. Болтали обо всем, иногда он сознательно сворачивал на темы эротические, когда на время удавалось чуть отдалиться от Кристины, однако Элина сохраняла бдительность, не давая теме развиваться.

Неизменным было только одно — их было трое. Тройственный союз был неразлучен. Бывало, к компании присоединялся сын Эли, и тогда вольная тройка превращалась в кватригу, с разнообразием настольных игр и состязаний. Фуад, внешне очень похожий на мать, был очень милым, глазастым мальчуганом с черным непослушным включенным чубом, чуть рассеянный, живущий в своем мире, весьма сообразительный, к тому же большой любитель шахмат.

В дни, когда появлялся Фуад, нешуточная борьба разворачивалась за честь поиграть с гостеприимным хозяином в шахматы — на это претендовали все, но чаще других право отвоевывал будущий чемпион.

Но особенно богатая гамма чувств и эмоций проявлялась, когда за доску садилась Эля. Это был миг преображения: она становилась очень серьезной, сосредоточенной, готовой к атаке хищницей, которая должна была непременно побеждать, хотя умения было явно недостаточно. Стоило позиции стать плохой — она морщилась, расстраивалась, кусала губу, мотала головой, превращаясь в слабое беззащитное дитя. В этот момент Милан переворачивал доску, и ей доставалась его позиция. Надо было видеть, какая неподдельная радость, какое счастье отражались в ее чарующем облике. Вот теперь-то она покажет, на что способна... Но через несколько ходов позиция опять становилась ужасной, и перевернутая доска вновь чудесным образом спасала от неминуемого поражения. Так продолжалось несколько раз, пока по обоюдному согласию противники не соглашались на ничью.

Он не устал расточать ей комплименты, каждый раз находя все новые и новые сравнения. Это было несложно: Эля действительно была очень привлекательна и колоритна. Как-то, в пылу нахлынувших чувств, непроизвольно с силой притянул ее к себе, обнял, сжал в тисках, попытался поцеловать, но она, чуть-чуть поколебавшись,

отстранилась со словами: «Не люблю, когда меня хапают без моего ведома». Это был дурной признак, отчетливый досадный звоночек, но тем не менее, делать скоропалительных выводов не стал... не хотелось.

Несколько раз предпринимал попытки выманить Элю, чтобы встретиться наедине, объясниться, но она ловко ускользала, всегда находя убедительные отговорки. Это удивляло, если не сказать больше, но тут же находил и оправдание ее поведению: это особая разновидность женщин, смесь глубоких витиеватых восточных корней с зыбкой западной ветвистой кроной. А может быть, — вторгался внутренний циничный подсказчик, — светский шарм, всего лишь наносной европейский макияж. И еще одна, как ему показалось, важная деталь, подмеченная здесь, у южан: в этой модели все авансы должны быть оплачены загодя, в качестве предоплаты, поскольку потом предполагается неоспоримая мужская доминация. Так уж у них заведено... И вспомнил набившую оскомину фразу из известного фильма: «Восток — дело тонкое...»

Шейла

Наконец, с четвертого захода, в квартире появилась та самая, что была прекрасна во всех смыслах. Она была симпатична, пикантна, кокетлива, вполне прилично изъяснялась по-русски. К несомненным ее достоинствам можно было отнести и то, что на работу она являлась без детей, внуков и правнуков. А если к этому добавить хозяйственную практичность, сметливость, умение неплохо готовить, — похоже, это было «самое то».

Звали ее, между прочим, не как-нибудь, а Шейла, в восточном произношении — «ШеойлЯ» (губки колечком), что по-арабски означает — «женщина, преисполненная благодати». Риторическая условность имени, как ни парадоксально, соответствовала действительности: она была улыбчива, словоохотлива, с немалым врожденным юмором, который охотно демонстрировала. Щедро источала неподдельный восторг тем, что работает у такого интеллигентного и образованного человека. Сказала, что читала несколько его статей и рассказов, они произвели на нее очень большое впечатление. Хотела бы поучиться у него красиво писать свои статусы в фейсбуке (?!). Это, конечно, автоматически настораживало — но не отпугивало.

— Постараюсь сделать все от меня зависящее, — сказала женщина, преисполненная благодати, — чтобы вам было комфортно со мной.

Всякий падок на комплименты, а когда их произносит полногрудая и мягкотелая женщина с двусмысленной шаловливой искринкой на устах, это приятно вдвойне. И не стоит напяливать на себя маску целомудрия, закатывать глаза к небу и прикидываться святошей; когда между мужчиной и женщиной, независимо от их ролевых позиций, существует неназойливый флирт, легкое словесное баловство — это обычная интрига. Небольшой светлячок в виде подстрочника будоражит рецепторы, подстегивает и расцвечивает отношения.

Все предвещало теплую атмосферу и доверительность...

События развивались плавно, по нарастающей, никто из них не испытывал необходимости подстегивать отношения, не проявлял избыточного любопытства. Вместе с тем, как это обычно бывает, в откровенных беседах все больше узнавали о деталях предшествовавшей жизни, и это невольно сближало.

Шейла рассказывала о том, что вышла замуж, когда ей было всего восемнадцать лет. Парень, ухаживавший за ней чуть ли не с пятнадцати лет, был намного старше. Известен был в округе как большой смельчак, задира и драчун. Он рьяно следил за тем, чтобы никто из мальчишек района не смел к ней близко подойти. Ежедневно провожал из школы домой на правах жениха, держась на приличном расстоянии, но в зоне визуального контакта. Ничего нового, так принято, форма местного неписаного

этикета, заявка на собственность. Тем самым, все в округе должны были воспринимать ее как нареченную невесту.

Все этапы сватовства, обручения и свадебный обряд прошли в соответствии с принятыми традициями, импровизации здесь не приняты. Через отведенное природой время Шейла родила сына, мечтала о втором ребенке, на сей раз — девочке. Судьба распорядилась иначе. При новой беременности, по велению мужа, вынуждена была сделать аборт. Он оказался неудачным, о чем позже оба сожалели. Тем не менее, браком своим была вполне довольна, искренне считала его счастливым.

Муж был сильным, уверенным в себе человеком, любившим застолья и мужские компании. Дела его, связанные с торговлей, шли успешно, особенно после того как они перебрались в Москву и прожили там почти десять лет. Ему благоволили женщины, и он, как правило, отвечал им взаимностью. Жена догадывалась об изменах мужа, но противостоять им не смела. Он, в свою очередь, никогда не забывал о достатке в доме, следил за внешними проявлениями благопристойности, в его понимании этого слова, вникал во все домашние дела и детали, вплоть до покупки ей нарядов и украшений.

Это был традиционный восточный брак, со всеми его достоинствами и недостатками, в котором главенство мужчины в семье было неоспоримо. Слова его не подлежали обсуждению, выполнялись беспрекословно, перечить было бесполезно, да и не было особого желания. Но как не странно это прозвучит, при этом сохранялась внешняя атрибутика и видимость светскости.

Жизнь протекала вполне предсказуемо и не предвещала неприятностей, пока несколько лет назад у мужа не диагностировали рак желудка. Опухоль проявилась внезапно, была неумолима, состояние ухудшалось, и он стал быстро сдавать. Болезнь прогрессировала. Высокий, пышущий здоровьем мужчина, еще довольно молодой, привыкший быть хозяином в доме, любивший широко и раздольно жить, слабея и терял интерес к происходящему вокруг.

В последний годы он практически отошел от дел, все сбережения были потрачены на лечение и две операции, они несколько продлили жизнь, но не изменили исход. Два года назад муж умер, когда ему было чуть больше пятидесяти.

Шейла рассказывала об этом ровно, спокойно, без надрыва, видимо, за прошедшие два года боль приутихла, но в этом спокойствии чувствовалась и горечь утраты, и сожаление о беспощадности судьбы...

Обеспеченная жизнь закончилась, она вынуждена была искать хоть какой-то способ зарабатывать на жизнь, но найти работу по профессии так и не смогла. Поскольку она хорошо готовила, была сноровиста, то нашлись семьи, которые нуждались в такого рода помощнице по хозяйству. Работа была не очень утомительна и неплохо оплачивалась. Милану ее порекомендовал словоохотливый свояк Шейлы. С тех пор она работала, выполняя не только прямые функции, но добровольно взвалив на себя дополнительные обязанности хозяйки, и с ролью этой вполне успешно справлялась.

Однажды, это было в конце осени, она позвонила, чтобы уточнить какие-то бытовые детали, и неожиданно предложила встретиться после работы на обновленном приморском бульваре. Возможно, это был не совсем уж экспромт, скорее продуманная заготовка, но он не придавал этому слишком большого значения.

— Вы целыми днями безвылазно сидите за компьютером. Это вредная привычка. Надо бы отвлечься, развеяться, взглянуть на мир без посредника, без монитора. Просто подышать свежим воздухом. Уверяю вас, здесь не хуже, чем в вашей законопаченной квартире.

Он охотно согласился. Действительно, никакие уговоры родных и собственное абстрактное желание вести здоровый образ жизни не могли вытянуть его тело на свежий воздух. А тут сама судьба провоцировала.

Вечерний бульвар, наполненный дыханием Каспия, всегда был местом притяжения бакинцев. Важной, если не главной, достопримечательностью города. В последние годы он был основательно реконструирован, преобразился и помолодел: расширился в сторону моря, значительно растянулся вдоль береговой косы, появилось много новых деревьев, в том числе экзотических. Разнообразные многоцветные клумбы, причудливо выстриженные кустарники, баловни агрономов, фонтаны на любой вкус и всевозможные аттракционы, но особенно примечательным нововведением стали зеленые газоны с ежедневным искусственным поливом, невозможным в прежние годы — и технически, и из-за дефицита пресной воды.

Прогулка оказалась приятной и продолжительной, но с непривычки довольно утомительной. Несколько раз присаживались на причудливые скамейки, расставленные вдоль овала набережной и на пирсах, выдвинутых глубоко в акваторию.

В разговорах неожиданно натыкались на самые невероятные темы. Шейла была переполнена всевозможными знаниями: осведомлена о природных аномалиях и спаривании насекомых, имела представление о медицине и астрологии, была в курсе гламурных новостей и криминальных происшествий. Главным ее информационным источником, как водится, был телевизор; он был основным ориентиром в оценке мировых событий и популярных музыкальных веяний. Но не только: как-то поставила даже в тупик, спрашивая его мнение о нашумевшем фильме, бывшем на устах, а он и не знал о его существовании. Поинтересовалась, не хотел бы пойти в Русский драматический театр, куда должны были приехать московские гастролеры. Столичные звезды в таком качестве не входили в перечень его приоритетов, поэтому пришлось осторожно, чтобы не обидеть, уклониться от лестного предложения.

Он, в свою очередь, понимая, что ей хочется произвести хорошее впечатление, выглядеть современной и информированной, старался особенно не углубляться, не задавать слишком сложных вопросов, которые могли ее смутить.

Встречи повторялись. Как правило, они происходили раза два в месяц, доставляя обоим удовольствие. С каждым разом отношения становились доверительнее, теплее, но все же оставалась небольшая дистанция, которая не сокращалась.

Бывало, заходили в какое-нибудь небольшое кафе, чтобы отогреться и спрятаться от здешних ветров: проникающего за шиворот, вплоть до позвонков, северного — «хазри», или противоположного — своевольного и неустойчивого южного — «гилавара». А иногда просто так, без видимой причины, забегали в какую-нибудь кофейню, вели милые ни к чему не обязывающие беседы на разные темы, интересные прежде всего ему для расширения своих представлений о ее мире, ее системе ценностей. Надо сказать, Шейла была оптимистка, обожала юмор, не чуралась смачных анекдотов и поговорок, не раз удивляла сходными или близкими суждениями в самых разных областях.

Так было и на сей раз; сидели в кафе, за чаем, перескакивая с одной темы на другую, мирно беседовали о чем-то отвлеченном.

Параллельно в мессенджере:

«...Фуаду очень понравилось бывать у тебя, особенно запомнились твои шахматные подсказки и наставления. Он все спрашивает, когда мы опять пойдем в гости к Милану?»

«А ты?»

«А я сказала, — он очень занят».

«Это неправда».

«Еще какая правда...»

«Врешь... А если и занят, то только потому, что твое место пусто».

Так и продолжался этот своеобразный сюрреализм: на одном судне — «тишь да гладь и божья благодать», на другом... — «а волны и стонут, и плачут, и бьются о борт

корабля», но с каждым разом все больше чувствовалось, что рано или поздно наступит неминуемая развязка.

Это было в начале лета. В очередной вторник Шейла должна была работать в известной дачной зоне северного побережья, в одном из пышных, вычурно декорированных, ампирных домов, принадлежащих внезапно разбогатевшим азербайджанцам. Уже зная об его пристрастии к плаванию, предложила заехать за ней после работы и провести время у моря, благо летние вечера достаточно светлы и продолжительны.

После внезапно подступившего лета и знойного дня вечер у моря — своеобразная отдушина. Перед закатом в безветренную погоду море с его размытым горизонтом особенно привлекательно. Прибрежная гладь, вслед за уходящим солнцем, постепенно темнеет, завораживая своим ровным, глубоким дыханием, а воздух, уже не столь изнуряющий, как днем, насыщенный солоноватыми ароматами слабеего брiza, прозрачен и ласково струится.

Предложение оказалось выверенным. Женщины безошибочно угадывают ахиллесову пяту мужчин и бьют по ней прицельно, без промаха. Точно так же знают они, какую струнку задеть, чтобы вызвать в душе наибольший отзвук. Любитель плавания всегда готов окунуться в прохладу, испытать восторг от бархатного прикосновения морской волны и парения в состоянии невесомости. Если же к непорочному плаванию добавятся «порочные» контактные шалости, то удовольствие превратится в счастье.

Упрашивать не пришлось, все так и случилось, неожиданно просто и естественно; парный заплыв и подводные непристойные прикосновения только усилили трепетное ощущение, преодолев последнюю ступень недомолвок. Через пару часов, без жеманства и ложного кокетства с ее стороны, они очутились в его городской квартире.

Чинно начатый вечер обещал превратиться в приглушенную идиллическую пастораль. Стол, красиво сервированный Шейлой, вселял надежду на длительное романтическое застолье. Пузатые бокалы на высоких тонких ножках, на четверть заполненные вином, с нетерпением ждали своего участия в сближении рук, и первые же глотки традиционного французского напитка наполнили комнату грезами. Не хватало только бронзовых подсвечников викторианской эпохи и томно мерцающих свечей... Хотя и без них все располагало к плавной церемониальной неспешности.

Увы, ужин был бесцеремонно прерван тактильной жаждой. Воздух, уплотненный эротическим инстинктом, незримо витал, разрастался и внезапно заполнил собой все свободное пространство, не оставив места чинности. Прикосновение губ лишь на время погасило первую волну страсти, остудив вожделение, но с еще большей силой накатилась вторая волна, утяжеленная прерывистым дыханием, а затем и третья — глубинная, заветная...

Вызревший плод требовал, чтобы его немедленно испробовали.

Страсть утолена была не сразу, порочные блуждания длились до тех пор, пока не наступило опустошение. Два переплетенных, бесстыдно обнаженных тела, лишившись сил земного притяжения, находясь в невесомости, пребывали в состоянии прострации. Их одинокий плот, покачиваясь на тихой волне, уплывал все дальше и дальше от берега, а вокруг был безбрежный морской простор и синь безоблачного неба.

Прерванный ужин так и не возобновился...

Не вспомнили о нем и позже, не до него было. Зато утро, завидев пару безмятежных, расслабленных комнатных обитателей, вспомнило про вечернее отрешение и стало настаивать на восполнении потерь. Возмездие состоялось... Наконец все части тела получили свое.

Лето, хоть и длинное, едва начавшись, пролетело как миг, за ним также быстро растаяли осенние деньки и наступила переменчивая, но бесснежная южная зима. Отношения складывались безоблачно, не по зимнему тепло; Шейла была счастлива, сияла, расточала комплименты, а когда представился удобный случай, не без основания осторожно пожурла его.

— Какой же вы все-таки сдержанный, «товарищ-майор», совсем не щедрый на нежные слова. Я понимаю, мужчина не должен быть слишком распахнутым, но так иногда хочется услышать слова признания и влечения.

— Ну, почему же... ты мне очень нравишься. Ты очень добрая, ласковая, заботливая, мне с тобой хорошо и комфортно.

— Ну и хитрец... Так и быть, не буду настаивать, не вымучивай из себя восторги, это я к слову сказала. Я все прекрасно понимаю и прощаю; ты поглощен работой, а эта бездушная неоновая особа, «железная леди», — основная твоя страсть.

— Да, как-то так получается... — начал было он уклончиво, но она не дослушала, не дала сфальшивить.

— Возможно, возможно, допускаю, что так и есть. Охотно верю, но от этого не легче. Просто каждой нормальной женщине хочется слышать слова влюбленности.

— Ты права, литература и публицистика теперь самые важные части моей жизни. Это ведь не работа в обычном смысле — это мое внутреннее состояние, приходится наверстывать упущенное по молодости время... (В душе, конечно, он поморщился от напыщенности и выпренности слов, но... так уж произошло, не брать же слова обратно.) Нам ведь хорошо вместе, ну и слава Богу.

— Ладно, — сказала она, снисходительно улыбнувшись, — я буду терпеливо ждать, когда в тебе проснется лирическое начало.

Инцидент, едва начавшись, был быстро исчерпан, и жизнь вошла в свою привычную колею.

Приближалось календарное новогоднее празднество. Шейла, как бы между прочим, поинтересовалась, где он собирается провести его.

— Как обычно, в кругу семьи племянницы, но без особой помпы. Так уж сложилось с момента моего возвращения — новогоднюю ночь встречаю у них, не буду менять традицию и на сей раз.

— Отлично, я тоже буду у себя, с семьей сына.

Уже загодя началась обычная предновогодняя суета, связанная с покупками, а вечером тридцать первого ажиотаж переместился в квартиру, с тем чтобы к моменту ритуального совмещения стрелок на циферблате стол был в полной готовности. Внешне все проходило по заведенным праздничным правилам, может, с чуть большей суматохой. И он старался соответствовать общей атмосфере, не выдавая внутреннего напряжения, хотя на самом деле, несмотря на кажущееся спокойствие, томился в ожидании вестей оттуда.

Звонок раздался, когда стрелка подходила к половине двенадцатого.

— Боже мой, Милан, какой неожиданный сюрприз... Ты даже не представляешь, какой фурор произвела на детей твоя огромная корзина с экзотическими фруктами, безалкогольным шампанским и арбузом. Мы только вышли из лифта, а она стоит у наших дверей, вся из себя такая летняя-летняя, маняще красивая и ароматно пахнущая, в ожидании запоздавших хозяев. Догадаться от кого подарок было совсем не трудно.

Ребята требуют твоего присутствия. Мы ждем тебя.

— Но...

— Никаких «но»... Возражения не принимаются.

— Пойми, я ведь...

— Ну, пожалуйста...

— Ладно, сейчас подъеду.

Родные, с его же слов, уже знали об увлечении разведенной женщиной с детьми. Обсуждать это факт не имело смысла, да он бы и не позволил. Муж племянницы, знавший больше остальных и присутствовавший при телефонном разговоре, стал подтрунивать: «Друг мой, да ты просто выпал в осадок. Прямо, отец большого семейства. Ладно, ладно не оправдывайся, надо так надо, куда ж теперь деваться... Лови свое счастье, но не гони лошадей. Не забудь передать привет новоявленным родственникам и наши новогодние поздравления».

Перекресток

С легкой руки Шейлы многокилометровые пешие прогулки вдоль береговой кромки стали практически ежедневными и доставляли ему удовольствие и невероятную эйфорию. Это неожиданное открытие стало прекрасным стимулом проветрить мозги; после интенсивной ходьбы и теплого душа он чувствовал себя словно обновленным: легко и непринужденно воплощались задумки, рождались новые идеи.

Обычно дневная прогулка разбивала день на две неравные части: в первой половине дня он редактировал написанное накануне, уточняя фабулу, шлифуя детали и дополняя повествование; а во второй — растянутой далеко за полночь — продвигал текст новыми строчками, новыми эпизодами. Частично они складывались во время дневного променада; там же мысленно проговаривал словесную ткань, остальное рождалось в процессе работы.

Был один из редких зимних дней, когда море выглядело умиротворенным и задумчивым. День выдался на славу... Чуть сдвинутое с зенита солнце сверкало не по-зимнему ярко и ослепительно. Водная поверхность, словно рыба чешуя, поблескивая мелкой дрожью, заставляла щурить глаза.

Море к началу зимы стало заметно прохладней, косяки мелюзги потянулись к шельфу, стали ближе подплывать к мелководью. Здесь много водорослей, планктона, подводных валунов, обвитых изумрудным мхом, и больше прокорма. Утки-нырки, селезни и бакланы, расположившись на торчащих из воды скальных отрогах, внимательно следят за подводным миром. Их привлекают стайки мелких рыбешек. Завидев их, они резко ныряют и надолго скрываются под водой, вызывая сомнения, а были ли они на самом деле, не мираж ли это, не плод ли воображения.

Новый бульвар, протянувшийся вдоль Белого города, еще не обжит, не слишком ветвист, просторен и малолюднен. Редкие встречные пары, медленно прогуливающиеся по набережной, с удивлением смотрят на быстрый спортивный шаг чужака. Мол, откуда взялся этот странный человек неизвестного происхождения и куда так спешит в этот тихий солнечный день, располагающий к размеренности и неге.

Море почти недвижно. Полуденная рябь хоть и слепит дрожащими серебряными блестками, но не раздражает. Легкое дуновение бодрящего ветерка со стороны берега снесло в море бесформенные радужные нефтяные пятна. С ними исчезли запахи, и ушла загадка. Поверхность, еще вчера покрытая тонкой цветной пленкой, выглядевшая, как абстрактная живописная картина, меняющая ежеминутно свою композицию, перестала быть таковой. Вместо нее — незамутненный прибрежный пейзаж, прозрачная толща воды, обнажившая водоросли, россыпь цветных камней и ракушек, песок охристых тонов, насыщенный влагой. И как обычно, много разных морских пернатых, это их владение.

В эти счастливые минуты он распахнут и влюбчив, а природа отвечает ему взаимностью. То облако, завидев его, выбьется из своего привычного окружения, плавно наклонится, щекасто и белозубо улыбнется; то встречный пес, оставив своего хозяина, бросится к нему, широко оскалившись, радостно взвизгнет, плавно помахивая хвостом, лизнет пару раз прямо в губы, и стремглав помчится обратно; то голубь, млеющий от полуденного солнца, глянет свысока, прокурлычет недовольно, но простит, не слетит со своего места; то приливная волна, подгоняемая слабым ветром, завидев его, устыдится, замедлит свой бег и прикинется обратной волной, отливной. И представлялось в этот момент, что природа рада ему, что все это о нем, ну и от него встречно... Да так оно и было на самом деле. Эмпатия, в отличие от любви, бывает только взаимной...

Настойчивая трель глубоко запрятанного мобильного телефона нарушила умиротворенный настрой и вернула к брэнной жизни.

— Привет, ты куда пропал? На городской не отвечаешь, на мобильном тебя нет, отозвался только с третьего раза.

— Да вот, как обычно, брожу вдоль набережной, немножко думаю о своем. Извини, не сразу расслышал твой звонок.

— Мы сегодня встречаемся, как договаривались?

— Да, конечно.

— А то может передумал?..

— С чего ты взяла?

— Да так, кто вас теперешних поймет...

— Не обобщай, и не обобщаема будешь.

— Буду обобщать...

Ясное дело, это была она... Ее выразительную дикцию, низкий грудной тембр и задиристый тон он узнал бы из тысячи других. Бархатный, объемный, обволакивающий, напомнивший уже чуть забытый тамошний голос, оставшийся в той, прежней жизни. Та же уверенность в своей абсолютной правоте, та же убежденность и твердость интонации. Чувство было двойное: отвратительно родное, дразнящее, влекущее и отталкивающее одновременно.

Нет, отринул от себя эту мысль. Померещилось... С прошлым покончено, к нему не может быть возврата. А похожесть — ну мало ли в природе схожести. Все женщины похожи на женщин... Большинство китайцев убеждено, что все европейцы на одно лицо.

И вновь Шейла

Прогулка по бульвару, как опьяняющая прелюдия, была струнной предтечей, приближая вечер к финальным бравурным аккордам. Игривое скерцо и заключительные пассажи ко взаимному удовольствию звучали в квартире... Если вечер затягивался за полночь в связи с просмотром какого-нибудь увлекательного фильма или телевизионной передачи, то Шейла оставалась ночевать, а утром после завтрака спешила на работу. Если же день был не рабочий, то совместно проведенное время продлевалась еще почти на сутки.

Как-то раз, по случаю круглой даты, то ли шестьдесят седьмого, то ли семьдесят первого воскресенья со дня их знакомства, после изысканно сервированного и сытного ужина, изрядно затянувшегося застолья и заметного алкогольного дурмана, не в меру осмелевшая Шейла, полушутя, полусерьезно произнесла:

— Почему бы тебе не жениться, не обрести стабильность и предсказуемость в жизни? Что тебя останавливает? Мне просто интересно... обычное женское любопытно, не более того, мог бы ты, например, связать свою жизнь с такой чудесной женщиной, как я?

— Видишь ли, милая, ты очень добрая и приятная женщина. Наверняка могла бы быть очень хорошей женой, но после развода со своей прежней я наконец понял, что такое настоящая свобода. Только теперь обрел возможность, не оглядываясь по сторонам, делать что хочу, просыпаться когда хочу и засыпать с кем хочу. Такая свобода оказалась чертовски привлекательной, и впредь не стану влезать в хомут, на котором начертано — «должен». Нет уж, не обижайся, но я больше не впрягусь в семейную упряжку.

— Я и не навязываюсь, а если даже предложишь, еще сто раз подумаю, нужен ли мне этот застегнутый на все пуговицы занудный дядя, вечно занятый собой, из которого слова доброго не вытянешь. Меня и нынешние наши отношения вполне устраивают.

Она, конечно, лукавила, защищая свой внутренний мир, свои представления об отношениях правильных, если уж не идиллических, а эти — никак не соответствовали ее представлениям о добропорядочной семье, но хватало мудрости не разрушать зыбкое равновесие.

Караоке

Элина любила популярную музыку, знала слова многих песен и с удовольствием их напевала. У нее был красивый бархатный голос и отменный слух. Если к этому добавить приличное владение английским, то не удивительно ее желание петь караоке под фонограммы мировых эстрадных звезд или вокальных групп.

Один из вечеров настояла провести в каком-нибудь кафе-караоке, коих расплодилось в городе немеряно много. Затея не казалась ему заманчивой, но как отказать очаровательной женщине в таком невинном желании? Почему-то вспомнился собственный перифраз монолога из давнишнего спектакля «Старшая сестра»: «Любите ли вы музыку (там — театр) так, как я люблю ее, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением...»

И тут же, в той же тональности, продолжил: «А вот и напрасно, страсть эта неумная может завлечь вас в такую трясины, после которой, даже выбравшись на свет, еще долго будете отмываться, да не отмоешься». Но это так, только в мыслях, а вслух произнес:

— Твое присутствие украсит любое мероприятие, даже караоке.

Подвальчик в центре города, в котором они очутились, был пышно и богато декорирован, что говорило о коммерческой успешности заведения. Здесь много чего было и мало чего не было... Но главное его достоинство — конечно, музыка: откровенная, сытая, оглушающая, или наоборот, плачущая и страдающая, но тоже во весь голос. Форсированные звуки заполняли собой все пространство без остатка, включая вестибюль и гардероб, подсобки и туалеты, бесцеремонно выползая на близлежащие улицы и переулочки.

Это было непривычно, забавно, а на первых порах даже любопытно. Некоторое время можно было поглазеть, послушать, заложив уши ватой, но репертуар... репертуар не мог оставить равнодушным истинного ценителя городского фольклора. Мощный поток непрерывно перетекающих из одной в другую блатных, полублатных и зазывных песенок, от которых несло искренностью, тинной и пошлостью. Городской люд плясал и развлекался по полной программе, отрабатывая «уплоченное» увеселение. Но высшей точкой искусства было многоголосное пение. Караоке, как-никак.

Упитанные мужчины лет сорока-сорока пяти за соседним столиком и подсевшие к ним пожилые проститутки задумчиво голосили, срываясь на фальцеты, изрядно фальшивили, и это им превосходно удавалось. С противоположной стороны компания обильных телом женщин балзаковского возраста, пребывающих в заметном подпитии, старалась всюю продемонстрировать свои недюжинные вокальные способности. Сопровождалось это коллективным плясом в центре зала. Народ был в восторге от возможности выплеснуть накопившиеся чувства, избавиться от избыточной энергии.

Веселье было в полном разгаре, время приближалось к полуночи, а он сидел, слегка ошарашенный мощным звуковым водопадом, озираясь вокруг и безмолвно вопрошая: а что, собственно, я здесь делаю, что ловлю в этой пенящейся, булькающей и дурно пахнущей трясины? Внезапно очнулся от наваждения, припомнил, что сюда его завлекла очаровательная подруга, любительница Бродского и Пастернака, которой очень нравится Цветаева.

В душе досадовал на себя. Возненавидел свою беспринципность и податливость. В бессильной злобе вспомнил жесткую поговорку: «Уши от мертвого осла ей нравятся...»

Кристина, между тем, вела себя вполне раскрепощенно: носилась с микрофоном в руках по залу, что-то напевала, отплясывала, кривлялась. Судя по всему, обстановка была знакома и привычна (!)... Но в какой-то момент, преодолев шум, бегающих зайчиков и слепящие светодиодные пучки, сон добрался до нее и скосил юную барышню. Без тени сомнений она легла на мягкое кожаное ложе дивана, положила голову ему на бедро, поджала под себя ноги и благополучно заснула.

К машине пришлось нести ее на руках, а разбудить удалось только у дома, да и то с превеликим трудом. Проснувшись, она стала настаивать на том, чтобы ее друг ночевал с ними, не подозревая, что это не прописано в сценарном сюжете мамы.

В свою очередь, Эля, как бы между прочим, бросила, видимо, в качестве вознаграждения:

— Ты хотел бы удочерить Кристину?..

— С чего это вдруг, в каком качестве, — спросил он, опешив от неожиданного предложения внезапно стать отцом.

— Ты же утверждаешь, что любишь меня, вот и докажи свою любовь джентльменским поступком, — парировала она, уверенная в своей безусловной правоте. — Мне хочется, чтобы у Кристины были благозвучная фамилия и отчество.

— Твое желание по-человечески понятно и вполне разумно, но любые вопросы можно обсуждать только после того, как проявятся наши отношения. Не так ли?..

— Нет, не так. И вообще, мне не нравится твой постоянный торг. Запомни, я не продаюсь.

«Ну да, естественно, «суверенитет не продается», пока не предложена приемлемая цена»... — но это так, мысленно.

Любопытный словесный кулбит. Это особая женская ловкость обернуть свою слабость в силу, моральную уязвимость — в нравственный императив. А ведь это уже было в его жизни, эта формула «счастья в узде» однажды уже была испробована. Казалось бы, эта чаша испита до дна, ан нет, явилась — теперь в новом обличии...

«Надо же, так долго и упорно грести, — подумал он, — чтобы вновь оказаться в родной гавани».

Кристина как часть сценария мамы

Родилась Элина в бедной бакинской семье, формально городской, но провинциальной по сути. Социализм уже дышал на ладан, а жизнь на окраинах империи продолжала влачить свое жалкое существование, не отличаясь особым разнообразием. Подавляющее большинство семей жило убого, еле сводя концы с концами. Детство было серым и скучным. Отец ушел из дому, оставив мать с тремя детьми, когда девочке, младшему ребенку в семье, было всего пять лет. По словам Эли, он был мягкий и интеллигентный человек, а мать, которую она тоже очень любила, человек твердый и упрямый. Семья распалась, и жизнь, неустроенная при отце, после его ухода стала еще тяжелей. Мать, несчастная женщина, волевая, но издерганная обстоятельствами, с большим трудом зарабатывала на жизнь. Детей держала в ежовых рукавицах и попрекала за самые ничтожные промашки. Дети, в свою очередь, зная цену бедности, успешно учились и росли, стараясь не волновать мать по пустякам, но четко усвоили уроки детства, — чтобы выкарабкаться наверх (это жизненный приоритет), необходимо сильно постараться, а за удачу надо бороться любыми доступными средствами.

Элина выросла, окончила институт искусств, превратилась в яркую, общительную барышню, отчетливо выраженную невесту на выданье. Очевидно, что вокруг нее вертелось много поклонников, но все они были недостаточно... как бы поаккуратнее выразиться... платежеспособны.

Время, между тем, поджимало — после восемнадцати в этой социокультурной среде год за три отсчитывается. Нужно было срочно выходить замуж, чтобы соответствовать принятым правилам. И жених подвернулся весьма скоро: умный, образованный молодой человек из вполне благополучной семьи, пожалуй, даже богатой. Влюбиться в Элю было немудрено, учитывая внешнюю привлекательность и общительность девушки, оставались лишь ритуальные формальности, которым придавалось непомерно большое значение.

Все шло по накатанной дорожке, церемонии следовали одна за другой, в завершение которых состоялась традиционная свадьба. Родился мальчик-первенец, мечта традиционной азиатской семьи, предвестник счастливого продолжения рода. Казалось бы, обстоятельства счастливо сложились, все пойдет по накатанной мозаичной дорожке, но стыки не сходились, крошились, пазл оказался обманчивым.

Совместная жизнь продлилась недолго. Свекровь, главная жрица патриархальной семьи, быстро обнаружила в снохе массу недостатков (реальных и мнимых), заключила, что невестка-простолюдинка — не ровня ее прекрасному сыну, и заявляла об этом при каждом удобном случае. Но и сноха была не промах, себя в обиду не давала, всегда готова была отстоять свою правоту. К этому добавились внутренние трения супругов (в их числе и интимные). В результате, по обоюдному согласию, брак был расторгнут, а жизненная стратегия так и не реализована, точнее, отложена до лучших времен.

Эти времена не заставили себя долго ждать. Через некоторое время в поле зрения появился удивительно галантный ухажер, к тому же иностранец. Молодой человек спортивного телосложения, он же африканец, он же марокканец, он же «крутой» бизнесмен, — так представлялся этот обаятельный парень, эдакий голливудский Уилл Смит. Сполз с экрана, чтобы осчастливить бакинскую девушку. Не больше и не меньше... И это было очень красиво.

Ну как не поддаться таким чарам, такой пленительной магии?! Перспектива выйти замуж за богатого иностранца, жить в загородном ранчо на берегу океана под сенью пальм и утереть всем нос выглядела очень заманчиво. Она безоглядно бросилась навстречу долгожданному счастью, кинулась в объятья розовой мечты.

Мятежный корабль отправился к призрачным лазурным берегам, к далекому архипелагу в океане, где круглый год светит солнце, струится ласковый морской бриз, тело нежится в тени раскидистых пальм, а роскошные мулатки бесплатно разносят шоколадные батончики с мякотью кокоса. Баунти, однако...

Красавчик оказался обычным ловеласом... Как всякому темпераментному молодому человеку, ему требовалось убаюкивать свои гормоны, а тут подросла и лань черноокая. Красивая, образованная аборигенка, прекрасно владеющая английским, была как раз тем сладостным манком, на который был нацелен прохвост.

Но это выяснилось потом, а сейчас была сказочная, волшебная пора в ее жизни: он одаривал возлюбленную цветами, голливудской улыбкой и поцелуями, но как только замаячило появление дитя, герой-любовник вынужден был «на время» смотаться в командировку по делам бизнеса. Перед отъездом обещал быть примерным отцом и верным мужем, помогать ребенку материально и вообще ежедневно молиться о благополучии своей бакинской пассии. По словам Элины, он как-то прислал дочери посылку — коробку тряпок, но на мобильные контакты выходил с трудом. Влюбленная мечтательница бросилась за ним за границу, отыскала где-то то ли в Дубае, то ли в Мумбае, да и какое это имеет значение, главное настигла и получила заверения: как только «Уилл» устроится и разбогатеет, то обязательно заберет их к себе.

И опять почему-то вспомнились уши почившего осла...

Кристине исполнилось пять лет, своего отца она так и не видела, унаследовав от него нездешний облик и черты характера: цепкость, настырность, волю и капризность. Впрочем, настырность и капризность девочки, скорее всего, слияние двух нехилых родительских начал.

...Тем временем, отношения с Элиной постепенно ухудшались: плавно, поэтапно, но неуклонно (*step by step*). Похоже, это был неотъемлемый элемент ее внутренней гармонии, своеобразного душевного равновесия. Она постоянно находила поводы для обид и ссор. Периоды примирения и конфликты чередовались с завидной последовательностью, только пропорции менялись в пользу первых.

Милан опять пытался найти оправдание происходящему. Предполагал, что это

обычная притирка двух людей с разным прошлым, с разными представлениями о границах возможного и дозволенного, но предательский внутренний голос нашептывал, — отойди, это не твое, это наследие иной культуры. По здравом рассуждении, вероятно, так оно и было, но это когда включено рации. Психологам, да и не только им, давно известно, когда «сиреневый туман» застилает глаза, голос разума крепко спит.

Трещина...

Органическая жизнь невозможна без любви. Без орошения трава жухнет, без опыления цветок чахнет. «С добрым утром», слышите вы, проснувшись, а глубинным эхом прочитываете: «Я люблю тебя, я люблю тебя». Вас оросила любовь, она напомнила о себе живительной влагой. Чего не скажешь про умиротворяющее «Спокойной ночи». Это не про любовь, это про милосердие. Помните, как у Шелли: «... ведь если б ночь была добра, со мной бы ты не расставалась...»

Шейла не могла знать о существовании Элины, он тщательно оберегал ее от излишних знаний. Ему всегда удавалось вовремя развести мосты. Казалось, да что там казалось, он был убежден, что находится вне всяких подозрений. Но у женщин — своя особая локационная система, свои специфические источники ощущений, о которых мужчины очень часто не догадываются. Однажды, ни с того ни с сего, вдруг спросила:

— Скажи, только честно, у тебя кроме меня кто-то еще есть?

— Нет, с чего ты взяла? — ответил без паузы, на голубом глазу.

— Ты сам говорил, и не раз, о своих знакомых дамах. А когда их много, то среди них всегда отыщется та, которая больше, чем просто знакомая. Это ж простая арифметика, тут даже высшая математика не нужна.

— Ну, это абстрактная теория вероятности, — произнес он... а в душе: «Ни фиги себе женская логика, а ведь права».

— Может и теория, — возразила она, — но многократно подтвержденная. Сколько книг этому посвящено, сколько романов написано, сколько песен сложено. И не счесть...

К чему я спрашиваю? А вот к чему... если у тебя появится другая женщина, скажи мне, и я уйду. У меня нет никаких прав на тебя, я не стану устраивать скандалов и сцен ревности.

Лишний раз пришлось убедиться в благоразумии Шейлы, а уж в сравнении с Элиной — так просто кладезь мудрости.

А на другом фланге, увы, все не слава богу... — то в жар, то в холод. Элина то приближала его к себе, и казалось, что вот-вот шлюзы разойдутся и, наконец, она станет его женщиной, а потом — также внезапно бунтовала, отдаляла, и ведь повод всегда находился.

Так не могло долго продолжаться, и в какой-то момент Милан решил — пора... пора уже «заложить ставни» в мифическом замке, олицетворяющем якобы любовь. Может, не забивать гвоздями наглухо, но и не исправлять кособокое, не подкрашивать облупившееся... Просто заложить, и все. Хватит — наигрался. Она не моя, говорил он себе... Не всякий крутой склон бывает покорен, не всякий эдельвейс доступен, а дикие полевые цветы, лишившись родной почвы, даже в хрустальной вазе быстро чахнут.

Однако страстное желание овладеть этой задиристой, необузданной гурией все еще разжигало в нем азарт охотника, превышая всякие разумные доводы.

Раскол

Лето здесь наступает внезапно, не по календарю, а по своей прихоти. Оно южное, темпераментное — врывается в весну, когда вздумается и вмиг сметает эфемеры своим жаром. Во второй половине мая, как всегда, к всеобщей радости, начинается плавательный сезон. Друзья и товарищи, знакомые и родственники, почитатели моря и прохладной воды, а также знакомые знакомых, завсегдатаи больших компаний и любители вместительного кроссовера, немедленно взяли его на абордаж. И закрутился, завертелся бесшабашный пляжный сезон с разнообразием соблазнительных, обнаженных прелестей. Было не до слез по «утраченным грезам».

Так бы и продолжалась эта беззаботная полоса жизни до середины сентября, а то и дольше, но где-то в июне Элина вновь напомнила о себе. Это было неожиданно, звонок застал врасплох. Хотя большая часть «окон в замке» вроде была законопачена, но что-то внутри него, в подреберье, непроизвольно екнуло.

— Привет... Как ты там поживаешь? Не скучаешь?

— Вроде все нормально, спасибо за вашу тревогу о нас. Приятно, что помните о нашем существовании.

— Пожалуйста, не дуйся, так уж сложились обстоятельства... Я бы не стала тебя беспокоить, но у Кристины, видимо, бронхит, и мы никак не можем с ним справиться. У тебя есть знакомый врач-педиатр или отоларинголог?

— Вообще-то я вроде по части болезней человеческой души, но раз ты просишь, я попытаюсь выяснить. Как только что-то разузнаю, сейчас же перезвоню...

К счастью (или несчастью), в его окружении было много знакомых медиков, опытный детский врач был быстро найден, оповещен о болезни и на следующий день назначил прием.

— Значит так, — отчеканил он отчужденно, чтобы скрыть эмоции, — завтра к девяти будьте готовы, я заеду за вами.

— Ой, спасибо, мой дорогой... Ты очень хороший, добрый, настоящий товарищ.

— Я все понял... постарайтесь спуститься вовремя, без задержек, врач это не я ...

Утром заехал за мамочкой с дочкой, членами своей неосуществленной семьи, и в оговоренное время вместе с ними оказался в платной поликлинике.

Пока медсестра оформляла все положенные бумаги и счета, он сидел рядом с опечаленной мамашей, ощущал ее теплое поверхностное дыхание, слабый аромат парфюма, успокаивал, как мог, держа в своей руке ее безвольную кисть, и периодически прикасался губами к восхитительно красивым тонким пальцам. Печаль очень шла Элине, выявляя оттенки прекрасного профиля. Грусть смягчила ее, сделала необычно податливой ласке. Ему очень хотелось в это верить... Впрочем, возможно, это была всего лишь удачно исполненная роль слабой, ранимой барышни, снисходительной по случаю.

Верный диагноз, необходимые лекарства, процедуры и прочие профилактические домашние задания за пару недель справились с болезнью. Кристина была в полном порядке, неумный чертенок вновь вселился в нее, а от матери в качестве вознаграждения ему досталось несколько лестных эпитетов и даже парочка жарких поцелуев... в щеку.

Жизнь опять окрасилась неоправданными ожиданиями. Возобновились выходы в люди. Иногда, как ни странно, даже к очагам высокой культуры, но чаще, обойдя стороной большое искусство, — к популярным развлечениям. К общей радости, пища для души запросто подменялась пищей для желудка, а воздушные купольные сооружения — заведениями приземленными, дурманящими воображение, наполненными ароматами, радующими эстетику поджелудочной железы. Здесь с удовольствием гасились голод и жажда и набирались необходимые калории.

Казалось бы, подтверждается старая истина, что путь к сердцу лежит через желудок (правда, поговорка про мужчин, но и так сойдет), и наступила пора

долгожданного счастья. Чтобышний раз не травмировать Элину, старался не задевать раны в ее душе, тщательно обходил все конфликтные темы. Старался не настаивать на своих собственных хотелках. На некоторое время удавалось, балансируя между Сциллой и Харибдой, сохранять радужную полосу неприкосновенной, однако и эта веревочка, сколько бы ни вилась, пришла к своему концу.

Дружба дружбой, а сердце, как говорится, не тронь. Несколько неосторожных попыток притянуть Элину к себе, обнять и поцеловать, не говоря о последующих шагах — естественное мужское проявление обожания и влечения, — закончились нескрываемым протестом.

— Не хватай меня, да еще так сильно. Ты делаешь мне больно... Какой же ты цепкий, однако...

— Какой уж есть, других особей у нас для вас нет.

Краткая словесная перебранка, следовавшая за этим, напоминала разговор глухого со слепым, а в конечном счете, лишь увеличивала отчуждение.

— Я не понимаю, чего ты добиваешься, — говорил он, еле сдерживая раздражение, — неужели не ясно, мне нужна ты, и только ты. Как женщина... Слышишь, как женщина, а не как насадка. Ты ведь не мать Тереза, не Мария Кюри-Склодовская и даже не Маргарет Тэтчер, прости Господи.

— Пошло и не смешно... К тому же не тобой первым сказано. Ты хочешь взять меня насильем, тебя это устраивает? Но я так не могу, я не готова к такой близости. Мне нужно время, чтобы убедиться в серьезности наших отношений. Это у вас, мужчин, все просто. Вы по природе самцы, у вас одно на уме... Со мной так не получится, не надейся.

— Что ж, догадываюсь... не дурак. Но и ты запомни, не всякая рыба, попавшаяся на крючок, оказывается в садке. Некоторые из них, сорвав губу, уплывают восвояси, надолго сохраняя в себе фантомную боль.

— Надо же, сколько пафоса накопилось у господина писателя.

— Знаешь, ты кто?..

— Кто?..

— — ???

Кто есть эта самая «Ты», он толком и сам не знал. То ли обыкновенная стерва, то ли романтическая идиотка, то ли подранок... Но чувствовал — существо колючее, ядовитое, ранящее... да и само больное, ранимое...

Два монолога, два взаимных обвинения, как две летящие встречно стрелы, никогда не бывают услышаны, они не могут быть адекватно истолкованы. Оставался последний, но самый убедительный довод — хлопнуть дверью и уйти. Возможно, единственный здравый аргумент, превращающий перепалку в многоточие.

Но таким образом осуществляется спасительная защита только своего эго, а как быть с человеком, перед которым захлопнулась дверь, оставив наедине с проблемами, опутанными его? Он ведь огрызается от того, что не видит выхода из ситуации, в которой находится. Во всем видит подвох, угрозу своему шаткому равновесию. А если проблемы терзающей его душу непреодолимы, если ноша неподъемна... Тогда как?.. Должны ли мы быть в ответе за то, что не протянули вовремя руку, сомневаясь в том, что жест будет адекватно воспринят? Или это только оправдание собственной трусости, нежелание взвалить на себя тяжесть ответственности?

Вразумительного ответа у него не было. Все время находиться в состоянии «ни мира, ни войны», не хотелось, а отстранившись, решил, что избавился от теребящей его изнурительной лихорадки.

Дни и ночи опять потекли размеренно, спокойно и предсказуемо. Шейла по-прежнему любила его, заботилась, вникала в детали повседневной жизни. Постоянно интересовалась, что поел, что попил, вовремя ли почистил уши, не забыл ли про последовательность работы и отдыха... Он по-прежнему ценил ее доброжелательность, с благодарностью принимал ее заботу, но жил с занозой в душе...

Однажды звонок мессенджера раздался как раз тогда, когда Шейла, нависнув над ним и заглядывая через плечо в компьютер, пыталась уследить за бегущей строкой на мониторе.

Это, конечно, была она... Она умеет выбрать время. Доморощенный экстрасенс умудряется всплыть на поверхность в самый гремучий для конфликта момент.

— Шейла, будь добра, организуй, пожалуйста, чайку, что-то в горле пересохло (чтобы хоть как-то отодвинуть ее от экрана).

— Нет проблем, дорогой, сейчас все организую.

В мессенджере, спотыкаясь о собственную злость, с пропусками гласных и ошибками в орфографии побежали до боли знакомые слова:

«Я пятый час пытаюсь пробиться к тебе, а ты упорно не отвечаешь на мои вызовы. Где ты? Кем так "занят", что не можешь оторваться?..»

«Я не могу сейчас говорить, у меня гости».

«Гости или гостя?..»

«Это не имеет значения, какие проблемы?»

«Как это не имеет значения?! Ты клянешься, что любишь меня, а вокруг тебя крутятся какие-то девки, и это не имеет значения?..»

«Послушай, Эля, ты же не за этим рвалась в личку, чтобы устраивать сцену ревности? Что ты хотела спросить?»

Наяву из «kitchen open»:

— Дорогой, кто это так настойчиво тебя домогается?

— Да так, знакомый...

— Знакомый или знакомая?!

— Знакомая... Знакомая мелодия... Привычная... Уже много раз отыгранная, но она вновь и вновь настойчиво повторяется.

Тут же, параллельно, отстукивая на клавиатуре:

«Так, что ты хотела спросить, какие опять проблемы?»

«Уже никаких... Мне все ясно с тобой. Ничего от тебя не нужно. Ты просто кобель. Я тебя ненавижу. Сгинь, исчезни из моей жизни. Забудь и больше никогда не звони».

И опять из кухонных глубин размеренное, умиротворяющее:

— Чай уже на столе, я жду тебя, он стынет. С чем ты будешь пить: с конфетами или с вареньем?

— Хорошо бы с циянистым калием, но и конфеты сойдут. Извини, это такая дурацкая шутка.

— Я так и поняла...

Неприкаянный челн наш плывет по волнам невидимого времени, не ведая, где начало, а где конец, где свобода и воля, а где смятение и обреченность. Так и живем по прихоти обманчивого ветра, к чему-то приплываем, причаливаем, пока внезапный порыв не столкнет нас с земной твердью, людской непримиримостью. А столкнувшись, отвергаем, отрекаемся, оберегая уязвленное самолюбие. Потом шарахаемся к иному, противоположному, надеясь обмануть судьбу.

Не всем это удастся...

Ольга Злотникова

Если б не эта любовь

* * *

проживи с детьми на три копейки
и о Боге, слышишь, не забудь,
в траурном углу малосемейки
туго перевязываю грудь.

не сбегу, не спячу, не сопьюсь ли,
сыновьям готовлю пастилу.
маленькие треснувшие гусли
на немытом кухонном полу.

каждой шутке радуются дети,
гули-гули, ладушки, ко-ко.
жизнь пройдёт, никто и не заметит,
как перегорело молоко.

* * *

солдатик-холм острижен догола,
по всем страницам атласа растений
травя безжизненная пролегла.
о, волосы, в которых жизни нет —
давным-давно пора стряхнуть с предплечий,
с груди и шеи, со спины моей,
с меня-холма на кафельную плитку
или газету свежих новостей,
за столько лет живым поднадоевших.
солдатик-холм острижен догола:
он отряхнётся и продолжит жить,
и у него теперь своя война.
вот так и нас однажды подсекут,
проснётся солнце, выйдет на прогулку,
а нас как не было, и мир совсем другой,
и мир всё тот же, если присмотреться.

.....корова в поле

коровы храм в открытом поле	массивное тело
навстречу всем ветрам стоит	сосцы измученные
коровы храм ко мне идёт	разорённый иконостас
медным колоколом звенит	
	кто осквернил храм?
дзынь	дзынь
об убиенном сыне	общая наша вина
дзынь	дзынь
о ласковом своём телёнке	не прячь глаза, дед Василий
дзынь	дзынь
о влажном и кротком	собственными руками
дзынь	дзынь
на ножках нетвёрдых	и жена твоя, баба Фаня
храм-крепость	дзынь
окошки-бойницы	и внуки твои с молочными усами под носом
долгий взгляд	

* * *

и чаша, и чудо, и мера
(выпестывай, Боже!)
твой сон, о, телёнок молочный,
на колкой рогоже.
...не ставший молитвою сполох,
не взросшая ликом,
любовь убывает, сжимаясь
до тонкого блика.

кто тыкался влажною мордой
в сосцы и стаканы,
ходил беззащитным, дебелим
дитём, великаном?

(ни домом, ни сыном, ни долом,
ни вскриком, ни словом.)
и ясность в просветах молчанья
под бледным покровом.

но всё же, но всё же, как окрик,
как утренний холод,
как *чив* воробыный над миром,
как след от укола,

забвение, вросшее в память,
и всё же, и всё же
родные черты угадаю
в ребёнке, в прохожем.

и вспыхнувший куст у дороги
сгорит безымянно —
твой окрик, мычанье, зиянье,
молочная рана.

* * *

это не чаша, а чашечка
с чудиками внутри,
смотрят — огонь зелёный
в тёмных зрачках горит,

а у меня под ребрышком
красная рыбка хвостом бьёт,
а у меня под темечком
смешной человечек живёт,

это не мера, а мерочка:
сняли на глаз, и вот
я перед вами девочка,
чудик со мной плывёт

дядя, пропустишь девочку?
вот тебе мой обол —
оранжевая пуговица,
закрученная буквица
и синенькая ленточка,

на деревянной лодочке,
дядька кричит: куда?
а у меня под ложечкой
ласковая вода,

дядя, пропустишь девочку?

(но чудика не отдам)

* * *

если б не чахлое небо
не жёлтое с серым
над пепельным лесом домов
куда бы мы поднимали глаза?

если б не эта любовь
(и здесь я замолкну она говорит говорит
и мне бы расслышать
и вдруг обо всём рассказать)

и если уходишь
всегда непременно домой
но перед дверью удержишься на перекур
на долгий-предолгий последний живой разговор

с тем кто стоит за спиной
и гладит тебя по дурацкой твоей голове
по вихрастой твоей голове

с тем кто тебя сироту
по-отцовски обнимет
и разомкнёт это низкое небо молчанья

...любовь милосердствует
всё покрывает и если
где-то в дороге
о чёрный булыжник споткнешься

есть ласковый ветер
и тёплый серебряный снег

Наталья Ключарёва

Рассказы

Звездица

Первым ее увидел Колька Злодей, возвращаясь домой после небольшого загула. Было темно и глухо, только под ногами чавкала и хрюкала грязь, да ветер шевелил тени.

Надо сразу пояснить, что Колька вовсе не был каким-то особенным злодеем. Он был «как все люди» и очень этим гордился, потому что других поводов для гордости не имел.

Просто его фамилию — Добродей — начиная с садика, все, не сговариваясь, переделывали в Злодея, и он так к этому привык, что однажды в похмельной рассеянности, расписываясь в зарплатной ведомости, нацарапал кривое «Зло» и только тут спохватился, попытался переправить на «Добро», но был зверски отруган Танькой-бухгалтершей, на которой потом женился.

И вот этот самый Колька, уже сбежавший от Таньки и иногда заходивший к ней во двор, чтобы покачать на качельках годовалую Дашку, ибо как еще исполнить свой родительский долг, он не знал, поздно ночью возвращался к себе, слегка спотыкаясь и насвистывая.

Колька жил на самой окраине захудалого городка, в котором не было ничего примечательного, кроме монастырского собора таких внушительных размеров, что при желании там могли бы поместиться не только вся братия, но и все горожане, включая иноверцев.

Прямо за Колькиной пятиэтажкой начинались картофельные поля и огороды, в лопухах под окнами часто паслись козы, а одинокая старуха Волкова, жившая на пятом этаже, просыпалась ночью от пения петухов и до утра дежурила на балконе.

Колька заворачивал за угол дома, к подъездам, когда прямо над его головой раздался отрешенный вопль Волковой, больше похожий на завывание ветра, чем на голос разумного существа:

— Светка! Светка! Ты чё по ночам шляесси?! Вот я тебе!

Колька даже шарахнулся в кусты от неожиданности.

— Тамбовский волк тебе Светка, старая коряга! — заорал он в ответ и даже погрозил кулаком, чего коряга, конечно же, видеть не могла, так как была почти слепа.

Вообще-то пререкаться с ней тоже не имело смысла: старуха то ли ничего не слышала, то ли ничего не понимала, заведя же прохожего, всегда взывала со своего балкона протяжно и нудно: «Светка, Светка»; а кто была эта Светка, никто не знал.

Ключарёва Наталья Львовна (родилась в 1981 году в Перми) — поэт, прозаик, журналист. Автор книг «Белые пионеры», «Россия, общий вагон», «SOS». «Деревня дураков». Печаталась в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Волга», «Октябрь». Лауреат премии имени Юрия Казакова (2007). Живет в Москве. Предыдущая публикация в «ДН» — «Последнее чудо» (2015, № 11).

Колька еще пару раз чертыхнулся, уже вполголоса, обогнул дом и — застыл. Невысоко в ночном небе, прямо над гривой старой черемухи, что-то сияло. Свет был нестерпимо яркий, как у прожекторов на футбольном поле, даже сильнее.

— Бля, — выдохнул Колька, — осподи помилуй... Конец света, чё ли?

Он бросился обратно и что есть мочи закричал старухе, чей белый платок все еще трепыхался на балконе:

— Бабка!!! Бля!! Ты ЭТО видала?!!! Чё там такое?!!

— Светка! Светка! — тут же долетело сверху.

— У тя окно на ту сторону выходит! — надрывался Колька, с перепугу позабывший, что с бабкой Волковой невозможно установить контакт. — Сползай, глянть, чё там такое!! Бля-аааааа!

Тут на Колькино счастье из окна первого этажа высунулся любопытный алкоголик Пузырь, безобидный мужичишка, целыми днями сидевший во дворе в старом кресле, которое притащил с помойки.

— Где пожар? Кого зарезали? — деловито поинтересовался Пузырь.

— Выходи, — зловеще процедил Колька, у которого суеверный ужас тут же затмился чувством собственной значимости, — сам увидишь.

Пузырь вылетел из подъезда в развевающихся семейных трусах неопределенной расцветки и облепленных застывшей грязью резиновых сапогах на босу ногу.

— Ну?! — нетерпеливо крикнул он Кольке. — Чё стряслось-то?

— Не видишь?! — обалдел тот.

Пузырь покрутил головой, почесался и сплюнул.

— Допился я, брат, — философским тоном произнес он, — когда с тобой из окна говорил, померещилось, что темно. А тут уже светлынь такая. Десять-то есть? Эх, не зря мамка в малолетстве пужала. Мол, будешь, как батя, закладывать, день с ночью перепутаешь...

— Да щас ночь!!! — взревел Колька, которому уже невольно стало слушать эти неторопливые рассуждения. — Ночь!!! Это вон ОНО светит!!

Колька яростно ткнул пальцем в сторону черемухи.

Пузырь долго молчал, сопел и чесал то грудь, то ногу.

— Та-а-ак... — протянул он наконец. — Стало быть, магазин закрыт еще? А я-то разбежался...

Спустя полчаса Колька, не удовлетворившись вялой реакцией Пузыря, перебудил всех соседей. Многие вышли во двор. Гудели хриплыми со сна голосами мужики, где-то надсадно плакал младенец, тьякала взбудораженная болтовней и беготней собачонка с третьего этажа.

— Я иду, а тут... я аж... — в сотый раз рассказывал Колька Злодей, чувствуя себя героем дня, точнее ночи.

— Ну, сила, звездища, мощняк! — восхищался конопатый Лёха-шофер, — мне б такую в гараж заместо лампочки!

— Зашибись, светит, хоть в карты играй! — вторил ему низкорослый ветеран Серёга, потягивая — всем на зависть — припасенное с вечера пиво.

— Какие карты, вдруг щас шандарахнет! — истерически выкрикивал кто-то.

— А ты не каркай! Глядишь, и пронесет!

— Может, это комета, — рассуждали чуть поодаль.

— Аномальная зона!

— Или НЛО?

— Надо на телевидение позвонить.

— И в милицию.

— Не, ментов не надо, они продажные.

— А вдруг это китайцы нас радиацией с зонда облучают, а мы тут рты разинули.

— У нас в части был пацан чернобыльский, — перекрывая общий гул, вразумлял

народ ветеран Серёга, — он верный способ знал — от радиации лечиться. Сто грамм на десять кило веса — и порядок.

— Да где взять-то? Магазин закрыт! — сокрушался Пузырь, который всегда был не прочь полечиться от радиации. — Слышь, Серёга, может, у тебя еще чё заначено? А то, вишь, как облучают, черти, до утра не дотянем!

— Светка, Светка, — время от времени подавала голос старуха Волкова, переместившаяся с балкона к окну, поближе к оживленному сборищу.

Несколько женщин, повязавшись платочками, отправились в монастырь, узнать, не начинается ли второе пришествие. Они прижимали к груди иконы и укоризненными постными голосами пели что-то церковное, отчего всем, даже ветерану Серёге, сделалось не по себе.

А тут еще мрачный безработный Бык, поросший бородой по самые брови, ни с кем не разговаривая, покидал в раздолбанную девятку какие-то тюки, сунул туда же запуганную, всегда молчавшую сожительницу Зульфию, которая содержала его, моя пол в мясной лавке, и рванул куда-то в сторону леса.

Звезда по-прежнему стояла над старой черемухой, и ее зеленоватые лучи плавно шевелились, как колеблемые течением водоросли, похожие на волосы русалок. Звезда была чуть меньше Луны, но светила явно своим светом, и сияние ее то убывало, то усиливалось.

— Мне бабка говорила, на комете антихрист прилетит, — задумчиво произнесла в наступившей тишине трижды разведенная продавщица Ольга, уже успевшая накраситься и надеть туфли на каблуках.

— Это которая? Не бабка Нюрка, часом? — живо откликнулся Колька Злодей. — Да она сама пострашнее любого антихриста будет!

— И то! — подхватил Пузырь. — Чуть мне горло не выгрызла, что я ее лук потоптал. А Борисыча, того вообще кипятком обварила, когда у нее в огороде спал!

— Ну уж и обварила, — обиделась за бабку внучка. — Так, чайком плеснула.

— А чего ж его в больницу потом возили? — гоготнул ветеран Серёга.

— Перепил — вот и возили! А будешь спорить — перестану в долг отпускать! — кокетливо рассердилась Ольга.

Парни обступили ее, весело пререкаясь.

— Светка, Светка, прошмандовка, с кем это ты зубы скалишь? — заунывно, как ночная птица над полем, прокричала недремлющая старуха Волкова.

— Мы и антихриста от радиации вылечим! — донесся среди дружного гомона залихватский клич Пузыря. — Ольга, не томи, отворяй магазин экстренно! Уважительная причина — конец мира!

Дети, разбуженные среди ночи, сначала молча таращили глаза и жались к материнским ногам, потом стали шушукаться, пихаться, носиться вокруг взрослых, иногда опасливо, как на завуча, оглядываясь на звезду.

Вскоре от того, что можно не спать и даже гулять в неурочный час, их охватила безудержная, новогодняя эйфория. Толстая девочка по имени Надя Кондрашкина сбегала домой и надевала свою «самую страшную маску» — светящийся череп.

Теперь она что есть мочи раскачивалась на качелях, взлетали и опали оборочки на платье, сверкали ссадины на круглых коленках, а над всем этим зловеще мерцала мертвая голова.

Ее подружка Маринка, такая же упитанная и нарядная, но без маски, скакала по гремящей горке и, захлебываясь от восторга, вопила:

— Надя Кондрашкина! Хватит пугать людей!

Под горкой, скрючившись, сидел лопоухий мальчишка в очках с толстыми стеклами, которого во дворе никто не знал по имени, потому что он почти не гулял, все время просиживая на подоконнике с книжкой и банкой варенья, откуда рассеянно черпал столовой ложкой, а если и выходил, то играл сам с собой в какие-то непонятные игры.

Мать его, одинокая пожилая химичка Червякова, постояв с соседями у подъезда, уже ушла домой проверять тетради, а мальчишка спрятался под горку и исподлобья, неотрывно глядел на звезду.

— Ты красивая, — шептал он чуть слышно, — я тебя вижу... Тебе, наверное, грустно там одной? Не плачь, звездочка, я буду с тобой дружить. Хочешь?

Девчонки

Метель началась, когда тополь у библиотеки был еще полон зеленых листьев. Снег летел с невидимых небес, легкий и неумолимый, как ангел. Было что-то жуткое в его отрешенном круговом движении, которое не прекращалось ни днем, ни ночью.

— В связи с изменением климата Великий Потоп отменяется, будет Великий Сугроб. Один на всех — великий, снежный гроб, — гнусавил поэт Селёдкин, выдергивая увязшую в снеговой каше маленькую библиотекаршу Юлю. — Почему вы сидите тут и плачете? Одна в снегах, как... как...

— Ой, не надо только ваших «каков»! — Юля перевернула свалившийся с ноги ботинок и так яростно встряхнула из него снег, что потеряла равновесие и чуть не шлепнулась обратно в сугроб.

— Неблагодарнейшая из дев! Я спас вас от разнузданной стихии!

— Стихия не может быть разнузданной. Она не лошадь. И не графоман, упившийся дешевой водкой. И «спасвас» звучит смешно. Как ватерпас и васисдас.

— Жестокая! И все-таки я видел, вы плакали... Могу ль узнать, о чем?

— Птибурдуков, тебя я презираю..., — в тон ему ответила Юля. — Ладно, спасибо-до свиданья — мне действительно пора.

Ей хотелось еще посидеть в снегу и поплакать. Но утомительный Селёдкин продолжал идти по пятам и гнусавить свои пятистопные ямбы. Видимо, тоже пробирался в библиотеку. Договариваться об очередном поэтическом вечере.

Юля, однако, быстро сообразила, что может поплакать и на ходу. Ведь он плетется сзади и ничего не заметит.

Ветер шипел и шуршал, гремели, точно жестянки, заledenевшие зеленые листья на тополе. Было так шумно, что Юля осмелела и произнесла сквозь слезы: «Расцветают липы в лесах, и на липах цветы поют».

Почему-то ужасно хотелось повторять и повторять эту строчку. И непременно вслух. И плакать. В ней было простое и неуловимое волшебство. От этих цветущих лип и поющих цветов сквозь мертвую каменную тоску начинали просачиваться ручейки слез. Таких горьких. И таких сладких. Горьких, потому что никаким мечтам не суждено сбыться, и это уже давно понятно, но все равно больно. Сладким, потому что душа все-таки жива. И живет, даже когда ты уже совсем перестаешь ее помнить. И готова ожить и обрадоваться от такой малости, как давно не ласканный ребенок. Оттого, что «на липах цветы поют».

— Ага, — злорадно прокаркал за спиной Селёдкин, — надо мной издеваетесь, а сами стишки бормочете! Да к тому ж плохие! Зацветают и цветы — тавтология! И потом липы не в лесу растут, а в парке. Ну, а поющие цветы — это вообще ни в какие ворота не лезет! Цветы поют! Может, они еще и танцуют?

Юля резко остановилась, и разогнавшийся Селёдкин налетел на нее, как петух на наседку. Сам Селёдкин, конечно, предпочел бы сказать: как коршун на голубку. Полы его черного пальто развевались на ветру, словно распростерты крылья. С минуту они молча барахтались в сугробе, пытаясь вернуться к прямохождению. Юля вскочила первой и, глядя на четвероногого Селёдкина, крикнула:

— Знаете, почему вы пишете такие плохие стихи?

— Я? Плохие? — задохнулся Селёдкин. — Да ты... Да я... Тебя урою, сука...

Он уже был на ногах и нависал над маленькой Юлей, сверкая перекошенными очками. На секунду ей стало страшно, на полсекунды смешно. А потом надолго гадко.

Селёдкин дышал на нее вчерашним перегаром и жвачкой «Орбит» и сопел, будто бульдог. Он продолжал по инерции сохранять свирепый вид, однако был уже не зол, а растерян, точно школьник, сгоряча нахамивший завучу и не понимающий, зачем он это сделал и как теперь быть.

Он почесал нос, и Юле стало его жалко.

— Ага, уроете. И тут же в сугробе зароете, — примирительно усмехнулась она. — Бедный Селёдочкин! И откуда только из вас это вылезло? НТВ на ночь смотрите?

— Так почему же у меня плохие стихи? — оправившись от смущения, прошипел Селёдкин.

— Потому что вы мало читаете. Гумилева не узнали. Поучать бросились. Цветы у него, видите ли, петь не могут.

— Ну, у Гумилева могут, конечно.

— Цветы вообще могут делать все, что угодно. И танцевать — вальс цветов забыли, что ли? — и ходить, и говорить... И даже лекции читать на филфаке. О польских поэтах второй половины двадцатого века...

— У вас жар, Юлия Борисовна?

— Станиславовна. Да, горячка. Оставьте меня, поручик.

И Юлия облегченно рассмеялась. Ну, конечно! Вот он — выход! Такой же, как и тогда, с Цветаном Боженевичем, профессором из Польши.

Он прочитал свою лекцию, которая вся, до единого слова, пролетела мимо нее, как сияющий поезд, и спустился с кафедры, чтобы навсегда исчезнуть. Тогда маленькая студентка Юлия невероятным усилием вырвала себя из своего золотого омута и подошла задать вопрос. Наиглупейший, разумеется. Но он не рассердился. «Скажите, а ваше имя по-польски обозначает цветок?» — «Да-да, Божий цветок», — ответил он, лучезарно улыбаясь. И упорхнул из аудитории. И из ее жизни.

А она, чтобы уцелеть и не разлететься на золотые молекулы, стала каждый день отправлять письма: «Речь Посполитая, Божьему Цветку»...

И пока она, стоя посреди метели под зеленым тополем, выговаривала незадачливому Селёдкину, ее вдруг осенило, что и эту разрывную пулю тоже можно упаковать в конверты и отослать подальше от себя. «Санкт-Петербург. Н.Г. До востребования».

Это будет, конечно, эффективнее, чем сидеть в снегу и плакать, привлекая прохожих графоманов. Она даже запела от облегчения. Разумеется, ту строчку, которая так и вертелась на языке: про липы в лесу. А Селёдкин подумал, что она его дразнит. И набычился.

«Дорогой Николай Степанович! Простите, что я вас беспокою. Если, конечно, это слово к вам теперь применимо. Как и все остальные слова. Ну, не будем о грустном. Николай Степанович! Я хочу Вам кое-что сказать. Вы, конечно, это уже сто раз слышали. Но что поделаешь. Придется выслушать еще раз. Я люблю Вас. Люблю. Люблю. И буду писать это слово, пока мне хоть немного не полегчает... Нет, без толку. Ладно, тогда я лучше объясню, что имею в виду. Ведь хотя Вам и говорили это сто тысяч раз, но про мое «люблю» Вы ничего не знаете... Да, трудновато будет. Охо-хо! Нет, лучше пойти путем вычитания. Так вот, стихи Ваши мне, увы, не нравятся. За редким исключением. Они совсем не мои. Особенно все эти леопарды и бегемоты. Или хуже того — священная война. Фу, кошмар... И как человек Вы мне не нравитесь. Самоуверенность и самолюбование. Сплошная поза, ни слова в простоте. Это я не хамлю. Это я в любви признаюсь, не забывайте... Хотя тут, на человеческом уровне, мне все-таки кое-что нравится. Как вы с детьми играли. И с мамой под ручку ходили. Это очень трогательно... Как мужчина Вы мне тоже не нравитесь. Меня пугают эти африканские страсти. И кажется ужасно пошлой ваша любовь к актрисам и балеринам.

Ну, дурной вкус, ну, правда же! Так что же я полюбила? То, что в самой глубине. Так глубоко, где уже нет мужского и женского. Так глубоко, что даже в стихах оно почти не смогло проявиться. Не знаю, как оно называется. Может быть, дух. Вот этот дух — он мне как родной. И это родство — самое прекрасное и самое безнадежное, что со мной случалось. И дело не в том, что Вас давным-давно нет в живых. Это, наверное, даже плюс... К живым вообще невозможно продрасться сквозь все наслоения... Нет способов контакта. Духа с духом. Ведь мы знаем только слова. А это глубже слов, даже тех, что в стихах приходят... Ну, вот. Я и успокоилась. Больше не хочется сидеть в сугробе и плакать. Спасибо, что выслушали, даже если это совсем не так. Я напишу еще, если опять станет плохо? Ладно?»

— Медитируешь над методическими рекомендациями? — заглянула ей через плечо нестрогая начальница Света. Светик-Семицветик, как ее прозвали за пристрастие к яркому макияжу необычайных оттенков.

— Угу, — Юля захлопнула блокнот и обернулась.

Светины глаза, подведенные толстой линией, как у актрисы немого кино, светились сочувствием:

— Опять влюбилась?

— Да что вы!

— Я случайно увидела, клянусь! И только первое слово! Даже имя не успела прочитать! Методические рекомендации со слова «дорогой» не начинаются.

— Я сию минуту все сделаю! Уже почти начала! Ой, тьфу, почти закончила!

Юле опять захотелось плакать, желательно в сугробе. Она глянула в окно: не бродит ли поблизости еще какой-нибудь незванный утешитель. Тополь по-прежнему зеленел посреди зимы — надменный, стойкий и нелепый.

«Как Николай Степанович со своей Африкой. Как я со своим Николаем Степановичем. Жаль, что в тополе нет дупла, я бы туда отнесла письмо. Письмо, а письмо, почему ты мне помогло так ненадолго? Я на тебя надеялась! Не могу же я в разгар рабочего дня то и дело бегать в сугроб плакать. Сейчас уже и детей приведут. Да вон же они топают! Ой-ей!»

Дети ее тоже не утешили. Сидели такие кислые, замороженные, будто на контрольной по математике. Потом, правда, немного воспряли. Стали придумывать, кто какой цветочный горшок. И одна хмурая отличница сказала, что она прозрачная, а внутри у нее — вода и золотые рыбки.

— Ты — цветочный горшок, мечтающий стать аквариумом! Как я тебя понимаю! — обрадовалась Юля. — Напиши об этом сказку! Или трагедию в стихах!

— Разве что комедию, — отрезала девочка.

Потом попросил слова жгучий брюнет Федя. У него, видимо, тоже выдался нелегкий день. Федина сказка просто лучилась оптимизмом:

«Жили-были дед да баба. Снесла им курочка яичко. Яичко упало и разбилось. Дед упал и разбился. Баба упала и разбилась. А курочка их утешает: "Не плачь, дед, не плачь, баба". Потом сама тоже упала и разбилась. Вот и сказке конец, а кто слушал — упал и разбился!»

— Ну, а мышка? — спросила Юля с надеждой. — Уцелела?

— Мышки там вообще не было. Ее кошка съела. Еще давно.

Под конец мальчик Саша, который придумывает сказки, где все сделано из Лего, вдруг спросил таким скептическим тоном:

— А сами-то вы хоть книжки читаете?

— Читаю.

— А докажите!

Юля открыла сумку и продемонстрировала болотно-зеленый томик Гумилева. Все почему-то оживились, повскакивали с мест, чтобы лучше разглядеть. А легоман Саша потребовал, чтобы она прочитала первое попавшееся стихотворение.

— Ну, тут всякое попадаетея...

— Давайте, давайте!

К счастью, выпала «Сахара». Ни кровавой резни, ни любовных утех. Всего-то лишь навсего планетарная катастрофа.

— Ну, все понятно? — спросила она, дочитав. Надеялась, что они ничего не уловили, маленькие ведь еще, третьеклассники, а тут слова — сплошь незнакомые.

— Чего же тут непонятного! — скривилась мрачная отличница, и глаза ее злорадно сверкнули через очки, совсем как у поэта Селёдкина. — Земля превратится в пустыню, и нас завоюют марсиане! Все предельно ясно!

— Крутяк! — одобрил мальчик-лего.

Когда они уходили, Юля заметила, что отличница сильно хромает — одна нога у нее не сгибалась — и снова собралась плакать в сугроб.

Но ей опять помешали. Уже у самых дверей дорогу перегородила горбатая библиотечарша Любовь Ивановна. Эта Любовь Ивановна отличалась непредсказуемостью. То дарит подарки без повода, то перестает здороваться. Тоже без повода. Сейчас она пребывала в подарочном настроении. Вручила Юле банку с капустой. Торжественно, словно статуэтку Оскара.

— Вот это да! — восхитилась Юля, понятия не имея, что следует говорить, когда тебе молча суют в руки три литра капусты. — Сами квасили?

— Квасить будем завтра, — глядя вниз и вбок, проскрипела Любовь Ивановна. — На бенефисе Селёдкина. Присутствовать обязательно. Распоряжение директора. Должны обеспечить явку.

— А если я вместо себя кого-нибудь пришлю? У меня соседка, такая дама интеллигентная... Если только она опять ногу не сломала, она постоянно падает...

Любовь Ивановна, не говоря ни слова, развернулась всем корпусом и отчалила по направлению к читальному залу. В продолжении разговора она была явно не заинтересована.

«Ну что, теперь я могу спокойно пойти в свой сугроб?» — спросила Юля у бытия. И бытие ответило: «Не можешь»

На сей раз на пути возникло препятствие в лице начальницы Светы.

— Юлечка! Ну-ка, посекретничаем, — Света многозначительно повела своими клеопатровыми глазами в сторону раскидистого фикуса.

— Я понимаю, это не мое дело, — начала она шепотом такой силы и экспрессии, что все библиотечные девушки, скучавшие за стеллажами, навестили уши. — Ты не обижайся. Я за тебя переживаю, как за родную дочь!

Юля обреченно вздохнула и водрузила капусту на подоконник.

— Что это? Заготовки на зиму?

— Дар любви. Ну, Любви Ивановны.

— А, понятно. Я, кстати, как раз о ней с тобой и собиралась поговорить. Да, не о нашей. А о той, настоящей. О любви.

Юля вздохнула еще обреченнее.

— Я не буду спрашивать, кто он... Но скажи, у него серьезные намерения? Он жениться-то собирается? Он знает, что у тебя дочь? Мужики, они такие: как узнают, что у женщины ребенок, сразу лыжи поворачивают, кому охота с чужими генами возиться... Ну, знает?

— Нет.

— Я так и думала! Юля! Ты скажи! Сегодня же! Если несерьезный человек, сразу и отвалится. Туда ему и дорога! Скажешь?

— А почему бы и нет! — рассмеялась Юля. — С радостью!

— Ты так легкомысленна! А тебе ведь уже не двадцать...

— И даже не тридцать.

— Юлечка, не обижайся...

— На правду не обижаются!

— Я ведь за тебя, как за родную... Ну, скажи, серьезный он человек? Не поэт, я надеюсь?

— Не надейтесь, Светлана Вениаминовна!

— Рехнулась?! Непризнанный гений?

— Признанный, признанный, все в порядке!

— Селёдкин, что ли? Да ведь он женат!

«Дорогой Николай Степанович! Мне велели рассказать Вам о Соне. А я ужасно послушная. Ужасно. Вам бы понравилось... Так вот, Соня. Мы вместе уже пять лет. Когда-то ей было три года, она бежала передо мной, ловя летящие листья, и каждому листу давала имя. А я тащила сзади с тяжелой сумкой и думала: «Вот бежит человек, который еще не знает о смерти». Да. Теперь все изменилось. Вчера Соня объясняла свой рисунок: «Это мы танцуем в ангельском хороводе: мы с тобой, папа, игрушечка и Бог». Если бы я была поэтом, я бы так назвала книгу: «Игрушечка и Бог». Соня защищает меня от нянечек в садике. Встает, раскинув руки, и кричит: «Не смейте хамить маме!» А у меня порой не хватает сил даже на то, чтобы просто ей улыбнуться. Когда мы ссоримся, Соня говорит: «Ладно-ладно, поругайся. Тебе полезно. Все равно я знаю, что мы с тобой эльфы. А остальные — тетки». Понимаете, Николай Степанович? В Ваше время это, конечно, называлось другими словами, но расклад был тот же. Не в нашу пользу, да? Но когда я писала Вам, что Ваш дух мне как брат, я примерно то же пыталась выразить. Вы ведь поняли, правда? И мне грустно не от того, что Вас нет на этом свете, а от того, что даже если бы мы стояли лицом к лицу, мы бы друг друга не узнали. А ведь мы родные. И нас так мало. И нам надо изо всех сил держаться друг за друга, а мы... Вы бы меня даже не заметили, если бы мы встретились. Потому что я совсем не красавица. И уж точно не балерина. Спокойной ночи! Да, забыла. Я Вас ужасно ревновала всего один раз. Когда Вы писали Ларисе Рейснер о красных ветках ноября, когда природа думает, что ее никто не видит, и перестает скрываться... Ну, разве она могла это понять? А я вот понимаю».

На бенефисе Селёдкина присутствовали те же люди, что и десять лет назад. Все эти лица и все эти стихи Юля знала наизусть, хотя, конечно, предпочла бы знать что-нибудь другое. Правда, на этот раз мироздание сжалилось и послало ей одно новое лицо. И даже одно новое четверостишие. Оно называлось «Ответ». Читая его, Селёдкин многозначительно не смотрел в ее сторону:

«Не поют цветы, не поют. Они молча рассвета ждут. Они молча падают ниц, чтоб засохнуть среди страниц».

— Сей мадригал имеет посвящение, — мрачно заметил Селёдкин, переждав жидкую овацию. — Но я не буду его озвучивать. Потому что этот человек показал себя крайне некомпетентным в поэзии. По крайней мере, в моей.

Новое лицо принадлежало восторженной старшекласснице. Девочка с модной розовой челкой до носа сидела в первом ряду и так усердно хлопала, что Юле, сидевшей в последнем, было видно, как у нее покраснели ладони.

Потом начался банкет. Неизбежный, как ноябрь после октября. Бутерброды с вареной колбасой, непереносимые возгласы ужаса, что Юля не ест мяса, всегашние предложения закусывать конфетами «Белочка», водка в пластиковых стаканчиках.

— Селёдкин, возьми псевдоним, это невыносимо! — как водится, орал поэт Рюмин.

— Я своей фамилией горжусь! — кричал в ответ уже перекошенный Селёдкин.

А девочка с розовой челкой смело опрокидывала в себя водку и восторженно выдыхала:

— Обалдеть! Настоящие поэты! Анька обзавидуется!

Анька была подружкой, в соавторстве с которой девочка писала многотомный роман о приключениях черных магов.

— Вы правда считаете, что Пушкин велик? — надрывался Рюмин, обнимая

пунцовую Свету. — Но в чем критерий величия? Как его измерить? Почему именно Пушкин, а не Селёдкин? Рассудите нас, Юлия Цезаревна!

— Станиславовна. Извините, я сейчас приду.

— Держите ее! Она не вернется! Это волк в овечьей шкуре! — вопил Селёдкин, простирая к Юле грозную длань с надкусанным бутербродом.

— Я хочу петь! — воскликнула поэтесса Олечка в алом пончо, и Юле удалось улизнуть.

Она спряталась между стеллажей, уткнулась лбом в пыльные корешки и наконец расплакалась.

«Только и всего. Как мало человеку нужно для счастья: спокойно поплакать в одиночестве. "Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить". Какая жалость, что не меня называли Машей, а сестру. Ей это имя совершенно не подходит. Да и она все равно переименовала себя в Алису... Проклятье! Кто-то шлепает!»

Юля схватила с полки книгу и заслонила от надвигавшейся темной фигуры. Свет горел только в подсобке, откуда доносилось жалобное пение Оленьки, и все вокруг выглядело непривычно и загадочно, как в детстве.

— Что почитываем? — без интереса полюбопытствовал Рюмин.

— «Реформы Александра Второго». Люблю, знаете ли, на досуге освежить в памяти. Вы тоже?

— Странная ты, Юлька! — усмехнулся Рюмин и неловко облокотился на стеллаж.

«Ну, вот. Раз я уже превратилась в Юльку, сейчас начнутся некрологи».

— Пойдем, помянем Родьку. Он же тебе как-никак родственник.

— Ага, родственник. Они с Алиской меньше месяца женаты были. Только и успели, что перепиться на свадьбе. А потом протрезвели и развелись.

— Отказываешься помянуть невинно убиенного? — угрожающе колыхнулся Рюмин.

— Невинно убиенных в церкви поминают. А не на бенефисе Селёдкина.

— Мы русские люди. У нас — всюду Бог! Юлька! Не кобенься!

— Да идем, идем. Стеллаж не опрокинь только.

Пришлось отдать долг памяти Родьке единственным доступным здесь способом. Бдительный Рюмин следил, чтобы она не слукавила и выпила все до дна. Селёдкин с гримасой, изображающей смесь ситуативной галантности и незатухающей ненависти, пододвинул к ней конфету «Белочка». Поэтесса Олечка надрывным голосом пошутила, что «водка без "Белочки" доведет до белочки». Розовая девочка с готовностью захохотала, остальные кисло кивнули. Остроте про белочек тоже было уже лет десять.

Дальше начались традиционные на данном этапе споры, кто убил Родьку: спецслужбы или собутыльники? Всем, конечно, хотелось думать, что первые. Это почему-то повышало самооценку. Лишь Рюмин, держась в амплу сурового реалиста, периодически восклицал с затаенной надеждой:

— Нужны мы им! Бросьте! У них есть дела поважнее!

Юля знала каждую реплику еще до того, как кто-то ее произносил. Будто смотрела фильм «Ирония судьбы». Вот сейчас они сойдутся на том, что это сделали спецслужбы, но руками собутыльников, и решат выпить за Россию. А после Олечка запоем романс о юнкерах. И Рюмин будет плакать и каяться, что с ней развелся. И все-таки обязательно вернет про подгоревшую гречку. И Светик-Семицветик решит, что пора доставать заначку...

— Ну, рассуди же нас, Юлька! Ты тут самая рассудительная! Кто гениальнее: Рюмин или Селёдкин?

Этот вопрос по сценарию должен был возникнуть несколько позже. Видимо, Рюмин накатил, когда она плакала за стеллажами.

— Оставь ее. Она поклонница Гумилёва! — произнес Селёдкин с такой гадливостью, будто уличал Юлю в копрофагии.

— Но Гумилёв мертв! А мы — живые!

— Она любить умеет только мертвых! — Селёдкин торжествовал: редко ему удавалось так удачно блеснуть классиком.

— «Поплачь о нем, пока он живооооой», — заголосил Рюмин, бесцеремонно выдергивая у Олечки расстроенную гитару.

— Он живой, — тихо произнесла Юля. — Это вы мертвые.

— Обалдеть! — донеслось из-под розовой челки. — Анька не поверит!

Юля снова попыталась исчезнуть. Но печаль сделала ее рассеянной, и она выбрала неудачный момент. Светик как раз возвращалась к столу с новой бутылкой.

— Юлечка! Опять сбегаешь?

— Хочу проветриться.

— погоди. Селёдкин обидится. А он злопамятный. Уже все уши мне прожужжал, на тебя жалуясь. Чем-то ты его уязвила... Неужели у вас роман? Никак не могу поверить!

— Светлана Вениаминовна, это ваши фантазии. Дак фэнтези. Я легче заведу роман вон с тем тополем, чем с Селёдкиным.

— Так кто же он? Я его знаю?

— Все его знают.

— Ого!

— Девочки, можно мне с вами? — прошептала Олечка, возникая из полутьмы, словно призрак убитого мексиканца. — Видеть не могу эту самоуверенную рожу. И опять он со своей гречкой! Сто лет прошло!

Олечка всхлипнула.

— Я ему столько всего простила. И Алиску, и сикилявок этих из театралки... А он кашу подгоревшую простить не может!

— Где она сейчас, кстати? — перебила Света, зная, что Олечке нельзя углубляться в прошлое.

— Алиска-то? — зевнула Юля. — Я ж говорила. В Аргентине.

— Обалдеть! — вынырнула из-за стеллажей еще одна неустойчивая тень. — По правде? В Аргентине? А кто? И где здесь писают?

— По коридору налево.

— Иди на запах!

— Юлечка! Как можно! У нас учреждение культуры!

— Но запах-то об этом не знает!

— А кто в Аргентине? А зачем? А как туда попадают?

— Сестра моя Маша, она же Алиска. Замуж вышла. Искала в интернете, чтоб как можно дальше отсюда. Даже пять сыновей этого Педры ее не остановили. Очень уж хотела сбежать на край света.

— Пишет?

— Она не любит.

— Тебя?

— Письма. Ну, и меня, разумеется тоже.

— Юлечка, ну признайся все-таки, кто он! Я всю ночь голову ломала.

— Крепкая же у вас голова, Светлана Вениаминовна!

— Ну, Юлечка! Ну, сжался!

— Николай Степанович Гумилев.

— Ну, Юль, ну, серьезно!

— Да я правду говорю.

— А что ты удивляешься, Светик? Я это очень понимаю, — Олечка вдруг перестала лить слезы и мечтательно улыбнулась. — Я вот однажды влюбилась в декабриста Полонского, который был сюда к нам сослан, в имение родителей. Я о нем статью писала в «Северный вестник», дневник его в архиве читала. И письма к невесте, которая в Петербурге осталась. Ну, и в итоге за другого вышла, конечно... Я по нему

так тосковала, что Рюмин меня задушить пытался. Потом упаковку пудры себе в шею втерла, чтоб синяки замазать. А ты не веришь!

— Ну, девчонки! Вы просто чемпионы по безнадежности! Куда мне с моим Андрюшкой!

Андрюшкой звался известный киноактер, которого Светик пылко любила уже много лет подряд.

— Не, — живо отозвалась розовая девочка, переминаясь с ноги на ногу. — Абсолютная чемпионка — моя Анька. Она влюблена в персонажа нашего романа, которого сама же выдумала! Так сильно, что даже Алехина отшила. А он — самый красивый в классе.

— Так и мы их себе сами выдумали, деточка! И я своего декабриста, и Светик Андрюшку, и Юлечка — Гумилева. Мы же их никогда в жизни не видели!

— Обалдеть! Неужели я по правде с вами разговариваю! Анька не поверит! Скажет, что я все выдумала!

— И ты кого-нибудь выдумаешь со временем... — чуть слышно сказала Олечка настоящим трагическим голосом, совсем не похожим на то завывание, к которому все привыкли. — Здесь же совершенно некого любить!.. Ты не опишешься, деточка?

— Ой, спасибо! Я уже еле терплю! Вы такие клевые!

Когда последнее «обалдеть» затихло в другом конце коридора, Юля воскликнула:

— Слушайте, я тоже больше не могу терпеть! Весь вечер хочу заплакать! А вы мне постоянно мешаете!

— Не надо, Юлечка! — крикнула Светик, и из глаз ее, как по команде, хлынули черные слезы.

— Только после Вас, Светлана Вениаминовна! — засмеялась Юля, не мешая смеху переходить в рыдание.

— Девчо-ооонки! — торопливо припустила Олечка. — И я с вами-ииии...

Юля не заметила, кто из них первый сорвался на вой. Олечка сначала робко пощеничьи поскуливала, а потом вошла в голос, распрямилась, и с ее лица вдруг исчезло всегдашнее выражение бедной жертвы.

— Ты такая красивая, Оля! — выкрикнула Юля сквозь слезы.

— Ууууу! Распроклятая жизнь!!! — запрокинув голову, полупела, полуревела Олечка, и глаза ее горели счастьем.

— Как жаааалко всех! — хриплым пиратским басом стенала Света.

Три немолодые женщины были в темноте. Среди книг, которые в этом городе никто не читал. Слаженно так, в унисон, будто всю жизнь этим занимались. Они раскачивались из стороны в сторону, стукались о стеллажи, ловили друг друга, рычали и скалились, как волчицы.

Светик с размазанной тушью на щеках зубами пыталась содрать пробку с бутылки. Олечка, растрепанная, как ведьма, утиралась алым пончо. Юля судорожно прижимала к груди «Реформы Александра Второго». Зеленый тополь смотрел на них сквозь метель. И ничему не удивлялся.

— Что-то девочка долго не возвращается. Может, уснула? Или заблудилась? — первой, как положено, пришла в себя начальница.

— Пусть поспит. Там сейчас будет мордобой. Слышите, уже «Черного ворона» горланят, — ухмыльнулась Юля.

— Пора вызывать такси, — вздохнула Олечка.

Из подсобки раздался звон разбитого стекла.

— Окно? — забеспокоилась Светик.

— Бутылка, — со знанием дела определила Олечка. — Рюмин «розочку» сделал.

— Бежать спасать? — лениво потянулась Юля.

И они снова расхохотались.

Михаил Флоря

Долгозвучным голосом

* * *

я рванул балконную фрамугу
и нагретым лезвием дорог
комнату разрезал ветер юга,
и машины голос в вазу лёг.

так во лжи случайных впечатлений,
точкой на осях координат
я висел, выживая зреньем
вечный шум, рачительный распад.

подсказать могла бы: «... в водах Иордана...»
рыбиной плеснулось солнце по ковру,
я в сетях теней, повсюду званный
никуда, но всё же я живу.

подожди, ты мне сказать хотела...
впрочем, впрочем, всё слова, слова...
гнётом тянет не ко дну, а к телу
прошлому, где запах и молва.

небо пахло спелым абрикосом,
сок лучей присох бы к нёбу — не глотай!
разве узкие задумчивые грозы
прошлой ночью были невзначай?

грозы, осы, повторять и злиться,
злиться, слиться, впрочем, всё равно...
вкус рассерженной, но сдержанной корицы,
булочной раскрытое окно.

Михаил Флоря — поэт, автор нескольких книг стихов. Окончил филфак Кишиневского университета. В 1990-е годы был инициатором литературного движения «Axul Z» («Ось Z»), объединившего поэтов «новой волны», выпускал одноименный альманах и основал издательство под таким же названием. В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Кишиневе.

или пуст мой день, тот коробочек
спичечный, на нём моя рука...
не чернила, не слова, а почерк
неразборчивый, с наклоном в никуда.

долго жить, что торговать одежды,
лгать долгозвучным голосом, впритык
Адаму, трогавшему прежде
неназванный, негнувшийся язык.

* * *

надо бы всё переосмыслить...
встать запросто на белый табурет
и думать, думать как нельзя всем вместе,
под солнце вставши, гордо умереть.
лишь зверю чёткое движение под силу.
нам суета, нам тлен, нам треск секунд,
но тащим мы зверей в свою могилу
и в мёртвой темноте глаза зверей текут

* * *

...о, боги, боги... вам лишь только снится
меня ещё в живые целовать глаза,
когда стекает дождь по черепице,
присутствие как солнца стрекоза
мелькает в сумерках, исчезнув, возникая...
и тень моя, и пустота без края,
и вечно мои прошлые глаза...

* * *

он повторял: «членистоногих дней...»
и не мог закончить фразы.
пекли блины, зима, как белый кот,
принюхиваясь со двора, лежала.

ударившись о льдинки, рассмеялось солнце,
и смех рассыпался и засверкал по стеклам,
и, зубоскаля, зеркала мелькнули
во встроенных шкафах, мелькнули и пропали.

он повторял: «членистоногих дней
повадки...», но мысли разбегались,
плавно, с дерева на дерево белки,
и с веток осыпался легкий снег.

а в сладких родниках мальки мороза,
упрямо рассекая воду, плыли
и тростники сухие не сдержали
корнями, сдавленными смертью и печалью.

* * *

есть в городе такая тишина как скошенный изношенный каблук,
когда от слова, сказанного вслух, —
в какие стороны? — дремотный пух

нагретой вечности. все было и пройдет,
и будет вновь спокоен мягкий рот,
усмешку пряча, как же прав Сократ!

* * *

как обратиться мне сегодня к небу, на ты или на вы?
казалось, тот же свет и те же расстояния между домами,
и те же книги прижатыми листами перетирают шрифт невинный,
но полный черноты черновиков, из книг свисают тени текстов, очками
зеркала направленные вне трёх измерений.
казалось, вдоль линии окон балконы цифр
покоятся, или зачем разбитые колени
улицы намазаны зелёнкой светофора? лифт
времени в подъезде стальными рёбрами
толкает придуманное архитектором пространство,
и томятся чертежи в архивах, и разобрана аркада
цивилизации на ноль и единицу, и новый Данте
девять кругов пишет в архикаде.

Василий Авченко

Цилиндрическая свекла

Рассказ

Швейной фабрики «Заря» давно нет в природе, но этот район Владивостока так и зовут: Фабриказаря.

Здесь, на выезде из города, дежурит душевная компания гаишников, продавцов червей и проституток.

Из-за стекол светлой «гтеміо» мне машут руками. Это мои коллеги — Марина и Денис. Сажусь к ним в машину.

Едем за город. Будем строить из себя журналистов, проникшихся бедами «глубинки».

— Сегодня для тебя ничего интересного нет, — зевает с заднего сиденья Марина. — Ни заводов, ни пароходов.

— А что есть?

— Бабки есть. Инвалиды есть.

— Сейчас надо говорить не «инвалиды», а «люди с ограниченными возможностями».

— А мы — с неограниченными, что ли?

Мы пишем тексты различной степени отвратительности для человека категории «вип». Он снова собрался за чем-то в депутаты, и ему нужны мы. Может, не очень и нужны, но так положено. Не нами придуманы эти ритуалы.

Неохота этим заниматься, но за это платят.

Райцентр с красивым названием «Вольно-Надеждинское», в народе — «Надеждинск» или «Надѣга». К последнему варианту просится приставка «Без-».

Лозунг в школе: «Книга — книгой, а мозгами двигай!» Музей: позвонки кита, гигантская раковина «тридакна», еще какая-то тварь по имени «Мечехвост».

— Не одно поколение... Со всего района... Коллектив очень сильный... — рассказывает директорша.

— Детей снимите, — подсказывает Марина.

— Стоп, — тихо говорю я. — Использовать фотографии детей в агитации нельзя.

Авченко Василий Олегович — прозаик и журналист, родился в 1980 году в Иркутской области. Окончил журфак Дальневосточного государственного университета, работал в местных изданиях, обозреватель «Новой газеты» во Владивостоке. Автор документального романа «Правый руль» (Ad Marginem, 2009). Живет во Владивостоке. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Расслабься. У нас не агитация, а честная газета.

Честные газеты появляются накануне выборов и потом честно исчезают.

Поселочек или, скорее, хутор по имени «Казарма 25-й километр». Фермер поднимает с земли змеиную шкурку:

— Полозы покоя не дают. В сарае застукал одного — яйца воровал!

— И как боретесь?

— Берем за хвост и относим подальше — это же природа. А вот зимой было нашествие колонков...

Марина, мило улыбаясь, уводит беседу от колонков:

— Депутат-то наш помогает?

— По мне — лишь бы не мешали!

Покупаем у фермера домашних яиц, едем дальше.

Дорогой разбираем яйца. Десятка не хватает. Марина хочет вернуться, я против: подумаешь — десяток яиц...

— Все твоя интеллигентность! — сердится Марина. — Он же специально положил меньше!

Домой едем через Шамору — там можно окунуться в море. Стоит волшебный приморский сентябрь.

Пишу депутатский отчет: обложился папками, набитыми бумагами различной степени сумбурности, и обогащаю пеструю словесную руду.

«Наш депутат» выписал инвалидам районную газету.

Свозил оставшихся ветеранов в соседний китайский городок, откуда в 1945-м русские выбили японцев.

Помог кэндоистам (кто это, кстати?).

Отстоял «койку-стационар».

Пресек разбивание дороги танками.

Остановил стройку торгового центра у памятника Карлу Либкнехту (даже не знал, что у нас такой есть).

Приобрел для пенсионеров семена: свекла «Цилиндрическая», редька «Ночная красавица»...

Красавица ты моя ночная. Свекла ты моя цилиндрическая.

Шахтерский город носит имя красного героя — «товарища Артёма». Шахт давно нет, зато остался Дворец культуры угольщиков, в котором наш депутат проводит встречу с народом. Титанические люстры, колонны, лепнина... Под гербом СССР — цитата из Д.А.Медведева: «Партия должна жить, она должна быть энергичной».

Избиратели вносят предложения:

— При нарушении российской границы надо стрелять на поражение без предупреждения!

Или:

— Можно ли возродить Артёмовский фарфоровый завод?

— А в чем его проблема? — интересуется депутат.

— В том, что его давно нет...

Меня считают профессионалом, поскольку я пишу быстро.

Быстро я пишу потому, что ненавижу эти тексты. Они выходят из меня мучительно, как рвотные массы, но зато приносят деньги.

Главное — не вкладывать душу, денег за душу все равно не прибавят. Душу лучше сберечь для других текстов — искренних, тщательных, умных... Если ты когда-нибудь соберешься их написать.

Пылевой туман, колкий «скальник» под колесами, раздраженная сигналищая пробка.

— А тут только внагляк можно лезть. Иначе так и будем стоять, — объясняет наш водитель свои маневры.

На обочине ковыряется пестрый фазан, рядом гниет кузов «тойоты-корсы». Расстрелянные дорожные знаки, заходящий на посадку истребитель, огненно-красно-желтая маньчжурская осень.

Женщина, знаменитая тем, что 45 лет назад взяла автограф у Кобзона. В прошлом году снова попала на его концерт и опять взяла автограф — в ту же книжечку. Кобзон растрогался.

Улица им. Н.Э. Берзарина — он тут служил, воевал на Хасане. В 1945-м стал комендантом Берлина и вскоре погиб в ДТП. В 1975-м ему присвоили звание почетного берлинца, в 1992-м — отобрали. Удивительно, но в 2003-м берлинский сенат вернул ему это звание...

Были же люди. Не какие-нибудь цилиндрические корнеплоды.

Мне стыдно называть людям свое имя, показывать лицо. Очередное село я покидаю с надеждой никогда туда не вернуться. Хочется вымыться дегтярным мылом, сбросить кожу, как это делают фермерские полозы, содрать лицо — пусть оно сползет, сменится другим...

«Жизнь состоит из компромиссов».

«Это просто работа, не принимай близко к сердцу».

«Другие еще не тем занимаются — и ничего».

Может, они не ведают, что творят. А я-то — ведаю.

— Меня надо... отлучить от пера, что ли, — говорю я.

Денис слабо улыбается. У него — ребенок. И у меня — ребенок. У детей хороший аппетит. Да и у нас тоже.

Городок авиагарнизона. Открытые, простодушные люди. Чем крупнее город, тем его обитатели щетинистее, наждачней, циничней... Как мы. А вот столичным пиар-бригадам, бывающим во Владивостоке, уже мы кажемся наивными. Эти гастарбайтеры удивляются: почему я «до сих пор» не покинул свою провинцию у моря?

Бетонный забор с ромбиками дизайна архитектора Б.Лахмана — такие есть в каждом городе бывшего Союза. На заборе — повторяющаяся трафаретная реклама: «Коррекция электронных спидометров» (написать в лоб «скручивание» не поднялась рука). В каждом слове «спидометр» буквы «с» и «мет» кем-то аккуратно вымараны.

Раздольное. Улица Лазо, считающаяся самой длинной сельской улицей в мире. Музей: вода озера Хасан, каска, штык.

В Городечном — бабушка, хорошо за 80, удивительно живая, в цветном платочке. Показывает ордена Ленина и Октябрьской революции — она была образцовым бригадиром животноводов. В 1981 году участвовала в съезде КПСС. Помнит выступление Кастро: «Бодро говорил!» А Брежнев был уже плох, «еле стоял».

Журналистика не нужна рынку. Все, что не нужно рынку, умирает. Китообразным трупом журналистики питается русский пиар, бессмысленный и беспощадный.

Журналистов теперь зовут «смишниками» — от «СМИ». «Журналистика» предполагает некую миссию, — а у «смишника» никакой высокой миссии быть не может.

Работа должна приносить пользу, интерес, деньги... Хотя бы что-то одно. Теперь не осталось ничего. Держаться больше не за что, да и незачем.

Можно было после школы пойти в офицерское училище, или на восточный, или в океанологи... Я почему-то захотел на журфак.

Моя журналистика умерла, а я еще нет.

Теперь я тоже не нужен рынку, но хочу жить.

Смешно сказать — многие считают меня «успешным».

Тавричанка, еще один угольный поселок без угля. Шахтер на пенсии пишет статьи по орнитологии. В детстве он пережил на Донбассе фашистскую оккупацию и поэтому знает, кора каких деревьев съедобна.

Скоро я все брошу, и это знание станет для меня актуальным.

У клуба — Ленин на зеленоватом замшелом постаменте. Рядом репетируют дети — поют на мотив из фильма «Москва слезам не верит»: «Тавричанка, Тавричанка...».

Внутри клуба вывешены во всю стену стихи:

Он поёт, танцует, шьёт,
Роли учит, пол он трёт,
Жизнь культуре посвятив,
Наш рабочий коллектив.

На деревянном подоконнике выцарапано: «Е... хочу!».

Стенд «Тавричанка от эпохи первобытно-общинных отношений до Великой Октябрьской социалистической революции».

Снова стихи:

Тавричанка, Тавричанка — уголок родной,
Тавричанка, Тавричанка, ты всегда со мной!

Едем на юг. Сегодня у нас новый водитель на джипе «теггано». Рассказывает: занимался «логистическим бизнесом», но «подвергся рейдерскому захвату»...

— Вот поднимусь — «терранчик» оставлю для охоты, а для города возьму что-нибудь посвежее.

На трассе, похоже, только что сбили кого-то: «скорая помощь», милицейский «УАЗ», кепка и тросточка на асфальте.

В Славянке — дед. Громил самураев, остался в Приморье. Беседую с ним в парке на скамейке и вижу: он не просто из другого времени — из другой истории. Где были настоящие страсти, дела, трагизм, величие...

А ведь между нами — всего-то два поколения. Он — 1927 года, мои родные покойные деды даже старше.

Указатель по дороге в Краскино: «КНР — 29 км».

Эрудитам на заметку: в Краскино родился полковник Квачков, которого обвиняли в покушении на Чубайса.

В кабинете юриста — икебана, Библия, герб РФ. На денежном китайском деревце растут сиреневый советский «четвертак», юань, доллар и киргизская купюра.

В магазине — счета. Настоящие, деревянные.

Доска на школе: выпускник 1965 года рождения погиб в 1984 году в Афганистане. У школы гуляют коровы.

Славянка. Ужинаем в кафе. Рядом настраивают караоке. Звучат первые аккорды «Владивостока-2000».

— Они будут «Мумий Тролль» петь? — изумлен Денис.

— Они будут петь вот это: «Лишь для тебя — рассветы и туманы...» — предполагаю я.

Играет музыка. Откуда-то выскакивает толпа веселых тетешек средних лет. Они пляшут и поют: «Лишь для тебя — рассветы и туманы...»

С утра — какая-то встреча в Посьете. На обратном пути нас ловят пограничники в штатском и задают глупые вопросы: зачем пробрались на территорию гарнизона? что снимали? о чем спрашивали?

Гарнизона-то мы и не заметили.

Едем в Зарубино. Решаем, кому братья за инвалидов.

— Мы скоро сами инвалидами станем. Ума, — говорю я.

— Думаешь, еще не стали? — парирует Денис.

Думаю о том, что чувствует цилиндрическая свекла, окрашивая собой борщ. Это миг ужаса — или торжества? Если уж такая выпала роль — «кушать подано»...

Барабаш (а здесь родился тот самый Резун, который Суворов). В поселке стояла дивизия, ее сначала ужали до бригады, потом вывели. Уходящая армия напоследок разоряет гарнизон. Срезают железные ворота с боксов, вырывают трубы... Перелезаю через забор, захожу в разоренное строение без окон и дверей. Здесь был клуб или библиотека — усыпанный пылью и битым стеклом пол выставлен рваными книгами.

Гарнизоны без военных, шахты без шахтеров. Мой городской офис расположен в цеху почившего Дальзавода. В фабрике «Заря» поселились хипстеры. Шахтеры нового времени — это мы, выдающие на-гора стахановские объемы текстов без смысла. Саранча с высшим образованием, не желающая работать руками.

Рыбоводный завод. Берег речки, дощатый настил, в загоне торпедообразно ходит кета.

— Мы вас угостим? — говорит русский кореец с украинской фамилией.

— Спасибо, не надо. Как мы повезем эту рыбу? — сопротивляется Марина.

— Нормально повезем! — во мне просыпаются животные инстинкты. Они всегда просыпаются, когда я вижу рыбу.

Мужики извлекают из воды несколько рыбин, глушат их дубинками, кладут в мешок. С мешка капает вода, смешанная с кровью и слизью. Водитель морщится. Перекладываем успокоившихся кетин в плотные пакеты. На землю сыплются оранжевые бусинки икры.

Нас могут остановить на посту у Занаворотки и наказать, но останавливать нас некому. Вдоль дороги там и тут сидят хмурые пареньки с пластиковыми контейнерами, просвечивающими оранжевым.

У главы еще какого-то поселка.

— Что у вас хорошего?

— А ничего. Мост смыло, — говорит глава. Ему нехорошо. Накануне у него был день рождения. — Ну, еще магазин у нас открылся...

Звонит хозяину магазина:

— Приходи быстро, только с коньяком!

С черным пакетом входит небритый седой парень лет 50: тапки, шорты, цветастая рубаха.

— Вы извините — третий день бухаю за открытие магазина. И завтра еще буду. А потом — все, в завязке!

Выпиваем, едем дальше. По дороге покупаем мед.

— Сушеный трепанг не нужен? — спрашивает продавец.

По ограде, изготовленной из дырчатых металлических аэродромных пластин, ползет лимонниковая лиана.

Раздольное. Тут когда-то служил Будённый.

— От тех казарм — одни руины, — говорят мне бодрые военные-отставники.

От их казарм — тоже руины.

На окне у вояк — монструозный кактус. Мне вдруг кажется, что в горшке вообще нет земли. Он весь набит зеленым кактусовым тестом, и это тесто лезет наружу.

Какое-то предприятие. С коллективом встречаются наш депутат и хоккеист Фетисов, почему-то представляющий Приморье в Совете Федерации. Неужели и он подпишет бумагу, что не против своего участия в нашей агитации?

— Никуда не денется! — уверенно говорит Марина.

Люди тянут Фетисову блокноты и календарики для автографов. Тот привычно расписывается. Марина подсовывает нашу бумагу. Он подписывает и ее.

Мы разговариваем с выпускницей-медалисткой.

С русскими корейцами, выкупившими убыточную ферму у корейских корейцев и превратившими ее в неубыточную.

С бабушкой, которая в войну делала на заводе мины.

С водолазом, ищущим подводные клады.

С клюючглазым хищноулыбчивым спортсменом на джипе «секвойя» — бывшим бандитом, ныне районным депутатом. На шее — карикатурной толщины желтая цепь. Таких уже лет 10 не носят. Ему, наверное, об этом не сообщили.

Какая-то знаменитая школа, директрису которой мы в прошлый раз не застали. Говорили — пьет. Похоже, так и есть: входя в директорский кабинет, замечаю на столе пиво. Пока мы снимаем куртки, пиво исчезает.

В шкафу у директрисы — большой глобус.

— Это глобус-бар, — объясняет мне Денис. — Нажмешь на Копенгаген — нальется сто грамм.

Силикатнокирпичные руины. Деревянный дом 1938 года рождения с печным отоплением и пластиковыми окнами.

Золотозубый инженер на микроавтобусе «serena».

Детдомовские нимфетки таращат на нас большие глаза.

Накрашенные нарядные старушки танцуют и поют.

Магазин «Берёзка» — им владеет ИП Берёзко.

Граффити: «Я тебя люблю. Дай последний шанс!»

Хочется нажать на Копенгаген.

Наконец выдвигаемся домой. Смотрю на небо. Сквозь прорехи в тучах рушатся вниз снопы острых ярких холодных лучей; красиво и тревожно.

— Ты же машину собирался брать? Бери «Nissan AD», — говорю я Денису. — Зачетный овощевоз. И стоит копейки.

— Моя жизнь и так — ад.

Тормозим возле рынка. У входа — китайка Аня. Она подшивает брюки и ремонтирует «молнии». На заборе — огромные буквы: «Ивашов — последний шанс русских!»

Беру грибы-липовки, бруснику, копченого терпуга.

Скоро «Заря» — фабрика без рабочих, школьную форму производства которой я когда-то носил.

Скоро я буду дома. Скоро кончится год и победит наш кандидат.

Или не победит. Мне все равно. Я закрываю глаза, и голова моя превращается в красивую цилиндрическую свеклу.

Лиана Шахвердян

Белое платье

Рассказ

У могилы, опустив голову, неподвижно стоял рослый мужчина. Казалось, он не видит ничего вокруг. Я тоже остановилась, вдруг заметив на его запястье тюремную наколку, и поняла, что это он.

— Дмитрий? — негромко окликнула я.

Он посмотрел в мою сторону и кивнул.

— Да, — вздохнул и добавил: — хожу сюда.

Вся та давняя история вновь встала передо мной.

— Зачем, зачем ты это сделал?..

Он отвернулся.

Выпускной бал 11-го «Б» намечался на конец июня, немного позднее обычного: классная руководительница Елена Викторовна оказалась в больнице из-за обострения язвы желудка. В последний месяц ее заменяла учительница русского языка Виктория Сергеевна, но ребята не представляли праздника без своей классной. Ведь именно она нянчилась с ними с 9-го по 11-й классы, что особенно ценили мальчишки, которых она вызволяла из кабинета директора после разборок, в которых участвовали «кавказцы» и «военные».

«Кавказцы» — мальчишки с нашего двора: Самвел, Гарик, Вахтанг и другие. Это не национальная группировка, а озорные ребята, противопоставлявшие себя правильным — дисциплинированным, некурящим и послушным — «военным», всегда имевшим четкие цели и задачи. Поводы для разборок были пустяковыми: не так посмотрел, не то сказал. Дрались до крови из носов, разорванных рубашек, фингалов под глазами. В запале разбивали стекла, ломали стулья и парты. Неизменные вызовы в кабинет директора не служили холодным душем для горячих «кавказцев». Ведь им хотелось покрасоваться перед девочками, и никакие уговоры, родительские собрания, даже угрозы не могли исправить школьную жизнь в выпускном классе.

Директор школы Нуну Аваковна, до назначения на эту должность работавшая в детской комнате милиции, рычагов воздействия не нашла. *«Вам навечно грозит решетка!»* — пророчествовала она Самвелу и Гарику, сломавшим дверь в кабинет химии. Боясь не угодить директрисе, почти все педагоги проголосовали за контроль милиции над трудными подростками. И лишь немногие вслух сочувствовали хулиганам: классная руководительница, учитель физики Юрий Николаевич и физрук — тоже Юрий Николаевич. Два Юрия и держали за них оборону. *«Это просто мальчишки! Самые обыкновенные... а нормальные мальчишки должны драться! Бить стекла! Дайте им перебеситься. Это же переходной возраст!.. Такие ребята в войну держали оборону,*

Лиана Шахвердян родилась в Тбилиси. Закончила Тбилисский государственный университет. Преподавала в Москве и Тбилиси. Автор книги «Многоточие...» (Ереван, 2015). Живет в Ереване. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

защищали страну! Победу одержали! Вот вы знаете, что такое война?.. Нет? А я — знаю! Я — воевал, и со мною в окопах были вот такие мальчишки!» — неизменно на каждом педсовете указывал на «кавказцев» учитель физики. Женскому же большинству после проверок всех тетрадей, журналов и подготовки к предстоящим экзаменам было уже не до тонкостей мальчишеского переходного возраста. Важнее всего, по их мнению, было предупредить саму возможность любого ЧП.

Девочки, на фоне яркого весеннего цветения, тоже стремительно менялись. Особенно самые «продвинутые» ученицы, которые щипали брови, подкрашивали глаза, делали начес (как у певицы Сандры или манекенщиц из журналов моды) и носили короткие юбки.

Но выделялись в классе двое: Лиза Светлова и Дима Ветров. Лизу ребята называли Ангелом. Она училась на «отлично», была лучшей по многим предметам, и во время контрольных все обращались именно к ней: «Ангел, дай списать!», «Ангел, формулы!», «Ангел, выручи! Второе задание!» И она успевала всем подсказать. Голубоглазая, светлокожая, с длинными русыми, то распущенными, то собранными в хвостики, волосами... Хрупкая, нежная, добрая... На уроки она приходила в обыкновенной школьной форме с белым фартуком. На левой руке неизменная повязка с красным крестом — санитарка класса. Когда мальчишки доигрывались до крови, она делала им перевязки и обрабатывала раны спасительным йодом.

А вот Дима Ветров был ее полной противоположностью: высокий, сутулый, неопрятный и вечно взъерошенный. Почти по всем предметам он учился «удовлетворительно», и только анатомию знал на «отлично». Он был из неблагополучной семьи, без отца. Видимо, тот бросил их с младшим братом совсем маленькими детьми, и они остались с матерью, днем и ночью работавшей на заводе. В классе с ним никто не общался: девочки его не любили, мальчишки — не понимали. Но на уроках он всегда сидел тихо, учителям не мешал (может быть, за это ему и ставили тройки), в драках не участвовал, в кабинет директора — не вызывали. И кличка у него была — «Тихоня»...

Ближе к семи вечера в актовом зале стали собираться на выпускной бал учителя, родители, администрация школы. Все в сборе и в прекрасном расположении духа. Вступительные речи, напутствия, пожелания... Девочки продефилировали в новых нарядах. Подтянутые мальчишки в непривычных одинаковых костюмах и галстуках на редкость галантны. Подстриженными и аккуратно побритыми вступали в новую жизнь.

Потом началось застолье с тостами и танцами. Лиза в скромном нежно-голубом платьице под цвет ее глаз весь вечер держалась как-то отстраненно. Она пришла без родителей: мама оставалась дома с приболевшим младшим братиком, отец еще не вернулся из командировки. И домой она ушла пораньше...

Как все произошло?.. Когда эта страшная идея закралась ему в голову?..

Где именно он ее поджидал? Глубоко в сумраке подъезда или сразу за дверью?..

Все эти вопросы долго сверлили мне мозг.

Как она умирала?.. Наверное — тихо. Молча, пытаясь уцепиться за обшарпанные стены грязного подъезда, медленно соскальзывая и угасая в полном непонимании... Беспомощность отчаяния... Отчаянная беспомощность... Силы предательски покидают... Резко наваливается сон....

Спать! Спать...

Что чувствовал он? Наверно — удовлетворение...

Рослому и сильному Ветрову ничего не стоило силой овладеть красавицей Лизой.

Первое объятие... Первый поцелуй...

Отлично помня уроки анатомии, он, не целясь, попал в сонную артерию.

Потом он бросит ее на месте преступления и пойдет домой — спать...

Под утро кто-то из одноклассников, возвращаясь с праздника, наткнется на еще теплое тело. Поднимет крик. Разбудит соседей.

Приедет милиция и перехватывает мальчишек, кого — где. Начнутся допросы, запугивания. Потом примутся за девочек. Все в полном замешательстве станут давать

сбивчивые ответы. И только последняя из вызванных на допрос девочек вспомнит, что Ветров тоже ушел пораньше. Так выйдут на него, оставшегося вне поля зрения. На Тихоню...

Он в это время будет спать. Провалится в сон, чтобы стереть из памяти этот тягучий вязкий день, который подарил ему несколько минут «общения» с ней... Утром, когда милиция все-таки достучится, дверь откроит полусонная мать, не знавшая о возвращении сына, не заходившая к нему в комнату и не видевшая окровавленной одежды...

Его придется долго будить: поливать холодной водой, дергать за плечи, бить по щекам. Когда же, наконец, он проснется, то спокойно, ничего не отрицая, сознается, что был с Лизой. Его ополоумевшая мать, не веря в происходящее, начнет громко кричать на оговаривающих ее сына людей.

Других мальчишек освободят под утро. Их детские лица омрачатся. Спасительным окажется только сон...

Тело Лизы подвергнут судмедэкспертизе, а через двое суток привезут домой. Вечером того же дня она будет лежать в черном гробу одетая в белое платье, а белая фата будет окаймлять ее полудетское лицо, скрывая рану на шее. И «кавказцы», и «военные» вместе будут нести вахту у подъезда ее дома, а девочки, облаченные в траурные одеяния, как взрослые, — сидеть на панихиде...

Диссонанс смерти и такого платья в жаркий душный день, когда улица забита людьми в черном вокруг гроба с телом семнадцатилетней девочки, был разительным. Но таково было желание ее матери, Ольги Сергеевны.

День похорон пройдет быстро: ее пронесут через всю улицу, уложат в темную машину, увезут на кладбище. Провожать пойдут все. Когда гроб опустят в землю, раздастся громкий стук камней и земли о крышку. Многие унесут этот звук с собой как тяжелый отпечаток этого дня...

Но время лечит. Через десять дней у многих начнутся вступительные экзамены. Спасительные... Большинство разедутся кто куда, по разным уголкам тогда еще большой страны, и всего несколько человек останутся в городе. А спустя полгода начнутся другие потрясения: война, распад СССР... Многие одноклассники навсегда потеряют друг друга из виду.

Оставшиеся «кавказцы» будут редко собираться у могилы Лизы — слишком тяжелы воспоминания. А единственным человеком, кроме ее матери, который будет неизменно приходить к ней раз в год, станет Дмитрий... Ему повезет: на момент совершения преступления он не достиг совершеннолетия и спустя восемь лет его выпустят согласно приговору.

Многие избегали Ветрова, хотя после тюрьмы он вел прилежный образ жизни, стал опрятен в одежде и вежлив в общении, но холод ужаса все равно пробирал многих. А на лице Дмитрия проступили осмысленные черты, словно ушла печать тени, с которой он родился, и только руки, «разукрашенные» наколками, подчеркивающими природную грубость, разительно бросались в глаза.

Я думала, он так и не ответит на этот единственный вопрос: *«Зачем ты это сделал?..»*

Однако он произнес тихо, но отчетливо: *«Мало понимал про себя...»*

И каждый раз, когда в памяти всплывает эта история, самым ярким моментом остается последний день проводов Лизы в белом платье невесты. Не школьная форма, не другое платье... Платье невесты.

Спустя годы контраст жизни и смерти, вечно идущих бок о бок, белая символика того дня обретут для меня больший смысл: возможно, именно в этом наряде, в отчаянном послы небесам, материнское сердце нашло хоть какое-то утешение. И, может быть, акт жертвоприношения, который учинил Ветров, навсегда соединит его со светом Лизы... Ему же оставалось лишь идти по жизни за ней как за невестой. Его собственной или Божьей?..

«Пабудзі мяне рана-раненька...»

Студия сравнительного перевода

Наследуя многолетним традициям перевода журнала «Дружба народов», хотелось бы возродить студию сравнительного перевода одного стихотворения, у истоков которой стоял известный литературный критик Лев Аннинский (см. ДН 1978, № 5 — сонет Максима Рыльского; 1983, № 6 — стихотворение Расула Гамзатова; 1985, № 5 — Максима Танка и др.).

Для публикации выбрано стихотворение Михася Стрельцова (1917—1987), белорусского поэта из поколения «оттепели», названного в Белоруссии «филологическим». После своей внезапной смерти он стал на родине культовой фигурой. Его поэзия и сегодня очень востребована в Беларуси, где большой популярностью пользуется ежегодный Стрельцов-фест. Однако имя поэта, вокруг которого сложилась целая мифология: светлая личность, одинокий гений, падший богоизбранник — мало что говорит современному небелорусскому читателю, поэтому переводы на русский и украинский языки стихотворения Михася Стрельцова, сделанные по просьбе «ДН» поэтами Беларуси, России и Украины, кажутся особенно актуальными.

Михась Стрельцов (1937—1987)

* * *

Пабудзі мяне рана-раненька,
Прыбяры мяне ты старанненька.
З дому выйду я — паўзіраюся,
З наваколейкам развітаюся.
Не туды пайду, дзе хвашчак расце,
А туды пайду, дзе чабор цвіце.
Шумам-яварам, цвет-калінаю
Мне дарожанька сакаліная.
Стрэчу шчасцейка — не клянi мяне.
Стрэчу горайка — не заві мяне.
Бо жылі з табой мы ў кляцье-журбе,
Мне дарожанька — адпачын табе.

* * *

Разбуди меня рано-раненько,
Наряди меня ты старательненько.
Из дому выйду я — повсматриваюсь,
С окрестностями попрощаюсь.
Не туда пойду, где хвоиц растёт,
А туда пойду, где чебрец цветёт.
Шумом-явором, цвет-калиною
Мне дороженька соколиная.
Встречу счастейко — не кляни меня.
Встречу горюшко — не зови меня.
Потому что жили с тобой мы в проклятье-печали.
Мне дороженька — отдых тебе.

(подстрочный перевод)

Инга Кузнецова (Россия)

* * *

Разбуди меня рано-раненько,
Собери меня в путь как странника.
Напоследок я оглянусь окрест —
Бог не выдаст, да и свинья не съест.
Не туда пойду, где хвощи растут,
А туда пойду, где цветы цветут.
В шуме кленов я, в огне калины я.
Свет-дорога мне соколиная.
Встречу счастье я — не кляни меня,
Встречу горе я — не зови меня.
Наша жизнь была колготой-тоской.
Нынче мне — поход, а тебе — покой.

Мария Маркова (Россия)

* * *

Разбуди меня спозараночку,
Наряди меня со стараньицем.
Выйду из дому — осмотреться я,
Попрощаюсь, да со сторонкою.
Не туда пойду, где повыврос хвощ,
А туда пойду, где чабрец в цвету.
Шумом-явором, цвет-калиной
Мне дороженька соколиная.
Встречу счастьяце — не кляни меня.
Гореваньице — не зови меня.
Ведь с тобою мы жили в жалости.
Мне дороженька — угомон тебе.

Татьяна Светашёва (Беларусь)

* * *

Разбуди меня рано-раненько,
Приодень меня аккуратненько,
Выйду из дому я в последний раз —
Осмотрюсь кругом, сколько хватит глаз.
Не туда пойду, где хвошак растёт,
А туда пойду, где чебрец цветёт.
Шумом-явором, цвет-калиною
Мне дороженька соколиная.
Встречу счастьюшко — не кляни меня.
Встречу горюшко — не зови меня.
Ведь в силке-тоске жили мы с тобой.
Мне дороженька — тебе покой.

Ольга Злотникова (Беларусь)

* * *

Разбуди мя раным-раненько,
Приодень мя акуратненько.
Выйду из дому — осматрюсь кругом,
Распрошаюсь с местом, где отчий дом.
Не туда пойду я, где хвощ растёт,
А туда пойду, где чабрец цветет.
Шумом-явором, цвет-калиною
Мне дороженька соколиная.
Встречу счасцюшко — не кляни мя.
Встречу горюшко — не зови мя.
Наша жизнь была — грусть-проклятие,
Мне — в дороженьку, отдыхать — тебе.

Наталья Бельченко (Украина)

* * *

Разбуди мя до зари
И как надо в путь собери.
Выйду из дому — осматрюсь,
Всей околице поклонюсь.
Не туда пойду, где бур'ян растет,
А туда пойду, где чабрец цветет.
Шумом-явором, цвет-калиною
Мне дороженька соколиная.
Встречу счасцьице — не кляни мя,
Встречу горюшко — не зови мя.
Ведь в тоске-вражде проводили дни.
В путь-дорогу — я, ты же — отдохни.

* * *

Розбуди мене вранці-рано,
Споряди мене в путь старанно.
Шлях мій — з дому до виднокраю,
Всю околицю привітаю.
Не туди піду, де бур'ян росте,
А туди піду, де чебрець цвіте.
Шумом-явором, цвіт-калиною
Йтиму стежкою соколиною.
Стріну щастячко — не кляни мене,
Бідуватиму — ти не клич мене.
Бо жили з тобою в клятьбі-журбі,
Тож мені — похід, супокій — тобі.

Аркадий Штыпель (Россия)

* * *

Обуди мене рано-ранесенько
Убери мене гарно-гарнесенько.
Вийду з дому — ген поозираюся,
Із довкіллям усім попрощаюся.
Не туди піду, де хвощай росте,
А туди піду, де чебрець цвіте.
Шумом-явором, квіт-калиною
Рушу стежкою соколиною.
Стріну щастячко — не кляни мене.
Стріну горечко — не зови мене.
Бо жилося нам у клятьбі-журбі,
Довгий шлях мені, відпочин тобі.

Анатолий Гаврилов, Павел Елохин

Записки фрилансера

Повесть

Наташа Cassucini Bouci из Булонь-Бийанкур.

Капли для глаз «Оксиал».

Лающий кашель.

АЦЦ.

Сухость кожи, глаз, мозга, речи.

Электризация.

Носить х/б.

Штатет.

Подозрение на внутричерепное давление.

Следствие черепно-мозговой травмы.

Вариант развития Виллизиева круга.

— Капуста очень хорошая.

— Старая или новая?

— Да что старая, что новая; мы их объединим, да и все.

Возможна ли аллергия на вино?

Возможна.

Дрожжи, пыльца, плесень, диоксид серы, пестициды.

Снабжение мозга кислородом.

Разброд и шатание.

Сестр посередине дивана.

Некоторое время сидеть.

Потом лечь.

Гаврилов Анатолий Николаевич родился в 1946 году в Мариуполе. Работал на заводах и фабриках. Заочно закончил Литературный институт им.А.М.Горького. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Волга», «Енисей» и др. Автор книг: «Старуха и дурачок», «В преддверии новой жизни», «К приезду Н.», «Весь Гаврилов», «Берлинская флейта», «Вопль впередсмотрящего». Переведен на многие европейские и китайский языки. Лауреат премий Андрея Белого и А.П.Чехова. Живет во Владимире.

Елохин Павел Владимирович родился в 1958 году в Челябинске. Учился в МГУ и Кишинёвском университете, кандидат философских наук, работал в АН Молдавии. Печатался в журналах «Новый мир» и «Литера_Днерг» (г.Севастополь), альманахе «Лед и пламень» (г.Москва), альманахе «Владимир». С 1998 г. живет во Владимире.

Метод Сократа.
Диалог между двумя индивидуумами.
Диалог между шизиком и параноиком.

Батуми — столица Абхазии.
Боржом — курорт.
Купить пустырь-фронт.
Опера «Манон Леско».
«Челси» — «Манчестер Юнайтед».

Лето было дождливое.
Жидкость коричневого цвета со специфическим запахом.
Детали детского конструктора.
Наждачная бумага.
Колготки.

Физико-химические исследования колготок.
Опоясывающий лишай.
«Лет десять назад шлюхи меня занимали». (Флобер)
«Манчестер Сити» — «Барселона».

Спросить у него, какие он мне сегодня уколы делал.
Нательное белье лучше х/б, тогда не так электризуется тело.
Перед массажем зубные протезы лучше снять.
В дни магнитных бурь лучше сидеть дома.

Еще Гиппократ говорил о пользе водных процедур.
Винпоцетин — производное растительного алкалоида.
Легкое метро до Зеленограда под большим вопросом.
Роман Персига «Дзен и искусство ухода за мотоциклом».

Южное Тушино, метро 15 мин. пешком, дом кирпичный, 3-й эт. 4-х этаж. дома, балкон.
«Сток Сити» одолел «Суонси».
«Реал» не справился с «Легией».

Купить социальный проездной для друга.
«Ростов» — «Бавария» 3:2.
Пасмурно, снег.
Хурма.
Оттепель.
Поливитамины.

Солнечно, тихо.
Он нигде не работает, но ходит в дорогих ботинках.
Пасмурно, снег.

Стоимость квадратного метра жилья в Париже.
Он нигде не работает, но покупает дорогой помазок для бритья.
Сэмюэл Питер вернулся на ринг и одержал победу.
На рынке сгорел продуктовый отдел.

Стоимость квадратного метра жилья в Лондоне.

Танцы на льду. Короткая программа.

Мельдоний.

«Монако» разгромил ЦСКА.

Пасмурно.

Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — Харьков — Волноваха — Мариуполь.

Джон Донн.

Солнечный ветер.

Духовой оркестр в школе, в армии.

Помирать — так с музыкой.

Выкрутасы.

Не горячись.

Это было пять дней назад.

АЦЦ.

Ветер, лед.

Это было в понедельник.

Пасмурно, дождливо.

Повесилась школьница.

Концентрация формальдегида превышает предельно допустимую.

Первый снег в осенней мгле.

Коньяк «Баграт».

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» 4:0.

Она явилась с рюкзаком, сейчас поедem на охоту на вальдшнепов, но сначала мы заедem в больницу, чтобы получить суточную дозу галоперидола.

Сервант. ДСП. Куплен в условиях товарного дефицита.

Милдронат.

Барсучья шапка.

Черное небо над Мещерой.

За окном упало дерево.

Он едет на дачу.

Она звонит ему на дачу с требованием немедленно приехать и поменять смеситель.

Пора называть вещи своими именами: проشمандовка.

Глазные капли.

Цитрамон.

Кефир, молоко.

Минеральная вода.

У любого человека три врожденные фобии.

Выяснить.

«Реал» разгромил «Атлетико».

Пасмурно, дождливо.

Красим ограды, вырываем траву, сажаем цветы.

Аль Пачино жил в криминальном районе, у него было прозвище «Актер».

Оттепель, скользко.

Танцы на льду, короткая программа.

Пасмурно, снег.

Купил ремешок для часов.

Погода в Мадриде, в Нерюнгри.

Стоимость номинального обеда в Житомире.

Он что-то веселое рассказывает из своей юности, она внимательно слушает, бледнеет, сползает со стула.

Движение — основа жизни; что не движется, то мертво.

Двигается в сторону СИЗО, церкви и закусочной «Старый приятель».

Закусочная заколочена.

Двигается дальше, исчезает в осенней мгле.

Проблема войти в зрительный зал кинотеатра, они уже в предвкушении кинокомедии, и тут появляешься ты со своим аутизмом

Аналогично: театр, стадион, ресторан, похороны.

Лихорадочные сборы в школу, на поезд, на самолет, на свидание, на собственную свадьбу, вечный страх опоздать.

Выучить английский, уехать в Англию, ходить на «Уэмбли», быть приглашенным на ужин к Елизавете.

Она учится в институте, живет рядом с кладбищем, недавно познакомилась с молодым человеком, все ничего, только кладбища он боится.

Палата, ночь, он стоит у окна и тоскливо смотрит на снег, деревья, церковь, Бог молчит, снотворное не помогает, пьяное прошлое продолжает терзать душу.

Ремонтировал швабру. Бук. Не справился.

Выучить испанский, уехать в Испанию, ходить на «Камп Ноу», быть приглашенным на ужин к Филиппу.

Погода прекрасная, в связи с чем лягу спать.

Окурки на автобусной остановке ожесточенно спорят, кто из них более аристократ, дождь, замолчали.

Аэропорт «Жуляны», зал ожидания, старик в ватнике и кирзовых сапогах и его дочь в стиле Бриджит Бардо.

Выучить французский, уехать во Францию, ходить на «Стад де Франс», ужинать в обществе Патрисии Каас.

Ездил с Борисовыми в Борисовское ловить рыбу, ничего не поймали, зато наломали кукурузы.

Карбюраторщик таксопарка похож на актера Дворжецкого из фильма «Бег», он знает об этом, гордится этим.

Отдыхала в санатории. Все хорошо, только по ночам за стеной буйствовал пьяный сосед.

Осенний вечер, чистка проса, внутренний бунт молодого N.: не для проса он создан! В процессе работы смиряется, переходит в состояние согласия.

Он смотрит на доску и думает, что из этого можно сделать.

Что угодно, только не банальность!

Что-нибудь эксклюзивное!

В итоге получается разделочная доска.

Группа подростков движется в сторону садов воровать персики, идут, болтают, смеются, и только один идет молча, ему страшно, он бы с радостью повернул домой, но нельзя — будешь вычеркнут из круга друзей.

Она, общительная, бесхитростная, вышла замуж за нелюдимого чмо с претензиями на гениальность.

На постоянную работу требуется сборщик противоголовок.

Ходить в гости, принимать гостей.

Зацвел зигокактус, он же кактус Шлюмбергера, он же «декабрист».

Продается саманный дом, море рядом.

Амперский спуск переходит в улицу Розы Люксембург, дальше — море

Непролазная грязь, кирзовые сапоги.

Жизнь дерева не так проста, как кажется.

Соседка в розовом пеньюаре летит над черными глыбами вскопанного огорода в уборную.

Кирико сближается с сюрреалистами, а потом уходит в академизм.

Купил гитару, самоучитель, ничего не добился, разве что это каким-то образом скрасило время, когда непогода, дефицит хороших книг и общения.

Пришла весна, цвели дрова и пели лошади.

Суицидальные настроения.

Если жизнь дерева не так проста, то что уж говорить о человеке.

Он работает художником-оформителем, пишет стихи про яркую любовь, импотент.

«Много больных, издерганных, сумасшедших или играющих в сумасшедших».
(И.Бунин)

Проснешься, увидишь за окном обледевшие деревья и снова уснешь.

Дрожащие руки, невнятная речь, комплекс неполноценности.
«Литературный персонаж должен жить ярко».

Днем тает, к вечеру подмерзает.

После черепно-мозговой травмы он стал улыбаться.

Помочь ближнему не упасть, и при этом избежать искушения пошарить по его карманам.

Купить мотоцикл, никуда не ездить, читать роман Персинга «Дзен и искусство ухода за мотоциклом».

Спускаешься с жаркой вершины холма в прохладный овраг, выходишь к речке, купаешься, дремлешь в тени под одичавшей яблоней.

Длинный список тех, кого он предал.

Страшно.

Потом ухмыльнулся, подумал, что это еще не конец, есть еще кого предавать.

Крем детский, с витаминами А, F.

Тремор.

Провериться на калий.

Трезвым шатает, выпьешь — не шатает.

Потемнело, погремело, пошел дождь, все замерло, замолчало, и только какая-то птица во мраке мокрой зелени продолжала петь.

Ему удалось смирить свое эго, преодолеть позерство и самолюбование.

Климат промежуточный для промежуточных людей.

Холода, тревоги, да степной бурьян.

Курица пьет дождевую воду из черепа лошади.

Мотоциклист опрокидывается в отстойник свинофермы.

«Не страшны тебе ни зной, ни слякоть».

«Откройте скорей — почтальон у дверей».

«О, мадонна, как ты идешь, ты вот-вот упадешь».

Дом саманный, крыша черепичная.

С обрыва открывается панорама реки и заречных далей.

Под скалой — пещера, а в пещере — глина.

Лепит из глины что на ум взбредет.

Бандиты распалили участкового Удота на кладбище, на кресте, в пасхальную ночь.

Что ты маешься, что тебе нужно?

Ешь, пока рот свеж, а завянет — и собака не заглянет.

«Да будет свет», — сказал электрик и перерезал провода.

— Фисташки полезны, — сказал он девушке.
— Дедушка, шел бы ты домой, — ответила девушка.

Он бежит, спотыкается, падает, снова бежит, останавливается, погружается в размышления, умирает.

«Смысл явления тем глубже, чем резче на нем печать смерти». (В.Беньямин)

Продается дом саманный, толщина стен — 3 метра.

— Жаль.
— Жаль.
— Но могло быть иначе.
— Могло.

— Ты давно в этом городе?
— Давно.
— Как тебе город?
— Город как город.
— Тебя здесь били?
— Неоднократно.

«Собственно говоря», — подумал он, но тут вошел отец и сказал, что нужно заниматься делом, а не фигуриствовать.

Один говорит о духовности, другой в это время думает выпить.

Погода стояла прекрасная.
Ты, наверное, помнишь.

С некоторых пор родственники и друзья перестали приглашать меня в гости.

«Ощущение своей малости и ничтожества меня успокаивает». (Г.Флобер)

Она вышла замуж за сына директора крупной фирмы, и дело тут не в меркантильности, а в том, что...

С такими тормозами лучше не выезжать на алкогольную дорогу.

Заходил в отделение милиции, предлагал свои услуги информатора-осведомителя.

Темно, скользко.
Говорим о поэзии.

— Уезжаю в Таганрог, там дом, приусадебный участок, море.
— И женщина.
— И женщина. Одинокая.
— И она согнет тебя в бараний рог.

Нужно побольше деталей, метафор, идей.

Идеи твои хороши, готов участвовать в качестве подсобного.

Митинг против чего-то — или за что-то.

Собрался, но не пошел.

Остался дома, смотрел футбол.

Он куда-то едет, рядом садится девушка, она в наушниках, что-то слушает свое, может, Баха, ему хочется поговорить о чем-то отвлеченном, но...

И то, что нам сегодня кажется интересным, завтра уже никому не нужно.

То Кьеркегор, то тушеная капуста с копченостями, то цены на жилье в Подмоскovie, то пробиотики, то Мирча Элиаде.

День был хмурый.

Из темных лесов тянуло грибами, ягодами, лещиной, крушиной, волками, медведями.

Каток, кто-то скользит по льду.

Пили вино, читали стихи.

Они должны встретиться и обсудить план дальнейших действий.

Молодой, сухой, нервный, живет в районе тюрьмы, балансирует между тюрьмой и могилой.

В аудиторию входит доцент, он долго и пристально смотрит на студентов, потом смотрит в окно, потом произносит «экзистенциализм», потом молчит, потом сообщает о новостях сельского хозяйства, снова пауза, потом обращает внимание на проблему положительного героя в советской литературе...

Серый зимний день, черные деревья.

Чай, печенье «Привет».

Дикая смесь из любви к ближнему, лицемерия и цинизма.

Ремонтировал диван, доремонтировался до полной его непригодности.

Продвигаясь галсами, провоцируя господствующий ветер на опрокидывание, изображая «бунтарство».

Она изо всех сил пытается уйти от болезни, ходит на лыжах, бегает на коньках, окунается в прорубь, уезжает в Гоа, уходит в тайгу на охоту, волонтерствует в зонах стихийных бедствий и боевых действий, но вот снова является шиза, и снова карательная психиатрия.

Высокоскоростной поезд «Хундай» на высокой скорости разваливается и застывает в холодной степи под Запорожьем.

Он не уверен в достоверности того, о чем говорит.

Больше легкости, игры, фантазии, пусть мы услышим запах хвои, звон и свет игрушек.

Беседа с собой под приглушенный блюзовый фон, на границе сна и яви.

Участковый милиционер очень быстро раскрывает преступления — он их сам сочиняет и раскрывает, за что имеет поощрения и перспективы карьерного роста.

Танго в школе, в кабаке, дома, на улице, медленно, почти без движения, млея.

Кирпичное здание дореволюционной постройки, отопление — дрова и уголь, в полуподвале — библиотека и слесарно-столярная мастерская, сортир во дворе, клены, акации...

Нерюнгри, сопки, тайга, угольный разрез, спирт, общага, вечерние потасовки.

Лежит в больнице с ножевым ранением, смотрит на замерзшую реку.

Начертите график месячного хода температуры по данным ваших наблюдений.
Начертите розу ветров по данным ваших наблюдений.

Ожидается мокрый снег.

Ожидается приход человека, которого не хочется видеть.

Тихо, с прояснениями.

«Сток Сити» одолел «Суонси».

«Реал» не справился с «Легией».

В ванной чинно прогуливается насекомое на длинных тонких ножках.

Скажется ли оттепель на озимых культурах?

«Малага» выиграла у «Спортинга».

«Марсель» уступил «Монпелье».

Зимними вечерами он ходит на подготовительные курсы в металлургический институт. Здание старинное, дореволюционной постройки, настоящий мраморный пол и колонны, высокие потолки, лепнина, люстры, смазливые (а главное — умные) девушки — голова кружится, будто совсем в другой мир попал, тут бы не поскользнуться на гладком мраморном полу.

Волоокая гречанка Халамбаш, дочь директора автобазы «Спецсельхозстрой».

Миниатюрная гречанка Дорогач, работает на молокозаводе, обвиняется в хищении сметаны, реально светит срок, но ее прикрывает капитан милиции, любовник Удот.

Тахтар, сын директора рынка, поет, играет на гитаре, лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Гайтан, дочь заместителя директора завода «Тяжмаш», выходит замуж за непутевого слесаря завода стиральных машин.

Отдыхала в санатории, воздух хороший, питание не очень.

Опавшие листья, морозящий дождь.

Судоремонтный завод на грани банкротства.

Виктор Иванович лежит под забором.

Облачно, дождь.
Облачно, снег.
Не все еще убрано с полей.

Небо воспалено и отечно.
Мерцательная аритмия.
Судороги и припадки Вселенной.

Дождь, на дачу не поехал. Пора кончать с этой дачей. И с машиной. Все это — недоразумение.

- Все хорошо. Только дождливо было.
- Никогда больше сюда не поеду.
- Идеальное место для отдыха.
- Ничего хорошего. Больше туда не поеду.
- Самые приятные впечатления.
- Меня там ограбили.
- Ощущение полета души и тела.
- Понравились конные прогулки.
- Питание плохое, рыба тухлая.
- Вечером нечем заняться.
- Много жлобья.
- Люди везде одинаковые.
- Звукоизоляция плохая.
- Все хорошо, только хамство обслуживающего персонала.
- В городском саду можно посидеть на лавочке у обрыва и полюбоваться морем.
- Люди вполне доброжелательные.
- Я бы не сказал.
- Там много грибов и ягод.
- Я всегда мечтала, сидя на балконе, пить кокосовый коктейль и смотреть на море.
- Люди улыбчивые, добрые.
- И обладают незаурядным чувством юмора.
- Проводятся прогулки на лошадях и дегустация вин.
- По желанию можно принять грязевые ванны.
- Подводный массаж.
- Минеральные клизмы.
- Иглотерапия.
- Настольный теннис.
- Осень относительно теплая.
- Экология в пределах нормы.
- Но криминал.
- Не больше, чем в других местах.
- Меловые горы — не подарок для щитовидной железы.
- Фрукты, овощи, арбузы, дыни.
- Больные быстро поправляются.
- Не скажите. Дым, гарь, дышать нечем.
- Но река чистая.
- Раки водятся.
- Рельеф холмистый.

Миллионер приглашает нищего друга юности в ресторан, нищий ведет себя дерзко, хамовато, паясничает, демонстративно покидает ресторан, гордится своей «независимостью», хочет вернуться в ресторан, он еще не все сказал...

Хлипкая калитка снабжена хитроумной системой запоров.

Просто так не войдешь.

Просто так не войдешь в его стиховую систему, частично слизанную с Тютчева, частично — с Мандельштама.

Металлургический смог, дышать нечем, некоторые ходят в противогазах, тем не менее на днях в драмтеатре состоится Осенний Светский Бал.

Ожидается снег с дождем и сильный ветер.

Скоро Новый год.

Покупать елку или не покупать?

Позвонил Апентьев с требованием немедленно встретиться у драмтеатра.

Ответил, что уезжаю в Одинцово.

Включил «Ночи Валькирии», уснул.

Люмбаго, апизартрон, пояс из собачьей шерсти.

Лежать и слушать Малера.

Позвонил Апентьев с требованием немедленно встретиться у драмтеатра.

Ответил, что уезжаю в Одинцово.

Тает, ручьи, черные кусты и деревья, ученики после уроков расходятся по домам, перебрасываются снежками.

Дорога чистая, на обочине немного снега, скорость 110, рыжий свет фонарей, снежок.

Восьмой этаж, двухкомнатная квартира, стандартная мебель, книжные полки.

За окном ночь, метель, фонари.

Приснилась незнакомая женщина, что-то предвещает близость, ее нет, и слава Богу.

Утром нужно сходить в магазин и купить что-нибудь на завтрак, не пошел, заварил в эмалированной кружке суп, прихлебывал, попутно читая что-то про Эйнштейна.

Далее все сделал, что нужно было сделать по условиям договора, благополучно вернулся домой, рухнул, спал без просыпу сутки.

Ищешь документы, натыкаешься на фото: мечтательный подросток смотрит куда-то в небо в условиях приклатненной окраины города.

— Что ты можешь сказать о восьмой симфонии...

— Я ненавижу музыку.

Звук стиральной машины вызвал в памяти предзимнюю погоду, аэропорт Внуково, обмен взглядами с незнакомой женщиной.

Ноябрьский вечер, ресторан «Приморский», трое за столиком, разговор что-то не вяжется, шум осеннего моря, скрип деревьев.

Чужая аура колеблет собственную.

Аллергия на что-то цветущее.

Аллергия на болтливость.

Никуда не ходить.

Сложен хорошо, охоч до женщин, сообразителен, хитер, не курит, к спиртному равнодушен, следит за новостями международной жизни, атеист.

- Мне здесь понравилось.
- Да, ничего, жить можно.
- Много красивых исторических зданий.
- Да и не такие уж они исторические.
- И вода тут не очень.
- И воздух.
- И этот постоянный ветер.
- И люди какие-то хмурые.
- И море грязное.
- И преступность.

Зашел в общепитовскую точку с высокими стойками, взял суп с яйцом, надавил на яйцо ложкой, яйцо выпрыгнуло из тарелки и опустилось в тарелку старушки и забрызгало ее, и она закричала: «Продолжайте в том же духе! Продолжайте в том же духе!»

- Ты можешь по запаху и вкусу определить сорт винограда, из которого сделано вино?
- Я могу по твоему внешнему виду определить, сколько и чего ты вчера выпил и что тебе нужно сделать сейчас, чтобы не вызывать «неотложку».

Посетил Русский музей. Не смог сосредоточиться ни на Блейке, ни на Караваджо, ни на прочих из-за женских ног. Взгляд то и дело соскальзывал с шедевров искусства на шедевры природы. И куда ни пойдешь — везде эти ноги, сучий их потрох.

Зимняя ночь, морг.
Он пьет казенный спирт.
Ночь, спирт, трупы.

Колизей, честно говоря, не впечатлил, к тому же выпотрошили сумку: деньги, косметика, кусок недоеденной пиццы.
Хорошо, что в Ватикане бесплатные туалеты.

Приходили гости с детьми, дети сломали дверную ручку в туалете, рулонодержатель, проткнули усилители-стерео, опрокинули на новый палас банку с вишневым компотом... Мы гостям сказали, чтобы в следующий раз либо без детей приходили, либо чтобы контролировали. Обиделись.

Нахожусь в больнице. Черепно-мозговая травма. Стал более разговорчивым, чаще улыбаюсь, оревуар!

Сергей Надеев

Как рождается поэт

История литературы — дама памятливая, она скопила бессчетные страницы, посвященные писательскому труду и опыту. Тут и серьезные изыскания, и случайные анекдоты — чего только не найдешь! Вот Гесиод высокопарно повествует, как музы учили его песням у подножия Геликона, а Руссо — взволнованно рассказывает, какая случайность сделала его писателем, ну и вообще: «Ходасевич однажды одолжил у Городецкого сто рублей, от Гумилёва ушла жена, Блок подрался с Нарбутом, а разнимал их Ливищи, у Андреева сгорела квартира, Мандельштам сшил себе новую шубу, а Мариенгоф, моясь в ванне, больно ударился головой о трубу, — много интересного можно рассказать о русской литературе начала XX века» — узнаем мы из анекдота, приписываемого Даниилу Хармсу. Мифология литературы, куда деться...

Но в стороне от всего этого мощного пласта остается едва ли не главное из того, что меня всегда интересовало. Читая «Алхимию слова» Яна Парандовского, я понял, что с точки зрения психологии творчества совсем не уделено внимание его, творчества, моменту зарождения.

Мы знаем, что Блок начал писать стихи в 5 лет, Пастернак — в 19, Мандельштам и Маяковский — в 15, Цветаева и Пушкин — в 6.

Но откуда что берется? Как пишется первое стихотворение? Почему вдруг обычного ребенка как бы подменяют? Откуда является эта его будущая страсть? С чего вдруг пробуждаются писательские намерения и проявляются способности складывать слова в метафорический строй? Ведь был же этому какой-то толчок! Так с чего начинается большое? Мое вот первое стихотворение мне пришло в бреду. Лет в 12 я заболел, высокая температура, и всю ночь по постели маршировали африканские звери: бравурные жирафы, brave львы, бурые медведи... Я проснулся, записал этот бред, и с тех пор... Да, поэзия — это болезнь, и нечего тут стыдиться.

И с точки зрения психологии творчества, и в русле банального обывательского любопытства очень хочется знать — как «это было» у других?

Поэтому я завел особую, нет — особенную папку: «История первого стихотворения», куда собираю свидетельства поэтов о том, как было написано их первое в жизни стихотворение и что явилось ему поводом.

Частью этих приобретений я хочу поделиться.

Олег Чухонцев

О своем первом стихотворении. Я был уже девятиклассником, известным на всю школу гимнастом, и надеялся на спортивную карьеру в недалеком будущем, когда в параллельном классе появился долговязый длинноволосый парень, похожий на долгоносика, неплохой баскетболист, который, оказывается, пишет еще и стихи. Мы прошли уже к тому времени пять мотивов в лирике Пушкина, «Бородино» и заучивали наизусть «Укажи мне такую обитель», но это была, выражаясь спортивным языком, обязательная программа, которую надо было сдать и забыть, а Эмиль — так звали того парня — сам, представляете, из своей головы, пишет стихи, и какие стихи:

Вот уж осень наступила,
Листья жёлтые летят...

Я был потрясен. В самом деле, уже наступила осень и летят желтые листья, все точно — не дай бог тормознуть на мокром асфальте, если за рулем велосипеда, — а я этого не замечал, а Эмиль — имя-то какое: Эмиль! — заметил и написал и про осень, и про листья, и все это, оказывается, настоящая поэзия!

И я как прозрел.

Несколько дней я бредил его стихами, он снился мне сам, длинноволосый, очкастый, с запрокинутой головой, и однажды, ближе к зиме, меня как током ударило: и я могу! И вот, придя со школьного предновогоднего вечера, тогда же, 31 декабря 1953 года, я написал на спор первое свое стихотворение. Но свое ли? Рифмы были скверные, ритм убогий, мысли никакой, но чувства, чувства — рука не успевала записывать, что-то о голубых глазах и полевых васильках, — о, я как бы ослеп заново, ничего не видел и не слышал, кроме гула и света внутри себя, и когда вскоре, зимой того же учебного года, к нам в город приехал известный московский поэт и нас, старшеклассников, строем привели в клуб фабрики «XX лет РККА» слушать его стихи, я следил за ним во все глаза и заметил даже над головой его нимб, а потом мне сказали, что поэт горбатый.

Так я начал писать, писал сначала запоем, и в первое же лето, ложась, бывало, с утра под грушу в нашем саду и вставая только вечером, я исписал длинными, беспомощными, вдохновенными стихами не одну тетрадь. Мне нравилось это занятие уже хотя бы тем, что, в отличие от гимнастики, можно было работать не по обязательной, а по вольной программе и не набивать синяков, долго не сходявших, а главное, эта вольная программа была не изнурительна, а приятна, и даже более того. *О, знал бы я, что так бывает...*

Чухонцев О.Г. Стихотворения. (Содерж.: Циклы: Свое дыхание; Взойти на холм: Переводы). М.: Худож. лит., 1989. — 302 с.

Ирина Ермакова

Сверкающий день. В окне громадный синий сугроб. Справа от окна горящая елочка. Слева — бабушка у этажерки (круглые железные очки, всегдашний белый кружевной воротничок на темном платье) листает, бормоча: не годится, не годится, толстенный том. Ищет стихотворение. Завтра, 31 декабря 1957 года, я буду его читать на утреннике в красном уголке клуба. Длится все это так долго-нудно, что я начинаю говорить стихами:

Наша ёлка, ты прекрасна,
Как огни твои горят,
Поздравляя всех ребят,
Ну, пускай они не гаснут.
Дай мне лапу, друг мой ёлка.
Ты не бойся, мне не колко

и так далее.

Бабушка захлопывает книгу, сдвигает очки на лоб: о, вот это мы и прочтем завтра. Давай запишем.

Никакого удивления мое стихоговорение не вызывает. В семье часто говорят «стихами» и звучат стихи. Особенно зимними вечерами, когда в бараке нашего строительного поселка под Барнаулом вырубают свет. Наизусть читаются Пушкин-Лермонтов-Некрасов... Бабушка любит Гумилёва и Верлена. Недавно я обнаружила, что Верлен и Лермонтов не только разные поэты, но и разные языки. Бабушка у нас многоязыка. В юности и она, и мама писали стихи. Да и сейчас, по смешному или праздничному случаю, взрослые рифмуют. Это нормально.

Читала ли я эту белиберду — не знаю. Самого утренника не помню. Помню, что появилась тетрабочка, сперва дошкольная, потом несколько школьных. Бабушка приучила вести дневник — в него же и стихи записывались. Никакого важного места в сознании стихописание не занимало. Было это такое же обычное дело, как читать книжки и записывать впечатление о них. Всякие книжки. И рифмованные, и нерифмованные. В институте тоже была тетрабочка. Потом все это пропало-исчезло лет на двадцать.

И когда моя жизнь переломилась пополам, в том самом возрасте, когда в русской поэзии принято стреляться, — на меня посыпались стихи. Обрушились. В чудовищных количествах. С чудовищной же силой. И заполнили меня всю. И все они были первыми. И мне как пристрастному читателю со стажем было очевидно, что это именно стихи, а не «стихами», как в детстве. И с этим поздним внутренним взрывом что-то надо было делать.

Но это уже совсем иная история.

06.06.2016

Владимир Салимон

Стихи я начал писать лет тринадцати-четырнадцати, услышав от отца и матери о поэтах начала века. О Бальмонте я услышал раньше всех и страшно заинтересовался им, так как мама сказала, что мой дед был вылитым Константином Дмитриевичем. Деда я никогда не видел, лишь на редких фотографиях, и представить его в образе поэта было лестно. У нас дома, к счастью, имелась весьма обширная библиотека, поэтому вслед за Бальмонтом, что называется, потянулась ниточка.

До того, целыми днями гоняя мяч, я вызывал у отца сожаление, близкое к разочарованию: — Для кого я покупал все эти книги?! — громко восклицал он. Теперь по вечерам он самозабвенно множил на пишущей машинке мои вирши.

Моих родителей давно нет на свете, и это горько и больно.

В те годы я не то чтобы полюбил книгу, скорее понял её истинную цену. Вероятно поэтому меня нисколько не страшат расхожие ныне рассуждения о конце бумажной литературы. В электронике я разбираюсь слабо, между тем, знаю точно — книга останется неприкосновенна, так как по сути страшно далека от народа, она элитарна в лучшем смысле, тогда как интернет — детище общедоступное, как публичная девка, как квадрат Малевича по сравнению с портретами Рембранта.

Алексей Алёхин

Первое в жизни «стихотворение» я не написал, а выпалил в четырехлетнем возрасте зимой с 1953-го на 1954-й год на Тверском бульваре, катаясь с ледяной горки от корней «пушкинского» (что, видимо, и предопределило весь мой последующий творческий путь — там теперь висит табличка, правда, про Пушкина, а не про меня) дуба к дорожке. В те годы по бульвару гуляли с детьми частные «группы», каждая из которых была приписана к своей скамейке — нашей была как раз та, что перед дубом. Нынче всякий раз, проходя мимо, я дивлюсь этой едва положости — нам-то она казалась высоченной, и мы лихо съезжали с нее на задницах. Так вот, разогнавшись и летя со свистом вниз, я заорал кому-то из своих одноклассников, загорюливших путь: «С дороги, куриные ноги!» Впоследствии — и через год, и через два — я поражаюсь, сколь широко разошлось мое крылатое слово в народе. И только годам к десяти догадался, что и рифма, и куриный «образ» лежат настолько на поверхности, что я всего-то-навсего изобрел свой детский велосипедик. Трехколесный.

А первое *настоящее* стихотворение я написал уже в пять лет, но еще по четырехлетним, того лета, впечатлениям: мы с родителями съездили в Крым. И вспоминая его, я сочинил, кажется, осенью, не то два, не то три катрена, из коих до сих пор храню в памяти две незабываемые строчки:

Вода в водопаде шумит и шумит,
Орёл над горою парит и парит...

Орел там и правда был, и гора, и какой-то водопадик: мы с отцом лазали в сторону Ай-Петри.

Нетрудно заметить, что «поэтику» я позаимствовал у Пушкина-Лермонтова. Но повод к сочинению был мой собственный, настоящий, и примерно тот же, что остался по сию пору: впечатление красоты и величия мира.

Ганна Шавченко

Учился в моей школе годом старше парень по имени Саша Иванов. Глаза голубые, с хитринкой, загнутые вверх ресницы, сияющая улыбка, умопомрачительные ямочки на щеках. Фигурка футбольная — сильная спина, попа как яблоко и сексуальная кривизна ног. Термоядерный мальчик. От его неотразимости пострадали процентов семьдесят старшеклассниц. Зацепило и меня. Было мне в то время шестнадцать, я переживала первое взрослое чувство, с удивлением наблюдая, как сиял воздух в школьном коридоре, если вдруг на перемене я встречалась глазами с этим мальчиком. А Саша был не из простаков. Осознав свою популярность, не спешил определиться с выбором. Он с надменной легкостью заводил интрижки, провожал с дискотеки то одну, то другую, никому ничего не обещал и всегда оставался в центре внимания. Девочки ему нравились мажорные, хорошо одетые, у которых папы при должностях и при деньгах.

О своем чувстве я рассказала лучшей подруге Лене, а она тут же раззвонила на всю школу. В субботу на дискотеке Иванов пригласил меня на медяк, а после вызвался провожать. Когда мы шли по вечернему поселку, я боялась дышать, казалось, сделай я резкий вздох — прекрасное видение рассеется. В подъезде мы целовались, как сумасшедшие, он крепко сжимал меня и страстно впивался в губы. По ступенькам я шла, пошатываясь, как хмельная, а ночью в постели предавалась смелым мечтам — я видела себя девушкой Иванова.

В школе на одной из перемен я увидела Сашу и рванула к нему, но он посмотрел сквозь меня, прошел мимо и минут десять у меня на глазах заигрывал с одной из

популярных старшеклассниц. Мир перевернулся. Я ходила в школу полуживая, а по вечерам писала о своих страданиях в блокноте. Тогда и завертелась в голове первые строки о трагичности бытия. Вскоре я слегла с простудой и не появлялась в школе недели полторы. По выздоровлении пошла на школьную дискотеку, и каково же было мое удивление, когда изменник снова пригласил меня на танец и вызвался провести до дома после танцев.

Я шла рядом с ним по ночной улице и чувствовала себя гипсовой, боялась не то сказать, не так повернуть голову. Когда подошли к дому, он заглянул с нежностью в глаза и спросил:

- Ну что, Шевченко, влюбилась в меня, да?
- Ленка тебе, что ли, сказала?
- Какая разница.
- Ну влюбилась, а что?
- Правда, что ли?
- Правда.
- А я не верю.
- Почему это?
- Не верю и все. Ты докажи.
- Как?
- А ты что, не знаешь, как девушки доказывают парням свою любовь?
- Не знаю...

И он объяснил, как.

В ту пору мой интимный опыт ограничивался объятиями и поцелуями, и расширять его ради каких-то доказательств, несмотря на огонь страсти, я не собиралась.

— Иди в жопу, Иванов, — ответила я ему и несчастная ушла домой.

Я понимала, что это конец. Всю ночь незримая рука проворачивала меня через мясорубку, из меня лились слезы и строки. Тогда я и записала свое первое стихотворение, начинающееся словами «я хочу улететь далеко в небеса».

А через год я заработала денег на каникулах, купила у челноков крутые джинсы и турецкую кофточку. Увидев такую красоту, Саша Иванов не устоял и предложил «встречаться» (так у нас назывались отношения, когда влюбленные парень и девушка ходят по поселку, взявшись за руки). А я ему отказала, потому что уже была влюблена в другого парня. Его тоже звали Сашей.

Александр Орлов

Мне никогда не забыть тот год, это был год непомерного счастья и наступившего впоследствии многолетнего опустошения. Я заканчивал одиннадцатый класс, мне было неполных семнадцать лет, и казалось, что нет никого счастливее меня. Я был безумно влюблен в одноклассницу, мечтал об историческом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова, был капитаном сборной школы по футболу, начинал осознавать, что один мой прадед расстрелян по особому решению тройки, а второй — застрелился во время ареста. Я публично отказался учить «апрельские тезисы» Ленина и возненавидел сталинский период, справедливо получил от любимого преподавателя истории Ирины Борисовны Кацнельсон два в третьей четверти. Той весной я был спокоен к радушному цитированию Есенина мамой, к папиному пожизненному увлечению Бернсом, не разделял его радости по поводу появившегося сборника Хармса. Во время Великого поста я услышал стихотворение «Крест» Николая Гумилёва, прослушав романс Александра Малинина. Я мгновенно запомнил эти строки. Мысленно я читал их с утра, в школе, играя в футбол, волейбол, бадминтон, на прогулке с девушкой, в компании с одноклассниками, перед сном. После государственного экзамена по истории, сданного на отлично специальной комиссией, я разговаривал с папой

по телефону, а утром умер мой отчим. В день похорон отца моей сестры последний из гостей дядя Валера (актер театра и кино Валерий Баринков) на прощание крепко обнял меня. Я закрыл дверь. Раздался мамин крик... Трагически умер мой родной отец. Морги отказывались в выходные брать умерших, и бездыханный папа пробыл это время в квартире бабушки и дедушки. Его похороны пришлось на девятый день со дня кончины отчима, вот в этот день 11 июня 1992 года я написал свое первое стихотворение, я не помню его полностью, прошло почти четверть века, но там были такие строки:

В конце появятся нелепые улыбки,
Смешенье тёплых и холодных фраз...
Но, Господи, какие это пытки —
Терпеть вокруг себя сейчас всех вас!
И, глядя на рождение балагана,
Я роль свою сыграю до конца.
Вам не понять мальчишки-хулигана —
Он потерял себя, а не отца.

Вера Зубарева

Стихи у меня слагались с раннего, очень раннего детства, когда граница между стихами и не-стихами еще размыта и весь мир — сплошные созвучия. Скажешь слово, а оно начинает разрастаться, ветвиться, отпочковываться.ловишь его ртом, а оно выскальзывает, как рыбка, и уже совсем другое. Звуки кругом — в небе, на земле, за стеной. Ощущение, что ты погружен в радужный шар, и звучания колобродят вовне и в тебе.

Самые первые рифмованные строчки появились, когда мне было три года. Я этого, естественно, не помню. Отец записал их за мной и сохранил в своем дневнике.

Убежал лисёнок в лес
И на дерево залез.

Откуда взялась эта фантазия, для меня было загадкой. Никто мне подобных сказок не рассказывал, ни в одной детской книге такого сюжета не было. И только уже здесь, в Штатах, проглядывая в очередной раз семейный альбом, вдруг обнаружила героя моих стихов. Этот самый лисенок все это время сидел на крыше лесной избушки — декорации, построенной в портовом клубе, где раздавали новогодние подарки детям работников одесского порта. На переднем плане — мама и я на руках у папы.

— Вот ты какой! А я думала, ты плод моего воображения, — сказала я ему удивленно.

— Вот и ошиблась, — ответил лисенок.

Я устыдилась.

— Прости, ладно?

— Да что там! Кто старое помянет...

— Ну вот и славно! Ты ведь у меня самый главный...

Он кивнул.

Да, действительно, на лисенке сомкнулись или, точнее, благодаря ему не разомкнулись наши объятия с отцом. В тот, последний день папиной жизни, когда мы гуляли вдвоем (я, Вадим и папа в коляске) по аллее и смотрели на белок, деловито снующих под елками, я прочитала ему первую строчку про лисенка, и он, который всё помнил уже какой-то иной памятью, вдруг продекламировал окончание этого стихотворения и рассмеялся. Это был знак победы сил сотворения над силами разрушения. Образ победил распад, и на вопрос, помнил ли меня отец во время болезни, я всегда отвечаю: «До последней минуты».

Наверное, и после этого шедевра я что-то лепетала, но записей больше нет. А в пять лет я сама взяла ручку в руки, потому что мне надоело просить моих безотказных соседей, чтобы они записывали за мной какие-то пьесы, которые я даже править не могла. Это был период отхода от стихов, который длился до восьми лет. В восемь лет я уже совершенно сознательно и самостоятельно написала стихи, которыми открывается моя большая общая тетрадь в кожаном переплете, подаренная папой, написавшем такое напутствие на внутренней обложке:

Верочке

Бесцельно времени не трать —
Нет в мире боле дорогого.
Я подарил тебе тетрадь
Не для занятия пустого.
Пусть море Чёрное шумит,
Пусть старый дуб листвою колышет.
Узнай, о чем он говорит,
Услышь, чего никто не слышит.

Я держала в руках эту роскошь, листала чистые страницы, вглядываясь в каждую, словно хотела прочесть свои будущие стихи. А спустя какое-то время написала то первое стихотворение:

Чайка белокрылая, ты куда летишь
И когда ж ты, милая, к нам-то прилетишь?
Иль когда весною песню мы споём,
Ты помашешь, милая, издали крылом?
Или в бурю страшную крикну я тебе:
— Чайка белокрылая, милая, ты где?
Но в ответ легонько набредёт волна
И покроет место, где сидела я...

Кем была для меня та чайка? Не знаю. Может, душой моря, а может, моей собственной душой. Еще не было представления о поэзии, но было ощущение быстротечности, моментальности собственного пребывания в мире и присутствия безбрежности.

Владимир Костров

Я родился и вырос в деревне Власиха, это на костромской земле, там я услышал и позже записал первое стихотворение, мне было года три-четыре или чуть больше. Это была домашняя молитва моей бабушки, спустя много лет я даже в поэме ее привел. Помню, как прочитал ее в Иркутске на большом вечере, а после него ко мне выстроилась целая очередь, просили переписать. Так вот, чтобы я ночью не пугался, бабушка мне читала перед сном: «Ангел мой, хранитель мой, храни мою душу день и ночь, в крепкий сон. Враг сатана, отступись от меня. Есть у меня три креста, три листа, трипечатная грамота. Возьму ключи незнаемы, запру свой дом, со скотом-животом, со всем добром...» Дальше она продолжается другой молитвой: «Вкруг нашего двора — каменная гора, железный тын затынен. От востока до запада святым духом заперто...» Через несколько лет в 4-м классе мы писали сочинение на тему «Как я провел лето». Я взял и написал стихотворение. «Пойдемте, пойдемте! — ребята зовут./ И мы побежали купаться на пруд,/ Рубашки снимая. И тут же, с ходу,/ Мы бросились в тихую прудную воду./ И сразу над прудом взрыв брызг поднялся./ Как будто бы в пруд тот кит пробрался...» Учитель литературы прочитал и сказал, что ему эти стихи нравятся.

Светлана Волкова

Золотой цыпленок

Повесть

Первый раз Димка влюбился в четыре года. Ей исполнилось шесть, она была воздушна и сказочно прекрасна в небесно-голубом платьице, перешитом из газовой блузы своей длинноносой матери. От нее пахло грушами и жженым сахаром, и имя Гуля ей очень шло.

Когда тетя Маруся спросила, понравилась ли ему девочка, Димка задвигал носом, вспоминая ее праздничный съедобный запах, и ответил: «Очень». И в тот же день поцеловал новую знакомую в щеку. Гуля ничуть не смутилась, а лишь погрозила ему пальчиком, точно взрослая.

Этот первый осмысленный опыт сердечного притяжения томился в Димке ровно неделю — с понедельника по воскресенье — и растворился в воздухе, как выпаренное молоко, оставив невесомую запекшуюся пеночку где-то на доньшке сознания. Подружку увезли в Самарканд к бабушке. На прощание Гуля подарила ему зеленый карандаш — от него тоже пахло карамелью, и Димка постоянно грыз его, пока тот не раскололся пополам.

Запахи окружали Димку с рождения. Родился он в августе сорок первого, до срока, в поезде на пути в Ташкент, куда маму и тетю Марусю, ее младшую сестру, спешно эвакуировали из Ленинграда вместе с архивом Пулковской обсерватории. День гибели отца в боях под Лугой по фатальному стечению обстоятельств совпал с днем рождения сына, мама же сойти с того поезда не смогла — ушла в горячке тихо, под убаюкивающий стук колес и рваные песни одуревших от жары пассажиров, до самого последнего мига прижимая пылающие сухие губы к лобику новорожденного сына. Старенький фельдшер ничем помочь не смог, лишь тяжело вздохнул да тайком перекрестил восемнадцатилетнюю испуганную тетю Марусю, совершенно не представлявшую, что делать с пищущим кульком и как вообще жить дальше.

Впоследствии тетя рассказывала Димке историю его рождения несколькими словами: «поезд», «жарко», «мало воды», «мало тряпок» и каждый раз прятала от любимого племянника слезы — так остро сидели те августовские дни в ее сердце. Димка же во время этих скудных рассказов неизменно слышал запахи: угольной пыли, мазута, кислого людского пота в вагонах и хлеба с луком. Много раз вместе с

Волкова Светлана Васильевна родилась в Ленинграде. Окончила филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Автор романа «Подсказок больше нет» (АСТ, 2015). Печаталась в журналах «Нева», «Октябрь» и др. Живет в Санкт-Петербурге. В «ДН» публикуется впервые.

мальчишками он бегал к железнодорожному вокзалу, вбирал ноздрями деготный дух шпал и промасленного металла, вслушивался в журчащий говор вокзального люда, трогал рукой раскаленные от зноя блестящие рельсы и говорил сам себе: «Вот я родился».

В Ташкенте тетю Марусю определили в многодетную узбекскую семью. В их дворе поселились еще несколько эвакуированных ленинградских женщин с детишками, и к моменту, когда Димка начал говорить, оказалось, что он одинаково хорошо понимает и русский, и узбекский, и таджикский, и даже каракалпакский — от шумных многочисленных соседей, по очереди нянчивших его.

Тетя Маруся работала секретарем-стенографисткой в районной администрации, представлявшей собой кособокое желтое здание с толстыми, будто вспухшими от водянки ногами-колоннами и щербатыми, как стариковские зубы, ступенями. Димка оставался днем с бабушкой Нилуфар — большой, доброй, усатой женщиной, коричневой от вечного ташкентского загара. Она поила его кумысом и вместо соски давала пожевать вяленый урюк, предварительно выгрызая косточку тремя оставшимися зубами. Бессчетные ее внуки спали днем с Димкой в обнимку на вытертом узорчатом ковре, а ночью тетя Маруся брала племянника к себе, свято веря, что именно русская колыбельная про серенького волчка поможет ему вырасти крепким и здоровым, да и просто выжить.

Бабушка Нилуфар звала Димку на татарский манер «Динар» и давала подзатыльники тяжелой рукой всем, кто, как ей казалось, был с сиротой неласков. Умиляясь Димкиным выющим золотым кудрям, она окликала его нежно «оппогым», что по-узбекски означает «мой беленький». А когда Димка прибегал к ней со двора и непременно по-русски, которого бабушка Нилуфар не понимала, начинал рассказывать, как, к примеру, видел подравшихся баранов, она качала головой в цветастом платке, протягивала ему пиалу с чаем и соглашалась со всеми его словами, приговаривая: «Ай! Алтын джужа!» — «Ай! Золотой цыпленок!»

С того самого дня, как Гуля в ответ на поцелуй погрозила четырехлетнему Димке пальчиком, ему открылся совершенно новый мир — мир девочек, до той поры не замечаемых. Будто этот самый пальчик, точно волшебная палочка, указал ему на нечто такое, от чего у Димки разом перекрыло дыхание. Оказалось, что все девочки вокруг красивые. Даже толстая угрюмая Зулхумар, непонятным образом откормленная родителями в голодное военное время на радость будущему «сговоренному» мужу, который бегал вместе со всеми во дворе в рваных штанах и еще писался по ночам, — даже она виделась Димке сказочной королевой.

Димка и считать научился по девочкам: в его дворе их восемь, в соседнем — пять, через двор — десять. Он обожал звать их по именам — громко, на всю округу, пугая домашних птиц и тощих котов. А имена-то — сплошная музыка! Люба, Валюша, Маша, Гузаль, Фарида, Бахмал... Вперемешку русые, рыжие и черные косички, легкие ситцевые сарафанчики в ромашку и сине-желтые в черный зигзаг национальные платица-куйлак, из-под которых торчали обшитые на концах блестящей тесьмой штанины шаровар. Матери также шили детям одежду из всего, что попадалось под руку, — из наматрасников, наперников, мешков из-под муки. Но даже перешитая из наволочки юбчонка виделась Димке самым дивным нарядом. То, что «они все дуры», в чем был искренне убежден его лучший друг Мансур, ничуть Димку не смущало. Ну, дуры! Но ведь такие необыкновенные! И пахнут не так, как мальчишки, а чем-то девчоночьим — миндальной ореховой крошкой, сладкой курагой, изюмом, чуть забродившим дынным спелым духом, а по праздникам — бухарской халвой.

«Донжуанчик растет», — улыбался однорукий учитель Алишер, тайно вздыхавший по тете Марусе, но так за все годы ее с Димкой затянувшейся эвакуации и не решившийся за ней поухаживать.

После того, как уехала Гуля, Димка поцеловал Валюшу. Она надула губки, будто собиралась заплакать, но не заплакала, а побежала к девочкам, и Димка подслушал, как она рассказывает подругам об этом происшествии. И в рассказе том были нотки хвастовства, поданные Валюшей в качестве справедливого гнева и возмущения «гадким мальчишкой». Но что-то Димке подсказало, что не так уж это ей неприятно.

Перецеловав по разу, а то и по два всех окрестных девчонок, до которых он мог дотянуться своим малым ростом, Димка понял одну нехитрую истину: они, эти вкусно пахнущие создания, совсем не сердятся на него, а даже очень рады поцелуям. Девочки, все как одна, нарочито фыркали, кокетливо дергали худыми плечиками и бросали ему на выдохе: «Дурак!» Но «мелюзгой» на русском и узбекском дразнить его перестали.

— Я тебе больше не нравлюсь? — спросила однажды чернобровая смешливая Фарида.

— Почему? Очень нравишься! — ответил Димка.

— Но ты меня только один раз поцеловал, а Гузаль два.

Димка вытянул губы и чмокнул ее в золотистую щеку.

Фарида вздохнула и, помолчав, сказала с упреком:

— А Гузаль ты в губы поцеловал!

Димка этого не помнил.

Получив выклянченный поцелуй в губы, счастливая Фарида умчалась к маленьким сестрам хвастаться, что у нее теперь есть жених.

— Что ж ты будешь делать, горе мое? — качала головой тетя Маруся. — Тебе придется на всех на них жениться!

— Ну и женюсь! — гордо задрал нос, отвечал Димка. — Дядя Алишер рассказывал, что у его знакомого несколько жен!

— Да как мы их всех прокормим? — смеялась тетя Маруся. — Одна Зулхумар ест больше, чем мы с тобой вдвоем!

— Да уж! — подхватывал Алишер. — Здесь, брат, восток. Посмотрел на девушку — женись! А уж поцеловал — считай, что свадьбу сыграл.

— Правда? — изумился Димка. — Я сейчас Аню люблю. Я ее три раза поцеловал. Это значит, три раза женился?

Алишер захохотал:

— А на прошлой неделе ты мне рассказывал, что не можешь выбрать между Любой и Мадиной. Эх, Маруся, увозить надо парня, пока и впрямь не «сговорили».

Тетя Маруся кивала, отшучивалась, сама же с какой-то тоской думала о возвращении.

Родственников в Ленинграде не осталось — те, что были, не пережили блокаду. Дворничиха баба Нина прислала ей письмо в конце сорок третьего, что дом их в Якобштадтском переулке цел, хоть от фугасной бомбы и сгорел флигель с прачечной, и что комната их стоит пустая, ждет возвращения. Тетя Маруся рыдала сутки над письмом, а соседи даже начали, было, собирать их с Димкой в дорогу, раздобыв плетеный короб и утрамбовывая, по широте души, его дно всем, чем были богаты — от красно-бурого верблюжьего одеяла до мешка с изюмом. Но тетя Маруся все откладывала поездку, ссылаясь сначала на то, что Димка маленький и неизвестно, как в Ленинграде с работой, и да надо бы сначала дожидаться полной нашей победы. Бабушка Нилуфар гладила ее по голове и уговаривала остаться насовсем. Тетя Маруся вздыхала, мотала головой и выдавала не то стон, не то хрип, но тем не менее еще на пять с половиной лет после прихода того самого письма задержалась в гостеприимном Ташкенте.

Уже и бурно отпраздновали победу, и всем двором встретили вернувшихся с фронта соседей, а тетя Маруся все медлила и медлила с возвращением в Ленинград,

словно больше всего на свете боялась войти в ту самую комнату, где родилась, выросла и была так счастлива.

— Учиться тебе надо, Маруся, — убеждал ее Алишер. — Не всю же жизнь на машинке клавиши отбивать. Ты вот геологом стать хотела.

Тетя Маруся вздыхала, понимая, что он прав и надо поступать в институт — и непременно в Ленинградский горный, где до самой смерти преподавали ее отец и мать, но все тянула и тянула с отъездом. Когда же Димке пришло время идти в школу, она списалась со своей старенькой учительницей, ставшей к тому времени директором, и получила ясный ответ: будет для Димки место в первом «б» классе, собирайте чемоданы.

Но чемоданы тетя Маруся собирать не спешила, все отшучивалась: что, мол, с собой брать-то, разве что единственное платье да племянниковы портки, — другого не нашли. А перед самым отъездом Димка сломал руку — прыгал с мальчишками с крыши кособокой чайханы и неудачно упал. Тетя Маруся словно ждала этого сигнала, ухватила за него, как за соломинку, продала билеты на поезд и все хлопотала над Димкой, точно соседская дворняга Брахмапутра над единственным выжившим щенком. Нет, нельзя малыша в таком состоянии никуда везти, ему нужен покой! И точка.

* * *

В первый класс Димка пошел в ближайшую к их дому русскую школу, стоявшую в узком проулке рядом с рынком. Читать он научился давно, сначала по вывескам на домах, потом по газетам, и к семи годам перечитал все русские книги, какие раздобыл у соседей во дворе. В этот список вошли «Справочник медицинской сестры», «Дон Кихот», «История пунических войн. Том 3» и «Телефонная книга Ташкента за 1935 год». Правда, он бы не поклялся, что все понял, особенно в «Дон Кихоте», но это его ничуть не смущало.

В школе Димке было скучно. Оказалось, что он единственный в классе умеет бегло читать, одинаково хорошо по-русски и по-узбекски. Полгода мусолить азбуку с малышовыми картинками было для него сущей пыткой, и он тайком от учителя листал истрепанное, зачитанное до дыр толстовское «Детство Никиты» — подарок дяди Алишера — и бегал на перемене в школьную библиотеку. «Взрослые» книжки суровая толстобокая библиотекарша Матлюба Фархатовна младшим школьникам на дом не выдавала (даже за халву), и Димка брал их в читальный зал. «Графиня де Монсоро» захватила его полностью, хотя местами и была скучна, и он искренне не понимал, почему Матлюба Фархатовна считает, что ему читать еще рано. Там ведь нет того, о чем шептались мальчишки, а друг Мансур убеждал, что видел собственными глазами, когда его старший брат Турсун «зашел за ковры с кондукторшей Алёной». «Анна Каренина» далась не сразу, но Димка научился проглатывать абзацы, которые не понимал, и останавливаться на главном — на любви. А Пушкина он открыл для себя заново и удивился — читал ведь всего год назад, в шесть лет, а вот перечитывает сейчас и все-все понимает — и о любви, и о женщинах. Наверное, вырос. Каждый раз, открывая какое-нибудь стихотворение, Димка представлял, что это написал он, а вовсе не Пушкин, и видел себя подбирающим рифму — конечно, такую же, как у Александра Сергеевича. И еще ясно представлял себя стоящим на камне на берегу Салара и полупшепотом читающим пушкинские строки какой-нибудь девочке, и та непременно ахает: «Как талантливо!» А Димка небрежно бросает ей: «Сырые еще, перепишу».

Так, незаметно для себя самого, он начал писать стихи. Но показать их не осмелился никому, с завистью отмечая, что у Пушкина получается лучше.

Мальчишки учились от девочек отдельно. Девчоночьи классы находились в соседнем здании, служившем в военное время складом. Окна были маленькими,

узкими, в помещении стоял полумрак, и Димка, в первый школьный день прибежавший посмотреть на учениц, никак не мог их разглядеть. Только когда школьницы шумным выводком высыпали на переменке во двор, он обомлел от их количества и замер от тихого восторга. Нарядные, в белых фартуках с крылышками, они чертили классики и прыгали, задевая пятками краешки платиц. Димка все смотрел и смотрел на девочек и никак не мог определить, какая же из них ему больше нравится. И снова пришел на следующий день, и опять не смог выбрать. Они все были красивы, легки, сладкоголосы, а мрачное здание младшей школы придавало им некий книжный ореол романтика и монастырской тайны. Друг Мансур считал, что их просто зачем-то держат в здании, но ничему не учат, и правильно делают: скрести до блеска казан, ошипывать птицу и подметать двор они и так умеют.

К концу сентября Димка, как сам сформулировал, решительно влюбился. «Решительно» — потому что решил и влюбился. Ведь время шло, и надо было делать нелегкий выбор.

Ее звали Роза, она была из большой татаро-узбекской семьи и отличалась от других девочек тем, что не гонялась по двору, как угорелая, а скромно стояла в сторонке и непременно что-то жевала. У нее было персиковое лицо, бархатные конские ресницы, румянец крупным вишневым мазком убежал куда-то за ухо, а волосы вились черными блестящими колечками и напоминали Димке подгоревший на шампуре лук. И вся она, такая «съедобная», мягкая, так и просилась, чтобы он, Димка, в нее влюбился.

На этот раз он совершил все действия в обратном порядке: сначала поцеловал Розу (поднявшись на цыпочки, потому что она была выше на целую голову), потом объявил, что она его дама сердца, и уже затем представился. Девочка на поцелуй сначала не отреагировала — вероятно потому, что не знала, как на это реагировать, потом проглотила то, что жевала, и потрогала его светлые волосы, торчащие из-под тубетейки.

— Ай! Алтын джужа! — сказала она по-узбекски с интонацией бабушки Нилуфар. — Золотой цыпленок!

И Димка понял, что это означает безоговорочное «да».

Он подарил Розе кусочек золотистой тесьмы, какой женщины обшивают края шаровар, и показал ей, как надо взбираться на чинару, чтобы, сидя на толстой ветке, бесплатно смотреть кино. Роза покорно пыталась залезть на бедное сутулое дерево, но, как ни старалась, ничего у нее не выходило. Она скользила сандалиями по отполированному сотней мальчишеских пяток стволу, кряхтела и с глубоким загроудинным выдохом съезжала вниз, попой на самые корни. Точно так же тяжело вздыхало и дерево. Димка пробовал посадить ее, но не смог, а звать на помощь пацанов посчитал неправильным.

Недели через две он узнал, что ревнивая Фарида оттаскала соперницу за косы. А еще через месяц Розу «сговорили», и она торжественно сообщила Димке, что теперь не сможет бегать с ним на берег Салара и таскать с базара непроданную алычу, потому что где-то в Юнусабадском районе живет мальчик с необыкновенным именем Алмаз Закиров, которого она никогда не видела, но уже точно любит. Потому что мужей, даже будущих, надо обязательно любить.

Димка погоревал, но вскоре утешился Соней, продержавшейся в фаворитках до самых зимних каникул. И до конца первого класса было еще несколько девочек. Мансур предложил ему завести специальную тетрадку и записывать туда их имена, чтобы не забыть, но Димка вспомнил строки стихотворения Навои, где говорилось о сладком яде забвения, и заявил приятелю, что ничего записывать не будет, потому что больше всего на свете любит сладкое.

А в июле, когда перезревшее ташкентское солнце нагрело камни на мостовых до такой температуры, что плюнешь — зашипит, как масло на сковороде, тете Марусе приснился сон. Снилось ей, что она снова маленькая, бегает по ленинградской квартире босиком, ноги мерзнут от холодного пола, и папа с мамой, живые и молодые, все зовут ее отмывать грязные пятки и ложиться в кровать с белым, хрустящим, принесенным с мороза бельем.

Поддействовал тот сон на тетю Марусю, как пусковая кнопка, включившая пружину или какой другой титанический механизм. Два дня она носилась по улицам, легкая, как комочек хлопка, гонимый ветром, и все никак не могла найти успокоения. А на третьи сутки решительно заявила: «Всё. Возвращаемся в Ленинград». И никакие уговоры друзей и увещания бабушки Нилуфар действия не возымели. Срочно уволившись с работы и отправив телеграмму дворничихе бабе Нине, она купила два билета в плацкарту и, отрыдавшись на плечах всех ташкентских соседей, ставших родными, покидала свои и Димкины вещи в плетеный ивовый короб.

Провожали тетю Марусю с Димкой всем двором. Алишер привез от газалкентских родственников барана, женщины сотворили божественный плов, а из купленного на базаре виноградного сахара приготовили нават, напекли фигурное печенье куш-тили и жжеными сахарными катышками угощали детишек, слетевшихся в их двор со всех окрестностей вместе с мухами.

«Прощание» началось с самого утра и закончилось к вечеру, за час до отхода московского поезда. Плакали, как водится. Даже дворняжка Брахмапутра очень к месту подвывала, не забывая таскать со скатерти все, что плохо лежит. Бабушка Нилуфар привязала к ручке короба баул с завернутым в вощеную бумагу бешбармаком, уложила сдобные пирожки и курагу, всучила Димке в руки кулек с желтыми сливами. И все приговаривала:

— Ай! Алтын джужа! Золотой цыпленок!

До вокзала пошли целой демонстрацией. Димкины «невесты» и «просто знакомые девочки», количество которых в торжественном эскорте постоянно менялось, тянулись шлейфом до самого перрона. Он хотел было перецеловать их всех (чтоб запомнили), но проводница, похожая на взлохмаченную ворону, гаркнула на тетю Марусю, чтобы все занимали места согласно купленным билетам, а родственники и прочие «не нагнетали обстановку». И от поцелуев Димка воздержался. Пацанов тоже было много, но он обнял только Мансура и клятвенно пообещал приехать погостить на следующие каникулы, прибавив шепотом, что если тетя Маруся не даст денег на билет, то он сам прибудет в Ташкент под вагонным брюхом — а что, ему не страшно, он же родился на железной дороге.

Бабушка Нилуфар долго мяла Димку в беспокойных руках, словно лепила из теста чучвару, поправляла на нем тюбетейку и, не выдержав и пустив из одного глаза слезу, напоследок проговорила: «Ок йул!» — «Белой дороги!» Поезд тронулся, оставив позади гостеприимный солнечный Ташкент и такие же солнечные, яркие, слепящие, как фонтанные брызги, детские воспоминания.

* * *

Дорога, и правда, оказалась «белой». До Москвы поезд шел три дня, два из которых — через степь, белесо-седую, выжженную, с ломкой гривой ковыля, мелькавшего за окном, пучками кустов бобовника и спиреи да редкими корявыми саксаулами. Хлопковые поля тянулись бесконечными полосатыми матрацами, бело-коричневыми, с мелкими пестрыми кляксами женщин, собиравших урожай. Димка вспомнил, как почти год назад, в сентябре, их класс отправляли на грузовичках на сбор хлопка, — всех школьников до единого, даже первоклашек, как собирал он ватные

фонарики в большую наволочку, привязанную к спине, и как болели потом пальцы и трудно было держать на уроках перо.

Тетя Маруся грустила, всю дорогу смотрела в окно, вспоминая, как восемь лет назад ехала в Ташкент с любимой сестрой, и изредка позволяла Димке поить себя чаем. Он наливал кипяток из стоящего у тамбура залатанного титана в большую железную кружку и, глядя тетю Марусю по голове, читал ей что-нибудь из Пушкина. Тетя Маруся всхлипывала, прижималась губами к белым кудрям племянника и в который раз повторяла: «На родину едем, в Ленинград».

Дорогу от Москвы до Ленинграда Димка почти не запомнил: перед самым отправлением тетя Маруся купила на Ленинградском вокзале «Занимательную энциклопедию», и Димка нырнул в нее с головой. Он с восторгом читал и старался запомнить все подряд: как образуется исток реки, как горит хвост кометы и как муравьи доят тлю. А рано утром, с трудом соображая, где он и что с ним происходит, Димка выглянул в окно и увидел серую пелену тумана, а в нем, как в кумысе, плавали люди с баулами и чемоданами, и взволнованный голос тети Маруси произнес: «Мы приехали».

Московский вокзал дышал в лицо теплой сыростью и гостеприимно распахнул громоздкие чугунные ворота на шумную и суетную площадь Восстания. Город поразил Димку количеством людей, одетых в шерстяные пиджаки — по узбекской зиме, и множеством пятиэтажных домов, каких в Ташкенте не было, и еще тем, что на улицах ездили, в основном, автомобили и ни разу не встретился ишак. Обычная ленинградская августовская погода показалась ему чересчур холодной, а вот дождь невероятно понравился: в Ташкенте бы так — много луж, целые реки на мостовой, и так сладостно-утробно журчит поток, кружась воронкой и убегая в шербатую решетку люка!

Тетя Маруся долго стояла напротив своего старого дома в Якобштадтском переулке, вглядываясь в темные глазницы окон их комнаты на четвертом этаже, и все не решалась перейти улицу и толкнуть дверь парадной. Наконец высокая тощая старуха в длинном фартуке окликнула ее из подворотни, и тетя Маруся, ахнув и прошептав Димке, что это и есть та самая дворничиха баба Нина, бросилась той на грудь.

Из соседей по коммуналке, помнивших их семью, выжила только Ольга Романовна. Два ее сына погибли на фронте, а дочь жила с мужем в Москве. В четырех других комнатах обосновались три новые семьи, подселенные на освободившуюся жилплощадь уже после войны. Комнату тети Маруси отстояла у ЖЭКа баба Нина, написав заявление «куда надо», что, мол, точно знает: сын героически погибшего танкиста Фёдорова и его родственница Мария Ивлева вот-вот вернутся из эвакуации.

В комнате, несмотря на то, что замок на двери был сломан, почти все вещи сохранились целыми. Паркет остался лишь под шкафом и тяжелым черным диваном, в центре его не было — соседи разобрали в блокаду и стопили в буржуйке. Еще не хватало ореховой этажерки, но книги и перевязанные голубой ленточкой письма, которые на ней были, аккуратной стопочкой виновато лежали на подоконнике.

Тетя Маруся выдала Димке тряпку, и они в четыре руки принялись за уборку. Пыли, скопившейся за долгие годы их отсутствия, было много. Тетя Маруся сосредоточенно молчала, и Димка не решался приставать с вопросами — чувствовал, что ее полностью захватили воспоминания. Она поочередно брала в руки то отцовы очки в потрескавшемся кожаном очечнике, то вышитую мелким бисером плоскую театральную сумочку матери, то фотографию в толстой раме, где они со старшей сестрой, Димкиной матерью, сидят, прислонив друг к другу головы, и смотрят куда-то вдаль, такие счастливые, юные и круглолицые. И лишь когда Димка заметил, что

тетя Маруся остервенело пытается оттереть тень от латунной ручки на белой филенчатой двери, подошел и осторожно тронул тетю за плечо:

— Ты поплачь, тетя-Марусечка.

Тетя Маруся обняла Димку и, уткнувшись лбом в его рубашку, беззвучно проревелась.

Ленинград показался Димке городом с другой планеты. Невероятным, невысказанно красивым, большим, немного печальным. Все было иначе, чем в Ташкенте. Неяркие краски домов и лиц, сизое в рваный голубой просвет небо и лужи, аккуратные, как бухарские лепешки, напоминали о том, что в этом городе надо заниматься совсем другими вещами, чем в Ташкенте, — например, писать грустные стихи, вздыхать и умирать от неразделенной любви к кому-нибудь. Как Пушкин. Собак было очень мало, и лаяли они интеллигентно, не брехали впустую, а словно что-то говорили, но не настойчиво, а так, «к слову». Двери квартир запирались на ключ, что было совсем странно. Люди не останавливались посередине улицы поговорить, а, даже если знали друг друга, кивали, слегка наклоняя головы, и спешили дальше. Только мальчишки в узбекских тюбетейках были такие же, как в Ташкенте, и в первый же день дворового знакомства показали Димке окрестности со всеми подворотнями и лазами и научили жевать вар, который кровельщики разводили в чумазах железных бочках, похожих на гигантские осиные гнезда.

Но самое главное отличие было, конечно, в запахах. Родной ташкентский дворик говорил ароматами кухни, кунжутным маслом, прогретым до черного дыма, растопленным курдючным жиром, угольной сажей, вывешенными на просушку ватными матрасами-курпачами, мокрой шерстью, кислым молоком. И еще иногда терпким клеем, которым бабушка Нилуфар промазывала бумажные ленты для кассового аппарата — от проклятых мух — и выкладывала во дворе, от чего тот становился похожим на маленькое полосатое хлопковое поле.

Ленинградский двор покорила Димку сладковатым запахом подмоченных дождем дров, которые все соседи хранили под хлипким брезентовым навесом, помечая их номерами квартир. Невероятно пьянил аромат опилок, вылетающих брызгами из-под двуручных пил, густой запах сапожной ваксы, витавший рядом с будкой чистильщика обуви, которого все называли почему-то «айсор». И еще дух горящего металла, исходящий от искр ножей и ножниц, сопровождаемый басовитым протяжным криком-песней точильщика: «Ножи точу, бритвы пра-а-а-авлю!»

На второй день по приезду Димка случайно вышел к Фонтанке, а оттуда к Никольскому собору, ярко-голубому, праздничному, словно отороченному белым пенным кружевом, и стоял долго-долго, обомлев от красоты, не решаясь подойти ближе. И только когда какая-то сердобольная женщина спросила его: «Ты что плачешь, мальчик? Случилось что?», вдруг опомнился и побежал со всех ног к дому.

Тетя Маруся в оставшуюся до начала учебного года неделю сводила Димку в Эрмитаж и Артиллерийский музей. Царские покои, безусловно, произвели на него впечатление, но все же меньшее, чем Александровская колонна, которая стоит себе на Дворцовой площади и почему-то не падает, хотя ленинградский ветер с Невы может свалить что угодно. С трудом достав билеты в Кировский театр, они вдвоем сходили на «Аиду» в исполнении гастролирующей киевской труппы. «Аида» Димке совсем не понравилась, зато огромная театральная люстра просто околдовала его. Он завороченно смотрел на нее, медленно гаснущую, и с нетерпением ждал антракта, когда она снова оживет. И представлял, как вырастет и непременно придет сюда работать — нет, не артистом, не дирижером, а протиральщиком люстры, как будет стоять на высоких лесах и нежно перебирать в пальцах ее хрустальные нити и гладить граненые шарики, так похожие на сахарные леденцы. И аплодировал он вместе со всеми, и вдохновенно

кричал: «Браво», но только ей, ей — люстре! А когда на выходе из театра тетя Маруся произнесла: «Это было божественно!», — Димка совершенно сознательно с ней согласился. Да. Это действительно было божественно!

* * *

Первого сентября было ветрено, но довольно тепло. Тетя Маруся отвела Димку на школьный двор, где ровным квадратом выстраивались ученики в отутюженных гимнастерках, и начищенные пряжки их ремней, поймав редкий ленинградский солнечный луч, блестели и слепили глаза. Остаться до конца торжественной линейки она не смогла: у нее тоже был первый день на новой работе в машинописном бюро. Поцеловав племянника и проверив, не забыла ли она положить ему бутерброды в портфель, тетя Маруся побежала на трамвайную остановку.

Димка смотрел на стриженные затылки впереди себя и думал о том, что за полторы недели пребывания в Ленинграде так и не познакомился ни с одной девочкой. В его дворе обитали две близняшки, с одинаковыми птичьими лицами и испуганными круглыми глазами, но они выходили гулять только с сурового вида дедом в военном кителе, и приближаться к ним не было особого желания. Еще постоянно вертелось под ногами несколько дошколят, но девичий народец, не знавший еще школьной парты, Димку совсем не впечатлял.

— А девчоночьи классы где? — шепотом спросил он парнишку, стоящего рядом.

— Они в 283-й все, — ответил мальчик.

— А это далеко?

— В конце улицы.

Димка взглянул на директрису, стоящую под большим портретом Сталина и призывающую достойными отметками встретить новый учебный год.

— Я сейчас, быстро... — шепнул он все тому же мальчугану.

— Мне-то что? — равнодушно пожал плечами тот.

Димка протиснулся к воротам и, выйдя на улицу, со всех ног припустил по мостовой. Добежав до сквера в конце улицы, он принял к прутьям ограды и начал разглядывать девочек, построенных, так же как и в его школьном дворе, буквой «П» в два ряда. Речь директрисы была похожа на ту, что он только что слышал в своей школе. Через минуту зазвенел колокольчик, и ученицы под бодрый марш медленно потекли в распахнутые двери, семена и постоянно натываясь на спины друг друга.

Больше всех Димке понравилась рыженькая. Ее косички, завязанные баранками у маленьких розовых ушей, отливали на солнце медью, а круглое мраморное личико, усыпанное веснушками, было трогательным и нежным. Одно только огорчило Димку: на нее девочки висел пионерский галстук. Это, к величайшему Димкиному сожалению, было неоспоримым доказательством того, что она его, второклассника, в упор не разглядит. Такие уж они, девчонки, — младших пацанов за кавалеров не считают. Да и за людей иногда тоже.

Димка с горечью подумал, что между ним и рыженькой как минимум два года разницы. Она, наверное, в четвертом, а то и в пятом классе, и эта пропасть в возрасте показалась ему вопиюще гигантской, неправильной, не оставляющей ни единого шанса на успех. Так что можно было не тратить время впустую. Димка еще раз взглянул рыжей вслед, увидел ее худенькую спину, перетянутую лямками белого фартука, и облегченно вздохнул: со спины она даже и некрасива.

Лица других девочек мелькали так быстро, что выхватить в их веренице симпатичную мордашку оказалось не так-то просто. Одна из первоклашек издала показала ему язык, и Димка сначала возмутился, но тут же сообразил, что, возможно, она так выказывает ему знак внимания, и скорчил в ответ обезьянью рожицу. Девочка хмыкнула, передернула плечами и, гордо подняв голову, удалилась. Димка понял, что вот так, наспех, подружку выбрать сложно. Самое правильное было бы вернуться в свою

школу, а после уроков уже подойти к делу серьезнее. Как — Димка пока не придумал, знал лишь, что выбор — дело вдумчивое.

Когда он вернулся к школе, оказалось, что всех уже развели по классам.

— Что ж ты опаздываешь, милоч? — вздохнула сердобольная гардеробщица и указала ему путь на третий этаж, где находился его 2-й «б».

Димка поблагодарил и помчался наверх, перепрыгивая через две ступени.

Дверь в класс была немного приоткрыта. Учителя не было. Мальчишки гудели, плевались из трубочек, хлопали по головам друг друга учебниками. Димка с досадой подумал, что совсем никого из них не знает и надо войти и выдержать как минимум пулю в лоб из жеваного катыша промокашки и автоматную очередь ядовитых колкостей. Ну и пусть! Он-то им ответит, не лыком шит! Но, как назло, все удачные русские остроумные выражения выветрились из его головы, оставив лишь неприличные узбекские словечки. А ими, чуяло его сердце, отвечать бесполезно — не поймут и обсмеют еще больше.

— Новенький? — прошелестел над ухом ласковый женский голос.

Димка обернулся. Молодая учительница смотрела на него огромными темными глазами. Под мышкой у нее была карта, свернутая в рулон.

— Боишься зайти в класс? — так же ласково спросила она.

Дыхание у Димки дернулось и остановилось. Он молча кивнул.

— Я тоже.

Она заправила прядь черных волос за ухо и подмигнула Димке.

— Что вы тоже? — ошарашенно переспросил он.

— Я тоже новенькая. И тоже боюсь зайти в класс.

Учительница улыбнулась ему и заглянула в щелку.

Она показалась Димке ангелом, каких рисовали узбекские расписчики тарелок: смуглая кожа, высокие скулы, большие черносливовые глаза — чуть раскосые, вытянутые, уходящие уголками к самым вискам. Короткая стрижка «каре», какие носили женщины в ташкентской администрации, казалось, была создана специально для нее: открывала уши, похожие на маленькие фаянсовые пиалы, с круглыми красными сережками на золотистых мочках, и шею — тонкую, чуть покрытую нежным пухом у самой кромки волос. И руки — с тонкими загорелыми запястьями и пальцами, длинными, как в у пианисток... И вся она, в светлой блузе и узкой темно-серой юбке, схваченной на тонкой талии пояском, напомнили ему иллюстрации к «Бахчисарайскому фонтану».

— Как тебя зовут? — шепнула она Димке.

Димка, плохо соображая, все любовался и любовался ее лицом.

— Алтын джужа, — с трудом выговорил он, боясь моргнуть. Потому что если моргнешь — она может исчезнуть. Уже бывало так.

— Как ты сказал? — она повернулась к нему, и Димка уловил запах духов, каких-то необыкновенных, напомнивших ему лавку фруктов и пряностей дядюшки Фаруха на углу их ташкентской улицы. Димка почуял аромат апельсинов, вспомнил, как они оранжевой горкой лежали на деревянном лотке; и бергамот — тонкие веточки с длинными темно-зелеными листьями, связанные ниткой; и разложенные на льняной салфетке рифленые коричневые зерна кардамона. И еще что-то вкусное, неуловимое. Так, вероятно, пахла нарисованная Зарема из «Бахчисарайского фонтана».

— Извините, — запнувшись, сказал он. — Это по-узбекски. Золотой цыпленок...

— Золотой цыпленок? А на самом деле? — ее глаза лукаво смеялись.

— Дима Фёдоров.

— А меня зовут Ольга Саяновна. Ну, пошли, Дима Фёдоров. Вместе не так страшно, правда?

Димка хотел было ответить, что ему совсем не страшно, подумаешь — новые одноклассники, но никакие слова не приходили в голову.

Ольга Саяновна толкнула дверь. Гул сразу стих.

— Вас ни на минуту нельзя оставить!

Димка плохо помнил, как его представили классу, как он сел с кем-то белобрысым и ушастым, пахнувшим дымом от пистонов, и как выходящие к доске ребята рассказывали о проведенных каникулах. Он все смотрел и смотрел на Ольгу Саяновну и не мог никак оторваться. Она была так непохожа на ленинградских взрослых женщин. Ее восточные скулы и глаза, цветом похожие на вар, который научили его жевать здешние мальчишки, и золотистая от загара кожа, и дёготно-смоляные волосы — все напомнило ему родной Ташкент.

Ребята по-одному выходили к доске, что-то говорили. Когда очередь дошла до Димки, он подошел на ватных ногах к карте, ткнул негнувшимся пальцем в республику Узбекистан, не очень заботясь, попал ли палец в Ташкент, и тихим осипшим голосом поведал об их двореке, о хлопке, о базаре Чорсу, о бабушке Нилуфар, Мансуре, дворняге Брахмапутре и друзьях по первому классу. Он говорил без остановки, словно чувствуя потребность помочь ей заполнить урок. «Я тоже боюсь», — вспомнил он ее слова в коридоре. И он, Димка, просто обязан был защитить ее, сделать так, чтоб ей не было страшно, заслонить от злодея, от целого татаро-монгольского ига, а лучше — от дракона. Вот бы он залетел сейчас в окно, и все бы испугались, а Димка взял бы указку в руки и, как Д'Артаньян шпагой, заколол бы врага! И бросил его огнедышащую тушку к Ее ногам...

Ольга Саяновна кивала, задавала ему какие-то вопросы про Ташкент, Димка отвечал, краем глаза выхватывая из-под учительского стола ее ступню в туфельке с квадратной пряжкой и коленку, обтянутую чулком карамельного цвета.

Потом еще что-то происходило. Был второй урок, третий...

— Дима, почему ты не идешь домой? Или играть в футбол с ребятами? — голос Ольги Саяновны заставил Димку встрепенуться. Где-то на улице раздался звон выбитого стекла, мальчишеский крик и следом залихватистый милицкий свисток.

— Я иду... — ответил Димка, подхватил портфель и направился к коридору, плохо соображая, что сейчас с ним происходит.

У двери он остановился и вдруг осмелел:

— Ольга Саяновна?

— Да.

— Ольга Саяновна... — он произносил ее имя, как любимое стихотворение Пушкина, на полувдохе, наслаждаясь его звучанием и желая вновь испытать удовольствие от его повторения. — Ольга Саяновна... А можно вас спросить?

— Конечно.

— Ольга Саяновна... А вы замужем?

...И выдохнул, зажмурив глаза и боясь услышать ответ.

— Да, я замужем. А почему ты спрашиваешь, Золотой цыпленок?

Она произнесла «Золотой цыпленок» так тепло, что у Димки несомненно перехватило бы дыхание, если бы не холодное, змеиное, жужжащее слово «замужем», сказанное на полсекунды раньше. Он почувствовал, как оцепенели кисти рук, и сжал ручку портфеля так крепко, что костяшки пальцев побелели.

— Я так просто...

Он зачем-то кивнул и выбежал из класса.

На Фонтанке Димка долго вглядывался в темную муть воды, навалившись животом на гранитную ограду у Измайловского моста, и ни разу не вспомнил, как

хотел после уроков бежать к женской школе смотреть на девочек. Что-то произошло с ним сегодня, что-то невероятное, а что — он и сам бы себе ответить не смог, лишь смотрел на водную рябь и суетящихся уток, сверху напомнивших ему лузгу от семечек, и пытался унять отчаянно колотящееся сердце, отдающее горячими ударами в виски.

* * *

Ольге Саяновне Золхоевой накануне Первого сентября исполнилось двадцать шесть. Она была ровесницей тети Маруси, разве что на неделю младше. Закончив педагогический институт в Иркутске и отработав учителем по распределению четыре года в забытом богом селе Манзурка на речушке с таким же почти танцевальным названием, она к своему безудержному счастью перебралась в Ленинград. Муж проходил службу с инженерным десантом на строительстве какого-то завода в дружественном Китае, писал ей длинные, пространные письма, из которых она не могла понять, здоров ли он и скоро ли приедет, и изредка слал с оказией посылки, в которых бумажные веера и атласные нижние сорочки соседствовали с кусачими носками из собачьей шерсти и грубой выделки кожаными сумками на задубелых негнувшихся ремнях.

Жила Ольга Саяновна в комнате покойной родственницы, через улицу от школы, в красивом доме с башенкой и цепочкой сквозных дворов-колодцев, словно пищевод, петлявших во внутренностях двух-трех одинаковых пятиэтажек, спаянных между собой позвоночниками внешних стеклянных лифтов. Одежды у нее было мало, но она умудрялась перешивать присланные мужем комбине в элегантные блузы с бантом и носила их неизменно с одной серой юбкой, ушитой точно по фигуре.

Приехав в Ленинград, она первым делом остригла длинную косу, отдавшись на волю и фантазию соседки по квартире парикмахерши Зоси, — этим хотелось ей «узаконить» новый этап в жизни. Стрижка «каре» невероятно преобразила ее, сделала грубоватые черты тоньше, пикантнее, а глаза, которые она считала единственным своим неоспоримым женским достоинством, ярче и выразительней.

В новой мужской школе старый костяк учителей встретил ее настороженно, но Ольга Саяновна и не рассчитывала на другой прием: кто она, деревенская учительница со штампом забайкальской национальности на лице, по сравнению со столичными (ну, или почти столичными) педагогами? Для «боевого крещения» класс ей выделили «хулиганистый». Так, по крайней мере, считали коллеги, но Ольга Саяновна сумела найти к ученикам подход. Он, этот подход, заключался в том, что она, рискуя своим учительским авторитетом, позволяла мальчикам не отвечать невыученный урок, но лишь с условием, что перед началом занятий они у нее «отпросятся». То есть подойдут и честно предупредят, что не готовы. За эту честность Ольга Саяновна не вызывала к доске, но на следующий день «отпрошенные» обязаны были ответить ей задолженный материал, и судила она уже по всей строгости.

Мальчики в классе были шумные, но любознательные, и Ольга Саяновна с удовольствием эту любознательность в них культивировала, принося в класс книги о путешествиях и отрывая по пять минут от какого-нибудь урока на рассказы о великих первопроходцах и открывателях новых земель. Ребята слушали внимательно, глаза их горели. А неделю назад выяснилось, что один мальчик — Дима Фёдоров — все эти книги читал. Она сначала не поверила, но он с легкостью пересказал биографии Крузенштерна и Лисянского, с точностью указав на карте маршруты их путешествий. В восемь лет читать книги для взрослых она считала неправильным — ведь должно же быть у ребенка детство. Но говорить об этом с учеником или его тетей не стала — привычка к чтению, что ни говори, не относится к разряду вредных. Узнав, что он круглый сирота, да еще приехавший в Ленинград из Узбекистана, Ольга Саяновна решила побольше говорить с ним. Немного тепла ребенку не помешает, а разговаривать с Димой, и правда, было занятно. Он выделялся среди других мальчишек своими

взрослыми суждениями, недетской взвешенностью размышлений о жизни и неистовой любовью к поэзии — той поэзии, которую любила она сама и которая ей, так же, как и, наверное, ему, помогала забыть, что она потеряла в войну отца и мать, и так же, как этот южный мальчик, приехала в чужой, незнакомый, вечно дождливый город.

Так понемногу беседовали они, и ее искренне радовало, как он умеет слушать, затаив дыхание, как шевелятся его длинные реснички и прыгают искорки в глазах. И Ольга Саяновна неизменно думала о том, что так мог бы сидеть напротив и слушать ее сынишка, которого ей еще не привелось родить, но ведь не поздно еще, не поздно! Скорей бы вернулся муж! И Ольга Саяновна, поговорив с Димой, шла в учительскую, доставала перо и лист бумаги и писала мужу неизменно одно и то же: приезжай, мол, хотя бы на денек, очень соскучилась. Потом брела домой, улыбаясь сама себе, проигрывая в голове сцену встречи мужа и часы близости с ним. А вспоминая прошедший день, радовалась, что подарила немного тепла смышленому золотоволосому ташкентскому мальчугану, трогательному и впечатлительному — такому, каким непременно будет ее родной сынок.

* * *

Димка стоял за углом дома напротив школы и наблюдал за Ольгой Саяновной. Так он делал каждый день. Кипела осень, роняя под ноги резные желто-алые листья, и голубое с рваным облачным хлопком небо в который раз говорило о том, что надо однажды решиться и подойти к ней.

Ольга Саяновна улыбалась каким-то своим мыслям, и Димка фантазировал, что она вспоминает их сегодняшний разговор о море Лаптевых и об Арктике, и тоже начинал улыбаться, смущенно пряча нос в воротник суконного пальтишка.

И он решился.

— Ольга Саяновна, я провожу вас до дома, можно? Вы так интересно рассказываете, — Димка догнал ее и, не смея поднять на нее глаза, пошел рядом чуть впереди.

Ольга Саяновна вздрогнула, вернулась из своих мыслей на землю.

— Конечно, Дима. Если хочешь...

Заговорили о Пушкине. Димка не стал пугать ее знанием наизусть стихотворений о любви, лишь прочитал кусочек из «Руслана и Людмилы».

Она подхватила, принялась рассказывать, как они в иркутской школе, классе в седьмом, ставили спектакль, и как ей очень хотелось сыграть Людмилу, но учительница отдала ей роль колдуньи Наины.

Димка наблюдал за ней, чуть повернув голову. Как же просто было бы, если бы она была девочкой, его ровесницей! Он бы подошел и поцеловал. И даже объяснить бы ничего не стал. А как тут подойдешь к ней, к учительнице? От одной этой мысли у него побежали мурашки по телу. Ольга Саяновна — такая нежная, ласковая, лучшая из всех на земле! Вот если бы она была ученицей, пусть даже набитой душой! Самое большее, что грозило бы ему после сорванного поцелуя, — удар портфелем по голове и презрительное «Дурак!» Да он бы и стерпел. Но как, как, как подойти к взрослой женщине? В глубине души Димка понимал, что разрушит все, построенное между ними, — и разговоры, и Пушкина, и это сказочное: «Ты хочешь что-то спросить, Золотой цыпленок?»

Нет, он решительно умрет на месте, если когда-нибудь поцелует ее!

Димка начал по-особому присматриваться к тете Марусе. Стараясь, чтобы та не обнаружила его интерес, он наблюдал, как она собирается утром на работу, бегая в одной сорочке по комнате и спешно вытаскивая тряпочки-папилютки из волос; как, приоткрыв рот, красит губы рыжей помадой, а потом промокает их кусочком газеты; как оглядывает себя в зеркале, проводя пальцами под высокой грудью. Точно так же,

думалось ему, проходит утро Ольги Саяновны. Она, наверное, тоже спешит и так же прикасается ладонями к телу, поправляя шелковую блузу. И вдруг нестерпимо захотелось взглянуть! Забраться на подоконник и подглядеть. Но Димка, конечно, понимал, что быть пойманным за подглядыванием еще страшнее, чем познать позор от поцелуя.

Он с виртуозностью агента из шпионского фильма раздобыл об Ольге Саяновне все сведения, какие только мог, — от двух старушек-сплетниц, живущих с ней в одном дворе, от гардеробщицы бабы Фроси, любящей поболтать, от лопоухого первоклассника Петюни, внука ее квартирной соседки. И еще понемногу — из подслушанных возле учительской разговоров. Хотелось знать о ней все, и каждый раз, узнавая что-то новое, сердце его подпрыгивало одновременно от радости и ревности. От радости — потому что она как будто становилась ближе, а от ревности — потому что та же баба Фрося или Петюня стали ближе к ней чуть-чуть раньше.

— Ты что-то, золотой мой, совсем с девочками не дружишь? — заметила как-то тетя Маруся. — В Ташкенте у тебя толпа невест была, а тут никого. Или подменили мне тебя в ленинградском поезде?

— Они все кикиморы, тетя-Марусечка.

— Ну уж прям-таки и все?

— Поголовно.

Димка старался не говорить с тетей об Ольге Саяновне. Само произношение имени было невероятно тяжелым, как будто он сейчас выдаст себя голосом. Да и само имя у нее — хрупкое, как та самая хрустальная люстра в Кировском театре, что кажется — разобьется со звоном где-то посередине между именем и отчеством. Димка таращился на соседку по квартире Ольгу Романовну и никак не мог понять, как человек с таким старым и некрасивым лицом, исполосанным вдоль и поперек морщинками, точно скомканная промокашка, может носить имя Ольга. Решительно никак! Отчество же Ольги Саяновны — такое непривычное для слуха, вновь и вновь заставляло его открывать школьный географический атлас и подолгу разглядывать горы Саяны, желтой змейкой притаившиеся на юге Сибири.

Однажды Димке посчастливилось украсть ее фотографию. Это была поистине удача, о которой он и не мечтал. Директор школы обязал всех учителей принести карточки, и Ольга Саяновна вместе с другими учителями пошла в фотоателье на Измайловском проспекте. Димка забежал туда на следующий день и увидел, как пожилой сутулый фотограф в запятнанном кургузом халатике раскладывает на столе сделанные фотографии — по четыре штуке каждого снимка. Брать чужое Димка был не приучен, но много раз видел в Ташкенте, как пацанята крали фрукты и семечки с лотка торговцев на базаре. Тактика была проста: подскочить, схватить и дать деру. Не побежит же дядька за тобой, бросив товар на радость другим воришкам! Зайдя в ателье, Димка сосредоточенно разглядывал выставленные за стеклом карточки, даже не ожидая такой удачи: вот она, фотография Ольги Саяновны, в строгом жакете с широкими плечами, с брошью у воротника блузы. Даже дыхание перехватило. Фотограф что-то уронил под стол, кряхтя нагнулся, а когда выпрямился — маленького посетителя уже и след простыл.

Димка бежал со всех ног, прижимая фотографию к груди, и отдышался только на лестнице своего дома, когда со ржавым вздохом захлопнулась за ним тяжелая входная дверь.

Снимок Ольги Саяновны он поместил в томик Пушкина, как раз там, где было стихотворение «Я вас люблю, хоть я бешусь...», которое он обожал. Книгу же прятал за кровать — чтобы не нашла тетя Маруся, и ночью иногда доставал, гладил, разглядывал в свете уличного фонаря, стыдливо подсматривающего за ним в окно, и был нескончаемо счастлив.

* * *

Тетя Маруся удивилась, обнаружив у Димки в дневнике единицу по русскому языку. Удивилась настолько, что даже не сразу сообразила рассердиться. Русский язык — его любимый предмет, и мысль о том, что племянник может чего-то не знать или не подготовиться, даже не приходила ей в голову. Димка же заверил ее, что кол этот не от незнания, а из-за поведения (вертелся на уроке, подсказывал другим) и, мол, к концу четверти он все исправит. Тетя Маруся, вспоминая слова, которыми родители ее саму журили за тройки, отругала Димку с воспитательными целями, но особо не расстроилась: конечно же, он исправит плохую оценку.

А история с единицей была замечательной. Димка знал наперед материал уроков чуть ли не до конца учебника и активно тянул руку в классе. Ведь так приятно выходить к доске, стоять рядом с Ольгой Саяновной, отвечать бойко, получать от нее похвалу, слушать, как она называет его по имени. Но он заметил, что она почти перестала его спрашивать: Димка сразу наполучал пятерок, которых хватило бы уже до окончания четверти, и, как ни рвался к доске, слышал: «Я верю, Дима, что ты знаешь урок. Давай послушаем других». Он обиделся и намеренно написал диктант на тройку с минусом. Потом еще намеренно ответил неправильно. Ольга Саяновна оставила его после уроков.

— Дима, что с тобой? Ты же знаешь предмет! Мне кажется, ты нарочно ответил неправильно, — сказала она, строго посмотрев на него, и Димка застыл под взглядом ее черных сказочных глаз.

— Чес-слово, не знаю. Забыл, — соврал он.

И целых сорок минут, пока она объясняла якобы не выученные им правила, они сидели рядышком, голова к голове, и Димка плавился от счастья.

Таких дополнительных занятий случилось три. А на следующий день Ольга Саяновна вызвала Димку к доске и спросила то, что накануне объясняла ему. Он намеренно молчал, глядя в пол. Класс ехидно посмеивался. Она задавала наводящие вопросы, притягивала за уши к очевидному ответу, но Димка не проронил ни звука. Ей пришлось поставить ему единицу.

Он предвкушал сладкий момент повторений неусвоенного урока, опять с ней вдвоем, без посторонних глаз! А если пофантазировать — она возьмет и пригласит его к себе домой, ведь так бывает, ученики же навещают учителей. Но Ольга Саяновна, к глубочайшему его горю, не оставила Димку после занятий и домой не пригласила, а попросила отличника Кольку Комарова позаниматься с ним. Комаров дал честное пионерское к 7-му ноября сделать из Димки человека и с идейным упорством принялся надоедать ему упражнениями по грамматике. Теми самыми упражнениями, которые Димка переделал в первую же неделю учебного года.

Терпел «буксира» Димка недолго, вызвался вскоре отвечать и исправил злополучный кол, на который у него были большие сердечные надежды.

* * *

Бабушка Нилуфар любила говорить: «Ты храбрый, Алтын джужа, ты, главное, когда испугаешься, — вспомни: ты храбрый. И тогда большой страх станет маленьким, как чечевичный боб».

Боязнь сделать шаг и признаться в своей любви, огромной, как космос, сидела в Димке глубоко и поедала его изнутри. Любовь приносила страдания, но он понимал, что без этого нельзя — так у Пушкина, у Лермонтова, у Навои. Близилась зимние каникулы, школа подпоясалась плакатом через весь фасад:

«ВЕСЕЛО ВСТРЕТИМ НОВЫЙ 1950 ГОД!»

Димка не желал каникул. Целых две недели без ежедневного счастья видеть ее, слышать ее и, если повезет, иногда украдкой касаться ее руки — незаметно, когда все

ученики сдают тетради. А еще на перемене, когда одноклассники носятся по коридору и можно сделать так, как будто кто-то ненароком толкнул, — и тогда, падая, дотронуться до ее спины.

Но Новый год — время подарков, и как же хотелось ему что-нибудь подарить Ольге Саяновне!

У тети Маруси была овальная брошка из агата. Камень — черный, как ташкентская ночь, напоминал Димке глаза Ольги Саяновны — такие же темные, жгучие, чуть раскосые и всегда немного грустные. Тетя Маруся брошь не любила, по приезду в Ленинград не надевала ни разу, и Димка решил принести вещицу в школу.

— Что это, Дима? — спросила Ольга Саяновна, вертя в руках брошку.

— Подарок, — ответил он, заливаясь рубиновой краской. — На Новый год.

Ольга Саяновна нахмурилась.

— Откуда она у тебя?

— Просто... Была...

Она вздохнула и пододвинула брошку к нему.

— Спасибо, Золотой цыпленок. Но я не приму. Ты ведь у тети взял? Из шкатулки?

Димка сразу вспомнил тети-Марусину коробочку из-под пудры с жирными буквами «ТЭЖЭ», где она хранила всякие мелкие штучки, и тоже вздохнул, громко и трагично.

— Давай сделаем так, — улыбнулась Ольга Саяновна, — ты отнесешь обратно брошку, положишь ее на место и больше никогда — слышишь — никогда не будешь брать чужое. А я мысленно буду представлять, что ношу твой подарок вот здесь, — она коснулась рукой собственной брошки с чуть желтоватой камеей на ярко-голубом фоне.

Димка снова кивнул и, зажав брошь в кулаке, поплелся домой.

Ольга Саяновна жалела Димку, все еще списывая его невероятную романтичность на глубокое одиночество, а от одиночества — неестественную для ребенка привязанность к взрослым книгам и стремление больше общаться с ней, учительницей, а не со сверстниками. После родительского собрания она даже осторожно поговорила с тетей Марусей, рассказала ей, что немного тревожится за него. Но та лишь отмахнулась: в Ташкенте, мол, племянник пропадал до ночи с пацанятами, а тут дома сидит, уроки делает или книжки читает. А уделять ему время ей совсем некогда — днем работа, вечером подготовительные курсы для поступления в институт. Одет же, обут, обстиран, хорошо учится — чего тревожиться-то?

Возразить было нечего, и Ольга Саяновна лишь попросила давать ему читать что-нибудь детское, соответствующее возрасту. Тетя Маруся лишь пожала плечами. Димка уже года четыре как имел свое мнение по поводу книг, прочитал, может, даже больше, чем она сама за всю жизнь, и навязывать ему что-нибудь помимо воли было пустой тратой времени.

* * *

Прошли каникулы — зимние, потом весенние. Димкина любовь превратилась в какую-то невероятную по степени боли тоску. Однажды, провожая Ольгу Саяновну от школы до дома, он сказал:

— А хотите, я прочитаю вам стихотворение?

— Очень хочу.

Он прочел то, что написал для нее. Рифмой он был доволен, но собственный стих казался ему самому наивным, кособоким. Привычка же в творчестве сравнивать себя с Пушкиным всегда была для Димки поводом для грусти — у того получалось намного лучше.

— Какие интересные стихи. Чьи они?

Димка подумал, что сейчас она догадается, что это сочинил он, и будет смеяться. Про себя смеяться, конечно, внешне не покажет, но обязательно подумает: «плохо».

— Вам правда нравится?

— Правда.

Димка плотно стиснул губы, чтобы предательская улыбка его не выдала.

— Ну, это поэт один... Малоизвестный. В старой газете нашел.

Они молча шли к ее дому, и Димка с восторгом вслушивался в весенний гвалт птиц и шурился на яркое солнце, пестрое на лужах, такое долгожданное. Жизнь показалась прекрасной.

Ольга Саяновна сначала подумала, что, возможно, это его, Димкины, стихи. Отметила хороший слог, необычные образы. Очень талантливо... Хотя, слишком талантливо для восьмилетнего мальчика, и такая искренняя чувственность, как будто автор всю жизнь любил одну женщину. Только взрослый человек с опытом мог бы так написать. Конечно, она ошиблась. Стихи из старой газеты... Наверняка, еще фронтовой — тогда часто печатали любовную лирику, чтобы как-то приободрить народ.

— Это хорошее стихотворение, Дима. Когда ты вырастешь, ты, конечно же, поймешь, что чувствовал автор, когда писал его. А может быть, тоже станешь поэтом. Как Пушкин.

— Как Пушкин не стану, — ответил Димка, не зная, радоваться ли тому, что она не догадалась, или огорчаться.

Дома он достал из томика Пушкина фотографию Ольги Саяновны и долго смотрел на нее, пытаясь разглядеть в глубине черных глаз ответ на волнующий его вопрос: «Да, Дима, я догадалась, что это твои стихи. Но должна была притвориться, что поверила про старую газету. Ты же понимаешь».

«Я понимаю, — шептал карточке Димка, — я все понимаю».

И казалось ему, что он слышит запах Ольги Саяновны, исходящий от фотографии, — запах духов «Красная Москва» и еще чего-то необъяснимо прекрасного.

* * *

Она вылетела из дома, на ходу застегивая легкий плащ, и пошла спорым шагом в сторону Обводного канала. Было воскресенье, и витрины закрытых магазинов подслеповато таращились ей вслед большими немытыми стеклами, а озорное апрельское солнце кидало под ноги крупу ярких бликов.

Димка, по обыкновению сидевший воробушком на крыше низенькой сапожной будки и наблюдавший за ее окном, вспорхнул и кинулся за ней.

— Ольга Саяновна, можно я пойду с вами?

Она обернулась, и он увидел, как пылало румянцем ее лицо, а глаза светились. Даже казалось, что цвет их поменялся, — стал медово-сливовым.

— Нельзя, Дима. Это далеко.

— Мне все равно.

— Я иду на Митрофаньевский рынок.

Ее каблучки цокали по мостовой, отдавались гулким отзвуком в ушах. Она прибавила шаг. Димка догнал ее и, намеренно ступая широко, пошел рядом.

— Я тоже на Митрофаньевский.

Она резко остановилась.

— Иди домой.

И, словно не в силах сдерживать больше радостную новость, заулыбалась и произнесла:

— Платье новое иду покупать. Муж приезжает, телеграмму дал.

Димку словно кто-то хлестнул прутом по лицу.

— Муж?

— Да! Мне срочно нужно платье!

Она говорила, как будто сквозь перьевую подушку, — так слышал ее слова Димка. Муж! Конечно, у нее же есть муж! И он приезжает в отпуск, а может, и насовсем. И она хочет быть для него красивой. Для него, для него!

— Но вы и так... — он хотел было сказать «красивы без нового платья», но вовремя осекся.

Ольга Саяновна словно не слышала. Все гнала и гнала его прочь, но Димка упорно вышагивал рядом. Наконец она сдалась.

— Тебя не хватятся дома?

Он молча покачал головой, стараясь не отставать от нее.

Они дошли до Балтийского вокзала, свернули на Митрофаньевскую дорогу, тянувшуюся далеко сквозь пустыри и убитые низенькие складские здания. На самом краю старообрядческого Громовского кладбища, за ветхими подгнившими досками забора открылся иной мир, совсем не похожий на ташкентский базар: шныряли люди с папиросами в зубах, женщины в телогрейках трясали товаром, пахло жареными пирожками и чем-то кислым. Пиджаки и пальто торговли вешали прямо на могильные кресты, продев рукава в тонкие, закругленные на концах реи. Шляпы из фетра и восьмиклинки лежали на бортиках раковин. Кепки-лондонки — мохнатые, серо-бежевые, в крупный и мелкий «прыщик» букле, похожие на замерзших зверьков, — согревались боками на упавших оградках. Рядом, на ящиках, красовалась всякая всячина — часы, скрипки в потертых футлярах, рабочие инструменты, хромовые сапоги, желтобокие самовары, чашки — новые и со сколом, трофейные швейные машинки. Рынок гудел, каркающие выкрики торговков перекрывали сиплую песню безногого мужичка с тальянкой, толкавшего после каждого спетого куплета тележечку на колесах под ноги суетливой толпы.

Димка поежился. Его пнули, он едва не упал, ухватился за крест и тут же в ужасе шархнул от него.

— Дима, не отходи от меня ни на шаг! И смотри по сторонам — ворье кругом.

Ольга Саяновна взяла его за руку, и Димкина ладонь тут же вспыхнула жарким огнем.

Они долго бродили меж рядов, Ольга Саяновна приценивалась, охала, что дорого. Он же не видел и не слышал ничего, лишь крепче сжимал ее пальцы и был готов вечно жить на Громовском кладбище, лишь бы не отпускать любимую ладонь.

Наконец она замерла возле синего платья с белым вязаным воротничком. Интеллигентная женщина в маленькой бархатной шляпке тихим голосом назвала цену, пояснила, что отдает почти даром, потому что срочно нужны деньги. Ольга Саяновна погладила материал рукой, приложила платье к худеньким бедрам, замерла от восторга.

— Вам в самый раз будет, — женщина заметно оживилась.

— Боюсь, в груди маловато, — с сожалением сказала Ольга Саяновна, все поглаживая платье, не желая возвращать хозяйке.

— Да вы примерьте, — женщина кивнула на стоящие рядом три дерева, перетянутые бельевыми веревками. На веревках, точно белье после стирки, висел длинный, подбитый куцым беличьим мехом салоп, рядом — плечистое мужское пальто и мятая льняная скатерть.

— Ой, да как же... — начала было Ольга Саяновна, но женщина махнула рукой:

— Не бойтесь, милая, никто не увидит. С примеркой-то надежней будет.

Ольга Саяновна поколебалась немножко, но потом кивнула и сунула Димке сумочку.

— Держи, пожалуйста, крепко, — шепнула она и нырнула под полу свисавшего с веревки салопы.

Димка обеими руками ухватился за лаковую кожу сумочки и встал на страже — как раз там, где была щель в этой нехитрой примерочной. Мимо шныряли странные небритые парни, выискивающие в толпе покупателей побогаче, и что-то полусшепотом им предлагавшие. Мальчишки чуть постарше Димки, в натянутых по самые уши картузах, толкались как будто нарочно, переходя от одного продавца к другому, но, разумеется, ничего не покупали.

— Платье хорошее, совсем неношеное, креп-жоржет, — зачем-то начала объяснять Димке женщина. — Да и без примерки глаз у меня наметан — в пору матери твоей будет. Или не родственники вы? Она черненькая, а у тебя волос золотой.

— Не родственники, — буркнул Димка.

Тут подошел покупатель, и женщина переключилась на него. Димка стоял полубоком к салопу, и краем глаза заметил, как колыхнулась скатерть — сначала вверх, потом ниже: видимо, от локтя Ольги Саяновны. Он подумал, что, наверное, в этот момент она снимает блузу, и застыдился своим неловким мыслям. И тут же стал прогонять их прочь, смущаясь и краснея.

Мимо ковылял, прихрамывая, солдат в шинели, остановился рядом с деревом, замер, ощерился, глядя в прорезь между пальто и скатертью. Димка схватил рукав пальто, натянул, как мог, стараясь закрыть прореху, и так злобно посмотрел на непрошеного наблюдателя, что тот ухмыльнулся, сплюнул и пошел дальше. Возмущению Димки не было предела: как можно, там же она! Она! Не одета! А этот тип нагло смотрит! На нее! На нее!

Сердце нервно колотало в груди, он чувствовал — не ее — себя оскорбленным этим грубым солдатом. И все казалось — грязь вокруг, а там, за скатертью — чистота. Там, за скатертью...

Он отпустил рукав, и голова сама повернулась, глаза устремились в эту самую щель.

Ольга Саяновна надевала через голову платье. Ее лицо было закрыто струящейся синей материей, тонкие пальцы колдовали над петельками и пуговицами. Мысленно Димка приказал голове отвернуться, а глазам закрыться, но они его не послушались. Он замер, не в силах пошевелиться, и за это уже почти себя презирал.

Лямка ее нижней сорочки скользнула с плеча, открывая груди — маленькие, острые, торчащие в разные стороны, как у мегрельской козы: именно это сравнение первым пришло Димке в голову. Он вспомнил запрещенные рисунки, которые показывал ему Мансур, и обнаженные статуи в Летнем саду, и женщин, выходящих в мокрых длинных рубахах из Салара, и подсмотренную однажды на кухне сцену, как тетя Маруся мыла себя мочалкой, окуная ее в таз... И совершенно по-иному глядел он сейчас на Ольгу Саяновну, и корил себя за это, сгорая от великого стыда, разрывая зубом тонкую кожу на губе, ощущая во рту солоноватый привкус. Но головы не отворачивал.

Она выскользнула из-за скатерти веселая, разругавшаяся, счастливая. Повертелась, держа края подола в руках.

— Ну как? — ее голос был звонкий, точно весенний воздух.

— Говорила же, как на вас сшито! — восторгалась женщина.

— Что скажешь, Дима? — повернулась к нему Ольга Саяновна.

Димка не смел поднять на нее глаза. Смущение и чувство вины, как будто он только что совершил страшное преступление, было настолько сильным, что он даже не сразу сообразил, что она говорит с ним.

— Снимать не хочу. Так и пойду! — захохотала Ольга Саяновна, накидывая поверх платья свой старенький плащ. — Муж приезжает сегодня!

Женщина взяла деньги, завернула ее юбку и блузу в толстую бумагу, перевязала бечевкой и вручила сверток Димке.

— Ну, а раз муж... Клавдия! — крикнула она куда-то за пирамиду пустых ящиков, и словно из-под земли рядом выросла крепенькая красноносая тетка в клетчатом платке, жующая ржаную горбушку.

— У тебя, Клавдия, туфли синие еще не купили?

Тетка присела, нырнула куда-то под ящики и вынырнула, держа в руках пару лакированных туфелек. Ольга Саяновна обмерла.

— Какая цена?

— Да вы примерьте!

Туфельки пришились впору. Ольга Саяновна покрутилась на каблучках, прошлась взад-вперед, и ноги ее сами затанцевали.

— Беру!

Она достала кошелек и начала пересчитывать деньги, мрачней с каждой секундой.

— Нет, не могу. Вся зарплата.

— Да бросьте! А на что у нас муж? Такой товар больше нигде не сыщете.

— Нет, нет! — Ольга Саяновна сняла одну туфельку, с сожалением протянула ее тетке. — Да и не хватит мне денег-то.

Димка почувствовал укол в висок. Какая невыразимая несправедливость, что он стоит рядом и не может купить ей эти туфли! А настоящий мужчина смог бы. Так говорили в Ташкенте, так воспитывали мальчиков в его дворе. Но из всех денег у него — гнутый полтинник в кармане, а на него даже мороженое не купить.

— Ладно, — подала голос тетка. — Давай, сколько там у тебя. Добрая я сегодня.

Ольга Саяновна, не веря счастью, снова открыла кошелек, вынула все — и мятые бумажные деньги, и мелочь, и с благодарностью высыпала тетке, подставившей руки лодочкой.

Они вышли за ограду. Глаза Ольги Саяновны сияли, она пританцовывала, размахивая старенькими туфлями и хлопая их подошвами друг о дружку. Сумочка болталась на руке, словно маятник, в такт только что придуманному танцу. Димка плелся сзади, прижимая к животу сверток с одеждой, и представлял, что она танцует для него, только для него одного, а больше в целом мире никого нет. Потому что если подумать, что кто-то есть, то это будет очень и очень плохо. И сами собой в голову полезли стихи — записать бы, да ни пера, ни чернил!

У Обводного канала Ольга Саяновна вдруг захромала и присела прямо на набережной, на осколок большой каменной плиты. Охнула, сняла туфельку, принялась растирать ступню.

— Вот беда, натерла!

Мимо сновали люди с чемоданами и тряпичными тюками, торопились с Балтийского вокзала на Варшавский, а навстречу им — такие же, сгорбленные, — в обратном направлении: с Варшавского на Балтийский. Точно муравьи, бегущие по сахарной дорожке, которая, бывало, сыпалась по ташкентскому дворику из саржевого мешка бабушки Нилуфар...

Ольга Саяновна оглядела пятку ярко-малинового цвета, просвечивающую сквозь дырку в чулке, и вмиг погрузилась, закусив губу, и казалось — вот сейчас она заплачет, непременно заплачет. И такая она была трогательная в синем платье с белым воротничком, такая беззащитная и невероятно красивая, что у Димки точно иголки вонзились в руки, и тело, и глаза. И немыслимо, невозможно было вот так стоять рядом и смотреть на нее, он бы поклялся: н-е-в-о-з-м-о-ж-н-о! И грохот сердца унять было тоже не под силу!

— Почему ты на меня так смотришь, Золотой цыпленок? — тихо спросила Ольга Саяновна.

Димка сжал сверток с ее одеждой обеими руками — так, что порвалась бумага, наклонился, не моргая, и поцеловал ее в краешек губ.

Ольга Саяновна замерла, глядя ему в глаза.

Он тут же отшатнулся, не веря своей нелепой смелости — от одного осознания, что он все-таки дерзнул сделать это. И до смерти испугался прочесть в глубине ее зрачков... — что? Удивление? Усмешку? Хотя что-нибудь прочесть — уже было для него казнью.

Димка рванул в сторону, чуть не сбив с ног бабку с корзинкой, побежал, что есть мочи, через Варшавский мост, а дальше — наугад. И сердце ухало, как в родном ташкентском дворе, когда выбивали пыль из ковра, и не было сладости от этого сорванного поцелуя, как бывало с девчонками, а лишь один страх позора от того, что дал свою любовь обнаружить.

* * *

Когда совсем стемнело, Димка наконец спустился с чердака своего дома, где отсиживался несколько часов, стараясь унять чехарду мыслей, бесновавшихся в голове. Тетя Маруся колдовала на кухне.

— Что так поздно? Девятый час!

Димка молчал.

— Мой руки и к столу. Я билеты достала в Музкомедию. Пойдем в среду. Там люстра не хуже, чем в Кировском, — она засмеялась и подмигнула ему.

Димка стоял в дверях, не реагируя на тети-Марусино веселое щебетание. В груди ныло от событий сегодняшнего дня, и на губах ощущался горький привкус. Что теперь будет? Надо как-то объяснить Ольге Саяновне, что он не хотел ее обидеть, что все вышло случайно. Но как, как заговорить с ней о поцелуе? Подойти перед уроками и извиниться? А вдруг она, наоборот, огорчится, что он просит прощения, — ведь тогда выходит, что он сожалеет об этом и что будто бы для него это так, шутка, пустячок. А на самом деле — да жизнь целая!

— А что это у тебя в руках? — тетя Маруся кивнула на сверток.

Димка посмотрел на висящую лохмотьями измятую бумагу и видневшийся в дырке кусочек серой юбки.

— Это... учительницы. Я забыл отдать.

— Положи у вешалки в прихожей, чтобы утром взять. Или ей это сегодня надо?

Он встрепенулся, словно ему подали долгожданную подсказку.

— Сегодня! Сегодня! Ей обязательно сегодня надо!

Димка выбежал из квартиры. Тетя Маруся что-то кричала ему вслед, но он не слушал. Конечно! Он вернет Ольге Саяновне сверток — идеальный предлог, чтобы вновь увидеть ее, извиниться за свой поступок. Она улыбнется, произнесет «Золотой цыпленок» — и снова можно будет жить и дышать.

До ее двора было тысяча шестьсот пятьдесят два шага. Если бегом — с подскоком — то тысяча двести тридцать. Димка знал этот маршрут наизусть. На каждую сотню шагов было свое стихотворение Пушкина. Сейчас же он пролетел это расстояние шагов за тысячу, точно Маленький Мук в своих волшебных туфлях. И не до Пушкина было, совсем не до Пушкина.

Прежде всего Димка, конечно же, скажет, что просит прощения за дерзость. Посмотрит, как она отреагирует. Можно позаимствовать у Дюма... «Мадам...» Впрочем, лучше без «мадам». «...Вы сами были тому виной. Вы так прекрасны, что сдержаться было невмочь».

Нет. Не годится! Чушь! Середина двадцатого века, а он с галантными глупостями! Ну его, этого Дюма!

Или осмелиться так: «Ольга Саяновна, я вас...»

Да просто «Я вас люблю».

Сердце отстукивало: люблю, люблю, тук-тук, тук-тук.

Димка набрал полную грудь воздуха и позвонил в дверь. Открыла соседка — неопрятная старуха с чайником в руке. Димку она знала.

— К учительке? Проходи, не стой в дверях, сквозняк!

И удалилась в свою комнату, шаркая и что-то бормоча себе под нос. Димка остался один в темной прихожей. Он постоял, пока глаза не привыкли к темноте, и пошел наощупь по коридору, натываясь на какие-то тазы и табуретки, к последней перед кухней заветной двери.

Дверь же была чуть приоткрыта — самую малость. Полоска электрического света тонкой желтой линией пересекала коридорный пол и преломлялась под прямым углом у стенного плинтуса, ползла по обоям вверх, к винтовому шнуру, и умирала у бахромы потрескавшейся потолочной штукатурки. Димка подошел ближе. Почему так происходит с ним: сам не желая того, он оказывается подсматривающим? Сегодня на рынке, да и раньше... Как будто не живет он по-настоящему, а существует вот в таком же темном коридоре, а жизнь и прекрасная любимая женщина — там, в щелке, в теплом луче света.

Димка осторожно заглянул в комнату. Окно было приоткрыто, и ветер надувал парусом кисейную занавеску, перебирал листья фикуса, спящего на подоконнике. Посреди комнаты стоял высоченный мужчина в одних кальсонах и обнимал Ольгу Саяновну, тыкаясь огромным носом ей в шею. Она была без одежды и зябко жалась к нему. Рядом на полу валялось смятое платье — то самое, синее с белым вязаным воротничком. Мужчина вдруг поднял Ольгу Саяновну на руки, закружил по комнате, а она захохотала, запрокинув голову. Он начал неистово целовать ее шею, и плечи, и острые груди, а она все смеялась, гладила его волосы и вдруг сказала ему — ему! — «Дождалась тебя, мой золотой!»

Золотой! Нет, не может быть! Ведь это он, Димка, — золотой! Ее Золотой цыпленок! Как может быть «золотым» для нее этот огромный носатый мужик?

Димка вдруг вспомнил, как однажды в Ташкенте, когда ему было три года, он утонул в Саларе. По-настоящему утонул, и если бы не дядя Алишер, то и вспоминать бы он уже ничего не мог. Так же, как и тогда, сейчас он ясно ощутил, как струя холодной воды заползла змеей в горло, забила нос и уши, залила глаза. Как тогда, как тогда! Он тонет?

Димка отшатнулся, припал спиной к стоящему возле стенки велосипеду, ткнулся лицом в сверток с одеждой, дал крику уйти в мягкую ткань серой юбки. Предательски звякнул велосипедный звонок.

Дверь приоткрылась. Ольга Саяновна, запахивая халатик, выглянула в коридор, нажала на кнопку выключателя. Мягкий желтый свет залил пространство вокруг, превратил длинный узкий коридор во что-то круглое, обтекаемое.

— Дима? Что ты здесь делаешь?

Димка поднял на нее глаза, полные слез. Как она могла? Как она могла так, ТАК предать его?!

— Дима? — настороженно переспросила Ольга Саяновна, подходя к нему.

Димка не смог произнести ни слова, лишь сунул ей в руки сверток с одеждой и выскочил вон из квартиры.

Ольга Саяновна провела рукой по лбу, прикрыв глаза, и покачала головой. В двери показалась голова мужа.

— Кто это был?

— Мой ученик. Господи, надо догнать его!

Она бросилась в комнату, принялась наскоро одеваться.

— Да объясни ты мне, зачем? — недоумевал муж.

— Не сердись, золотой мой! Надо непременно догнать его. Как бы беды не случилось! Это особый мальчик.

Как и предполагала Ольга Саяновна, в Якобштадтском переулке Димки не оказалось. Встревоженная тетя Маруся все выпытывала у нее, что же могло произойти такого, почему Димка не прибежал домой.

— Он видел нас с мужем, — краснея, призналась Ольга Саяновна.

Стоявший рядом муж кивнул. Тетя Маруся ядовито зыркнула на него и схватила жакет.

Втроем они обожали все соседние кварталы, обошли квартиры Димкиных друзей, даже заглянули на голубятню. Димки нигде не было. К полуночи пришли в милицию, но усталый пожилой участковый наказал с заявлением приходить утром: слишком мало времени прошло, вернется, мол, пацаненок еще сто раз, а вы, родители, не паникуйте.

Тетя Маруся, гневно пообещав, что напишет самому товарищу Ворошилову о халатности местной милиции, вышла из участка и вдруг сказала вслух, обращаясь то ли к Ольге Саяновне, то ли к полной белошейке луне на небе:

— На вокзал надо. В ташкентском поезде он. Сердцем чую.

* * *

Димку сняли с поезда на станции Бологое. Половину пути он просидел, скрючившись, под полкой, за дерюжным мешком и ногами пассажиров. Сон смаривал нещадно, спина затекла. Димка вылез из-под лавки, когда разговоры в вагоне стихли и послышался храп, распрямил спину, прошел в заплеванный тамбур и долго стоял у окна, вглядываясь в жиденький рассвет и серые мазки на оконце. Мысли были лишь об одном — там, там его дом, в Ташкенте. Там никто больше не предаст его. Там бабушка Нилуфар напоит его кумысом, а дядя Алишер расскажет о войне и партизанах. Там не будет ее, Ольги Саяновны, такой любимой еще несколько часов назад, а теперь уплывающей куда-то вдаль под мерный стук колес. Поезд качался на рельсах, Димка прислонился лбом к вагонной двери, проваливался в вязкое забытие. Все правильно: он и родился в поезде — может быть в этом самом, и поезд — его друг, который все понимает и только один может утешить.

Мимо проплыла платформа и остановилась. В открывшиеся двери зашли люди с чемоданами, оттеснили Димку к стенке. И вдруг двое мужчин в милицейской форме одновременно наклонили к нему лица:

— Ты часом не Дима Фёдоров?

Что было потом, он плохо помнил: очень хотелось спать. Они долго тряслись в кузове машины, и Димка постоянно стучался головой о что-то жесткое. Потом контора, еще машина и, наконец, голубая башенка Московского вокзала, тот самый перрон, который он покинул полсуток назад. Тетя Маруся стояла бледная, комкала в руках косынку.

— Прости меня, тетя-Марусечка, — сказал Димка и заплакал.

Она подскочила к нему, обняла, заревела.

Подшли Ольга Саяновна и «муж». Димка с удивлением отметил, что может смотреть на нее просто так, без боли в сердце. Стоит рядом женщина в плаще... Просто женщина в плаще.

— Горячий какой! — ахнула тетя Маруся, трогая его лоб.

А как добрались до дома, Димка уже не помнил...

* * *

Он провалялся с высокой температурой две недели. Тетя Маруся никого к нему не пускала, лишь когда он совсем поправился, разрешила школьным друзьям навестить. Ребята шумно делились новостями, главная из которых была о том, что у них теперь новая учительница — старенькая, строгая, в круглых очках и с кичкой на темени. Ольга Саяновна Золхоева уехала вместе с мужем в дружественный Китай. В школе ее отпускать не хотели, просили доучить детей до конца четверти, но она никого не послушала — уехала и, говорят, даже трудовую книжку не забрала. И оценки за четверть не успела поставить.

Еще через неделю на имя тети Маруси пришла бандероль. Без обратного адреса и подписи. Лишь сбоку ровным почерком было написано: «Мария Ивановна, пожалуйста, передайте Диме».

Димка осторожно развязал бечеву, развернул бумажную обертку. Перед ним была книга — удивительная, каких он еще не видел: красная, с золотым тиснением, немислимыми по красоте картинками и даже серебристой ленточкой-закладкой. И запах у нее был необыкновенный — не клея и бумаги, а чего-то сладкого, праздничного. Как будто запах «Красной Москвы». На титульном листе яркими выпуклыми буквами было напечатано:

А.С. ПУШКИН. СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ

* * *

Осенью Ольга Саяновна приехала на пару дней в Ленинград, зашла в школу забрать трудовую книжку, минут пятнадцать на большой перемене проболтала с бывшими коллегами в учительской. Димка не удивился, что увидел ее. Он не прятался, не избегал Ольгу Саяновну, просто вежливо поздоровался, забрал мел, который его просили принести в класс, и вернулся на место. Сердце больше не стучало так сильно. Лишь все-таки почему-то надолго впечатался в память ее большой живот и то, как она сидела на стуле, чуть прогнувшись и подперев руками поясницу.

Уже в коридоре он услышал, как завуч ответила на вопрос Ольги Саяновны о нем: «Золотой мальчик — Дима Фёдоров, отличник, образцовый ученик, гордость школы, на 7-е ноября в первую очередь в пионеры примем».

Это была правда. Димка понимал: да, он образцовый, да, он — гордость школы. И да — он золотой. Только стихов он больше никогда не писал.

Андрей Столяров

Война миров

Исламский джихад как историческая неизбежность

Три загадки

Исламский мир грандиозен. В настоящее время, согласно разным оценкам, ислам исповедуют от одной пятой до одной четверти всех людей, проживающих на Земле. Исламские уммы охватывают более 120 стран, в основном в Западной, Южной и Юго-Восточной Азии, а также в Северной Африке. В 35 странах мусульмане составляют большинство населения, а в 28 странах ислам является государственной религией¹. Это Афганистан, Египет, Ирак, Иран, Кувейт, Марокко, Пакистан, Саудовская Аравия и другие.

Исламскому миру, его возникновению и развитию, его религии и культуре, его политике и экономике посвящено множество серьезных исследований. Исламский мир изучают ныне целые институты и научные центры. Интернет почти на любой запрос по исламу откликается сотнями тысяч страниц.

И все же в истории Исламского мира есть три загадки, которые превратили его в величайшую тайну.

Перечислим их в хронологическом порядке.

Загадка первая. Как довольно бедные и отсталые арабийские племена, прозябавшие в оцепенении, в отличие от Европы, почти тысячу лет, сумели буквально в одно мгновение — по историческим меркам, конечно, — создать могущественную цивилизацию, породившую несколько громадных империй?

Загадка вторая. Почему стремительно развивавшийся и расширявшийся Исламский мир вдруг на исходе Средних веков остановился, будто наткнувшись на невидимое препятствие, и превратился в конце концов в колониальные территории Запада? И в продолжении этого же вопроса. Почему после освобождения от колониальной зависимости Исламский мир не сумел создать развитых, процветающих государств, хотя такие попытки неоднократно предпринимались?

И третья загадка. Почему в конце XX — начале XXI века Исламский мир, будучи по-прежнему слабым и в военном, и в экономическом отношении, внезапно — в лице своих радикальных организаций — атаковал западную цивилизацию, Европу и США,

Столяров Андрей Михайлович — прозаик, автор многочисленных статей по аналитике современности и книги по философской аналитике «Освобожденный Эдем» (2008). Публикации в «Дружбе народов»: «Новая земля и новое небо» (№ 4, 2014); «Герой нашего времени» (№ 11, 2014); «Дайте миру шанс». Повесть по мотивам реальности (№ 1, 2015); «Ярче тысячи солнц» (№ 1, 2016).

неизмеримо превосходящую его по технологическому развитию? Почему именно Запад стал сейчас для Мира ислама врагом номер один?

Попробуем ответить на эти непростые вопросы.

Эхо Большого взрыва

Есть в истории ислама дата, которая называется Ночью величия и могущества (Лайлат аль-Кадр). Приходится она на 27-й день месяца рамадана. В эту ночь на скромного жителя города Мекки по имени Мухаммед из арабского племени курайшитов, молившегося в пещере Хира на горе Джабаль ан-Нур, снизошло Откровение. Мухаммед увидел, как край неба внезапно озарился светом, и услышал голос ангела Джibriла², приказавший ему: «Читай!» Испуганный, Мухаммад ответил, что он читать не умеет, тогда ангел сильно сжал его и снова приказал: «Читай!» И еще дважды отказывался Мухаммед, и ангел дважды сильно сжимал его. А затем изрек: «Читай во имя Господа твоего, который создает... создает человека из сгустившейся крови; читай... всеблагий Господь твой, который дал познания о письменной трости, дает человеку знание о том, о чем у него не было знания» (96:1-5)³. Наконец Мухаммад понял, чего от него требуют, и стал повторять за ангелом слова откровения Всевышнего, а ангел теснил его грудью свитком священного Корана. В другой же раз Мухаммед узрел ангела Джibriла, когда шел по дороге; тот сидел на троне между землей и небом. Смятенный Мухаммед вернулся домой и попросил: «Укройте меня, укройте меня!», — а когда его укрыли, услышал голос: «О, закутавшийся в одежду! Встань и поучай, Господа твоего — величай, одежды свои — очищай, мерзости — убегай. Делая добро, не будь корыстолюбив, ради Господа твоего будь терпелив» (74:1-7).

С этого момента, который в европейском летоисчислении приходится на 610 год, началась история Исламского мира, одной из великих цивилизаций, существующих сейчас на Земле.

Откровение снизошло как раз вовремя. Аравия была готова принять единого бога. Арабские племена, молившиеся тогда разным богам, уже были знакомы и с иудаизмом, и с христианством, то есть с монотеистическими религиями, которые, правда, оставались для них чужими. Кроме того, именно в этот период появилось множество мудрых ханифов — «благочестивых людей», спонтанных философов, также проповедовавших монотеизм. Они не принимали целиком ни иудаизма, ни христианства, но отвергали сонмы языческих идолов и провозглашали, что бог есть только один.

Однако ислам имел перед ханифизмом несомненное преимущество. Бог ханифов был слишком неопределенным. Это был не столько единый бог, дающий четкие указания как надо жить, сколько смутные, неоформленные мечтания о едином боге. Бог ханифов не имел привязки к конкретной социальной реальности. Напротив, ислам, внезапно открывшийся Мухаммеду, провозглашал, что единый бог — это Аллах, никакого другого бога нет и не может быть, и придавал новой вере четкие мировоззренческие характеристики. Во-первых, подразумевалось, что если бог обратился к арабам, то отныне они представляют собой избранный им народ — народ, несомненно, стоящий выше других народов Земли. Во-вторых, ислам, вопреки племенной иерархии, провозглашал всеобщее равенство, утверждая словами пророка: «О люди! Поистине, ваш Господь один, и ваш праотец один. И нет превосходства у араба над не арабом, и не араба над арабом. Как и нет превосходства белого человека над чёрным, и чёрного над белым! Превосходство одних людей над другими может быть лишь в богобоязненности!»⁴ Второе, правда, противоречит первому, но это не должно нас смущать. Религия никогда не строится в координатах логики. Религия — это аксиологический кластер, набор равнозначных истин, не сводимых друг к другу. Противоречия между ними преодолеваются верой. «Верую, потому что нелепо», — так

сформулировал это Тертуллиан. И наконец ислам провозглашал справедливость: отныне священной обязанностью каждого мусульманина становился закят — налог в пользу бедных, таким образом демпфировалось социальное расслоение.

Это были крупнейшие для своего времени мировоззренческие инновации. Они фактически представляли арабам новый прекрасный мир. Мир, где торжествуют равенство и справедливость. Мир, где всякий искренне верующий обретет вечный рай. Мир, где каждому будет воздано по заслугам его.

Ничего удивительного, что к этому сияющему идеалу сразу же потянулось множество самых разных людей.

Правда, именно из-за принципиальной новизны ислама против него выступили мекканские традиционалисты. Точно так же как шестью веками ранее иудейские традиционалисты в Иерусалиме выступили против нарождающегося христианства. И там, и там речь шла о власти, об утрате влияния прежних жрецов и вождей.

Мухаммеду повезло больше, чем Иисусу Христу. Когда над ним нависла реальная угроза расправы, он вместе с группой своих последователей переселился в оазис Ясриб, позже получивший имя Медина. Здесь и возникло первое исламское государство, которое к моменту смерти Мухаммеда включало в себя практически всю Аравию.

А дальше начинается фантастическая по своим масштабам экспансия. Исламский халифат (существовавший под именами различных династий) захватывает Египет, Сирию, Палестину, всю Северную Африку вплоть до океанского побережья, захватывает Ирак, Иран, большую часть Закавказья, Прикаспийские территории, значительную часть Средней Азии. В 688 году армии Халифата высаживаются на Кипр. В 711 году они через Гибралтарский пролив вторгаются в Западную Европу — под властью ислама оказывается практически вся Испания. Затем «мавры», как именуют их европейцы, громят французскую Аквитанию, берут штурмом города Бордо, Санс, Муассак и направляются к Туру. Остановить их дальнейшее продвижение удастся только Карлу Мартеллу в битве при Пуатье.

История, разумеется, знает примеры необычайно быстрых завоеваний, когда гигантские имперские образования возникали буквально из ничего. Такой была империя Александра Македонского, простершаяся от Греции до Индийского океана, или империя монголов, включавшая в себя территории от Дуная до Японского моря. Однако эти империи были созданы гениями полководцев-вождей, и после их смерти такую искусственную державу ждал необратимый распад. Здесь же случай был совершенно иной. Возникла не просто очередная имперская эфемерида, возникла новая мировая цивилизация, организующей силой которой стал ислам.

Можно провести следующую аналогию. Как физическая Вселенная образуется в результате Большого взрыва и стремится к экспансии, к безудержному расширению, пределов которому нет, так и мировые цивилизации, возникшие на основе религий, проходят «стадию взрыва», образуя свои собственные вселенные. Законы мира универсальны — они проявляют себя на каждом онтологическом уровне. Свои вселенные образовали Индия и Китай, свою вселенную сформировало раннее «деятельное» христианство, свою вселенную в начале XX века создал социализм — светская религия, также стремившаяся к беспредельной экспансии. Наконец, собственную геополитическую вселенную образовал западный либерализм — тоже своего рода религия, ныне пытающаяся включить в себя все мировое пространство.

Другое дело, что не любая религия, претендующая на всемирный (универсальный) статус, обладает достаточной онтологической энергетикой, чтобы создать самостоятельную цивилизацию. Сколько их кануло в историческое небытие, не оставив после себя почти никаких следов. Ислам такой энергетикой обладал. И если рассматривать данную ситуацию в координатах социальной механики, то это была та же пассионарная энергетика, которая двигала крестоносцами, стремившимися в Иерусалим, протестантами, переплывавшими океан и высаживавшимися на берегах

Североамериканского континента, коммунистами (большевиками), сражавшимися на фронтах Гражданской войны. Всеми ими овладевала ослепительная иллюзия — создать Царство Божие на земле, воздвигнуть Град на холме, построить «светлое будущее» (коммунизм), то есть мир, где не будет несчастий, угнетения и нищеты, мир, где, согласно божеским или социальным законам, восторжествуют равенство, братство и справедливость.

Причем, если вернуться к исламу, это была не только физическая экспансия. Не менее интенсивным было в этот период и культурное развитие Исламского мира. Небывалого расцвета достигли исламская наука, искусство, литература, исламская философия, исламская медицина. Европейские «варвары», у которых неграмотными были даже великие короли, с восхищением и нескрываемой завистью взирали на богатый и цивилизованный мусульманский Восток.

Здесь следует пояснить один принципиальный момент. Всякая история, как правило, сильно идеологизирована и предстает перед нами в национальных или цивилизационных форматах. Простой пример. Мы знаем, что основную тяжесть Второй мировой войны несла на себе Россия (тогда — Советский Союз) и поворотными пунктами этой войны были битва под Москвой, Сталинградская битва и битва на Курской дуге. Но если спросить рядового американца, кто выиграл Вторую мировую войну, то он ответит (если вспомнит, конечно, что такая война вообще была), что победила Америка и что главное сражение этой войны произошло у атолла Мидуэй (Гавайский архипелаг), где героический американский флот разгромил японскую военно-морскую эскадру. А если спросить среднего англичанина, кто сокрушил Наполеона, то никаких сомнений у того не будет: сделал это английский герцог Веллингтон в битве при Ватерлоо. Или другой пример. Мы хорошо знаем о жестокостях испанских конкистадоров в Латинской Америке (это британская версия европейской истории), но упускаем из виду, что сами англичане, создавая империю, а также голландцы, бельгийцы, итальянцы, французы действовали в своих колониях ничуть не лучше⁵. Или: все, вероятно, знают о блистательной победе английского флота над испанской «Непобедимой Армадой», которая была разгромлена им в пух и прах, но мало кто слышал, что через год англичане послали аналогичную «Армаду» к берегам Испании и испанцы точно так же полностью разгромили ее, после чего в течение 15 лет выигрывали у Англии все сражения на морях.

В России с этим обстоит несколько лучше. В многонациональном Советском Союзе по крайней мере часть «восточной истории» в школах преподавалась. И потому россияне старшего поколения, видимо, помнят великих поэтов Низами, Саади, Фирдоуси, слышали о том, что цифровую запись Европа переняла именно у арабов, что крупнейшую в средневековый период обсерваторию построил хан Улугбек, могут назвать имена Ибн-Синны (Авиценны) и Аверроэса (Ибн Рушда), а кое-кто, вероятно, знает даже Альхазена и Бируни.

Не будем подробно рассказывать о достижениях исламской культуры. Об этом существует множество серьезных исследований. Несомненно одно: на исходе Средних веков культура Исламского мира явно превосходила культуру средневековой Европы. Достаточно вспомнить, что Магеллан, достигший в апреле 1521 года Филиппин, встретил там арабских купцов, которые уже давно освоили этот привлекательный регион. Или еще более интересный факт: подъем итальянских городов в XIV веке, инициировавший европейское Возрождение, был не в последнюю очередь вызван их успешной торговлей с Левантом⁶. Добавим, что весомая часть античных книг, посвященных наукам, философии и медицине, книг, которые во многом обеспечили Возрождение, попала в Европу именно из исламских стран. А первый в мире настоящий университет был основан в Тунисе еще в 734 году, тогда как первый европейский университет в Болонье — на триста пятьдесят лет позже.

Правда, насколько можно судить, современные европейцы и американцы, за исключением редких специалистов, об этом слухом не слыхивали. В их представлении

Исламский мир всегда был отсталым и нищим. И потому, вероятно, прав западный автор, сказавший, что «Ислам не просто поделился с Западной Европой многими достижениями своей материальной культуры и техническими открытиями, он не только стимулировал развитие науки и философии в Европе, он подвел Европу к созданию нового представления о самой себе. Поскольку Европа выступала против Ислама, она приуменьшала сарацинское влияние и преувеличивала собственную зависимость от греческого и римского наследия. Зато теперь нам, сегодняшним жителям Западной Европы, которая близится к эпохе единого мира, важно исправить это искажение и признать полностью наш долг арабскому мусульманскому миру»⁷.

Расцвет культуры в средневековом Мире ислама был не случайным. Его активировали специфические особенности ислама как «тотальной религии». Подробнее мы скажем об этом несколько позже, а пока лишь заметим, что ислам, по крайней мере в классической форме своей, очень благосклонно воспринимает науку. Процесс познания в исламе рассматривается как своего рода акт реализации веры. Поскольку мир был создан богом во всей его полноте, то и познание мира есть приближение к богу. Первый мусульманин, получивший Нобелевскую премию, данную ему за исследования в области ядерной физики, доктор Абду Салам утверждает, что более 700 аятов Корана, а это почти одна восьмая часть Священной книги, побуждает верующих изучать природу, обращаться к разуму и приобретать знания для научного осмысления жизни. По мнению некоторых историков, современные научные методы впервые разработаны были именно в Мире ислама⁸, и, вероятно, не будет преувеличением сказать, что сама наука, в нынешнем значении этого слова, возникла внутри исламской цивилизации.

Интересно, что мнения о науке как о способе разумного богопознания позже придерживался и Исаак Ньютон. Он тоже считал, что поскольку мир создан Богом, то изучение параметров этого мира есть вид религиозной деятельности.

Что это — эхо исламской гносеологии, приблизительно через 400 лет докатившееся до Великобритании? Или единство законов развития открыло выдающемуся английскому физiku аналогичный сюжет?

В общем, в разгаре Средних веков казалось, что исламскую цивилизацию ждет великое будущее. Центром мира станет не Запад, а грандиозный Исламский мир.

И вдруг это необозримое половодье идет на спад.

В конце XI столетия крестоносцы, прибывшие из Европы, завоевывают Иерусалим. В конце XV столетия Фердинанд II Арагонский и Изабелла I Кастильская изгоняют из Испании последних мавров. Отныне Пиренейский полуостров свободен от мусульман. А в 1683 году объединенное польско-австрийско-германское войско наносит колоссальное поражение Османской империи под Веной и затем отвоевывает у турок Венгрию и Трансильванию.

К началу XX века значительная часть исламских стран превращается в колонии Запада, а те, которые сохраняют формальный суверенитет, все равно находятся в сильной зависимости от европейских держав.

История меняет одежды.

Великий Дар аль-ислам — Мир ислама, стремившийся охватить собой всю Ойкумену, — вдруг меркнет и развеивается несбыточными мечтаниями.

Революция, которой не было

Переход ислама к экспансии был явлением закономерным. Дело в том, что ислам — вместе с иудаизмом и христианством — относится к религиям, которые называются авраамическими. Названы же они были так потому, что все три признают пророческой книгой Ветхий Завет, согласно которому патриарх древних семитских

племен Авраам стал первым человеком в языческом мире, поверившим в «настоящего» Бога.

Авраамические религии совершили подвиг, равного которому в человеческой истории, пожалуй, нет. Они разомкнули время, превратив его из циклического, вращающегося по кругу, в линейное, векторное, направленное, имеющее теперь прошлое, настоящее и будущее.

Кратко поясним эту мысль.

Глобальная трансценденция, под которой мы в данном случае понимаем комплекс предельных метафизических представлений о происхождении, устройстве и назначении мира, выраженных, как правило, в религиозной форме, распаковка которой, в свою очередь, порождает аксиологические координаты и тем самым создает специфику цивилизационного бытия, еще на заре человечества разделилась на две крупные ветви — западную и восточную.

Западная трансценденция опирается на представление о «внешнем боге», то есть о боге, существующем вечно, сотворившем наличный мир, который уже с момента возникновения устремлен к своему творцу. В таких цивилизациях рождается «сюжетное время» (немецкий философ Карл Ясперс назвал его «осевым»), то есть время, образующее не замкнутый цикл, где невозможно определить ни конца, ни начала, а последовательность событий, не имеющих исторического повтора. Таков, в частности, мифологический сюжет христианства: сотворение мира — создание человека — жизнь в раю — грехопадение — земная жизнь — второе пришествие — путь к спасению — Армагеддон — Страшный суд — Конец света, означающий слияние мира с богом. Время здесь, разумеется, все равно течет «из вечности в вечность» и тем не менее имеет очевидную векторную направленность. Это, в свою очередь, порождает представление о прогрессе — последовательном развитии, сознательном преобразовании мира и приближении его таким образом к Богу. Цивилизация в этом случае становится экстравертной: она непрерывно пытается выйти за пределы самой себя, что выражается, с одной стороны, в постоянной экспансии, пространственном наращивании уже имеющихся цивилизационных структур, а с другой — в «вертикальном развитии», столь же постоянном стремлении выйти на более высокий техносоциальный уровень. Такой трансценденцией обладает, например, современная западная цивилизация, что и обуславливает более высокую, по сравнению с другими мировыми культурами, скорость ее развития. Заметим, что экстравертные цивилизации, как правило, обращены в будущее, а потому подвержены всем неожиданностям, которые оно приносит с собой.

Восточная трансценденция имеет совершенно иные цивилизационные характеристики. Она опирается не на «внешнего бога», а на «внутреннюю истинность мира», бытующую изначально. Иными словами — на некую сущность (Дао, Брахман), не поддающуюся никакому определению. Бог здесь не является творцом всего. Напротив, он сам порождается миром как воплощение этой истинности. Так был порожден Будда, первоначально являвшийся человеком и ставший Богом лишь после внезапного мистического прозрения. Так были обожествлены Конфуций и Лао-Цзы, тоже первоначально являвшиеся обычными смертными. Время в подобных цивилизациях остается циклическим, замкнутым: архаическим, «древним временем» повторяющихся сельскохозяйственных круговоротов. Цикл может быть расширен до двенадцати или до шестидесяти лет, до двухсот, до трехсот, даже до нескольких тысячелетий, но он все равно остается циклом, возвращающим бытие к исходной точке. Поэтому представление о развитии в этих цивилизациях выражено довольно слабо. Трансценденция тут устремлена к истине, «внутри», и почти не проявляет себя во внешней экспансии. С точки зрения постороннего наблюдателя, такие цивилизации-интроверты выглядят «оцепенелыми». Они не столько осознанно следуют по пути технологического прогресса, сколько побуждаются к тому неумолимым ходом истории.

Эти цивилизации обращены не в будущее, а в прошлое, и потому, как правило, не готовы к крупным цивилизационным преобразованиям.

Примером интровертных цивилизаций могут служить культуры Китая, Индии и Японии (по крайней мере до «эпохи Мэйдзи», когда Япония начала устанавливать европейскую трансценденцию в свой национальный менталитет), культуры Вьетнама, Кореи, Монголии и некоторых других стран.

То есть западная трансценденция социализировалась значительно быстрее, чем восточная. Представление о прогрессе, рождаемое сюжетным временем, в свою очередь, порождало в них сопряжение технологических инноваций. Новшества в результате не оставались разрозненно-изолированными, как в ареалах восточных культур, а непрерывно преобразовывались европейским сознанием в более высокое цивилизационное качество.

Китайцы, как известно, изобрели компас почти на тысячу лет раньше, чем он появился в Европе, порох они использовали для устройства праздничных фейерверков задолго до того, как его открыл монах Бертольд Шварц, также очень давно они овладели плавкой металлов и составлением карт Земли, а китайские многопалубные корабли, по свидетельству летописцев, уже на заре нашей эры могли принимать на борт по тысяче и более человек. Фантастические показатели по сравнению с первыми европейскими морскими судами. И тем не менее, эти дополняющие друг друга технические инновации не были своевременно совмещены, и потому не китайские «кылики» и «драконы» начали географическое освоение мира, а утлые каравеллы Колумба, Магеллана, Писарро, Васко да Гамы, несущие артиллерию, неизвестную народам Южных морей. Не Китай и не Япония проникли в Северную Америку, до которой им, кстати, плыть было несколько не труднее, чем из Европы, а английские, французские, голландские и немецкие эмигранты приступили к освоению пустынного — с европейской точки зрения — континента. Китай не сделал попытки продвинуться даже в граничащие с ним районы Южной Сибири, оставив эти территории будущему Российскому государству.

В исторически короткий период Европа колонизировала не только Северную Америку, где ей противостояли слабые в техническом отношении, разрозненные индейские племена, но и Южную Америку, сокрушив могучие империи ацтеков и инков, большую часть Юго-Восточной Азии, включая Индию, почти всю Африку, Ближний Восток и образовала жизнеспособные поселения даже в далекой Австралии.

Эта ошеломляющая по своим масштабам экспансия представляла собой материализацию специфически европейского «сюжетного» времени. Именно она, выраженная технологически, вывела сначала Европу, а потом и Соединенные Штаты в число лидирующих индустриальных держав, сделала мировую историю по преимуществу европейской и обеспечила опережающее развитие всего христианского цивилизационного ареала⁹.

Заметим, что аналогичная экспансия — пусть в значительной мере вынужденная — была свойственна и иудаизму. Только евреи создали империю не территориальную (физическую), а религиозно-культурную (символическую) — в виде множества еврейских общин, разбросанных по всему миру. Тем не менее это была именно собственная империя — со своей религией, своим государственным языком, своими законами, своими войсками, роль которых в средневековой Европе играл еврейский торгово-банковский капитал.

В этом смысле исламская цивилизация представляет собой удивительное исключение. Двинувшись первоначально по классическому «пути Авраама» (в арабской транскрипции — Ибрагим), то есть по пути территориальной и когнитивной экспансии, эта цивилизация внезапно остановилась и как бы впала в оцепенение, свойственное совсем другой трансценденции.

Что произошло с Миром ислама? Какой фактор затормозил его вроде бы

безудержное развитие? Почему в XIX веке Исламский мир превратился в «остывающую вселенную», которая от цивилизационного расширения перешла к цивилизационному схлопыванию?

На этот счет существуют разные точки зрения.

Большинство мусульман, как впрочем и большинство исламских элит, полагает, что вина за этот регресс лежит на западных странах. Колонизировав Исламский мир, Запад насильственно прервал его естественное развитие. Западные державы намеренно фиксировали в Исламском мире отсталость, чтобы выкачивать из него сырье и использовать его дешевые трудовые ресурсы.

Частичная правота в этом утверждении есть. Запад действительно не был заинтересован в технологическом и культурном развитии своих колоний и действительно использовал их как источник сырья и дешевых рабочих рук. Однако сразу же бросается в глаза явное противоречие. Не Запад сделал Исламский мир слабым, а потом колонизировал значительную его часть. Мир ислама уже был слабее Запада, когда начался этот цивилизационный конфликт. То есть «фактор сдерживания» был не внешним, а внутренним: в самой природе ислама появилось нечто такое, что стало препятствием для развития.

Более обоснованной поэтому представляется «экономическая точка зрения». Впрочем, она в такой же мере биологическая и культурная — экономика стала лишь интегральным выражением двух других компонент.

Дело здесь заключается в следующем. Аравийские племена испытали цивилизационный толчок, связанный с возникновением мировой религии, на 600 лет позже Европы. Когда пришел ислам, в Аравии еще господствовали родо-племенные и клановые отношения. Такие отношения порождают множество спонтанных войн, «всех против всех», следствием которых становится дефицит взрослых мужчин. А это, в свою очередь, порождает полигению: женщин, потерявших мужей, кто-то должен был содержать. Ислам это явление зафиксировал: каждому мусульманину разрешалось иметь до четырех жен. Женщины таким образом были выключены из социальной жизни, и исламская цивилизация потеряла значительную часть рабочих рук¹⁰. Косвенным подтверждением значимости этого фактора служат особенности европейской модернизации XVII — XIX веков: европейские мануфактуры использовали в большинстве дешевый женский труд. Заметим, что такой же ресурс был основой развития новых «азиатских драконов» уже во второй половине XX века: на сборочных предприятиях Таиланда, Тайваня, Южной Кореи, Китая и Сингапура трудились в значительной мере женщины, заработная плата которых была ощутимо меньше, чем у мужчин. А значит — ниже стоимость производства и выше конкурентные преимущества изготавливаемой продукции.

Этот экономический фактор, на наш взгляд, был резко усилен фактором религиозной специфики. Уже в VIII веке, всего через 100 лет после возникновения ислама, в халифате Омейядов, а вслед затем в сменившем его Аббасидском халифате формируется религиозно-философское течение мутазилитов. Суть этого течения — приоритет сознательного рационализма, проще говоря — разума, что, в свою очередь, индуцировалось хорошим знакомством мутазилитов с интеллектуальными традициями Античного мира. «Практически все положения исламского вероучения подвергались мутазилистами рациональному осмыслению и обоснованию. То, что противоречило доводам разума, ими отвергалось. Они утверждали, что суждение о том, является то или иное деяние плохим или хорошим можно выносить на основании здравого суждения, даже если по этому поводу нет прямых указаний Откровения. Таким образом, мутазилизм стал первой в истории Ислама мировоззренческой школой, которая попыталась дать рациональное толкование различным аспектам Шариата»¹¹.

Фактически философская школа мутазилитов стала предтечей известного европейского рационализма эпохи Просвещения, благодаря которому и произошел

взрывной рост европейских наук. Правда, судьба данной школы была совершенно иной. Если в Европе рационализм победил, то в Мировом исламе он потерпел сокрушительное поражение. Против рационализма выступили суннитские ортодоксы, то есть те, кто считал, что исламу, созданному пророком Мухаммедом, не требуются никакие преобразования.

Правда, в исламе не было такой ожесточенной борьбы за догматически определенную истину и таких размеров преследований еретиков, как в христианстве. Значительно большее значение здесь приобретает борьба со всем, что может дезинтегрировать общество, нарушить его спокойствие и плавное течение жизни. Самое страшное в христианстве — ересь, отклонение от единственно верного учения церкви, и еретиков церковь в средневековой Европе посылает на костер. В исламе самое страшное — не отклонение от однозначно определенной истины (в шариате далеко не все однозначно определено, все мазхабы, то есть богословско-правовые школы в исламе, — равнозначны и равноправны), а «бида», «нововведение», будоражающее общество и нарушающее его согласие. Поэтому иудеи и христиане могут спокойно жить в мусульманском обществе, но пропаганда иудаизма и христианства среди мусульман, переход из ислама в другую веру карается смертью. Можно придерживаться разных мазхабов, но после того, как сложились и «окостенели» мазхабы, стало считаться, что новые создавать уже нельзя, более того, нельзя и прибавлять что-то новое к существующим мазхабам, «врата» самостоятельного суждения, «иджитхада», закрылись (здесь, на наш взгляд, есть аналогия с идеей восточной, православной церкви, о том, что после семи вселенских соборов и разрыва с Римской церковью новые соборы и новые догматические определения уже невозможны). Не имея особой организации, устанавливающей истину, ислам спасается от дезинтеграции борьбой с нововведениями. И борьбу также ведут не особая организация — церковь и, как в средневековой Европе, церковная инквизиция, а государство и все общество, пресекающее попытки нарушить его спокойствие и согласие.

Блокировав развитие теософии, прежде всего «революцию рационализма», которая трансформировала Европу, Исламский мир тем самым затормозил гносеологическую экспансию, то есть «развитие по вертикали», невозможное без опережающего движения мысли. Доминировать стало воспроизведение догматов, что дало основание Мухаммеду Абдо назвать исламское общество «общиной подражателей»¹².

И наконец, есть еще один фактор, имеющий высокую значимость. Это отношение общества к материальному производству, производству физическому, то есть к труду, каковое является одним из фундаментальных параметров всякой цивилизационной культуры.

Чрезвычайно долгое время — и в Древнем мире, и в Античной эпохе, и в течение всех Средних веков — труд, особенно физический, ремесленный и сельскохозяйственный, считался исключительной принадлежностью низших сословий. Человек высокого социального статуса мог заниматься политикой, искусством или войной, но ни в коем случае не позорным ремесленным или крестьянским трудом. Римские патриции носили тоги — складки одежды свободно спадали у них с рук, работать в таком одеянии было нельзя. Сановники в Древнем Китае отращивали ногти невероятной длины, также чтоб показать: они свободны от унижительного физического труда. У средневекового европейского рыцаря даже при отсутствии всяких доходов и мысли не было самому налечь на соху — для него это значило бы потерять честь и достоинство. Даже в Новое время европейские аристократы считали зазорным включаться в конкретный заводской или фабричный процесс. Владеть копиями, фабрикой или заводом, получать с них доход — это да, но самому засучить кружевные манжеты — фи!.. это не для благородных людей! Нравственный смысл труду придала только протестантская Реформация XVI — XVII веков: труд в протестантских культурах был

приравнен к молитве, к деятельности, способствующей спасению нетленной души. Труд был оправдан, более того — он теперь обрел внятную сакральную суть. Причем, эта разница между латинскими и протестантскими странами видна до сих пор. Греки, итальянцы, французы, оставшиеся православными или католиками, рассматривают труд как обременительную обязанность; сиеста, свобода от принудительной деятельности для них гораздо важнее, в то время как для протестантских народов — голландцев, немцев, американцев, скандинавов и англичан труд есть исполнение священного долга.

Вот почему протестантские страны, как правило, превосходят страны католические и православные по темпам развития. В последних труд так и не стал высшей ценностью, придающей жизни надмирный, то есть божественный смысл.

Но если в католической части Европы и даже в православной России самостоятельная ценность труда все же была — хотя бы частично — осознана и воплощена, то в Мировом исламе этого, по-видимому, не произошло. Здесь труд — ежедневный, напряженный, целенаправленный — не стал одним из высоких приоритетов, мотивирующих деятельность человека. Российский исламовед Е.А.Беляев пишет, что изначально «арабы считали своим исключительным правом и обязанностью <лишь> военное дело. Существовая за счет покоренного населения, большинство арабов, поселившихся в завоеванных странах, не занимались никаким трудом. По представлению мусульман, все полученное с покоренного населения должно было быть распределено среди мусульман»¹³.

И вот тут неизбежно всплывает главный вопрос. Почему в Мировом исламе не произошла «революция рационализма»? Почему так сильно задержалось в нем освобождение женщин и почему ценность труда не приобрела здесь высокий, определяющий, аксиоматический смысл?

Нет бога, кроме Аллаха

Итак, ислам — по крайней мере частично — прошел тот же путь, что и другие авраамические религии. Он осуществил территориальную экспансию, подчинив себе значительную часть мира. Он осуществил мировоззренческую экспансию, выраженную бурным развитием наук и искусств. Он также прошел стадию конфессиональной дифференциации, неизбежную для всех сложных развивающихся доктрин. Христианство постепенно разделилось на католицизм, православие и протестантизм. Ислам разделился на суннитов, шиитов и хариджитов.

Сюжетная общность развития, на наш взгляд, сомнению не подлежит.

Однако имеются и поразительные отличия.

Ислам — именно как религия — добился на этом пути значительно больших успехов, нежели христианство.

Прежде всего он образовал исламскую умму — общность всех мусульман, существующую поверх государственных, этнических и культурных границ. Христианству, провозгласившему то же самое словами апостола Павла о том, что «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем — Христос» (Кол. 3:11), сделать это не удалось. Оно сначала было национализировано новыми европейскими государствами, возникшими после Вестфальского мира 1648 года и утвердившими принцип «чья земля, того и вера», который привел к образованию национальных церквей, а затем — приватизировано в рамках протестантизма, где любой человек может обращаться к богу непосредственно, напрямую, без каких-либо посредников в виде церковных чинов и даже, если захочет, может создать собственную «личную церковь» — со своими обрядами и со своим пониманием христианства. И потому в западных странах доминирует национальная

или государственная идентичность: человек в ней прежде всего англичанин, немец, француз и лишь после этого — христианин. А исламская умма, в общем, сохранила религиозную целостность: мусульманин в ней воспринимается именно как мусульманин, вне зависимости от его национальной или государственной принадлежности.

Общность всемирной исламской уммы усиливается еще и тем, что уже с момента возникновения, полторы тысячи лет назад, она представляла собой нечто вроде социального государства. Каждый мусульманин, как мы уже говорили выше, был обязан платить особый налог — закят, — идущий в том числе и на помощь нуждающимся. Христиане тоже были как бы обязаны подавать милостыню, но в христианстве это скорее традиция, зависящая от склонности самого человека. А в исламе закят — это один из пяти столпов веры, требование самого Аллаха, и никакой мусульманин не может им пренебречь.

Закят — очень мощный объединяющий механизм. С одной стороны, он как бы «очищает» богатство, дает моральное право им пользоваться, поскольку часть капитала идет на благие дела, а с другой — демонстрирует всем нуждающимся справедливость Аллаха, перед которым все мусульмане равны. Тем самым создается общность богатых и бедных, общность тех, кто находится в верхней части социальной шкалы, и тех, кто внизу, что, несомненно, повышает стабильность исламского общества и — опять же — непрерывно подчеркивает, что в исламе нет национальных границ.

Однако главной и принципиальной особенностью ислама является его мировоззренческая тотальность. Как пишет Л.С.Васильев, «ислам, пожалуй, наиболее сильная из религий мира. Это объясняется, в частности, тем, что как религиозная доктрина и форма социальной организации он всегда играл на мусульманском Востоке несколько иную роль, нежели, скажем, христианство на Западе. Никогда, даже в пору полного своего господства над людьми, в периоды самых жестоких гонений и разгула инквизиции, христианство не вытесняло полностью светской власти. Ислам же заполонил собой все поры мусульманского общества, определил характер экономических отношений и формы политической администрации, социальную структуру, культуру и быт правоверных. Духовная жизнь в исламских странах протекала в рамках ислама, была исламской как по сути, так и по форме. И хотя мусульманские мыслители свободно оперировали философскими категориями, не имевшими ничего общего с вероучением, все равно ислам был тем фундаментом, на котором стояли и от которого отталкивались правоверные. Можно было спорить по поводу неясных мест Корана, оспаривать те или иные суры и хадисы, становиться на точку зрения того или иного мазхаба, той или иной секты, но нельзя было выступить против ислама ни прямо, ни даже косвенно. Нельзя было не потому, что это кем-то категорически воспрещалось, а потому, что в условиях всеобщности ислама, его интегральности выступить против него означало выступить против всего того, что есть в жизни и обществе мусульман, то есть противопоставить себя этому обществу, оказаться вне его и вне закона»¹⁴.

Автор данной характеристики абсолютно прав. Ислам действительно пронизывает все сферы мусульманского общества, определяя собой политику, экономику, социальность, обыденную жизнь мусульман. Собственно, жизни, отделенной от веры, в мусульманской умме нет вообще. В западных странах, формально считающихся христианскими, власть, например, может быть чисто светской, и это ни у кого протеста не вызывает. Такими же светскими могут быть культура, образование, общественная и личная жизнь. Церковь может какие-то явления не принимать, она может считать их греховными и категорически осуждать, но, будучи отделенной от государства, она не в состоянии выйти за пределы этих границ. В мусульманских же странах таких границ нет. И государство, и общество здесь вырастают непосредственно из ислама. Точно так же, как из него вырастают культура, социальные отношения и

личная жизнь мусульман. Христианство потерпело историческое поражение, признав невозможность своей абсолютной власти над бытием. Ислам же, напротив, одержал в этом сражении историческую победу — он полностью подчинил себе бытие, став «тотальной религией» — религией онтологической полноты.

Причем возникать эта тотальность начала еще при жизни пророка. Так, одним из столпов ислама стала молитва (ас-салаат или по-персидски — намаз).

Казалось бы, что здесь особенного? Молитва присутствует в каждой даже самой мелкой религии. Но давайте внимательно посмотрим на процедуру исламской молитвы, и мы поймем, почему ислам рождает такую страстную веру.

Итак, пять раз в день с минаретов доносится звучный крик муэдзина, не услышать который даже в городском шуме нельзя, — он возвещает азан (призыв на молитву) и содержит в себе семь обязательных формул. Это — «Аллах велик!», «Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха!», «Свидетельствую, что Мухаммед — пророк его!», «Ступайте на молитву!», «Ищите спасения!», «Аллах велик!», «Нет бога, кроме Аллаха!»... Перед утренней молитвой к азану добавляется напоминание: «Молитва лучше сна!», а для особо благочестивых, ради молитвы пренебрегающих сном, азан дважды звучит среди ночи. Причем, заметим, что каждая формула повторяется от двух до четырех раз, а после азана, уже непосредственно перед началом молитвы, следует второй громкий призыв — икамат, где все семь формул с небольшой вариацией прокручиваются еще раз. И так — изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год.

При этом, услышав азан, где бы тот его ни застал, каждый мусульманин обязан остановиться и повторять почти весь призыв, прибавляя от себя: «Сила и могущество лишь у Аллаха!» А перед утренней молитвой он должен произнести: «Ты сказал истинно и справедливо!»

Говоря простым языком — не слабая идеологическая накачка! Если бы аналогичные методы практиковала Русская православная церковь, то число искренне верующих в нашей стране возросло бы, наверное, в десять раз.

Но это еще далеко не все.

Существует сложный, письменно зафиксированный молитвенный ритуал, которому обязан следовать любой мусульманин. Называется он "ракаат" и представляет собой целый цикл особых поз и движений, также сопровождаемых произнесением молитвенных формул. Все позы, движения и сами формулы следуют друг за другом в строго определенном порядке, нарушать этот порядок нельзя, поскольку тогда молитва будет недейственной. Напомним, что ежедневный молитвенный цикл состоит из пяти обязательных молитв. Кроме того существует особая пятничная молитва, как правило совершаемая в мечети, и в ней также присутствует свой тщательно соблюдаемый ритуал. Причем, «если человек считает себя мусульманином и трижды без уважительных причин пропускает пятничные молитвы, это признается недопустимым: с таким человеком нельзя советоваться, выходить за него замуж, свататься при его посредничестве, есть вместе с ним и вообще находиться в добрососедских отношениях»¹⁵.

Вспомним еще о кибле — направлении, указывающем на Мекку, которое необходимо знать каждому мусульманину. Лицом к Мекке мусульманин произносит молитву. Умершего мусульманина кладут в могилу на правый бок — также к Мекке лицом. При заклании жертвенного животного, например на празднике Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), отмечаемом в честь окончания поста в месяце Рамадан, его (животное) режут (кстати, «с именем Аллаха и ради Аллаха»), тоже повернув головой в сторону Мекки. Даже спать мусульманину рекомендуется обратившись лицом к Мекке, причем на правом боку. Не случайно во всех исламских гостиницах это направление, то есть кибла, отмечено либо специальной нишей в стене, либо цветной линией на полу, либо табличкой со стрелкой. Кибла служит символом духовной общности

мусульман, объединяя их в умму, где бы они ни находились в данный момент. Кстати, верующий должен поминать Аллаха, пока не заснет, а проснувшись, обязан тут же Аллаха восславить.

Ну и конечно, хадж — паломничество в Мекку, которое хотя бы раз в жизни должен совершить каждый истинно верующий. Хадж является одним из столпов ислама и представляет собой грандиозное событие для мусульман. Не будем описывать сложный и длительный ритуал поклонения, выполняемый паломниками при хадже: специальное одеяние, побивание камнями дьявола, семикратный обход Каабы и т.д. Этот материал можно посмотреть в литературе, посвященной исламу. Однако заметим, что хадж точно так же — грандиозным действием своим — утверждает единство и равенство всех мусульман.

В общем, суммируя вышеизложенное, можно сказать, что пророк Мухаммед был и в самом деле гениальным пророком. Он не только провозгласил принципы новой универсальной религии. Одновременно с этим он — благодаря интуиции или мистическому прозрению — создал мощнейшую механику индоктринации, ежедневно и чуть ли ни ежечасно воздействующую на каждого мусульманина.

Конечно, подобного рода механизмы создавала любая религия, поскольку гипнотическое воздействие ритуала известно было уже с древних времен. Еще с тех смутных веков, когда шаман в первобытном племени бил в бубен и плясал у костра. Христианство тоже сумело создать очень сложные обрядовые конструкции. Но обратим внимание на принципиальную разницу двух этих методологий. При молебне, совершаемом, например, в православной церкви, в индоктринирующий ритуал включены в основном священники, а не миряне. С обычного мирянина какой спрос — ему достаточно перекреститься и произнести простенькую молитву. Точно так же при колокольном звоне: верующий — да и то, заметим, далеко не любой — быстренько обмахивает себя щепотью и бежит дальше по своим делам. В крайнем случае может пробормотать: «Господи, спаси меня и помилуй». Никакого сравнения с тщательной мусульманской молитвой, где одно омовение, которое мы не стали описывать, представляет собою особый самостоятельный ритуал. Даже в Средних веках, когда уровень религиозности был значительно выше, христианство охватывало своей индоктринирующей обрядностью лишь незначительную часть жизни людей. Большая же часть их жизни все-таки оставалась светской, что и было выражено известной формулой: «итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22:21).

Что же говорить тогда о нынешних временах!

Христианство не стало тотальным, и в этом его поражение как религии.

Ислам же, благодаря мощнейшему механизму индоктринации, поглотил собою практически все. Повторим: нет просто государственной власти, власть может иметь только исламский формат, нет просто социума, есть лишь исламский социум, который представляет собой нравственный абсолют, нет светских законов, есть лишь законы, соответствующие шариату, нет собственно светской жизни — жизнь может быть лишь мусульманской и никакой иной.

Вот что такое ислам.

В отличие от христианства, потерпевшего поражение в схватке с жизнью, ислам в этом сражении победил. Но вот парадокс: эта историческая победа ислама обернулась в итоге историческим поражением Исламского мира. Что, впрочем, понятно. Любой реальный абсолютизм, светский или религиозный, значения не имеет, неизбежно останавливает развитие. Абсолют и есть абсолют, вершина всего, превзойти которую невозможно, — он в принципе отвергает любые, даже самые позитивные, изменения. Возникает стагнация, в которой жизнь меркнет, как угасающая свеча.

Иллюстрацией тут может служить любопытный эксперимент, который еще в XVII веке поставили иезуиты. Получив, по согласованию с имперской Испанией, в свое распоряжение Парагвай, они жестко внедрили в жизнь местных индейцев все

христианские принципы. В течение более ста лет под строгим присмотром священников индейцы действительно жили как «истинные христиане»: благочестиво, трудолюбиво, неукоснительно соблюдая те правила, которые выработал католицизм. И каков был результат? Результатом стала апатия, и социальная, и человеческая, говоря проще, индейцы начали вымирать: у них без видимых внешних причин пропало желание жить¹⁶.

На наш взгляд, именно бытийный абсолютизм ислама, необычайная сила его индоктринального механизма, сначала погасила «революцию рационализма», вспыхнувшую в Халифате, а затем — погрузила Исламскую цивилизацию в состояние астении. А уже астения, постепенно приближающаяся к социальной агонии, породила и те самые политические конвульсии, которые в наше время получили название «исламский террор».

Весь мир насилия мы разрушим...

Итак, у нас остался последний вопрос. Почему вспыхнул джихад и почему целью его был избран Запад? Для ответа на этот вопрос нам опять придется обратиться к истории. Только уже не к далеким Средним векам, а к Новейшей истории — истории второй половины XX — начала XXI века.

Данной фазе развития Исламского мира посвящено множество серьезных исследований. Среди них, на наш взгляд, особенно выделяются книга французского аналитика Ж.Кепеля «Джихад. Экспансия и закат исламизма» (М.: Ладомир, 2004) и монография российского историка, арабиста и исламоведа Р.Г.Ланды «Политический ислам: предварительные итоги» (М.: Институт Ближнего Востока, 2005). В дальнейшем изложении мы будем пользоваться по большей части материалами этих работ, и если свести огромную фактуру, которую они содержат, в крупные сюжетные реперы, то в новейших трансформациях Мира ислама, как нам представляется, можно выделить три вполне очевидных периода. Это период национализма, период исламизма и период джихада.

Каждый из них имеет свою специфику.

Период национализма характеризуется тем, что мусульманские, прежде всего арабские, страны освободились от господства европейских держав и начали строить свои собственные суверенные государства. Причем в результате военных переворотов во многих из них утвердилась авторитарная светская власть — «молодые офицеры», взявшие курс на быструю технологическую модернизацию. В Египте это был Гамаль Абдель Насер, в Сирии — партия БААС, которую возглавил Хафез Асад, в Алжире — Хуари Бумедьен, в Ливии — Муамар Каддафи, в Судане — Джафар Нимейри, в Ираке — Саддам Хусейн. Все эти лидеры стремились к национальному возрождению и почти все они первоначально рассматривали традиционный ислам как препятствие, мешающее развитию. Религию они ставили под строгий государственный контроль, а Насер, например, просто разгромил организацию «Братьев-мусульман», существовавшую в Египте еще с конца 1920-х годов.

Данный период можно также назвать периодом «социалистического романтизма». Многие арабские лидеры ориентировались на Советский Союз, авторитет которого после победы во Второй мировой войне был чрезвычайно высок, и рассчитывали с его помощью осуществить необходимые преобразования в самые сжатые сроки. Также в этот период были сильны идеи панарабизма — объединения арабских стран в некую колоссальную федерацию, которая общими силами могла бы противостоять Западу.

В общем, это было время надежд. Возводились плотины, прокладывались дороги, создавались армии, строились заводы, больницы, школы. Казалось, что после долгих столетий оцепенения Исламский мир пробудился, что он неудержимо устремился

вперед и что скоро передовые арабские страны займут достойное место в ряду других великих держав.

Надежды эти развеялись довольно быстро. Несмотря на первоначальные успехи модернизационных проектов, все они потерпели очевидную неудачу. Итогом их стал тяжелый экономический кризис, сопровождаемый, что естественно, масштабными социальными потрясениями. Дело в том, что модернизация, то есть переход от аграрного статуса к индустриальному и сопровождающая его трансформация традиционного общества в современное, имеет свои непреложные закономерности. Модернизация подобна землетрясению: рушится прежняя жизнь и возникает совершенно новый пейзаж, незнакомый и чуждый громадному большинству населения. Колеблются все традиционные представления, исчезают законы, прежде расчерчивавшие устойчивое патриархальное бытие. Начинаются тотальное разорение крестьянских хозяйств и миграция сельского населения в города, где оно попадает в непривычную для себя среду. Адаптация к новой жизни происходит мучительно. Громадные массы вчерашних крестьян оказываются выброшенными на периферию — они становятся социальными маргиналами, и города, по точному выражению Р.Г. Ланды, превращаются в «пороховые бочки».

Достаточно одной искры, чтобы вспыхнул пожар.

Ситуация усугубляется еще и тем, что авторитарные режимы, как свидетельствует история, эффективны лишь в первую половину своего правления, когда необходима жесткая власть, чтобы запустить модернизационный процесс. А далее, озабоченные проблемой собственного выживания, такие режимы становятся тормозом на пути обновления: в них развиваются чудовищная коррупция, nepотизм, особенно сильный в обществах, не изживших архаические родо-племенные отношения, социальные лифты блокируются, происходит резкое расслоение на богатых и бедных, а нарастающее недовольство народных масс гасится демагогией, репрессиями и цензурой. Выход из тупика авторитарные режимы обычно ищут в победоносных войнах, то есть пытаются компенсировать внутренние неудачи блеском внешних побед. Этим же традиционным путем последовали и арабские страны, но сокрушительные поражения от Израиля привели к полной и окончательной дискредитации светских правительств. Тем более что одновременно потерпели крах грандиозные проекты панарабизма. Египту не удалось объединиться ни с Сирией, ни Северным Йеменом, несмотря на усилия обеих сторон. Ливии под руководством Муаммара Каддафи не удалось ни объединиться с Тунисом, ни создать Федерацию арабских республик в составе Египта, Ливии и Судана.

Естественно, что в этих условиях возник запрос на социальный рецепт, обещающий быстрое и эффективное исцеление. И также естественно, что для Исламского мира таким «рецептом спасения» стал ислам.

Период исламизма как раз и характеризуется тем, что ислам становится организованной политической силой. Он становится исламизмом, который современные исследователи определяют именно как политическую форму ислама. А необычайная привлекательность этой религиозной идеи объясняется ее идеологической простотой. Если советский социализм и западный либерализм не принесли процветания в Мир ислама, значит, они являются чуждыми исламской цивилизации. Не следует больше тратить силы на бесплодные эксперименты. Следует вернуться к тому, что составляет основу исламской духовной жизни. Золотой век ислама возродится только тогда, когда все будут жить по законам, заповеданным Аллахом. «Коран — наша конституция, ислам — решение всех проблем».

Собственно, исламизм воплощал собой идеи двух мусульманских философов — Саида аль-Кутба, идеолога организации «Братьев мусульман», основанной в Египте еще в 1928 году, и Абуль-Ала Маудуди, идеолога созданной в Пакистане партии «Джамаат-и-ислами». Более умеренный Маудуди писал, что «наш принцип — это подчинение Аллаху, а не секуляризм, планетарная община, а не ограниченный

национализм, суверенитет Аллаха и Халифат, а не суверенитет народа и правление масс». Саид Кутб был гораздо решительнее. Он призывал к полному разрыву с существующим в Исламском мире порядком и считал, что справедлив только тот правитель, который руководствуется откровениями Аллаха. В своих писаниях Кутб учил: «Ислам нуждается в возрождении. Возрождение начинается меньшинством, которое изолируется от общества варварства и противится ему, не признает для себя в нем ни родины, ни семьи, ни связи, ни закона, ни обычая. Оно признает только одну бесспорную вещь — разрушение силой и насилием, полное уничтожение, не оставляющее большого и малого... Прежде всякой дискуссии или убеждения необходимо свергнуть правящий режим, так как он варварский, все режимы, так как они варварские, даже те, которые призывают к исламу в своих документах и конституциях». Как видим, высказывания вполне экстремистские. Сама же «Ассоциация братьев-мусульман» формулировала свою идеологию так: «Ислам — это догма и культ, это родина, нация, религиозная вера и государство, душа и тело». Или как пишут о том же уже современные авторы: «Главной целью исламистских движений является <...> реисламизация исламских обществ, впадших в невежество. Для исламистов главные виновники этого — нынешние лидеры мира ислама, проявившие слабость, позволившую Западу обосноваться на землях ислама <...> В подобных условиях исламизм становится естественной формой политической оппозиции своему прозападному правительству»¹⁷.

В общем, рецепт был найден — по всему Миру ислама начали возникать исламские политические партии. Причем они сразу же, в отличие от выдыхающихся авторитарных режимов, начали демонстрировать свою близость к народу. Когда в октябре 1991 года в районе Каира произошло сильное землетрясение — погибли более 500 человек и 50 тысяч людей остались без крова — именно «Братья-мусульмане» первыми пришли пострадавшим на помощь, опережая в этом громоздкую государственную бюрократию. И точно так же при землетрясении, произошедшем в Алжире в 1989 году, первыми на помощь пострадавшим пришли волонтеры «Исламского фронта спасения», чем и завоевали себе серьезный авторитет. А еще раньше, в том же Египте, когда выяснилось, что общественный транспорт не справляется с перевозкой учащейся молодежи, исламистские ассоциации организовали мини-автобусы, предназначенные для студенток. Спрос на эту услугу быстро превзошел предложение, и мини-автобусы начали перевозить уже только тех девушек, которые носили хиджаб. Далее то же самое произошло и с одеждой: «исламское облачение» (платок, плащ, перчатки) предлагалось студенткам по очень низкой цене. Коллизия внешнего «статусного маркирования», разделяющего богатых и бедных, и для молодежи очень серьезная, была таким образом смягчена. То есть исламские объединения показали, что они могут «по-исламски» решать проблемы, перед которыми государство бессильно.

Это придало исламистским движениям необыкновенную популярность, и авторитарные режимы мусульманских стран, как правило, увязшие в коррупции и бюрократических топях, почувствовали в исламе силу, которая, как им казалось, может их укрепить. Началась реисламизация конституций в Алжире, Египте, Бангладеш, Индонезии, Судане, Сирии. В «Организации освобождения Палестины» исламистская идеология начала вытеснять и советский социализм, и светский национализм. Тем более что для исламских интеллектуальных элит исламизм в это время стал символом антизападного патриотизма.

Подъему исламистских движений способствовало одно важное обстоятельство. В 1973 году вспыхнула очередная война между коалицией арабских стран и Израилем, который поддерживали США. Формально эта «война Судного дня» закончилась победой Израиля, войска которого настолько продвинулись в Египет и Сирию, что уже могли обстреливать Каир и Дамаск, но, как выяснилось через несколько лет, Запад и ориентированный на него Израиль потерпели в этой войне стратегическое поражение. Страны ОПЕК наложили запрет на поставки нефти тем государствам, которые

оказывали Израилю помощь. Цены на «черное золото» взлетели в несколько раз, колоссальные деньги хлынули в нефтедобывающие страны Залива, а они, в свою очередь, и прежде всего Саудовская Аравия, начали широкое финансирование нарастающей «исламистской волны». По всему Миру ислама строились и ремонтировались мечети, создавались медресе (духовные семинарии мусульман), поддерживались исламские университеты, организовывались для молодежи исламские «летние лагеря», оказывалась помощь исламским партиям и движениям. Возникли по-настоящему крупные исламские банки, которые морально легитимизировали исламские капиталы через закят и одновременно консолидировали на исламских принципах средний класс мусульманских стран. То есть не одни только лозунги обеспечили расцвет политического ислама — энергию ему придавало также и постоянное мощное финансирование.

А мировоззренческим катализатором исламизма стала иранская революция 1978—1979 годов, свергнувшая режим шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. К власти в Иране пришли исламские фундаменталисты во главе с аятоллой Хомейни, объявившие о построении истинно исламского государства.

И опять-таки показалось, что исполняется вековая мечта мусульман. Еще усилие, еще немного, еще один шаг, и Исламский мир вырвется из цивилизационного тупика. Воцарится божественная мудрость Корана, просияют законы, данные не человеком, но — богом, наступит эра долгожданного процветания, утвердятся — и уже навсегда — равенство, братство и справедливость.

Однако и этим мечтаниям сбыться было не суждено. Мусульманские государства исламизировались одно за другим, но ситуация в них, выражаясь корректно, лучше не становилась. По-прежнему всюду царили бесправие и нищета, по-прежнему душили граждан коррупция и всеислие власти. Иран, который должен был стать моделью для Мира ислама, увяз в бессмысленной и кровопролитной войне с Ираком. Разбогатевшие на нефти государства Залива, казалось, постепенно начали забывать о своих страдающих братьях.

Это опять был тупик.

Мирная исламизация не удалась.

И тогда ислам поднялся на следующий уровень социального активизма.

Период джихада стал для Исламского мира явлением закономерным. Выше мы уже говорили, что очень трудно провести четкое разделение между исламистами и джихадистами. Исламисты, разочаровавшись в политике, достаточно часто переходят к вооруженной борьбе, а джихадисты, как правило, руководствуются в своей деятельности идеологией исламизма. Это как бы взаимно перетекающие статусы. Акцентировка того или другого зависит от конкретных социальных условий. И естественно, что когда обнаружилось бессилие исламских политических средств, на первое место начали выдвигаться экстремальные методы.

Собственно, теми же постулатами руководствовались и российские революционеры конца XIX— начала XX века. Если легальным путем свободу, равенство, братство и справедливость в России не утвердить, значит формой социальной борьбы станет террор.

Два мощных фактора послужили катализаторами джихада.

Во-первых, это послевоенный демографический взрыв, приведший к резкому увеличению численности населения. Объяснялся он и чисто биологической реакцией популяции *homo sapiens* на потери во Второй мировой войне и ростом уровня жизни, поскольку технологии, сверхинтенсивно наработанные этой войной, теперь внедрялись во все сферы деятельности, и фармацевтической революцией, в частности появлением антибиотиков, резко снизившим детскую и подростковую смертность.

На Западе демографический взрыв, который получил там название «бэби-бум»,

привел к молодежным революциям конца 1960 — начала 1970-х годов и к вспышке левого терроризма, поразившего тогда Европу и США.

Тем не менее эти эксцессы Западу, хоть и с колоссальным трудом, удалось постепенно нормализовать.

В Исламском мире ситуация сложилась значительно хуже.

Традиционное общество по природе своей очень инертно и реагирует на социальные вызовы с большим опозданием. В частности, ориентированное на многодетную и многопоколенную семью, что понятно в условиях короткой жизни и высоких показателей смертности, оно лишь постепенно снижает рождаемость, хотя смертность уже заметно падает, а длительность жизни ощутимо растет, и поэтому в нем начинает накапливаться избыточное количество молодежи. Ну а поскольку слабая экономика не может позитивно использовать этот избыток, то молодежная энергетика начинает обретать маргинальные формы. Когда растешь в нищете, когда в жизни нет никаких перспектив, невольно становишься сторонником революции. А темпы роста мусульманского населения в послевоенный период были — без преувеличения — фантастическими. «В 1955–1970 гг. прирост населения в Алжире составил 41,2%; в Бангладеш — 46,6%; в Египте — 42,9%; в Индонезии — 39%; в Иране — 49,4%; в Марокко — 51,5%; в Пакистане — 48,6%; в Турции — 48,3%»¹⁸. Правда, мировой рекорд рождаемости поставили палестинские земли, оккупированные Израилем по итогам Шестидневной войны. В результате городская и сельская молодежь, не найдя себе места в жизни, стала неиссякаемым ресурсом джихада.

А вторым мощным фактором оказалась война. В 1979 году Советский Союз вторгся в Афганистан. Причем ввязываясь в эту «ограниченную операцию», кстати также призванную компенсировать внутренние проблемы советского общества блеском внешних побед, тогдашнее руководство СССР не учло одного важного обстоятельства. Мусульмане рассматривают Мир ислама как некую цельность, как священные земли, дарованные Аллахом им всем. И любое вторжение «неверных» (кафиров) в Дар аль-ислам — это вызов всей умме, всему Исламскому миру, каждому мусульманину. Все истинно верующие должны встать на его защиту.

Так в итоге и произошло. Добровольцы, желающие сражаться с неверными, начали отовсюду стекаться в Афганистан. Возникли базы и тренировочные лагеря в Пакистане. Возникли исламские центры, идеологически обеспечивающие джихад. Саудовская Аравия начала финансировать поставки туда оружия и снаряжения. Соединенные Штаты, которым было выгодно воевать с Советским Союзом чужими руками, приняли деятельное участие в подготовке боевиков. В итоге Советский Союз эту войну проиграл, что и дало возможность Усаме бен Ладену заявить, что «одну сверхдержаву мы сокрушили».

Правда, результаты этой войны оказались совсем не такими, как ожидалось. Ситуация, как и в «войне Судного дня», парадоксальным образом вывернулась наизнанку. Координаты геополитики трансформировались: проигравшими оказались практически все стороны, вовлеченные в этот конфликт. Советский Союз через некоторое время распался. Афганистан погрузился в пучину непрекращающегося гражданского противоборства. Вернувшиеся домой джихадисты стали детонатором катаклизмов в своих собственных странах. Но главное, что за время этой войны выросла и окрепла «Аль-Каида», символическим знаменем коей и стал Усама бен Ладен.

И врагом номер один он теперь объявил Соединенные Штаты Америки.

Таков краткий сюжет.

Казалось, сама история неумолимо, этап за этапом продвигает Мир ислама к джихаду. Джихадисты — лишь слепое орудие, которым она расчищает свой странный путь.

Неизвестно, куда он ведет.

Но удары по второй «империи зла» не заставили себя ждать.

Неожиданно выяснилось, что война, которую считали законченной, только еще разгорается.

Ад — это другие

Странно, что никто этого вектора не предвидел. Хотя к концу XX века многие закономерности социальных преобразований уже стали понятны. Европейская история, в частности, ясно продемонстрировала, что модернизация аграрных стран всегда приводит к массовому разорению крестьянства, которое по необходимости мигрирует в города. Демографический максимум лишь усложняет данную ситуацию. А избыточная энергетика молодежи, которую социум не способен трансформировать в позитив, неизбежно порождает экстремальные формы протеста.

Возможно, западные политики рассчитывали на то, что эта разрушительная энергетика все-таки не выплеснется через край, а прогорит в междоусобных конфликтах внутри самого Исламского мира.

И для таких надежд были достаточные основания.

Первые удары джихада были нанесены именно «по своим». Еще в 1981 году организация «Египетский исламский джихад» совершила убийство президента Египта Анвара Садата. Джихадисты считали его предателем, поскольку Садат подписал мирный договор с Израилем (за что Египет был исключен из Лиги арабских стран) и вообще начал политическое сближение с Соединенными Штатами. Одновременно вспыхнул ирано-иракский военный конфликт, и обе эти страны надолго выбыли из «большой международной игры». Ливия оказалась втянута в гражданскую войну в Чаде. Масштабная гражданская война между исламистами и светским правительством началась в Алжире. Даже в «Счастливой Аравии», духовном центре Исламского мира, произошла трагедия, потрясшая всех мусульман. Ранним утром в ноябре 1979 года во время молитвы, на которую собралось более 50 тысяч людей, террористы из группировки «Аль-Масджид аль-Харам» захватили главную мечеть Мекки. Вдохновлял их некий Мухаммед аль-Кахтани, объявивший себя Махди (мессией), призванным обновить ислам. Террористов было около 500 человек, они организовали грамотную оборону и рассадили снайперов в минаретах мечети. Саудовские силовые подразделения оказались не готовы к такому повороту событий и были вынуждены позвать на помощь французский спецназ. Это вызвало колоссальное возмущение в Мире ислама: «неверные», которым вход в Мекку был категорически запрещен, очутились рядом со священной Каабой. Бои в центре города продолжались в течение двух недель, лишь 4 декабря, после того как погиб сам «Махди», террористы капитулировали.

Однако, как нам представляется, одной из главных причин того, что конфликт между Западом и Миром ислама перешел в состояние открытой войны, является все же «имперский синдром» Соединенных Штатов. Обнаруживать себя он начал еще в начале XX века, но особенной силы достиг именно в последние десятилетия. Основные идеологические черты «имперского синдрома» следующие. Америка — избранная страна, которой сам бог предназначил руководить всем человечеством. Американцы — избранный народ, дающий пример другим народам Земли. Это подтверждается необычайным могуществом Соединенных Штатов — самыми сильными в мире экономикой и валютой, самой мощной армией, которой ничто не может противостоять, самым привлекательным образом жизни, к которому стремятся миллионы людей. В общем, у Америки есть провиденциальная санкция на главенство и поэтому она имеет право переустраивать мир по своему образцу.

Распад СССР в 1991 году лишь утвердил Соединенные Штаты в том, что все идет правильно: главный противник повержен, сам бог на их стороне, и они перестали

считаться с какими бы то ни было ограничениями. Америка начала совершать те же ошибки, что и Советский Союз. В 1991 году она осуществила военную операцию против Ирака, и хотя с точки зрения международных правил и норм все было законным: Америка освобождала оккупированный Саддамом Хусейном Кувейт, с точки зрения Исламского мира это граничило со святотатством: американские части для наступления разместились в Аравии, «неверные» высадились на священной для мусульман земле. Тем более что Саддам Хусейн оккупировал Кувейт как бы «не для себя», но провозгласил, что нефтяные богатства этой страны должны принадлежать всем мусульманам, а не кучке коррумпированных правителей. А уж когда Соединенные Штаты разгромили Афганистан (чем бы они эти действия ни мотивировали), а затем вторично, выдвинув надуманные обвинения, вторглись в Ирак, чтобы окончательно свергнуть режим Саддама Хусейна, Исламский мир воспринял это как агрессию против себя: «крестоносцы» вновь, как в Средние века, начали захватывать земли Дар аль-ислама.

Хотели того Соединенные Штаты или не хотели, или, может быть, просто опьяненные военным могуществом, не обратили внимания на такую мелочь, но они сами активировали джихад, став при этом его главной мишенью. Причем имперское самомнение не позволило им внять даже открытым угрозам. В частности, еще во время афганской войны один из идеологов джихада Абдаллах Аззам дал работу под названием «Защищать землю мусульман — важнейший долг каждого». Согласно Аззаму, «все правоверные были обязаны морально или финансово участвовать в афганском джихаде, чтобы не впасть в великий грех, и каждый мусульманин, чувствующий себя способным сделать это, имел право участвовать в джихаде с оружием в руках, не испрашивая на то разрешения ни у кого, «даже у повелителя правоверных, если таковой имеется». Более того, Аззам уже тогда полагал, что «Афганистан — это лишь первый пример исламской территории, узурпированной «неверными» (то есть СССР. — А. С.), отвоевать которую с помощью джихада было священным долгом: «Эта обязанность не исчезнет вместе с победой в Афганистане, джихад будет оставаться личным долгом каждого мусульманина, пока мы не вернем все земли, ранее бывшие мусульманскими, чтобы ислам воцарился там вновь: перед нами — Палестина, Бухара, Ливан, Чад, Эритрея, Сомали, Филиппины, Бирма, Южный Йемен, Ташкент, Андалусия...». А в феврале 1998 года уже Усама бен Ладен и Айман аз-Завахири (позже, после смерти Бен Ладена, возглавивший «Аль-Каиду») выпустили манифест, где объявили о создании «Мирового исламского фронта джихада против иудеев и крестоносцев». В манифесте говорилось, что Америка открыто объявила войну Аллаху и его Пророку, и подчеркивалось, что убивать американцев и их союзников является долгом каждого мусульманина. «Мы призываем, с разрешения Аллаха, каждого верующего мусульманина, желающего быть награжденным Аллахом, следовать приказу Аллаха убивать американцев <...> в любом месте и в любое время».

Да что там призывы! Соединенные Штаты не насторожили по-настоящему даже конкретные террористические атаки против американцев, европейцев, израильтян, начавшиеся в этот период. В 1992–1994 годах в Египте, например, погибли 7 иностранцев. В Алжире в сентябре 1993 году «вооруженная исламская группа» (ВИГ) убила двух французских геодезистов, и «эмир» этой организации заявил, что «иностранцы, как и алжирские, "безбожники" являются законной мишенью джихада. Это послужило началом кампании убийств иностранцев: до конца 1993 года их погибнет 26 человек». В 1996 году в каирском отеле были убиты 18 туристов из Греции, принятые террористами за израильтян, и ответственность за теракт взяла на себя «Гамаа исламийя», напечатавшая коммюнике: «Иудеям нет места на мусульманской земле Египта». В сентябре 1997 года в Египте были убиты 33 немецких туриста, а в ноябре того же года произошла «Луксорская резня», в которой погибли 62 человека — туристы и местные служащие. Ответственность за эту трагедию взяла на себя та же «Гамаа исламийя»,

руководитель ее, шейх Омар Абдель Рахман, слал из Нью-Йорка «кассеты с записями, в которых характеризовал туризм как источник разврата и распространения алкоголизма и объявлял его харамом (запрещенным религией)». В те же 1990-е годы прозвучали взрывы на военной базе США в Дахране (Саудовская Аравия), погибли 19 американцев, в Еврейском центре Буэнос-Айреса (Аргентина) — погибло 86 человек, в берлинском ресторане «Микос» — погибли 4 человека. А в 1999 году джихадисты взорвали посольства Соединенных Штатов в Найроби (Кения) и Дар-эс-Саламе (Танзания).

Конечно, Соединенные Штаты тоже не сидели сложа руки. Они, например, нанесли ракетный удар по химическому заводу в Хартуме (Судан), где, как считалось, производились ингредиенты взрывчатки, предназначавшиеся для поставок Бен Ладену, также они неоднократно бомбили тренировочные лагеря боевиков в Афганистане, обрушили авиаудары на военные объекты в Триполи и Бенгази (Ливия), вылавливали джихадистов по всему миру и содержали их в секретных тюрьмах, расположенных на базе Гуантанамо (Куба), в Польше, Румынии¹⁹, Литве²⁰ и некоторых других странах. Однако заметим, что по своим целям и средствам это была типичная война «империи» со взбунтовавшимися «колониями»: она лишь подавляла анклавы исламского сопротивления, но не устраняла причины, порождавшие их.

Главное же, что можно сказать без всякого преувеличения: Соединенные Штаты проиграли Исламскому миру идеологическую войну. За что — при всех их кошмарных методах, которые иначе как преступлениями назвать нельзя, — сражаются исламские боевики? Они сражаются за высокие принципы равенства и справедливости. По крайней мере в том виде, как они эти принципы понимают. Ими движет ослепительная мечта — построить на земле Царство Аллаха, воплотить в жизнь божественные установления шариата, вот тогда наступят в мире спокойствие и счастье для всех.

Неважно, что осуществить эту мечту невозможно.

Неважно, что все прежние попытки построить Царство Божие на земле потерпели провал.

Они искренне верят в него и ради этого готовы пожертвовать всем.

А что могут предложить им Соединенные Штаты? Ничего, кроме как перенять образ жизни Америки. Перестать быть арабами и мусульманами. Превратиться в третьесортных американцев, с вечной завистью взирающих на богатого и могущественного патрона. Такую перспективу Мир ислама категорически отвергает. Ничего удивительного, что если для западных стран Усама бен Ладен — преступник, то для многих и многих мусульман он — герой. Он сражался против «неверных», против американской глобализации, против нового крестового похода Запада, вторгающегося в Исламский мир. В Пакистане, например, возник «настоящий культ Бен Ладена, портрет которого красовался на всех манифестациях, устраивавшихся радикальными суннитскими исламистами». В молодежной исламской культуре Бен Ладен имеет громадную популярность: он присутствует на постерах, майках, значках, календарях и т.п., «на многих арабоязычных форумах люди ставят себе аватары с его изображением, а также говорят о нем с нескрываемым восхищением как о "Льве ислама", о защитнике арабского населения Палестины в его борьбе с Израилем»²¹.

Не будем, однако, идеализировать Исламский мир. Сражение за высокие идеалы еще не означает ни моральную, ни историческую правоту. В конце концов, мало ли было в мире империй и государств, высокие идеалы которых удивительным образом сочетались с чудовищными средствами их достижения.

Пока несомненно одно. Исламский мир находится в историческом тупике. Не увенчалась успехом ни единая попытка создать в пределах его стабильное и процветающее государство — ни путем европейской модернизации, ни путем арабского национализма, ни через политический исламизм. Нынешний «халифат», «исламское государство», спонтанно возникшее на территориях Сирии и Ирака, тоже — что

вполне очевидно — не представляет собой социальную общность, в которой большинство мусульман хотело бы жить.

Между тем во второй половине XX века сразу несколько стран, которых называют азиатскими «тиграми» или «драконами», сумели совершить настоящий прорыв, выйдя на высокий уровень социального и экономического развития. Это Южная Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань. Сейчас аналогичным путем движутся Индия и Китай. А еще раньше, в конце XIX — начале XX века, такой же технологический спурт совершила Япония, став одной из лидирующих индустриальных держав. Интересно, что при этом им не пришлось жертвовать своей национальной культурой — ни американизироваться, ни европеизироваться — они сохранили и национальное своеобразие, и национальные верования.

Правда, все эти страны были не арабские и не мусульманские.

И еще более любопытный факт. В тех исламских, но не арабских странах, которые если и не совершили мощного технологического прорыва, но все же добились определенных успехов в развитии, ислам был либо совершенно вытеснен на периферию, как одно время в Турции, либо модифицирован местными этническими религиями, как в Малайзии и Индонезии, приобретая вследствие этого более мягкие, размытые, толерантные формы.

Так что перед Исламским миром, на наш взгляд, стоит проблема цивилизационного самоосознания. Возможно, его развитие сдерживает «арабизм» — непрерывное культивирование архаических черт арабского исторического характера. А возможно — политический исламизм, неуклонно обретающий экстремальные формы джихада.

И вот тут, как нам кажется, возникает главная трудность, заключающаяся в ответе на проклятые вопросы: кто виноват и что делать?

Трудность эту можно сформулировать так.

Еще никогда ни один народ в истории не сказал: в наших бедах, в наших трагедиях и несчастьях виноваты мы сами. Нам следует измениться, нам следует избавиться от недостатков, корящих нас, нам следует обрести иные национальные качества, более соответствующие современности. Исключением здесь являются только немцы, открыто признавшие после Второй мировой войны свою вину за фашизм, что, видимо, и способствовало развитию новой Германии.

Но это именно исключение. А как правило, народ никогда не признает виноватым себя. В его бедствиях непременно виноват кто-то другой — некие внешние силы, мешающие ему достичь прекрасной Обетованной земли.

Нечто подобное движет сейчас коллизией «Запад — Исламский мир». Имперская шизофрения, которой охвачены ныне Соединенные Штаты, не позволяет им понять элементарную вещь: вина за расширение глобальных конфликтов в значительной мере лежит на них. А Исламский мир, в свою очередь, убежден, что во всех его бедах виноват исключительно Запад и что лишь сокрушив эту «империю зла», он сможет добиться настоящего прогресса и процветания.

Самуэль Хантингтон назвал это «столкновением цивилизаций».

Это также можно назвать «войной миров», противоборством двух этнокультурных вселенных, ни одна из которых не способна признать другую.

Причем, судя по расширяющимся зонам хаоса, до кульминации еще далеко.

Взрывы непрерывно гремят.

Война разгорается.

В дыму горизонтов не видно пока никакого обнадеживающего просвета.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Браницкий А.Г., Корнилов А.А. Религии региона. — Н.Новгород, 2013. С. 63.
- ² В русском произношении — архангел Гавриил.
- ³ Ссылки на Коран даются по переводам Г.С.Саблукова и И.Ю.Крачковского. Ссылки в цитатах принадлежат авторам приведенных цитат.
- ⁴ Ахмад 5/411, Абу Ну'айм в «аль-Хилья» 3/100. Шейхуль-Ислям Ибн Таймия и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность этого хадиса. См. «аль-Иктида» 1/69, «ас-Сильсия ас-сахиха» 2700. — <http://islam-forum.ws/viewtopic.php?t=19284&f=80>.
- ⁵ О жестокостях голландцев в своих колониях см., напр.: Шервинский С. Ост-Индия. — М., 1991.
- ⁶ Левант — средневековое название региона в восточной части Средиземного моря, где в настоящее время расположены Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Палестина, Египет, Турция.
- ⁷ Уотт У.М. Влияние ислама на средневековую Европу. — М., 1976. С. 110.
- ⁸ Al-Khalili J. The «first true scientist». // BBC NEWS. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/7810846.stm>.
- ⁹ Столяров А. Освобожденный Эдем. — М.; СПб., 2008. С. 15—21.
- ¹⁰ Льюис Б. Ислам: что пошло не так? // Россия в глобальной политике. 2003. № 1.
- ¹¹ Айдын Ариф Оглы Али-заде. Мутазилиты — основатели философского рационализма в исламе // ТОПОС. Литературно-философский журнал. 2004. 24 марта.
- ¹² Цит. по: Михайлов Ю. Как побороть ИГИЛ — религиозный мутант эпохи глобализации. // <http://eadaaily.com/ru/news/2015/12/19/yuriy-mihaylov-kak-poborot-igil-religioznyy-mutant-epochi-globalizacii>
- ¹³ Беляев Е.А. Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее средневековье. — М., 1966. С. 148.
- ¹⁴ Васильев Л.С. История религий Востока. — М., 2006. С. 454—455.
- ¹⁵ Королев К. Ислам классический: Энциклопедия. — М.; СПб., 2005.
- ¹⁶ Кепель Ж. Джихад. Экспансия и закат исламизма. — М., 2004.
- ¹⁷ Излагается и цитируется по: Кепель Ж. Указ. соч.
- ¹⁸ О закономерностях модернизации см.: Травин Д., Маргания О. Европейская модернизация. Кн. 1 и 2. — М.; СПб., 2004.
- ¹⁹ Главная европейская тюрьма ЦРУ располагалась в Польше. // LENTA.RU. — <https://lenta.ru/news/2005/12/09/poland/>
- ²⁰ В Литве нашли секретную тюрьму ЦРУ // SPUTNIK — <http://ru.sputniknews.lv.com/Baltics/20160318/1010088.html>.
- ²¹ 20 интересных фактов об Усаме бен Ладене. // 812*ONLINE. — <http://www.online812.ru/2011/05/10/006/>.

Моя малая Родина

Арслан Хасавов

Здесь и сейчас

* * *

Я закрываю глаза и вижу землю — желтые пески Каракумской пустыни под палящим среднеазиатским солнцем. Одногорбый верблюд, верный спутник моих вымышленных скитаний, задумчиво прожевывает колючку. Остро хочется пить. Впрочем, здесь всегда хочется пить. Воды в бурдюке не осталось, карта утеряна, что делать дальше, куда идти — непонятно. В стороне, по одному из высоких барханов, величественно проплывает доисторический варан. Кажется, что через мгновение также естественно в синем, без облаков небе может появиться и птеродактиль. Застыв на секунду, словно бы прислушиваясь к чему-то, варан уползает прочь.

* * *

В последнее время стало принято изучать и обсуждать миллиналов — людей, родившихся и выросших на стыке не только эпох, но и тысячелетий. Считается, что их привычки и стиль жизни сильно отличаются от привычек представителей всякого другого поколения.

Я хорошо помню встречу Нового — двухтысячного — года, миллиума. Двенадцатилетний, я наблюдаю за яркими огнями танцпола одного из ресторанов в центре Ашхабада, еще стесняясь проявить себя. По телевидению и в школе уже довольно давно говорят о том, что это совершенно особенное, небывалое событие, и когда ди-джей, немного приглушив музыку, начинает обратный отсчет, меня непроизвольно пробирает дрожь. «Пять! Четыре!» Что-то ведь должно измениться?! «Три! Два!» Сердце бьется с утроенной энергией. «С Новым годом! С миллиумом!» Я озираюсь вокруг — галдящая веселая толпа кажется в точности такой, как была, и сейчас это не шутка, не только в прошлом веке, но и тысячелетии.

Говорят, миллиналам, в отличие от всех предыдущих поколений, не нужна ни какая бы то ни была частная собственность, ни в этой связи, постоянное место жительства. Отсутствие границ, помноженное на чаще всего сносное знание хотя бы одного иностранного языка, не только открывает перед ними едва ли доступные прежде горизонты, а чаще стирает их вовсе.

Важен ли при таких обстоятельствах разговор о Родине? Это слово, за которое некогда боролись и погибали, за прошедшие десятилетия как будто бы потеряло в весе, произносящий его с придыханием выглядит пошло, а писаться оно стало и вовсе со строчной буквы.

«Родина там, где я сейчас». «Родина там, где мне хорошо». «Родина там, — и это звучит хоть немного лучше, — где любимый человек». Продолжая этот ряд, можно и вовсе упасть в крайности: «любимый человек и есть Родина».

Насколько важна эта самоидентификация относительно отдельно взятого места?! Ты — новый человек в новой реальности — всюду одновременно свой и чужой.

Всё остальное — как будто бы не столь значительный, постоянно меняющийся динамический мир — всего лишь фон внутренних и внешних трансформаций.

* * *

У меня несколько Родин. Или ни одной.

Родившийся на исходе советской власти в Туркменистане, я жил себе свою счастливую детскую жизнь, едва ли не каждый год меняя школы и перебирая спортивные секции.

Летние поездки на историческую родину — в Чеченскую Республику — казались необычайным приключением, ведь когда одноклассники разъезжались по близлежащим селам и кишлакам, я с родителями отправлялся в тревожный мир — на живописный полуостров между буйными водами Терека и Сунжи. Путь туда естественным образом лежал через Москву — еще одно яркое приключение, — город, который затем волею судеб станет моим родным домом.

Но тогда до этого было сравнительно далеко — чаще всего мы гостили в коммунальной квартире родственников в кирпичной пятиэтажке в Хлебозаводском проезде — между станциями метро «Каширская» и «Нагатинская», реже — в съемной двушке дяди на улице Зорге. С тех пор в семейном архиве остались не только фотографии, но и видеохроника, снятая еще на кассетную видеокамеру.

Как минимум раз год — в основном в зимнюю московскую пору, когда ночи практически поглощают дни, я люблю их пересматривать. Бесконечно далекое прошлое кажется ныне чем-то отжившим, не совсем реальным. Я по большому счету не узнаю более ни людей, мельтешащих на экране, ни событий, ни, в конце концов, самого себя. Девичий, еще не сформировавшийся голос, вечно разбитые колени под не менее вечными шортами, приподнятый вихор челки — то, что в простонародье называется «корова облизала». Совсем еще молодые родители, совсем дети мы с сестрой — ныне матерью троих детей; ожидаемо другие эмоции, другие разговоры. И хотя за густой пеленой прошлого вроде как еще можно разглядеть настоящее, туман этот с годами только сгущается, окончательно отделяя мир детства и отрочества — вызывающе пустого и оттого наверное беззаботно-счастливого — от дней сегодняшних.

* * *

Иметь возможность быть всюду своим — значит быть, одновременно с этим, всюду чужим. Это бесконечный цикл, где на всякое «за» найдется свое «против». Чаши весов, если и дернутся под новым грузиком аргументов, тут же застынут на середине, под тяжестью чьих-нибудь слов или взглядов.

Кумыки, преимущественно населяющие наше родовое село Брагуны, — национальное меньшинство в Чечне. Само собой, наша семья была национальным меньшинством и в постепенно сжимавшемся, так что сложно дышать, пространстве Туркменистана. Стоит ли в этом контексте говорить о Москве? Начало двухтысячных — регулярные террористические акты, следы которых не менее регулярно вели в Чечню. Кроме прочего, тогда еще на улицах встречался ныне вымерший вид молодежной субкультуры — скинхеды, с переменным успехом пытавшиеся «зачистить» улицы города от кавказцев и азиатов.

Первого сентября, по пути к моему первому учебному дню в Москве, папа, заметно нервничая, инструктировал меня:

— Не бойся никого... Если кто-то что-то скажет, сразу бей.

Я поправлял на себе белую рубашку и успокаивал то ли его, то ли себя самого:

— Ничего такого не будет... Но если что — ударю конечно.

Впервые оказавшись в Нью-Йорке в 2010-м, я, сам потрясенный этим обстоятельством, на мгновенье «перекрасился». На одном из углов ровно нарезанного пирога кварталов Манхэттена стоял, окруженный слушателями, массивный афроамериканец в удивительных латах. Держа в руках Библию, он объяснял собравшимся, что белые — неполноценны.

— Да, — отвечал он на возражение человека из толпы, — я все понимаю, и у меня есть такие друзья, но что поделать...

Город иммигрантов, за годы своего существования вобравший в себя всякого, кто был этого достоин и кто к этому по-настоящему стремился, мог позволить себе такие

шалости. Земля не разверзлась, небоскребы не пошатнулись, и даже на небе, в которые упираются острые пики билдингов, не выступили капли крови.

* * *

Считается, что настоящей Родиной может стать место смерти — последнее пристанище для тела, когда приходит пора для духа воспарить и раствориться в бесконечности Вселенной.

Я не раз бывал на брагунском кладбище — огороженном поле на окраине села. Засушливая, словно кожа старца, земля испещрена дырами — ходами змей. Как-то, будучи подростком, я подобрал по-видимому скинутую незадолго до этого змеиную шкурку — лоснящуюся и переливающуюся еще маслянистой чешуей под лучами южного солнца.

Среди кажущегося бескрайним кладбища, с его возвышающимися над землей холмиками и могильными плитами с арабской вязью на бортах, есть и ряд Хасавовых.

Эти несколько десятков квадратных метров земли в родовом селе, где покоится прах родственников и предков, — по сути и есть одна из точек опоры, где рано или поздно должны сойтись все пути. Круг замкнется, а закольцованный сюжет заставит заиграть новыми гранями события едва ли не всякой повести.

Впрочем, это совсем не обязательно. В исламе принято хоронить до заката солнца — в землях, где человек в первый и в последний раз повстречался со смертью.

* * *

Недавно я вернулся из очередной поездки в Сирию. Гражданская война, продолжающаяся вот уже шестой год, унесла жизни, только по официальным данным, более полумиллиона человек.

Земля, где когда-то, согласно легенде, Каин убил Авеля, и сегодня не успевает просыхать от человеческой крови. Приверженцы радикального ислама, приезжающие в страну со всего мира, нередко находят здесь последний приют. Погибли там и молодые брагунцы, в каком-то смысле обретая в чужой земле подлинную родину.

Разрушенные города, обстреливаемые дороги, атаки смертников — все это в повседневном меню жизни современной Сирии.

— Ты ведь уже играл однажды? В 2012-м? — спрашивает меня российский офицер на авиабазе «Хмеймим» под Латакией.

— Ну да... — отвечаю я сдержанно.

— Решил снова проверить судьбу?

— Сирия — особая для меня территория...

* * *

В московском парке имени Горького по весне многолюдно. На Пушкинской набережной, прямо у кромки реки, танцуют парочки. Я стою в расслабленной позе, облокотившись на гранитный парапет и цепляюсь взглядом то за одного любопытного персонажа, то за другого.

Под легкой лестницей стеклянного Андреевского пешеходного моста еще одна компания под ритмичную музыку занимается капоэйро — эффектной смесью единоборств и танцев. Должно быть, это бразильцы.

Мой племянник говорит, что проголодался. Мы движемся дальше, выбирая подходящую точку фаст-фуда.

В чистом голубом небе, деловито озираясь, пролетает белая чайка.

Стараюсь сфокусироваться на моменте. К неудовольствию племянника вновь останавливаюсь, но на этот раз закрываю глаза, пытаюсь в буквальном смысле взглянуть в себя.

На фоне темноты выступает мир. Он вертится в диком калейдоскопе — в разноцветных бутылочных стеклышках пролетают Азия и Кавказ, Ближний Восток и США, а вслед за знакомыми маршрутами я вижу и еще неизведанные земли.

Я здесь и сейчас — в любимом парке любимого города. И это, пожалуй, самое главное.

Анатолий Цирульников

Поцелуй юкагирки

Записки путешественника

Море Лаптевых и протока Шахова

«В 1638 году Иван Ребров основал наше село, — рассказывает хозяйка русско-устыинского музея Валентина Ивановна Шахова. — Примерно сто лет спустя у нас побывал Дмитрий Лаптев, один год жил. Он в Якутске построил бот, на котором должен был обследовать побережье, нанести на карты восточную окраину, а его брат Харитон — западную.

Дмитрий Лаптев со своей командой приплыл в октябре 1739 года. Корабль вмерз в реку, они решили здесь зимовать, и местные жители помогли перевезти груз на собачьих упряжках. Зимой Лаптев ходил по берегу, составлял карты. И конечно, не мог удержаться — организовал ликбез, учил людей грамоте. Это была взаимная помощь. Местные всегда помогали путешественникам — собачьими упряжками, едой, а путешественники — сахаром, спичками.

Весной, во время ледохода, корабль не должен стоять посередине реки. Лед идет так мощно, что может его поломать. Поэтому восемьдесят человек из села, мужчины, собрались и стали подводить ваги — бревна, по которым корабль можно тащить к берегу. Пробили километровый канал во льду и, стоя по пояс в ледяной воде, протаскивали корабль. А во время подвижки льда посадили его на мель, потом — столкнули в воду.

Весной Дмитрий Лаптев уплыл по морю до Черского. Но там, видимо, этот деревянный корабль сломался, и Лаптев пешком дошел до Якутска. Позже Русское географическое общество дало морю название моря Лаптевых.

А на этом фото тридцать шестого года, — продолжает рассказ Валентина Ивановна, — родственник моего мужа, первый лоцман на Индигирке, Павел Иосифович Шахов. Отец его из польских ссыльных. Был купцом, где-то на Алдане работал на золотых приисках, золото, видно, промотал, и его сослали сюда.

Жил в Усть-Янске сначала. Был женат на якутской батрачке, работал на хозяина. Сколько у него было сыновей, пять или шесть, не помню, все очень высокого роста.

Сын Павел жил на участке Омуллах, у полярной станции Табор. В тридцать пятом году началась навигация, первые пароходы стали приходить Северным морским путем. Груз разный: мука, сахар, продукты первой необходимости. И чтобы суда могли заходить в реку, понадобился лоцман. У Индигирки многочисленные рукава, какие

судоходны, какие нет — неизвестно. Местный совет попросил Шахова помочь найти судоходные протоки. И он на «ветке», сам, с помощью шеста, обследовал протоки и изготовил самодельные карты с указанием глубины, где какой расположен остров, где «лайда» — бессточное озеро. Они бывают настолько широкими, что заедешь — а горизонта не видно. А если еще шторм застанет, да сырой туман окутает море...

И вот Павел на веслах обследовал и нашел, — рассказывает Валентина Ивановна и показывает на карте три большие протоки. — Средняя, как он выяснил, — самая глубокая. И до сих пор, сколько прошло лет, речные суда идут по этой средней протоке.

А Павлу Шахову речники в качестве благодарности подарили вот этот костюм, — показывает Валентина Ивановна висящий на вешалке экспонат. — Для местных ребятишек он пример».

И для нас, напичканных лжегероями прошлого и современности, — тоже.

«У него, у Павла, тяжелая судьба, но он веселый был. Жену парализовало, он ее десять лет носил на руках, в люльке. Готовил, стирал. Всегда возил с собой в кибитке, сам для нее смастерил. На баяне играл, шутник был. Когда жена умерла, поставил ограду с крестом — потом снесло эту могилу. А рядом и его могила потом появилась. Когда суда проходили мимо, тремя гудками приветствовали», — заканчивает Валентина Ивановна историю, похожую на гайдаровскую сказку о Мальчише-Кибальчише. Но эта история — реальная. То были пожилые капитаны, они его знали. Он давал им советы как лоцман. А сейчас капитаны молодые, о Павле Шахове не знают.

На малиновом велосипеде

«Следующий интересный путешественник у нас был Глеб Леонтьевич Травин. Он в 1929 году решил из Пскова на велосипеде проехать вдоль всей границы СССР от Сахалина до Сахалина. Заказал в Америке велосипед малинового цвета, укрепил его. В пути было много приключений: змеи, тигры, белые медведи... Все пугались его велосипеда, эвены боялись к нему подойти — он был как призрак: длинные волосы, перехваченные кожаным ремешком, а на груди медальон, — рассказывает Валентина Ивановна. — Раз на Севере в палатке заснул, чуть не замерз.

А у нас в 1931 году коллективизацию начинали, тут была метеостанция, три метеоролога, домик с приборами. Они и жили в этом домике. И вдруг дверь открывается, на пороге стоит Иван Щелканов, охотник: "Принимайте гостя". Он нашел Травина, когда тот провалился в снег и отморозил большой палец — его потом ампутировали. Стал путешественник тут жить. Писарем работал. Местные жители вначале приняли его за антихриста с серебряными волосами на железном коне, думали, что хлеб не ест, питается углем (а он, чтобы отремонтировать велосипед, возил уголь, нагревал). Школа тогда только открылась, Травин заменял болевого учителя. Устраивал вечерки, на которых разучивали новые песни и танцы, проводил громкие читки книг, навел порядок в делопроизводстве в сельсовете. Когда в марте уезжал, местные собрались и сказали: мы у тебя «конфискуем» (модное слово было) железного коня, если не согласен ехать на собачьей упряжке. Как можно на велосипеде?! Это ж верная гибель. Дали ему упряжку, запас рыбы, сопровождающего, Ивана Шелканова, охотника, ему как раз надо было до Черского. Довезли туда Травина. Известно, что потом он благополучно добрался до Уэлена на Чукотке, где встретили его торжественно, даже знак поставили, а в октябре он добрался-таки до Сахалина.

Потом повсюду стали организовывать клубы имени Травина, в школах появлялись пионерские отряды его имени. Потом о нем забыли. И не вспоминали до тех пор, пока журналист с Сахалина Харитонов не выпустил о нем книгу».

Несколько штрихов в дополнение к рассказу Валентины Ивановны.

По поводу велосипеда Травина имеются разные воспоминания. В одних он малиновый, в других — ярко-вишневый, но в любом случае вид велосипед имел необыкновенный: чудная окраска, два емких багажника-чемодана, утолщенная рама. Сбоку привязаны пара скатов и винтовка. Груз Травина составлял восемьдесят килограммов, столько же, говорят, весил он сам. Имел при себе толстую книжку-паспорт в сафьяновом переплете с вытисненными словами: «Путешественник на велосипеде Глеб Леонтьевич Травин». На каждой странице доморощенного документа стояли печати, штампы Владивостока, Хабаровска, Читы, Иркутска, Быкова Мыса...

На севере часто ночевал, зарывшись в снег, как это делают ездовые собаки. Раз встретил огромного медведя. Спасла случайность: хотел кинуть в зверя что под руку попало — фотоаппарат и заметил, что полярное солнце отразилось зайчиком на морде медведя. Направил пучок света в глаз, щелкнул затвором — медведь отскочил.

За два года, с декабря 1928 по октябрь 1931-го, Глеб Травин совершил переход на велосипеде вокруг Советского Союза, пройдя расстояние, равное двум экваторам. Русско-устыинец Алексей Гаврилович Чикачев, рассказавший о Травине в книге «Русское сердце Арктики», вспоминает поставленный когда-то вопрос: а зачем вообще Травин это сделал, зачем нужны экстремальные путешествия? Зачем идут куда-то путешественники-одиночки? Показать пример? Познать человеческие способности и возможности? Никто не знает ответа. Но тянет их что-то...

«Досельные» и «тамосные»

Люди, поселившиеся у холодного океана четыреста лет назад, стали со временем называть себя «досельными», то есть старинными, выходцами из Древней Руси, сохранившими речь, уклад, память, связи с нею. Тех же, кто жил в нынешней, неизвестной им России и лишь временами заглядывал в здешний мир, русско-устынцы называли «тамосные».

Путешественники, исследователи и «большие люди», как издавна величали в Московии начальников, приплывали сюда (в двадцатом веке все чаще) на огромных кочах «встречь солнцу», прилетали на железных птицах. Они прибывали проводить на Северном Ледовитом коллективизацию (в старинной общине!), выводить на чистую воду «врагов народа», забирать на войну, ставить часовню не на ту сторону, искать чучуну — снежного человека, все эти добрые люди были для русско-устынцев тамосными. Постепенно в Русское Устье проникала современность, дети ездили учиться в институты и привозили невест, тамосные учительницы выходили замуж за здешних рыбаков, и люди оттуда уже не вызывали такого удивления, как прежде. Но все равно оставались тамосными.

А еще ведь мешались досельные с якутами и тунгусами, русскими и украинцами.

Вот один из них, чей портрет висит в школьном музее, — Алексей Гаврилович Чикачев. Он не путешествовал, а родился в Русском Устье. Отсюда родом были его предки, здесь вырос, помня наказ отца и матери: «Никогда не говори о людях плохо. Услышал сплетню — молчи. Никогда не обижай юкагира. Помни: ты сделаешь ему добро раз, он сделает тебе трижды».

Выучился, стал заведовать местной школой. Правда, из-за отсутствия свидетельства о рождении — с временным, «волчьим» паспортом, за которым надо было стоять в очереди несколько раз в году. Кончил училище, пединститут в Коломне, Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Долгие годы работал первым секретарем райкома, встречался с разными людьми, путешественниками, учеными. Занимался историей и краеведением, дружил с писателем Валентином Распутиным и сам писал очерки и книги. В предисловии к одной из книг Чикачева Распутин заметил: «Как бы ни

пытались писатели и исследователи проникнуть внутрь этого самородного явления (Русского Устья. — А.Ц.), они все равно остаются людьми «тамосными», все меряющими на «тамосный» же аршин принятых понятий. Но как недостаточно в километры перевести старинное «днище» — путь, пройденный водой за день, потому что в километре не будет меры физических и психических усилий, так и любой посторонний наблюдатель не уловит нечто совсем незначительное, но необходимое.

Фамилия Чикачев, только с буквой «ш» (Чикашев), наряду с коренными индигирскими русско-устыинскими фамилиями часто встречается в документах XVIII, XVII века — в «отписках», «челобитных», «расспросных речах». Предки Чикачева, пишет Распутин, «вырубали изо льдов судно Д. Лаптева, ходили жожами в полярных экспедициях М. Геденштрома и Э. Толля, прославились как добытчики песка и мамонтовой кости, торили за ними пути на океанские острова и на протяжении веков поддерживали все то, что позднее стало примечательностью и славой этой необыкновенной общины».

Поэтому Чикачеву не нужно вживаться в «досельность» — он происходит из нее.

Сама учитель-краевед, Валентина Ивановна Шахова родом из Нюрбы в срединной Якутии, сорок пять лет назад приехала сюда. Досельной ее назвать нельзя. Но и тамосной — язык не поворачивается...

Русские и украинцы записываются эвенами

Вот сколько всего собрала в музейчике в неотопливаемой половине школы. Показывает фотокарточки и рассказывает: «Это сказочница наша, она в гости вас ждет. Это ко мне домой дети зашли, «машкараты», вроде ряженных — в январе по домам ходят, сласти в мешок собирают».

Валентина Ивановна восстановила историю школы, начиная с народной, 1885 года. Все выпуски, все имена детей восстановила — спрашивала у пожилых учительниц. И имена учителей тоже теперь известны. Первым был политссыльный Николай Архангельский.

Старинный альбом с церковью на рыбацком участке. Раньше верующие со всех улусов приезжали на этот участок и молились. Самый северный в мире православный храм чудом сохранился в местечке Станчик.

Редкие открытки. Избушка, заваленная снегом. Во время пурги скатывались с горки и сразу оказывались внутри дома (открытка напечатана в издательстве «Правда» в 1935 году). Дом сельсовета, тоже занесен снегом во время бури. Автор фото А.В.Паул...(далее неразборчиво). Был такой человек, литовец, партийный работник, приезжал проводить коллективизацию. Сохранился мандат: «Право конфискации средств промысла, имущества, валютных и других ценностей у кулаков, участников банддвижения 1929—1931 гг., зажиточных граждан, прошлых эксплуататоров и явно социально вредных элементов». Написано от руки.

«Почерк какой аккуратный был», — вздыхает Валентина Ивановна.

«Букварь для обучения взрослых», Учпедгиз, 1956. «Паша пахала пар. Пахала пар рано. Как хорошо пахала Паша. Наша Паша умна».

«В России издано, — замечает Валентина Ивановна, — может, путешественники завезли. У нас много украинцев, русских, не хотят уезжать, им тут хорошо. Некоторые переписали себя эвенами — на случай, если поймает рыбохрана. У нас же все поделено на участки рыболовецкие — те, кто рыбачит близко, живут хорошо. А мой муж рыбачит далеко. Катера туда не приходят, никто не забирает рыбу. Муж пять тонн выбросил. Рыба пропадает».

Баянчик

«Была у нас женщина, Баянихой звали, у нее муж был, Гаврил Иванович. Его звали Баянчиком, потому что любил выпивать, и когда выпивал, пальцами стучал по груди, животу, как будто по кнопкам баяна».

У них, рассказывает Валентина Ивановна, детей не было. Любили копить, ничего не выбрасывали. И на участке, где они жили, сундучок набитый остался, вещи сохранились, люди не любят трогать. А учительница Полина Ивановна взяла вот эту квитанцию — для музея.

Во время войны фронту нужна была рыба. На участках ходил надзиратель с наганом, следил, чтобы всю выловленную рыбу сдавали, даже рыбы головы, которые солили в больших медных чанах, и на «ветках», на маленьких катерах отправляли в Чокурдах, а оттуда на фронт. Для себя оставляли только отходы.

«А что такое Табор?» — спрашиваю я, наткнувшись на какую-то бумажку. «Место такое. Сейчас там типовые дома, фенольные, а до этого были домишки. На Таборе сталинские заключенные разгружали товары. Жили они в Полоусном, там лагерь был, а на Табор их привозили для разгрузки судов. А потом заключенные бунт устроили, в пятьдесят шестом году, кажется. На катере из Табора пришли осенью в Чокурдах и сказали: у нас одежды нет, замерзнем. Если за три дня не вызовете самолет, не отправите на материк — всех убьем. Первый секретарь три дня не спал, сидел на телефоне, в Якутск звонил. А за то время, что ждали, эки передрались, кто-то умер. Но их всех вывезли тремя самолетами до Якутска, с тех пор здесь нет заключенных».

А потом стали строить Северный морской путь, и нужна была полярная станция, на ней жили метеорологи из Ленинграда, мой муж с ними дружил. А почему Табором назвали — там путешественники останавливались. Ну, то есть все время народ, как цыганский табор. Дом был капитальный. Много на таборе путешественников было, каждый что-то себе брал на память, ничего не осталось».

Но в тетрадках у Валентины Ивановны все зафиксированы, кто жил на Таборе в разные годы: заключенные, повара, метеорологи, гидрологи, собиравшие данные для навигации проходивших судов. «Сейчас другая навигационная система, «Глонасс», очень точная, для дальней проводки судов, — со знанием дела поясняет Валентина Ивановна. — По всему миру работает, навигационная спутниковая система на реке Индигирке».

Научный прогресс тоже зафиксировала: «В советское время была комплексная гидрографическая экспедиция, занималась промером глубины моря для проходящих судов. В восьмидесятые — импульсно-фазовая радионавигационная система "Марс-75" обеспечивала в этом районе безопасность прохождения судов. Потом никто не жил на Таборе, один охранник остался. А потом начали восстанавливать. У них телефон есть, оттуда можно позвонить».

Она много для музея фотографировала: зверей, птиц, северное сияние. Собирала предметы интересные: солнцезащитные старинные очки, щипцы для угля, вафельница... Фиксировала судьбы людей, но только не как на доске почета.

«У нас выпускник был, Сергей Черемкин, афганец, его убили под Якутском из-за тридцати тысяч рублей. Его жена Снежана Алексеевна, учительница начальных классов, тоже погибла. Вышла с дочкой, козырек от подъезда упал. Такая судьба».

Банный день и отношение к свободе

Сегодня никого собрать невозможно, пятница, банный день для мужчин. Ребята часто даже на уроки не приходят. Так что сидим и разговариваем между собой в пустой школе. Обсуждаем русско-устыинский менталитет.

«Самостоятельность?» — предполагаю я. «Нет, — считает Бугаев, — скорее, патриархальность. Банный день. В пятницу мужчины моются, в субботу женщины. На выборы не пойдем — баня сегодня... И еще сплоченность — больше сохранили свою исконность русскую, чем в других улусах. Как староверы... Сколько веков держались».

«Помогли отдаленность и труднодоступность», — полагает наш проводник Евгений Стрюков. «Так все же, — допытываюсь я, — какое ключевое слово: свобода, самостоятельность, патриархальность?»

«Ментальность свободы, — формулирует Бугаев. — Свобода — тоже категория ментальная. От ментальности зависит, как я отношусь к свободе. Для кого-то и короткий поводок — свобода. А для другого: свободно гуляет — а не свобода».

Северное сияние бывает перед пургой. Вчера вот было.

«В пургу, — просвещает наш проводник-спасатель Евгений Стрюков, — нельзя останавливаться, иначе с пути собьешься. А одежда, — говорит он по поводу моего отмороженного носа, — должна соответствующая быть. Фонарь и одежда, желательно, красная, оранжевая — чтобы издали видно было».

Да, думаю я, оглядывая себя: ни фонаря, ни одежды.

«Когда идешь, снег нельзя есть, — сообщает мне Евгений азбучные истины Севера, он все о безопасности. — Он на суставы действует. Надо топить снег и кипятить. Ветровые спички, они не гаснут при ветре. Свисток тоже нужен, пластмассовый, к губам чтобы не примерзал. Коньяк нужен, спирт...»

«Вчера бабушка всех забила, — вспомнил про встречу в учительской Бугаев. — А начальник ДЭЗа, Сергей, тот, что нас на рыбалку возил, тихо сказал соседу: "Если бы можно было, — сразу уехал бы отсюда и детей увез..." Это он к тому, что не надо идеализировать: Русское Устье, община, трезвость... В Оленегорске — мат, запои. Роль играют — ментальность и отношение к свободе».

Долетим до луны

Итак, переселенцы свое движение в Сибирь связывают с эпохой Грозного, определяя область исхода — европейское Поморье. В документах колымчан, индигирцев, русско-устыинцев об уплате налога в 1650 году названы устюжане, вятичи, усольцы, мезенцы, белозерцы, холмогорцы, пинежане, вымитенцы, новгородцы, кайгородцы, чердынцы.

На кочах, и вероятно, на собаках двигался этот поток в поисках пушных угодий. «Далеко не все промышленники оседали в новых местах, но ясно, что именно они образовали ядро жителей Русского Устья, определили его культуру и диалект». Это из статьи, которую я прочел в школе. Непонятно: так бежали от Грозного или искали пушные промыслы? «Разные люди-то шли, — разумно заметил Бугаев. — Кто за чем».

Да и эти, потомки досельных, все разные: с разными лицами, фамилиями. Зашли в класс, где собрались дети. Представляются по-взрослому: «Ангелина Сергеевна Портнягина, 4 класс». — «Суздальева Татьяна Ивановна, 8 класс». — «Щербатюк Настя Радомировна, 7 класс». Портнягин Никита Сергеевич и Ивановский Данил Михайлович из восьмого, Алеша Черемкин из пятого, Данил и Сережа Киселевы из четвертого... Очень хорошие лица, чистые.

Спрашиваю ребят, кто местный, в Устье родился? Оказывается, всего один.

Учительница объясняет: «У нас же нет родильного дома. Уезжают в Чоккурдах, в Якутск, там рожают и возвращаются. А родители их здесь родились. В Русском Устье была больница, в шестидесятые — в начале семидесятых закрыли».

«Что делаете, когда уроки заканчиваются?» — спрашиваю детей. «Я сначала руки мою, ем, делаю уроки». — «А я убираюсь, мою посуду...»

Могут солить рыбу, готовить строганину, юколу. В семьях по двое-трое детей.

В школе есть послеобеденные уроки (по выбору), спортивные секции — футбол, волейбол, баскетбол, борьба. Кружки по рукоделию, «умелые руки», оригами. Выпускают газету «Детский век», некоторые пишут стихи.

Куда, спрашиваю ребят, ездили, где бывали? — В Новгороде, Петербурге — на экскурсиях.

На компьютерные игры уходит от одного до трех часов в день. В сетях сидят, но недолго. «А не холодно вам?» — спрашиваю детей Северного Ледовитого. «Нет, привыкли». — «А что больше нравится, лето или зима?» — «Зима».

Полярная ночь для них привычна. Учительница замечает, что они чувствуют себя одинаково, что в полярную ночь, что в полярный день.

Дома есть цветы. Собаки, кошки, черепахи. «У меня две черепахи и птица — попугай. Пока не говорит».

Спрашиваю, что они думают о будущем своего села. Людей будет больше или меньше?

«Меньше», — отвечает кто-то. «Почему меньше, — не соглашается восьмиклассница Таня, — если наши дети будут здесь жить?»

«А если бы ты стал главой наслега, что сделал бы?» — задаю не слишком умный вопрос. «Если бы я была главой, спросила бы у детей, что нужно сделать», — ответила одна ученица. «Следила бы за порядком», — другая. «Сделал бы теплые туалеты. И чтобы каждый день была баня».

Один из опрошенных выразил желание долететь до Луны.

Ну, до Луны, хотя, кажется, что она здесь рядом, протяни руку, из Русского Устья не добраться. Но все-таки, — решили ребята в ходе нашего обсуждения, — надо каждый год ездить в какой-нибудь другой район и дальше.

А вдруг это модель России?

Учителя рассказывают: ребята у школы крепость построили — «Взятие снежного городка», по картине Сурикова. Строили по рисунку, по эскизам. До этого рыли окопы в сугробах. Сколько испортили свечек (в полярную-то ночь), сколько штанов порвали!

«На четыре часа, — смеются учителя, — у нас ничего не назначают: все бегут за хлебом. У нас здесь хлеб пекут, и в это время открывают магазин».

Сельская администрация содержит пекарню, община — баню.

Разбираю каракули моего полевого дневника. Сидим где-то, анализируем ситуацию.

Бугаев: «Государство определяется через культуру. У евреев есть выражение: если проблему можно решить с помощью денег, это не проблема, а расходы».

Спасатель Стрюков: «По сравнению с нами, эвенами, юкагирами, вы — молодой поселок. Вот посмотрите на Оленегорск: какое процветающее было село! А теперь там столько же людей, сколько у вас. У вас двенадцать заявлений на новые дома, а там пустые стоят».

Бугаев: «Характер образования зависит от характера инфраструктуры. Какую инфраструктуру построим, такая будет и школа. Если маленькая школа начинает думать об инфраструктуре села, возникает другое образование. А если ориентироваться только на рыболовецкую общину... Не можете же вы готовить только рыбаков».

Учительница: «Это так. Дети уезжают, находят денежные места. Но *жизнь* они там не хотят, возвращаются».

Суммируем наблюдения и идеи, рожденные в Русском Устье.

Противоречие между свободой, самостоятельностью — и патриархальностью в общине и дома. В большой семье главенствующую роль играет мужчина. К нему в Русском Устье не то чтобы на «Вы», но...

Сохранилось уважение к труду, любому труду.

Отношения в семьях, даже если двоюродные, троюродные братья и сестры не проживают вместе, сохраняются близкие. «Почему ты у бабушки не бываешь? Ты должен приходить к ней каждый день!» Отцы и дети проводят много времени вместе, отцы учат детей ставить капканы, ловить рыбу...

Приметы, традиции, запреты. Когда садимся за стол есть строганину, нельзя лезть вперед старших, если «пупки» вытаскиваешь — по рукам...

Бросается в глаза: приезжие и смешанные семьи отличаются от коренных русско-устыинских. Хотя есть и такие, которые осваивают местные традиции.

Рисуем картинку: два концентрических круга. Внутренний — школа, взаимодействующая с внешним кругом, социокультурным фоном. Или по-другому: общинность как кооперация, ее взаимоотношение с индивидуализацией. Не только фон влияет на школу, но и школа на него.

Красивая идея: государственность определяется культурой (если только определяется).

В итоге — модель индивидуализации образования на основе принципа общинности! Интересная идея. Требуется программа. *Как построить индивидуализацию на основе принципа общинности, характерной для Русского Устья? (А вдруг это модель России?)*

Ищем решения.

«Можно организовать рыбалку по русско-устыински, малыми группами». — «Ну, это самое простое. Интересней на этих же принципах — обучение математике, химии, истории». — «Туризм, северное сияние, северный транспорт, приглашать иностранцев». — «Чтобы поселок чуть вырос, нужны рабочие места»...

Заметка на полях дискуссии: строить учебный процесс на принципах общинности, кооперации возможно — это давно доказали Михаил Щетинин, Виталий Дьяченко, в Красноярском крае обычные сельские школы работают с помощью коллективного способа обучения — КСО. Вне урока тоже. Групповой проект детей: решили собрать «Буран» — кто-то изготавливает мотор, кто-то гусеницы.

Учительница, неожиданно: «Решаем возродить разведение песка, создаем проект, для которого требуется знание химии, биологии и т.д. И не один проект, а несколько».

Стрюков: «Вам нужен туризм, рыбалка, охота... Учите детей, растите своих специалистов».

Учительница: «Но так есть опасность превратиться в шоу. Да и граница у нас, никто не пустит».

Так из какого они века?

Все понимают: они не из XVI века. Современные люди. Дома компьютер, в интернете погоду смотрят. Самовара нет. Но сами отношения...

«Рыбак же не по графику рыбачит, — говорит молодая учительница, — он по часам не сможет на работу ходить. Мне муж говорит: как это я буду ходить, на часы смотреть? С другой стороны, если поставил сети — следи за ними. Если непогода, муж начинает переживать, что рыба портится. Я это к тому, что рыбак свободен, он ни от кого не зависит, кроме себя. Но — ответственность!»

Учительницы опросили население и с помощью разноцветных столбиков-гистограмм выразили проблемы села Русское Устье.

Пьянство, равнодушие друг к другу, криминальная обстановка — этого почти нет! На переднем плане — невозвращение детей в родное село. Слабая инфраструктура, отсутствие дорог, работы...

Проблемы здешних семей. Зависимость детей от родителей. Низкие доходы. Отсутствие бытовых удобств. Но нет, почти нет пьянства, неустроенной усадьбы, отсутствия в семье общего дела.

Проблемы школы. Отсутствуют дополнительные доходы. Недостаточна профессиональная ориентация. Но нет невнимания к здоровью детей, равнодушного отношения к ученикам.

Проблемы организации труда. Беспокойство за свои профессиональные действия, неумение работников общаться друг с другом. А пьянства — все равно нет!

Проблемы человека в Русском Устье есть, конечно, русско-устыинцы самокритичны, считают, что не дорабатывают и семья, и школа. Бывает, идут вслед за кем-то, не имеют собственного мнения. Но нет страха за свое здоровье. И нет проблемы отсутствия собственного дома.

Ценности Русского Устья: счастливая семейная жизнь, здоровье, хорошие, верные друзья, интересная творческая работа. Это для них главное.

Для сравнения: что в других поселках улуса.

Проблема номер один — пьянство. Здоровье. Страх возможных обид, то есть психологический дискомфорт. Везде низкие доходы, низкая оплата труда. В Оленегорске — антисанитарные условия. Проблемы семьи другие, чем в Устье: нежелание взрослых находить работу самостоятельно. Как неизбежное следствие — отсутствие самостоятельности у детей, безучастность родителей (ребенок растет сам по себе). В райцентре Чокурдах — конфликтные отношения между подростками. И везде — страх за свое здоровье и личную безопасность. В Оленегорске, где нет оленей, — отсутствие дела.

А ценности те же — здоровье, счастливая семейная жизнь, творческая работа. И сказки Русского Устья, которые тут все любят.

Вместо присказки

В этих сказках нет присказок и концовок. Начинаются прямо с описания ситуации: «У царя не было детей». Сказка издревле стояла здесь ближе к жизни, в большей степени воспринималась как быль. Само слово «сказка» употреблялось в значении «рассказ».

По дороге к сказочнице бабе Варе увидели северное сияние. Не цветные всполохи, а широкий млечный путь, согнутый в белую радугу. Передвигаться зимой по селу непросто — сугробы, единственный способ — по теплотрассе, все ходят по трубам. Мимо магазина, старого здания начальной школы и памятника первому летчику добрались до сказочницы.

Дома уютно, на диване яркая накидка из лоскутков и куча сказочных персонажей — кукол сказочница «одевает» для детсада.

Баба Варя окончила начальную школу в 50-м году с похвальной грамотой, потом три года жила в интернате и закончила в Чокурдах семилетку, поступила в Якутске в фельдшерско-акушерскую школу. Работала в Чокурдах акушеркой, медсестрой, девять родов самостоятельно приняла. И тут, в Устье, тоже — и двойню принимала, и ножками вперед. Одно время работала при райкоме партии на общественных началах секретарем общества трезвости (это когда Горбачев решил обновить Россию). «То обновляют, то старят, а дети рождаются». — «А сказки когда начали сочинять?»

Улыбается: «Я не сочиняла, я внукам рассказывала» (у нее на стене в комнате фотомонтаж из детских лиц, все красивые — 5 детей, 17 внуков, 15 правнуков).

«А когда сказки записали?» — «К какому-то юбилею. А, вспомнила: мне было семьдесят пять лет и Чокурдаху — 75. Вот тогда дочь мне и говорит: мама, выделили деньги на мероприятия, на издание будут давать деньги, сделай что-нибудь. Ну, я и написала. Не только сказки, там и то, что было действительно, и стихи, а здешние школьники и дети из художественной школы в Чокурдахе рисунки нарисовали к каждой сказке».

Стихи писать я не умею,
Лишь к мыслям рифму подбираю,
А мысли удержать не смею —
Они порой меня терзают.

И потому свои «творения»
Я прячу, прячу от суда.
И называть стихотворением
Я не посмею никогда.

Баба Варя накрывает на стол, поит нас чаем, балует вкусной едой, а я все читаю, оторваться не могу от этих ее незатейливых творений, которые она не смеет называть стихотворениями, ну, пусть так, пусть сказка.

На картинке — солнце, облака, красный домик с треугольной крышей, чьи-то красные следы тянутся по земле и на домик карабкаются. А у домика стоят двое, не поймешь кто.

Маленькие гномики
Жили в своем домике.
В доме прибирали,
Деток поджидали.
Дети прибежали,
Громко закричали.
Испугались гномики,
И ушли из домика.
Разве можно так кричать,
Добрых гномиков пугать?
Ведь они хорошие,
На детей похожие.

Стихи-сказки у бабы Вари похожи на ее голос, успокаивающий, убаюкивающий. Вот в чем сказочность сказок бабы Вари: откуда тут, в тундре, у Северного Ледовитого, взяться тиграм, львам и другим «нездешним» животным, растениям и деревьям, а у нее в сказках они есть. Елка, которая тут не растет, она же сама по себе сказочная. И малыш растит эту сказочную елочку в Русском Устье, а потом, когда уже в школе учится, не дает ее срубить на Новый год, и все дети из класса украшают ее, танцуют, играют. А потом уже целый ельник вырос, но никто в деревне не срубает елок, а «малыш давно стал дядей, но люди помнят, как еще малышом он первый начал спасать ели от вырубки».

Ну, разве не сказка?

Четыре зверенка на поляне делят четыре яблока, один зверенок делит, другой, а все время одно яблоко лишнее остается. Оказывается, все зверята не были жадинами и отдавали яблоки друзьям, а про себя забывали.

Правда, думаю про себя я, они не умеют считать, но, как говорил когда-то известный педагог Шацкий, считать-то мы их научим, главное, чтобы не обсчитывали...

Пусть идет, как идет. Только хорошо...

Разговорились со сказочницей бабой Варей и ее племянницей, школьным библиотекарем Татьяной Суздаловой о мучающем меня вопросе. Он касается не только Русского Устья. Что же получается: убежали, уплыли от Ивана Грозного на кочах, а приплыли... опять к Грозному? Или по-другому: замороженное состояние Руси? И как быть в нашем конкретном случае? Замороженное село — трогать его или не трогать?

Вот что они сказали.

Татьяна: «Мы почему любим эти места, хотя сегодня не как в прежние годы на Севере — ни апельсинов, ни яблок, ни голубого песка, ни Северного морского пути. А мы любим. Из-за свободы. Пока дойдет до нас, многое переменится. Нам постоянно что-то присылают, требуют то одно, то другое, но пока дойдет до нас... У нас большая самостоятельность, свобода.

Вот говорят: детям нужны города, развитие. А они *хотят* жить в суматохе? Они побегать хотят, когда солнце светит, даже чокурдахские приезжают — по травке побегать. Конечно, у нас нет суперотличников, из каждого Пифагора не сделаешь. Зато художники есть, рисуют так замечательно».

Баба Варя: «Наш народ азартен. У женщины трое детей, один грудной, а она едет в команде в Чокурдах, за спортивную победу бороться. Это наш вольный дух, наверное».

Татьяна: «Вы не подумайте, что у нас все плохо (а что меня убеждать — и так видно). У нас вот газета «Детские вести», ребята сами выпускают. Там много интересного: авторы ошибки нарочно делают, и в конце газеты вешают объявление: «Найдите три ошибки. Звоните по телефону...»

«То есть, — говорю я, — не надо влезать в эту ситуацию, ну, в ту, что в селе, в школе?» — «Да, не надо, — считает племянница Варвары Серафимовны. — Пусть идет, как исторически сложилось». — «Вы тоже так считаете?» — спрашиваю бабу Варю.

Она улыбается своей доброй чудесной улыбкой. «Вы знаете, — тихо говорит, — меня беспокоит, что новое освоение Севера против здоровья населения. Сейчас они пока только летают, а потом... В шестьдесят втором году, при первом освоении, проверяли талую воду, растения на радиоактивность. Тогда уже была высокая». — «Это здесь-то?» — «Да, в тундре. Я тогда работала на санэпидстанции — не хватало персонала, я пошла — и увидела. Заморозили ситуацию. А если начнут высасывать газ, нефть, то... Я вообще-то консерватор, — смущенно улыбнулась Варвара Серафимовна. — Экспедиция тут работала на островах, разведывали что-то. Увозили кости мамонтов, изучали. Их выжили промышленники натурально, сказали: это наше. Добыли какой-то камень, руду. Николаев, когда его президентом выбрали, объявил — все, никого туда не пустим. А получилось... Из всех наших четырех тысяч населения, наверное, я одна не согласна с этими овцебыками. Привезли их — и дикие олени пропали. Всю жизнь были, а тут раз — и исчезли».

Слушая бабу Варю, я подумал: завезенный сюда овцебык, поедающий растительность и вытесняющий местного оленя, и те, что «пока летают», — не похожи ли они друг на друга?

Хорошо на бронтомазе

Собираемся в обратную дорогу, в Чокурдах. Учítывая мою отмороженную физиономию, подгадали под транспорт — теплую машину необычной конструкции. С колесами величиной с человека. Изготовлено на заводе специально для северян, по штучным заказам. «Бронто-МАЗ» называется. По сравнению с ним «Петрович» —

четырехколесный вездеход, да и шестиколесный, дизельный, который выпускают в Тюмени, — игрушка.

Часов пять-шесть — до Чокурдах. Мутная молодая полярная ночь.

В гостинице жарко, как в бане. Топят сырой нефтью с газо-конденсатом, которые привозят танкеры. В отличие от Белой горы, там-то топят углем, поэтому Белая гора совсем не белая.

В Аллаиховском районе найдены запасы нефти, золота, молибдена, сурьмы. Но пока заморожены. Поэтому Чокурдах — не лунная поверхность, каким бывает типичный ландшафт в местах добычи. Здесь картинка другая: горизонтальные дымы утопленной в снегу кочегарки, бараки, точно из кинофильма «Кин-дза-дза». Если и бежать из Устья, вряд ли сюда.

Часть берега, на котором стоит село, унесла Индигирка. Обвалился подвал, где держала рыбу община. Земля ушла в реку рядом со старой школой. «И все Русское Устье уйдет, — убежден хозяин домашней гостиницы, в которой мы ночуем. — Если не в море уйдет, то так развалится».

Примеры перед глазами. В поселке геодезистов Похвальном, где были прииски (там нашли газ и золото), стояли благоустроенные дома, вертолетная площадка, космическая связь. Восемнадцать боксов для «КАМАЗов» и кранов. Развитая инфраструктура, спортзал, баня... И все кончилось. Во время перестройки поселки геологов закрыли по всей стране.

«А у Русского Устья, — спрашиваю я, — ситуация шаткая?» — «Шаткая. Я говорил главе района: зачем тут строите? А он: "На мой век хватит"».

Сила Кориолиса¹ в Северном полушарии направлена вправо, правые берега рек более крутые, их неостановимо подмывает вода. Люди живут в замороженном состоянии, в преддверии катастрофы. И эта ситуация до сих пор не осмыслена. Берег обваливается. Русская речь исчезает. И если ничего не делать, гораздо быстрее, чем думаем, река унесет село в Ледовитый океан.

Северные амазонки

Встретились с двумя серьезными дамами — членами Ассоциации юкагиров. Насчет юкагиров — вопрос темный, есть они или нет. Их изучают в институте гуманитарных исследований в Якутске, но до сих пор, кажется, не пришли к определенному выводу. На нижней и верхней Колыме есть села Нелемное и Андриюшкино, там живут потомки древнего племени, коренного населения северо-восточной Сибири, обитавшего до тунгусов, якутов и русских. Одна из моих собеседниц, Мария Ивановна, рассказывает, что зять у нее татарин, муж якут, а сама она считалась эвеном, но «в глубине души чувствовала, что юкагирская кровь во мне течет». И это, говорит, подтвердилось, когда кровь брали из вены на генетический анализ.

Словом, это отдельная тема, про юкагиров, а меня страшно заинтересовали сами дамы, чем они занимаются. Представлю: Мария Ивановна Максимова — руководитель этнокультурной экспедиции на «Буранах» «Индьи», что означает «оленья жила», «жилистая» («Мы все жилистые», — подтверждает Максимова). Другой член буранной экспедиции — Зинаида Васильевна Щербачкова, родом из Андриюшкино. Мать семейных детей и бабушка пятерых внуков.

В экспедиции на «Буранах» ездят одни женщины. Видимо, не случайно. «У нас был матриархат, — рассказывают они. — Женщина всегда главой была». — «И мужчины подчинялись?» — «Конечно».

¹ Сила Кориолиса — одна из сил инерции, использующаяся при рассмотрении движения материальной точки относительно вращающейся системы отсчёта.

«Экспедиция у нас девятый год, — рассказывают женщины. — Мы решили так: раз наши отцы, деды, прадеды — кочевники, надо кочевать, менять места, праздники оленеводческие устраивать».

Мома, Абый, Нижнеколымск, Среднеколымск — по этому маршруту они прошли 9500 км. Десять женщин. Экспедиция проходит ежегодно весной.

«А что вы делаете в поселках?» — «Проводим мероприятия, мастер-классы. У нас разные направления работы: обмен опытом традиционного воспитания, сельское хозяйство, природопользование. Проблемы языка, шитье, горловое пение... Мы свое — они свое».

В буранной экспедиции женщины разного возраста: самой младшей двадцать шесть лет, старшей — семьдесят пять. Приезжают в поселок, в школу. И то, что увидели в экспедиции, что знают, — рассказывают. Отношение к незнакомым людям у них родственное. «Каждый улус на дороге — сородичи». Это, говорят, связано не с национальностью, а с людьми, всеми народами Севера.

Такая вот кросскультурная экспедиция.

«Благотворительные концерты даем», — сообщают как о привычном.

Представьте только: приезжают женщины на «Буранах», дают концерт, а деньги от продажи билетов возвращают обратно — на развитие поселка, малочисленных народов. Взамен ничего не просят.

«Они нам бензин дают, — признаются дамы. — Иногда спим, едим на улице. «Буран» ломается, всякое бывает. Один раз едем с Андриюшкино, ветер, холодно, хоть весна, а пурга. На горе разожгли костер, обсохли. Спускаемся и видим: тысячи оленей-дикарей. И они нас видят. Мы замерли, а вожак поднимается на гору, стоит, ждет, и все за ним побежали. Важенки, беременные оленихи, к морю шли. Это такие мгновения...» — обрывает себя на полуслове Мария Иванова.

«А правда, что по закону Российской Федерации вы имеете право добыть для себя одного оленя в год?» — спрашиваю северянок. — «Да, законы противоречат жизни. Если у тебя есть сеть, тебя поймают. Рыбу ловить разрешено только удочкой». — «Чем-чем?» — «Только удочкой, ну, спиннингом можно».

Ну и картинку нарисовали господа думцы — прямо для палаты №6: в декабре у Ледовитого океана сидит человек и ловит рыбу удочкой.

«Это еще если твоя земля. А вода на ней — федеральная, поэтому вкладку должен иметь, разрешение покажи. Наш аксакал, Владимир Николаевич Слепцов, пробился к Медведеву на прием, когда тот был президентом. Рассказал. Но ответ пришел из Якутска тот же. Чего они боятся? Никогда эвены, эвенки, юкагиры не будут брать тоннами от своей земли-матушки. А у нас ведь инвалиды, им тоже есть нужно».

Мария Иванова вздохнула и заговорила о другом: «Есть такая программа "Шаг в будущее" — разные проекты детские. У нас дети из малоимущих семей нигде не были, ничего, кроме Индигирки и океана, не видели. Где найти средства, чтобы вывезти их на недельку в Москву? Я сама в Москве не была».

«Слышал, молодые ребята у вас — бессемейные». — «Да, да, у меня двоюродный брат, ему за шестьдесят, никогда не создавал семью. Все время в стаде. И безработных у нас много. Куда идем, не знаю. Картошка в Чокурдах двести рублей, яблоки двести двадцать, — сообщает Мария Иванова цены конца 2014 года. — И это старый завод, а когда новый — сильно дорожают».

«А меня беспокоит, что в наших северных улусах закрыли санэпидстанции, — говорит медсестра с сорокалетним стажем. — Если ребенку назначен антибиотик, раньше выясняли, какой ему подойдет. Сейчас не выясняют. А если он не годится? Чтобы сделать анализ, надо в Якутск лететь. Туда и обратно — 48 тысяч. Если беременность от тридцати недель, будущая мамаша должна обязательно находиться в райцентре по родовому сертификату. Но это только слова. Я сама в свое время долго ждала, когда мне этот сертификат дадут. Дети выросли, я до сих пор жду».

Их положение много хуже, чем у индейцев в ранней Америке (про нынешнюю говорить нечего). Кого в этой стране интересует их судьба?

В Аллаиховском улусе когда-то было 27000 оленей. Осталось 300. «Когда началась приватизация, — пояснили женщины, — стали дробить стадо. А ведь если много гнуса, олени в кучу сбиваются и так выживают. А поодиночке не выживают».

Их экспедиция не только о Севере. Они хотят показать детям, внукам, что такое Россия.

Эти серьезные женщины, проходящие на «Буранах» по десять тысяч километров, напоминают племя амазонок. Но в отличие от тех современные амазонки не воинственны. Их миссия другая: служить почтальонами в замороженных пространствах. Нести добрые вести, связывать людей друг с другом, помогать. Детям в особенности. Они хотят, чтобы дети увидели что-то кроме своего угла. Женщины из «Индьи» хотят взять детей в свои экспедиции.

Блуждающий поселок

Спасатель Евгений Стрюков высказал мысль, которую позже услышу от учеников местной школы и улыбнусь детским фантазиям. В здешних местах якобы надо строить дома не на сваях, как везде в Якутии, а на нартах. Дом на полозьях и «лёжках», чтобы не провалился. Если оттайка, снимаешься с места и уезжаешь. А если река меняет русло, можно назад вернуться. Блуждающий такой поселок. Хозяин нашей гостиницы припомнил: в 80-х годах пользовались сборно-разборным домиком «Север-3». Специально для оленеводов. Все на болтах: можно быстро собрать, разобрать, перевезти. Так что у фантазий учеников и Евгения есть реальная почва. Но она тут «хлюпкая».

«Деньги на ветер кидают, — считает хозяин дома. — Строят, а поселок как в болото уходит. Русское Устье опять, видно, придется перенести в другое место. На участке Индигирки есть горы Малые камни, мимо суда проходят. Если бы я был главой района, никого бы не слушал, пробивал бы деньги на переселение на Малые камни. На камнях и Похвальный, и Чокурдах стоят — вода не берет. Кремень ничто не берет».

Вода Чокурдах не берет, а что-то все-таки точит. Пожилых больше, чем молодых, уезжают и уезжают. Самые молодые, самые активные жители поселков не скрывают: случай представится — сразу уедем.

Хозяин гостиницы, как многие его земляки, ловит и сдает рыбу, которую община самолетом переправляет в город. Летнюю добычу сдают все местные жители — никуда не денешься, в районе нет рефрижератора. А зимой могут и себе рыбки оставить. Из средств, полученных от продажи, община выплачивает рыбакам зарплату, снабжает бензином, обеспечивает снастями, сама ищет покупателей. Но это скорее исключение из правил. В остальном в районе развал, говорит хозяин.

Явился Евгений с двумя «поцелуями» на щеках — мороз сильный, ездил в Оленегорск, его и «поцеловало». Передали по ANTEL, программа такая, где сотовый не работает: «В сторону клуба и школы начинается северное сияние. Если Цирульников хочет, может выйти!»

Пошли посмотреть. По дороге зашли в чокурдахский магазин. Цены в декабре четырнадцатого года подтверждали сказанное амазонками. Хлеб черный — 115 р. Свекла — 170, морковь — 200, яблоки 245—310, помидоры 280—320. Маргарин, маленькая пачка — 290 р. Водка, самая дешевая: 1500—1800. Была, правда, бормотуха (эквивалент советской плодово-ягодной) за 300 р. Это в райцентре, а в поселках — за несколько сот километров? А сегодня, в 2017-м, сколько стоит еда для народа там, где начальники борются за шельфы Арктики?

«Не средневековые все же»

Заместителя главного врача Чокурдахской больницы зовут Веденей Алексеевич Кисилев. Молодой доктор и поведал нам, каково состояние местной системы здравоохранения.

Больница в районе одна, в поселках — фельдшерские пункты. Транспорт есть только в одном поселке. В экстремальной ситуации — санавиация. Ее ближайшая база — в Устьянском и Среднеколымском районах, до Чокурдаха три часа лёта — вполне достаточно, — говорит зам главного врача, — чтобы истечь кровью. И если острый инфаркт, уже не поможешь.

Бывает, что связи нет. В поселках есть спутниковые телефоны, но бывает, дозваниваются, а понять невозможно, что говорят.

Хотя больница хорошая. И специалисты хорошие: хирург, анестезиолог, два детских врача, три терапевта, невролог, врач-лаборант. Они же выполняют функции гинеколога, офтальмолога и стоматолога. Некоторые имеют по две специальности, УЗИ могут сделать.

«Давно не было такого состава», — с гордостью сообщает Веденей. Полтора года назад в районной больнице было три врача, анестезиолога вообще не было, приходилось брать ответственность на себя.

А почему не было? Оказывается, «благодаря» федеральной программе «Земский доктор», за которую в Кремле радостно отчитались, но их из программы исключили: Чокурдах, расположенный на краю света, не считается *сельским* поселком. Благими намерениями, как говорится...

А так, со стороны, — больница хорошая, новая. В стационаре 33 круглосуточные и 10 дневных коек. Лаборатория оснащена современным оборудованием. По программе для выхаживания беременных получили аппарат искусственной вентиляции легких. Но всех «подозрительных» беременных стараются отправлять в Якутск.

Интересуюсь у доктора Веденея, какие вблизи Северного Ледовитого распространены заболевания. Те же, что и вдали: у взрослых — сердечно-сосудистые, у детей — простудные. Временами случаются всплески суицидов. Еще высокий процент онкологических заболеваний. Но больше половины случаев выявляется на ранних стадиях благодаря специалистам из Якутска — все население прошло УЗИ. Как говорят в медицине, здоровых нет, есть недообследованные.

«А сами можете обследовать?» — «Что-то можем. Но аппарат УЗИ — старый. Рентген старый. Флюорограф новый, цифровой, эндоскопический аппарат хороший, но специалиста нет. Ни МРТ, ни компьютерного томографа нет, но он не так уж нам и нужен. Нужнее хороший УЗИ и маммограф, он, кажется, на горизонте замаячил».

«Реформа здравоохранения вас коснулась?» — «Коснулась. По программе "Здоровье" привезли "газель", а зачем она нам? Год поездила и стоит. Регион ветреный, быстро заметает; раз — и дороги нет».

В больнице в Чокурдахе молодых врачей пятеро из четырнадцати. В фельдшерских пунктах — по-разному. Зарплата в фельдшерском пункте 30-35 тысяч (по президентской программе, вместе с 7-8 тысячами доплаты). У врача голая ставка 30900 рублей, плюс дежурства, совмещение, у участкового максимум 50 тысяч с хвостиком. А так у врача-специалиста — одна зарплата. Поэтому куда денешься — врач охотится и рыбачит.

Молодой доктор Веденей работает в Чокурдахе три года. Закончил мединститут, ординатуру, работал в республиканской больнице. Но родом отсюда, сюда и вернулся.

«Ребята, школьники, хотят в медицину?» — «Таких мало».

По целевым местам можно поступить вне конкурса, но у них желающих не оказалось, хотя, чтобы поступить, достаточно сдать ЕГЭ.

Население Аллаиховского района уменьшается год от года. Продолжительность жизни «в районе пятидесяти» — назвал доктор страшную цифру. Но если убрать несчастные случаи, возраст будет не как в Средневековье, побольше, — успокоил он меня.

Нельзя сказать, что ничего не происходит

В Чокурдахе здание школы постройки восьмидесят пятого года, деревянное и страшно холодное. Молодого школьного директора зовут Евдокия Владимировна Забаре. Общественный помощник депутата якутского парламента Ил Тумэн, она добилась строительства каменного здания, и скоро начнут привозить по зимнику первые материалы. Когда соединят начальную и среднюю школы, детей будет побольше. А деревянное здание используют для дополнительного образования.

Сравнивая школы в дальних поселках с райцентровскими, директор признает, что по уровню знаний, особенно в начальных классах, дети там сильно отстают. Некоторые ребята из поселков учатся и живут в Чокурдахе, в интернате. «У этих деревенских детей круг общения меньше, вначале немного теряются. Полгода — год преодолевают языковой барьер: в Чокурдахе говорят по-русски, а в их поселках — по-якутски. Но дети приспосабливаются и охотно работают».

Половина выпускников поступают в вузы, в основном технические. «Возвращаются ли в село? Врать не буду. Единицы...»

Что удалось сделать в Год Арктики? Рыбзавод восстановили, понемногу начинает работать, хотя КПД пока небольшой. Приостановили отток младшего обслуживающего персонала в бюджетной сфере — пока приостановили. Пробили строительство школы. Ремонтируем, расширяем и удлинняем взлетную полосу — смогут садиться большие самолеты. Если полетят. То есть нельзя сказать, что ничего не происходит, полагает Евдокия Владимировна. А с точки зрения дальних перспектив... Пока неясно.

«Летают два года, изучают наши полезные ископаемые. В Похвальном нашли газ и золото, есть месторождение недалеко от Оленегорска, но его нашли и заморозили. Сам район не справится, нужна поддержка. В оленеводство вкладывали кучу денег, но ежегодно — падеж. Нет, здесь берег не подмывает, он каменный. Овраги только страшные. Весь поселок в оврагах. Почему? Утечка из канализационных труб. Они же еще с советских времен».

Бугаев так прокомментировал ситуацию: ежегодно количество людей в Якутске возрастает на полторы тысячи, в основном за счет сельских. Дети подрастают, становятся студентами, семья переезжает вместе с ребенком. И все меньше детей, говорящих на родном языке. Вперемешку — по-русски, по-эвенски, по-якутски...

Подхватывая последнюю мысль, директор рассказывает об исследовательских проектах школьников, в одном из которых дети как раз выясняли, почему население мало говорит на родном языке, и составили словарь бытовых предметов. В другом изучали местную флору и фауну, исчезающие виды. В третьем — открыли виртуальный музей истории школы. В четвертом — изучили на примере улуса влияние смены часового пояса на организм человека. По североведению была хорошая работа: как берег укреплять. «Что-что?» — переспросил я. Да-да, именно *дети* предложили интересные идеи, как укрепить берег, подтвердила директор.

Силиконовая долина, которую мы не видим

Я зашел в класс, где меня ждали авторы проектов, ученики 8—10 классов, выступившие с предложениями, которые могут поменять жизнь к лучшему. Вот что я записал с их слов.

Сергей Кунаков, 10-й класс:

«Я хочу развивать аутсорсинг, чтобы школьникам передавали некоторые социальные услуги: ухаживать за стариками, убирать, готовить еду. Хочу создать свою компанию, чтобы ребята понимали, что деньги не падают с неба, они твои, кровно заработанные. Некоторые работают волонтерами, и это меняет их отношение ко многому: ребята привыкают к чистоте, не разбрасывают бумажки... Еще хочу создать свою программу, которая помогала бы саморазвитию молодого человека, чтобы, устраиваясь на работу, он был уже готов к ней психологически и практически. Меня папа, например, берет с собой, когда ремонт делает, он работает в ДЭЗе. Это можно сделать у нас в поселке, в моем улусе. И выгодно будет не только ребятам, но и учреждению — что-то будет делаться за небольшую оплату, а школьники будут приобретать опыт и немного зарабатывать».

Двоюродный брат Сергея, Юра Кунаков, представил проект под названием «Грузоперевозка»:

«В нашем районе, — рассказывает автор, — грузоперевозки значительные, ведь у нас есть аэропорт. Я хочу рассчитать все параметры перевозки нефти, потому что и для отопления, и рыбакам нефть очень нужна. Как оптимально организовать ее перевозку из района в наслеги? Сейчас в основном солярку, дизельное топливо везут из ДЭЗа сами. Нефть завозят морем, на танкере. В прошлом году не залили емкости — был низкий уровень воды, и суда не смогли пройти. Сейчас у нас горючего не хватает, а у частных не всегда есть лицензия на перевозку. А я хочу, чтобы это было легально: сертификат, страховка. Строить логистику. Сейчас "Ямаху" сломал — никто ремонт не оплатит. Когда машина проваливается, товар портится, и если в договоре это не прописано...»

У брата Сережи такое предложение:

«Есть идея, типа, чтобы был компьютерный клуб общего пользования. Чтобы дети могли поиграть, взрослые с документами поработать».

«Это у вас такой малый бизнес?» — спрашиваю ребят. Развитие интеллекта, отвечают они. Каждый человек должен себя развивать. Не только заниматься спортом, получать знания — надо развивать навыки, которые в жизни пригодятся. Все знать нельзя, но надо знать то, что принесет тебе доход и пользу.

Никита Фрис уже три года помогает на предприятии отцу. Вначале просто рыбачил, потом стал осваивать другие работы. Другой парнишка работает в магазинах у мамы, у них четыре магазина сети «Маяк». «По медицине расскажи», — подсказывает его брат. «Ну, в общем, я хотел создать не проект, а что-то вроде программы по привлечению молодых специалистов в арктическую зону. Будет включать выплату подъемных для перелетов, заключение контрактов, обеспечение жильем, льготами и, если получится, способствовать развитию медицины. Сейчас столько территорий не исследовано, не используется. А если будет эта программа...»

С проблемами медицины он разбирался на практике. «У нас 4000 человек в улусе, и всем больничные дают одинаково, независимо от болезни: ОРВ, УРВИ, руку сломал, ногу... А если что-то сложное, отправляют в Якутск. За один год, мы проверяли, 1112 человек болеют ОРВИ в поселке. В аптеке препараты дорогие. Если бы был прямой договор с Якутском, мы бы имели доступные цены». — «Авиация у нас деградирует, — говорит его брат. — В СССР самолеты отсюда летали до Москвы. Двадцать один рейс

в день, а сейчас... И топливо дорогое, а мы зависим от топлива. Поэтому люди ищут альтернативы — ветряные мельницы, солнечные батареи...» — «У нас в поселке все проблемы связаны друг с другом, медицина, авиация», — системно мыслит его брат. Слушая их, я думаю: страна без будущего? Да с чего мы взяли? Вот же оно, сидит со мной рядом. Но страна живет в прошлом, будущее не ценит. Хороший потенциал у ребят, жаль.

«Есть идеи насчет мусора, — продолжают ребята. — Вы видели, наверное, что у нас на горе мусорная свалка. А за поселком — овраги. Если этот мусор не тащить на гору, а наоборот, сваливать в овраги и засыпать землей, это место можно будет использовать».

«А вот такая идея насчет рушащихся берегов, — услышал я от одного и от изумления забыл спросить фамилию. — Сейчас есть проточка. Она находится перед поворотом. Можно расширить эту проточку, углубить реку, и тогда она поменяет русло. Сделает зигзаг, — сказал десятиклассник, и, чтобы мне было понятней, нарисовал, как это могло бы выглядеть на практике. — Вот, получается, что река как бы тычется в эту проточку. Ей помочь нужно. Зимой можно прорубить, из проточки сделать основное русло. Тогда берег перестанет рушиться».

Господи, ну, послушал бы их кто-нибудь! Кто-то слушает. Автор проекта «Настоящее и будущее медицины» Никита Фрис в старших классах выиграл конкурс, поехал в Южную Корею, там учился и защитил доклад. Теперь на льготных условиях учится в университете. Пригласили в Оксфорд.

А вот другой мальчик, из оленегорской школы, Евтыян Стрюков (сын нашего проводника Евгения) — автор проекта «Безотходное производство из оленя». Он тоже получил грант на обучение за границей. Евтыян и Никита теперь учатся в университете в городе Тэджон, это «Силиконовая долина» Южной Кореи. Там они получили возможность реализовывать свои идеи.

Детей надо послушать

Ариса Агитовна Суздалова, замглавы по социальным вопросам, перечисляет проблемы своего улуса: зимник три месяца, с февраля по апрель, потом распутица. В июле только по воде можно добраться. Семь самолетов «аннушек» стоят, пять миллионов надо, чтобы отремонтировать. Беременных на санях возим. Жилья не хватает. Есть местный щебень — на дороги, но нет специалистов. Архитектора нет. Но когда речь заходит о детях, она все понимает с полуслова.

На программу «Одаренные дети» Суздалова «выбила» шестьсот тысяч — в других улусах гораздо меньше. Добыла средства на «Шаг в будущее», на выезд детей, на предметные олимпиады школьников, якутские и всероссийские. «Для детей не жалко, — говорит она. — Когда видишь, какие чудесные ребята приезжают... Надеюсь, что вырастут и будут поднимать район».

«Детей надо послушать?» — спрашиваю я ее насчет обваливающегося берега, оврагов, изменения русла реки, теплых полов, логистики. «Да, — отвечает Ариса Агитовна, — их надо слушать. Они дают толчок. Недавно учитель с детьми придумали, как облагородить сквер, и уже делают потихоньку. А в Ожогове — может быть, слышали? — была когда-то зона, и дети подают нам идею музея репрессированных. Это же заключенные дорогу построили от Ожогово до Депутатского, вручную. Можно организовать туризм — вот вам еще проект».

Бесценное потерянное время

История повторяется. Опять улететь не можем. Туман, самолет, вылетевший из Якутска, не долетел. Сел на Белую гору. Сюжет нашей экспедиции идет по кругу. Посидев в холодном аэропорту, пассажиры разъехались по домам и родственникам. Снова садимся в Женины буранные санки, я боком, ноги на полозья, лицом назад. В домашней гостинице хозяйка снова хлопочет с самоваром, собирает на стол. Вспомнилась русско-устыинская бабушка Варя, у которой «успокаивающий голос».

Три дня до пика Полярной ночи. Мы остаемся еще на сутки. Не оказаться бы на пике. Два с половиной дня пробивались сюда, и обратно — три. Пять дней потеряли. Настроение швах — морда обморожена, кашель, жар, ломает. Доктор Гагарин дал какую-то таблетку. Хозяйка дома-гостиницы кипятит электрический самовар, не переставая, я натираю грудь и пью с горячим чаем белый топлёный медвежий жир, банку которого достала из своих припасов хозяйка. И вот лежим на койках и размышляем о времени: потерянное оно или нет.

«В образовательном путешествии не бывает "потери времени", — размышляет Бугаев. — В обычном путешествии бывает, а в образовательном — нет». Он краем глаза следит за мной, взявшимся за перо, и замечает: «Вы записываете это как новое, потому что вам мешает ваша "европейскость". На алгоритм мышления, кем бы вы ни были, влияет алгоритм речи. А для вас родной язык русский, который имеет линейную структуру». Сказал и умолк. Заснул что ли? Тут мы почему-то перескакиваем на другую тему. «О детских "бизнес-проектах". Это очень важно, если зачинателями будут дети. Они потянут родителей, а те потянут родственников, друзей. А когда начнется практическое дело, изменится отношение к детям и их статус — они уже не советники, даже не сотрудники, они — авторы. С ними будут говорить с уважением, их будут слушать. Окончив школу, выпускники не бросят дело, приучатся принимать на себя ответственность, претворять свои идеи в курсовые и дипломные проекты, осмыслять проблемы на другом уровне. И, уезжая, передавать дело младшим, а позже, может, захотят вернуться в эти края или в другом месте сделать тоже что-то полезное».

То есть, — развиваю я мысль Бугаева, — вырастут другие люди, другое общество? А может, это и есть неожиданный, «детский» переход от традиционного общества к современному? Модернизация через детей? Что ответил Эйнштейн по поводу того, что решение должно быть простым? Да, сказал он, простым, но не таким, как вы себе представляете.

«Языки, построенные линейно, — продолжает педагог-филолог Бугаев, как будто он и не засыпал на полуслове о моей "европейскости"», — перепрыгивают через ступеньки и какие-то ходы могут пропускать. В отличие от языков концентрических, которые ничего не пропускают. Кажется, что люди, говорящие на концентрических языках, медлительные, а на самом деле — они полный анализ делают. Путешествие по-якутски — «айян», означает «иди, твори». Есть только направление, конкретного маршрута нет, в любую сторону можно свернуть, любые элементы импровизации испробовать. По-якутски остановка — отнюдь не потеря времени».

Лечебная таблетка доктора Гагарина и белый топлёный медвежий жир заботливой хозяйки подействовали. Мне хорошо, я спокоен.

«Как вы думаете, — спрашиваю я, — признаки образовательного путешествия можно применить к экспедиции?» — «Ну, мы же образовательную экспедицию примерно планируем, а потом — надеюсь, вы в этой поездке поняли, — получается что-то другое. Даже если запланировать маршрут, то, что происходит на «остановках», все время разное. Разный анализ, разные стратегии, тактики. Именно это я и называю этнопедагогикой, народной педагогикой. В ней не может быть поурочных планов, это всегда путешествие, зависящее от происходящего в течение дня».

Я вдруг вспомнил моего старого друга, выдающегося украинского педагога-художника Александра Ивановича Шевченко. В советское время его заставляли писать поурочные планы, а он бунтовал: как я могу писать план, дивился Шевченко, если сегодня, вон, снег выпал? Что же они будут на уроке горшок писать, когда надо на улицу?

«Вы знаете, — замечает Бугаев, — одна из самых интересных разновидностей образовательного путешествия — это детская игра. В первую очередь — ролевая. Дети играют роли, но роли не написаны, неизвестно, как другой прореагирует на твое действие, тогда и тебе надо по-другому откликнуться, поэтому импровизируешь. Самая крутая остановка, когда ребенок восклицает — "чур!" Это означает: правила меня не устраивают, правила надо поменять. Это момент образовательного скачка. Правила меняются, жизнь продолжается».

Самолет все-таки прилетел.

Разгружали чемоданы на пятидесятиградусном морозе сами пассажиры. «Сервис не для Севера», — скаламбурил мой друг.

Замороженные, холодные аэропортики, заледевшие «аннушки», еле теплый чай в полете. В Якутске, до которого как-то долетели, то же самое. Густой туман и ледяные дороги. Ехали по льду, как пьяные, заносило. Всюду стрессы.

Жизнь проверяет. Один крутой поворот за другим.

А насчет встречи с Севером я вот что думаю.

Кажется, я начинаю догадываться, что моя длительная подготовка, попытка длиною в год попасть в эти края — тоже своеобразная остановка в пути. Часть путешествия, начавшегося год назад. А может, и раньше.

Север сопротивлялся? Нет, сопротивлялся не Север, а я сам — пониманию его, осмыслению. Желал и отодвигал, путался и искал, может быть, искал самого себя в обстоятельствах, когда сбрасываешь лишнее и остается суть, и удивляешься, как немного человеку нужно. И как это много. Нарты, ветер, оранжевый апельсин Луны на снегу в полярной ночи. Тепло дома, неторопливый человеческий разговор... Я сопротивлялся встрече с Севером. А он встретил меня, испытал, усмехнулся в ледяную бороду и, раскинув руки, открылся на всем своем пространстве до Северного океана и заключил в объятия.

А напоследок наградил жарким поцелуем юкагирки.

*Москва — Северный Ледовитый,
декабрь 2014 — январь 2017*

Продирание сквозь слепоту

Последние романы Отара Чиладзе: два прочтения

Ольга Гертман

Самая важная работа на свете

Последний роман Отара Чиладзе (1933—2009) «Авелум» (перевод с грузинского М.Бирюковой. — М.: Культурная революция, 2016. — 396 с.), законченный в 1995-м — о взаимодействии человека и судьбы. Не о противоборстве их, нет, — именно о взаимодействии, с неминуемым, неизмеримым, непреодолимым перевесом сил на стороне судьбы. Притом, со стороны человека — вслепую.

Человека — даже не как личности, тут сложнее и неожиданнее. Главный герой, именем которого назван роман, «Авелум» (собственно, это — не имя, это — иносказание-умолчание; имена в романе — вообще отдельная история, и мы о ней еще поговорим подробнее) в каком-то смысле — не личность. Несмотря на вроде бы обилие вроде бы индивидуальных (на самом деле — сплошь типовых) черт, рассыпанных по роману, у него парадоксальным образом не оказывается стержня, который собирал бы все это обилие и делал бы центрального персонажа узнаваемым. И это — несмотря даже на несомненное наличие у Авелума биографии (определяемой чередой роковых и таинственным образом между собою связанных случайностей) и даже чего-то такого, что вполне могло бы быть названо — сопутствующим едва ли не каждой жизни — личностным мифом.

В случае Авелума это — миф определяющих его жизнь, не делимых друг от друга любви и вины, даже так: любви-вины; миф невозможности, принципиальной недоосуществляемости любви и невозможности не быть виноватым. Вина перед всеми тремя главными любимыми женщинами (отношения с каждой из них не удались ему катастрофически), перед отданной в детстве чужим людям родной сестрой, перед двумя — законной и незаконной — дочерьми, перед раненым незнакомцем, которого он нашел на улице во время восстания в Тбилиси 9 марта 1956 года и не смог спасти, — все это для Авелума — стороны одной темы, тесно между собою связанные, отзывающиеся друг в друге, продолжающие друг друга. Однако личностный миф есть, а вот личности — нет. Авелум ускользает. Он рассыпается. Он не отражается в зеркалах. Мы не видим его лица.

К особенностям Авелума и возможному их смыслу нам тоже еще предстоит вернуться, пока же важно уточнить некоторые исходные определения.

Человек здесь скорее единица самовосприятия. Это у Авелума есть точно. И вот таким образом понятый — или угаданный — человек взаимодействует с непрозрачными для него, бесконечно превосходящими его по жизнеобразующей мощи силами судьбы.

И это — не история, хотя время романа вполне исторично: оно охватывает тридцать три года — сакральное какое-то число, хотя, скорее всего, так вышло произвольно — с середины 1950-х до конца 1980-х. Пуще того, ткань романа натянута между четко обозначенными точками катастрофических событий грузинской истории: от упомянутого уже тбилисского восстания 1956-го (интересно, у многих ли наших собратьев по русской культуре есть представление о том, что оно вообще было? Это, кажется, одно из тех мест в романе, которые очень стоило бы сопроводить комментариями для русского читателя), через кровавый разгон демонстрации там же 9 апреля 1989-го — до боев на улицах грузинской столицы в новогоднюю ночь наступающего 1990-го, — ночь, когда на одной из улиц погибнет и главный герой. Формально — Авелума убьет гибнущая империя, «одна из величайших и жесточайших империй мира» просто погребет его, рухнув, под собой, как стихия, чуждая смыслам, внеположная и иноприродная им. (Что характерно, под романом, оконченным, как утверждают издатели, в 1995 году, автор ставит дату: «1989».) Фактически — его просто втянет, наконец, в смерть, в которую его начало втягивать еще раньше, по меньшей мере за главу до этого.

Но что же начало его втягивать — и втянуло?

Ясной видимости сил, движущих (не к очередной ли, не к окончательной ли катастрофе?) Авелумов мир, четкость обозначения исторического контекста не способствует никак.

«...полагаю, — признается — автор ли? повествователь ли? (это — отдельный персонаж, со специально для него изобретенной интонацией), — что все то, что случается с нами, случается с тем, чтоб не случилось то, чему случиться надлежало бы, если б мы не свершили того, что свершили».

Кажется, на эту непрозрачность работает, всею собой свидетельствует о ней сама выделка текста. Он — плотный, густой, сплошь из тесно сплетенных мелких волокон, увязающий в веществе существования, нарочито монотонный, иногда нарочито архаизирующий, с (псевдо)дидактичными интонациями, с наукообразными оборотами, на разные лады повторяющий одно и то же, якобы растолковывающий (мнится — разновидность уклончивости: разъясняет, чтобы не сказать прямо), с огромными — до нескольких страниц — абзацами. (Не имея возможности судить о характере грузинского оригинала и о степени соответствия ему перевода, думаю все-таки, что работа переводчика тут была столько же трудна по задачам, сколько виртуозна по исполнению: вышло очень убедительно.) Текст водит читателя по лабиринтам — с тесными стенами, с низкими потолками, захлестывает его петлями поворотов вокруг одного и того же («...все то, что случается с нами, случается с тем, чтоб не случилось то, чему случиться надлежало бы...»). Читатель иной раз попросту задыхается в этом тексте — не на чем перевести дыхание.

«Да, конец света неумолимо приближается. [Заметим, об этом говорится — настраивая читательское восприятие — уже в самом начале романа, на 10-й странице. — *О.Б.*] Со смерти малого начинается гибель большого. В данном, правда, случае мы сталкиваемся скорее с самоубийством, нежели со смертью естественной. Погублению и гибели Авелумовой микроимперии, точнее обесцениванию и растворению в небытии его многоликой, но единой в духе и плоти любви, сопутствовало падение одной из величайших и жесточайших империй мира. Неумный порыв к уничтожению малого умалил и измельчил великое...»

Такой организацией речи Чиладзе, кажется, передает характер описываемой им реальности — безвоздушной, задыхающейся позднесоветской реальности — куда вернее, чем если бы он сказал об этом прямо.

Проясняем дальше (роман вообще, несмотря на разлитое по всему тексту медленное внимание чуть ли не к каждой упоминаемой подробности — или, скорее, отчасти благодаря этому, — темный; более же всего темный — вследствие тех материй, которые и составляют главный предмет его внимания). Если речь идет о взаимоотношениях человека и судьбы — то, значит, роман метафизический? И тут снова — и сложнее, и неожиданнее. Точнее было бы спросить себя, в какой мере этот текст метафизичен? Ответ получается, кажется, примерно такой: он — мерцающий. У него много лиц.

Одно из этих лиц — роман социальный, публицистичный, не без свойственной этому модусу речи прямолинейности. Глянет на нас из толщи текста несколько раз и румяное, узнаваемое лицо физиологического, критически-реалистического очерка — там, скажем, где описывается жизнь Авелума с одной из его любимых женщин, парижанкой Франсуазой, в экзотичной и мучительной для обоих московской коммуналке семидесятых, — все узнаваемо до карикатурности. А то подаст голос политический памфлет: в его интонациях описывается, например, «великое» — подавляющая маленького частного человека империя. Это «великое», одержимое (уже в силу своей таинственной мизантропической природы) «неуемным порывом к уничтожению малого» — «перлюстрировало письма, записывало на магнитофонную пленку его [частного человека. — *О.Б.*] высказывания и речи, неустанно прокручивало записи в подвалах и кабинетах ГБ, отслеживало каждый шаг, снимало отпечатки пальцев с предметов, которых он касался, копалось в его белье с надеждой и целью обнаружить и, разумеется, истребить бациллу чувства, со второй половины двадцатого века обретшего пристанище и укрытие в его душе [надо полагать, чувства свободы или потребности в ней. — *О.Б.*], из него исходящего и объемлющего весь мир».

Но что-то упорно заставляет думать, что все лица здешней социальности — не более чем спешно надеваемые маски, и именно потому черты их утрированы и резки. Все в этих масках, казалось бы, точно как в реальности, — ан из-под них то и дело торчит что-то, что масками не покрывается. Так посреди вязкого, нарочито-литературного текста вдруг выпрыгнет просторечное «Фиг!». Ударит в глаза читателю — и тот просыпается от морока. Ненадолго: не меняя прежней монотонной интонации, текст переключается в совсем другой тематический регистр и повествует уже об основах устройства мира. «С абстрактным понятием [это свобода или чувство ее, стало быть, «абстрактные понятия»? С чего бы? — *О.Б.*] не совладать ни пуле, ни яду, ни полчищам соглядатаев и стукачей. Но не устранив абстрактного понятия, оно не могло бы и счесть себя сверхдержавой, повелительницей и властительницей мироздания, прекрасно осознававшей, что единственная вечная империя — это любовь, которой добровольно, по собственному соизволению покорялись, покоряются и будут покоряться и впредь, если господин Адам вообще выживет и упасется».

Чем ближе к концу, тем решительнее текст сбрасывает социальные маски — и обращается к чистой метафизике, которая торжествует в последних, катастрофических, смертных главах, вытесняя все остальное.

«Что касается "авелума", — предупреждает нас Чиладзе в самом начале, — то это шумерское слово со значением "полноправный, свободный гражданин"», — и уточняет: «Впрочем, единственный источник, устанавливающий его происхождение, моя очень давняя тетрадка». Однако происхождение и настоящее значение слова автору не так уж и важны — важно значение, которое он вкладывает в имя своего героя теперь:

«Авелум на протяжении всей своей жизни всячески старался быть именно свободным и полноправным гражданином, пусть страны, существовавшей лишь в его воображении».

Беда в том, что на всем протяжении романа мы видим как раз противоположное. Авелум полностью влеком внешними силами и своими желаниями, которые, в общем, тоже вполне внешние (по отношению к осознающему «я») силы. Пытаясь жить по собственной недалёковидной, как правило, совершенно ситуативной воле, он то и дело совершает неправильные поступки, в конечном счете — неправильно организует свою жизнь в целом, принося несчастья своим близким, и его гибель в конце, ничем, кроме хаоса на тбилисских улицах, не мотивированная, выглядит как метафизическое возмездие.

Убивающая Авелума катастрофа — не социальна. Никакого противостояния советской власти или, скажем, борьбы за грузинскую независимость здесь нет даже на уровне беглых упоминаний: чистый хаос, война всех против всех.

Силы, соперничающие в этом противостоянии, для героя совершенно непрозрачны и более того — неинтересны, несмотря даже на то, что на какой-то из этих сторон — если это только не предсмертное его видение — воюет родная дочь Авелума (он выходит на улицу той роковой ночью с единственной целью вернуть ее домой, но выходит уже в таком состоянии, когда граница между видениями и реальностью различима очень слабо или неразличима вовсе). Он погибает от роковой и непоправимой поврежденности жизни — не только собственной, жизни вообще. Его личная несправедливость, конечно, один из множества источников катастрофы, но явно не решающий. При этом ни за собственную жизнь, ни тем более за жизнь вообще с него не спросишь — этот «свободный и полноправный гражданин» совсем не представляет себе, что именно следует делать. Он не личность, кажется, именно поэтому.

(Кстати, кроме упомянутого личного мифа любви-вины и подвластности текущим желаниям, герой совсем лишен содержаний. По свидетельству автора, Авелум — поэт, но в этом качестве он почти не явлен читательскому взору, не видно, что писание стихов как-то влияет на его жизнь, не говоря уже о том, что за этим занятием мы не застанем его ни разу. Весь Авелумов мир заполняют исключительно напряженные личные отношения, по преимуществу с тремя его главными женщинами, более прочего — с женой и с ее французской альтернативой Франсуазой.)

Вот тут самое время вернуться к именованию героев в романе. Автор тут избирает особенную стратегию избегания имен. Он наделяет ими героев избирательно.

Без имени остаются и французская дочь Авелума, и его внук от законной грузинской дочери — которая, в свою очередь, единственная на весь роман! — обременена тройным именем, в одно слово: Экаекатеринакато, призванным, видимо, отражать три разных, но нераздельных аспекта ее личности. Вообще, это — фигура, несущая сильную символическую нагрузку, чуть ли не более концентрированную, чем сам главный герой: начиная с того, что она унаследовала имя отданной чужим людям сестры Авелума (и продолжает, и усиливает тем самым ключевую тему вины и невозможности любви), и кончая тем, что именно она в конечном счете становится причиной его смерти.

(Вот версия: кто личность — у того и имя.)

У главного же героя — особая ситуация среди названных и неназванных: он носит *неимя*. Своим настоящим именем он не окликнут ни разу — только вот этим словом, которое даже не грузинское, которого наверняка нет в его собственном лексиконе: он ни разу не называет так себя сам.

Может быть, «Авелум» — это посмертное имя?

Ведущая же интуиция романа примерно такова. Основа мира и суть человека — любовь. Но только осуществленная полно, с предельной самоотдачей. Если же она в силу чего бы то ни было — роковых ли обстоятельств, недостатка ли усердия — не осуществляется вполне, если человек, так сказать, уклоняется от долга ее осуществления, это губит и его самого, и, в конечном счете, его мир. Тот хаос, который захлестывает Авелумов город и мир в конце романа, — явное следствие катастрофической нехватки сил любви, спасающих вещество жизни от распада. Но и удушливая советская империя, в которой Авелуму никак не удавалось быть самим собой и выполнять единственно нужную работу любви, — следствие, по Чиладзе, явно (и исключительно) того же самого. Люди нелепы, потому что не любят. Люди совершают зло и губят друг друга, потому что не любят. Их жизнь некрасива, бедна, скучна, трудна, несправедлива — потому что не любят. Работа любви — не просто единственно нужная, но и самая трудная работа на свете. Она, в конечном счете, очень мало кому удается. И очень мало кому, если вообще кому-то, понятно, что это действительно надо.

Пожалуй, единственная сила, творящая и удерживающая мир в этом постхристианском, постязыческом романе, — именно она.

Впрочем, автор говорит нам об этом уже в самом начале.

«Лишь любовь, — говорит он о своем бившемся тридцать лет и три года вслепую герое, — давала ему ощущение свободы и полноправности, и он самоотверженно и самозабвенно, если угодно, бесконечно, нелепо и тщетно боролся за спасенье и сохраненье того, что мы все еще упорно именуем любовью и что обращает земное наше существование — в жизнь, при том, правда, если не оказывается всеобщей, необходимой, обязательной потребностью, и до конца остается устремлением, мечтой. прихотью отдельных, по-своему свихнувшихся личностей, хотя ее мизерные, жалкие крохи, должно быть, оседают в уголках и наших сердец и памяти, как дробь в суставах и мышцах подбитого зверя, то есть почти уже не существуют».

Вот весь роман, кажется, — развертывание, иновыговаривание этой метафорической конструкции.

Других мирообразующих сущностей и инстанций тут нет, как нет и Господа-Бога, упоминаемого у Чиладзе исключительно вот так, через дефис — видимо, для пущей ироничности. То, для чего в самом начале нашего рассуждения подобралось рабочее название «сил судьбы», — это неведомые человеку закономерности мироустройства, о которые он бьется — и разбивается, — пытаюсь своевольничать. «То, что мы все еще упорно именуем любовью», — единственное, что можно хоть как-то видеть.

В каком-то смысле это — роман слепоты, продирания сквозь слепоту.

И очень похоже на то, что главный, гибнущий в финале, герой сквозь нее все-таки продрался: его гаснущее сознание в последних строках романа заливают свет. Но что открылось ему в этом свете — читатель уже не увидит.

Заза Абзианидзе

Грузинский роман в русской интерпретации

Романы Отара Чиладзе в русском переводе и рефлексиях русской критики

Этот подзаголовок, в свою очередь, требует уточнения: речь идет о двух последних романах Отара Чиладзе — «Авелум» и «Годори».

Хотя имя Отара Чиладзе хорошо знакомо русскоязычному читателю, годы, прошедшие после смерти писателя, исподволь четче отчеканили его профиль — внешняя канва биографии Чиладзе лишена «пассионарного ореола»: самиздат, воззвания и манифесты, обличающее всеобщее «узилище» (его любимая метафора применительно к советскому строю) не были органичны для его натуры. Тем более не подходила ему роль социально активных коллег-шестидесятников, легко порхающих между литературной авансценой и партийными трибунами...

Вот как характеризовала Отара Чиладзе критик Наталья Иванова: «Величие замысла — так определяла Ахматова главное в литературном произведении. Об этом она, по воспоминаниям, говорила Иосифу Бродскому. Оtar Чиладзе — писатель из того же поколения, что и Бродский. Рискну сказать, ибо по-грузински не читаю, но читаю Чиладзе в замечательных, любовно выполненных переводах, — из близкого ряда.

Отар Чиладзе — легенда русско-грузинских культурных связей XX века. Ни один из современных поэтов, как поведали мне переводчики на одном из знаменитых пицундских семинаров, в не столь уж давние, но сегодня кажущиеся очень далекими, времена на колхидском берегу, не может сравниться с ним по удивительной музыке, сплавленной с оригинальной мыслью. Один за другим в течение последних десятилетий Оtar Чиладзе публиковал и свои романы, мощные, густо, пастозно написанные, неожиданные по поэтике. На территории бывшего СССР им не находилось аналога. Быть может, вспоминали о латиноамериканском «магическом реализме». Но ведь загадка состояла в том, что проза Отара Чиладзе возникла одновременно — и независимо» («Замысел и величие» // «Дружба народов», 2004, №4).

Начав свой творческий путь с пронзительно-чувственной лирики, на пике своей поэтической славы Оtar Чиладзе резко сменил жанр и в семидесятых годах прошлого века предстал перед читателем в амплуа прозаика-мифотворца, сумевшего образно воссоздать трагическую парадигму грузинской истории. Романы «Шел по дороге человек» и «И всякий, кто встретится со мной...» принесли ему всеевропейскую известность. (Кстати, в 1999 году Оtar Чиладзе в числе пяти других номинантов был выдвинут на Нобелевскую премию, но уступил Гюнтеру Грассу.)

Абзианидзе Заза — историк литературы и эссеист, детский писатель, доктор филологии, профессор. Родился в 1940 г. в Тбилиси. Главный научный сотрудник Института грузинской литературы им. Руставели. С 1996-го — главный редактор журнала «Литературная Грузия». Автор многих книг и статей. Главный редактор грузинского аналога ЖЗЛ в ста томах. В 2000 г. награжден первой премией на литературном конкурсе ЮНИСЕФ, а в 2015-м премией Грузинской ассоциации компаративистики за лучшее литературное эссе года.

В 1995 году, опубликовав роман «Авелум», Отар Чиладзе появился в новой для него ипостаси автора исповедальной и, в какой-то мере, автобиографической прозы. Роман построен на игре амбивалентных чувств, и нет сферы жизни у литературного Homo ludens'a — будь то романтическая, творческая или общественная, — в которой эта амбивалентность не оборачивалась бы внутренним конфликтом. Но самая драматическая игра в этом нарративе, оплаченная кровью загнанного в «узилище» художника, — это игра в поддавки с тюремщиками.

Здесь (кстати или некстати) вспоминаются инвективы критика Валерия Липневича, по мнению которого Отар Чиладзе писал о пороках «властно-политической элиты, к которой когда-то принадлежал и сам», или же об «истерике прикормленного советской властью литератора». (Цитирую из его в основном весьма серьезной статьи «В поисках утраченного достоинства» // «Новый мир», 2004, №11). Надо отметить, переведенной на грузинский язык.) Даже если бы это было и так, «принадлежность к властно-политической элите» никак не отразилась на «почерке» и нравственном облике Отара Чиладзе. Но элита, к которой реально принадлежал писатель, была элитой духовной, с характерным для нее онтологическим неприятием власти и изобретшей в искусстве некий метаязык для выражения своих убеждений. Этот язык, наряду с «фасадной» аполитичностью, долгие советские годы был своеобразной «охранной грамотой» для Отара Чиладзе. Поэтому хочется думать, что упрек Валерия Липневича — от неверной информации о биографических реалиях «элитарного автора». Тем более, что в целом Липневич прекрасно осведомлен о тенденциях и ориентирах чиладзевской прозы: «Последние романы Чиладзе "Авелум" и "Годори", разделенные десятилетием суровых испытаний, посвящены проблемам так называемой творческой интеллигенции. В "Авелуме" Чиладзе наконец впервые добрался до современности. Объектом анализа стал советский писатель, советский интеллигент, который в действительности и ни то, и ни другое. Герой строит свою "империю любви" и живет в иллюзиях. "Авелум" вызвал самые противоречивые мнения. Одни — с присущей грузинам пылкостью — считали роман вершиной творчества Чиладзе, другие — откровенной неудачей. Очевидно, что писатель нащупал очень болезненные точки национально-интеллигентского сознания. Как замечал Шота Иаташвили, "для писателя, оказавшегося в новой эпохе, в новом обществе и в новом ментальном пространстве, стало вопросом жизни и смерти прозондировать прошедшую жизнь и оценить ее в системе таких абсолютных категорий, как свобода, любовь, мужество"» («Новый мир», 2004, №11).

«Авелум» еще один образец мифотворчества Отара Чиладзе. И хотя («запутывая след») он нарекает своего героя шумерским именем, все символические аллюзии в романе из древнегреческой мифологии. На первый взгляд, вроде бы все узнаваемы — и Минотавр, и Тесей, и Ариадна, и Дедал, и Икар... Но в чиладзевской интерпретации (кажется, не без влияния Юнга) все они попеременно воплощаются в одном герое, предопределив тем самым его трагическую раздвоенность.

Чиладзе интерпретирует античные символы не ради игры — он осмысливает глубинные причины драмы своего героя/двойника. При этом в его нарративе кинематографически меняются ближний и дальний план. Метафорический образ «дальнего плана» — один из самых экспрессивных пассажей в романе, не потерявший свой пафос и в русском переводе: «...Империя только и только окаменевшая, мертвая модель жизни, и постольку интересуется не вечным движением, а вечностью неподвижности, то есть непрерывной и тщетной попыткой белки, заточенной в вертящемся на месте колесе, переместиться в пространстве. И в беспредельных просторах империи одно и то же время вертится колесом, в колесе же все мы, ее поданные, от рождения имитаторы, будто бы движемся, будто бы самозабвенно устремляемся к светлому будущему, между тем, как в конечном итоге, что старые, то и молодые, оказываемся одинаково оболваненными. Сказать точнее, не новое

сменяет собой старое, что было бы убийственным для империи, если бы она это допустила, а преображенное "старое" время от времени предстает перед нами как "новое", служа залогом бессмертия империи».

Здесь, кажется, следовало бы сказать несколько слов о «переводческой судьбе» романа. В 1998 году знаток грузинского языка и литературы Кристиана Лихтенфельд перевела «Авелум» на немецкий. Из многих откликов для меня особенно ценно мнение Леонарда Кошута — давно и пристально следящего за новинками грузинской прозы (в свое время нам довелось вместе работать над сборником грузинских рассказов в немецком переводе): «...Интенсивность ассоциаций, игривая двусмысленность (даже в самой структуре предложения) — все это делает возможным представить пережитое органической частью истории человечества».

Гораздо позже, в 2013 году, появилось английское издание романа (издательство «Гарнет-Пресс») в переводе известного ученого-кавказоведа Дональда Рейфилда, и лишь в прошлом, 2016 году ценители чиладзевской прозы, доселе знакомые с русским переводом «Авелума» в электронной версии, наконец получили прекрасно изданный «Культурной революцией» (при содействии Грузинского национального книжного центра) роман в переводе Майи Бирюковой.

Майя Бирюкова скончалась за год до издания романа. К профессии переводчика она относилась с сакральным почитанием, и если учесть, что вся ее сознательная жизнь целиком была посвящена переводу грузинской литературы на русский язык, оказала бесценную услугу двум равно родным для нее культурам. Если обобщить двумя словами впечатление от «русского» «Авелума», после пристального, «сравнительного чтения», то можно повторить процитированную выше формулу Натальи Ивановой — «любовный перевод», — столько трепетного отношения к каждому слову, к каждому пассажи переводимого текста чувствуется в работе Майи Бирюковой. Как часто бывает, единственное «но» (в частности — отсутствие рискованных, но стилистически оправданных отступлений от оригинала) проистекает именно от избытка этого «литературного фетишизма». Вот, к примеру перевод одной мизансцены в грузинском ресторане: «Господь воздаст нам, господин Чанаки, Бог вам в помощь, но нам, равно как и вам, оставаться в надежде на одного лишь Господа-Бога...». Эта ономастическая игра, понятная грузинскому читателю, без проблем воспринималась бы и на русском, если б переводчику хватило смелости вместо неизвестного «господина Чанаки» представить русскому читателю более известного ему «господина Харчо». Уверен, что от этих «маленьких вольностей» не пострадали бы ни честь грузинской гастрономии, ни семантика оригинала. Возможно, этот «фетишизм» объясняется еще и тем, что Отар Чиладзе просматривал практически каждую страницу перевода (чем, в целом, несомненно внес свою значительную лепту в совершенствование текста), и робость перед живым классиком подспудно сковывала «вольные порывы».

В 2003 году, после восьмилетнего перерыва, появляется новый роман Отара Чиладзе «Годори». Обобщая, можно сказать, что если в «Авелуме» писательский взгляд сфокусирован на вопросе о том, как спасти художнику свое ремесло, имя и, главное, — душу от видимых и невидимых угроз и соблазнов «узилища», то «Годори» с тем и написан, чтобы с босховской беспощадностью, раз и навсегда сорвать покров благопристойности с общества, в котором «живут по рабским законам, гордятся постыдным и стыдятся человеческого».

«Годори» стал последним романом Отара Чиладзе и вызвал неоднозначную реакцию на его родине. Для одной части литераторов «Годори» — вершина творческого пути автора, а давшая название роману плетеная заплечная корзина для сбора урожая, в которой возросло несколько поколений нравственных уродов, — блистательная метафора для характеристики общества, в котором худшее советское наследие переплелось с нравами диккенсовских времен.

В отличие от Томаса Вулфа, вынужденного сбежать из Эшвилла после публикации

своего первого романа, Отар Чиладзе не покидал родной город, не было и внешне проявленной обструкции. Трудно сказать, какой ценой обошлась автору «пощечина общественному вкусу» (роман был издан в 2003 году), однако реакция на этот выплеск годами аккумулированной желчи проявилась и в скудости рецензий, и в отсутствии того читательского ажиотажа, который сопровождал предыдущие романы культового писателя и нобелевского номинанта. Хотя все это не помешало в 2003 году жюри новоучрежденной престижной литературной премии «Саба» отметить «Годори» в номинации «Лучший роман года».

Всегда интересно, какова новая жизнь произведения при «втором рождении» в иноязычной культуре. Для грузинского литератора особенно интересны детали, не замеченные при чтении оригинала и неожиданно «высвеченные» переводом. И тем более удивляет зоркость тех русских коллег, которые находят новые грани столь знакомого нам текста. Так давайте вместе с ними перелистаем роман.

«Что возникает после истинных слов? Какие впечатления, чувства, мысли, ассоциации могут возникнуть у русского читателя после прочтения романа "Годори"? Сладкие сны о недоступной ныне Грузии? Тревога об утерянном братстве? Сожаление о просроченном времени? Не оправданное действительностью благодушие? — вопрошает прозаик Борис Евсеев и продолжает: — У меня после чтения романа стоит ком в горле. Почему? Что же есть в этом романе? Первое — и самое главное: соединение в одно целое истории и современности так, словно они всегда существовали неразъемно. Второе: слияние и полная соотносимость в одном романном пространстве реальности и мифа. Что Отар Чиладзе написал роман-миф — ясно. Но вот почему этот роман-миф получился более реальным, чем многие реалистические построения, мне кажется, это надо объяснить. В романе есть главное: художественная мысль. И эта художественно-мифологическая мысль "по составу" полней и качественней, чем мысль историческая и философская. В ней — колодцы и реки подсознания. И хотя сам жанр романа возник как псевдоистория, то есть история, но с семейно-обывательскими поправками, со смачным враньем, с пародированием неудавшейся действительности, — роман Чиладзе не псевдоистория. Он — высокая художественная правда об истории Грузии и о ее народе» («После слов» // «Дружба Народов, 2004, № 4).

Критик Владимир Огнев, раздраженный дефинициями младших коллег, писал в том же номере журнала: «Отар Чиладзе — один из крупнейших писателей современности. Как и в прежних романах, в "Годори" он верен своей уникальной манере письма, которую разные критики поспешили определить знакомыми терминами "магического реализма", "романами-мифами". Чаше других фигурировали имена Маркеса и Фолкнера... Разве в "Мученичестве Шушаник" Якова Цуртавели не заложено на столетия вперед оригинальное, сугубо грузинское понимание вечных тем верности, долга, искупления и любви... Какая смелость в самобытном решении вопросов "палача" и "жертвы". И — задолго до Сартра или Камю» («Судьба рода и путь нации» // «Дружба Народов», 2004, №4). Приятный для грузинского слуха литературный экскурс, но, думаю, не совсем убедительный.

Уже упомянутый здесь Валерий Липневич писал: «"Годори" — текст скорее усложненный, чем сложный. Многоуровневый, противоречивый — и художественно, и идейно, — но тем не менее соотносящийся с сегодняшней реальностью. С жестким рациональным каркасом постоянно взаимодействует, разрушая его, сумма точных, хотя и частных интуиций-прозрений. На стороне последних и переводчик, который с присущим ему артистизмом справляется с таким противоречивым и усложненным текстом. Иногда возникает ощущение, что и писался этот роман по-русски. Возможно, оттого, что уже слишком много общего у русских с грузинами — и хорошего, и плохого. Но именно этот груз прошлого и не дает расстаться окончательно. Сможет ли Грузия, "прошлого не любя, уйти к другому"?»

Но начав за здравие, Липневич кончает за упокой, утверждая, что: «На развалинах

империи бессмысленно предаваться стенаниям, искать подлинных виновников и козлов отпущения, в ярости доламывая то, что еще уцелело. Надо убирать мусор и надежно хоронить своих покойников. Стоит напомнить, что в современную эпоху именно грузины первыми начали извлекать покойников из могил. Для жизни необходимо забвение. Ибо ничего нового в ней не происходит. Если бы человечество помнило все безумства, им совершенные, оно давно бы вымерло. Только забвение дает иллюзию новизны и движения. В сущности, определение меры памяти — постоянное и ответственное занятие интеллигенции» («В поисках утраченного достоинства» // «Новый мир», 2004, № 11). Теза, согласие с которой потребовало бы от меня переосмысления многих фундаментальных убеждений.

В каком-то смысле ответом на эту мифистофелевски заманчивую концепцию воспринимается экспрессивный финал эссе Станислава Рассадина, посвященного «Годори»: «...Грузии, расставшейся со своей, нами же насаждавшейся легендой об исключительном крае изобилия и благородства, необходимо пройти через жесткое, даже жестокое самосознание — верней, само-Осознание, — которое явлено романом Чиладзе. Пройти, как и нам с вами, у которых романа такой силы национального отрезвления, к сожалению, пока еще, кажется, нет» («Новый роман Отара Чиладзе: национальное самосознание и отрезвление. Репортаж изнутри трагедии» // «Новая газета», 05.04.2004).

Трудно описать, насколько многогранна заочная дискуссия «вокруг плетеной корзины» между русскими коллегами, которую, даже при желании нельзя воспринять вне нынешнего русско-грузинского политического контекста: для этого в «Годори» предостаточно поводов, поскольку дискурс «культурной травмы» (которая благодаря Джеффри Александру вошла в наш профессиональный лексикон) непосредственно связан с имперским прошлым.

Таким образом, в двух столицах бывшей империи у литераторов, более или менее интересующихся «грузинской темой», появился столь интригующий вызов — поспорить на тему «коварства и любви» в русско-грузинских отношениях.

Наиболее резкое неприятие чиладзевого видения истории русско-грузинских отношений проявилось в опубликованном вслед за публикацией русского перевода «Годори» эссе «Капсулированный дух» Льва Аннинского, давнишнего друга и коллеги грузинских писателей.

«Что делать умному грузину-интеллигенту с дурачком, если в том оживет дух старорежимного урядника? — задается вопросом Лев Аннинский. — Идти дальше по роковому замкнутому кругу? Что делать с духом нации, когда дух закапсулирован? Остаться в скорлупе, в ковчеге, в коконе, с запертыми воротами, перекрытыми путями, забетонированными границами?»

А выйдешь на свободу — там «тухлое человечество», то есть зверинец: в покое не оставят, не пожалеют, не пощадят. Копытами забьют. Как комара, прихлопнут.

Война так война, — думает писатель Элибар, соображая, что делать с выданной ему винтовкой. «Маленький комар одолеет хворую лошадь, если, конечно, маленькому комару поможет большой волк».

Отдаю вам должное, батона Элибар: вы не помянули медведя. С ролью хворой лошади нам придется смириться. А волк, волк, конечно, не петух, так что месье Гамба может оставаться в своем Париже. Когда же в облике волка появится какой-нибудь герр Тотлебен, мы постараемся дать выход его инженерным талантам: поручим ему оборону Крыма, если, конечно, Крым не вывалится навсегда из нашего общего годори» (журнал «Родина», №116, 2004).

Первое, что приходит на ум после прочтения «Капсулированного духа», — любимая цитата Романа Якобсона из Бенджамина Ли Уорфа, согласно которой «факты по-разному выглядят в глазах носителей разных языков, которые дают им различное языковое выражение».

«Картина современной грузинской жизни тоже видна сквозь поэтический кристалл, — продолжает Лев Аннинский, — посему, оставив на время капсулированный дух, из которого бесконечно терпеливый Господь должен, как бабочку из кокона, извлечь новую Грузию, посмотрим, что происходит сегодня в некогда родной нам стране».

Вслед за Отаром Чиладзе посмотрим и мы: «Его родина не умерла преждевременно и до срока, а была убита и для сокрытия следов преступления сброшена в книжную шахту всевозможных писаний и литературных трудов, — читаем в страстном монологе Отара Чиладзе. — Она там и лежит, на дне, изувеченная, преданная и проданная всеми — двумя царями, четырьмя мтаварями, одним атабагом и бесчисленной сворой князей-азнаулов, павшая жертвой их беспочвенной и безграничной гордыни, их ненасытной жадности» (Отар Чиладзе, «Годори», — М.: «Дружба народов», 2008).

Так кто же сменил этих «князей-азнаулов»? И именно о них и идет речь в «Годори», и названы они одним (ставшим уже нарицательным) именем — Кашели, поскольку создается впечатление, что дитя наглого русского урядника и похотливой жены грузинского пастуха, возвращенный вместо колыбели в плетеной корзине-годори Ражден Кашели унаследовал худшие качества не только обоих родителей, но и обоих этносов. Его потомки-хамелеоны, меняясь в соответствии с велением времени, в новом обличье повторяют образ «патриарха», и лишь его рефлексирующий правнук, обманутый и оскорбленный, очнувшись, сможет взглянуть правде в глаза и в своей нелепой смерти сохранить остатки человеческого достоинства. Впрочем, автор все же не пощадил и его: «Мертвые Кашели (туда им и дорога) уже не опасны, свое они сделали. Бойтесь идущих следом. Антон Кашели опасен для общества не как убийца отца, а как муж общей с отцом жены, к тому же беременной! Узревшие отца узрят сына... Впрочем, не это главное. Главное — любой ценой избежать новой беды. Хожение по улицам и размахивание знаменами ничего не дадут. Необходимо не только жене Антона, но женам вся Грузии прервать беременность, или, выражаясь прямее, сделать аборт — жестоко, без жалости к нашему генофонду, выскоблить из своего нутра, из прошлого, из сознания, из души — отовсюду семя Кашели, чтобы избавиться от него раз и навсегда, на веки вечные, если мы как народ собираемся жить и жаждем спасения».

У Отара Чиладзе «жажда спасения» и есть безжалостный расчет с прошлым. Не удивительно, что в этом «прошлом» постоянно присутствует имперский дискурс, столь неприятно оскорбивший слух Льва Аннинского. Возможно, мне показалось, но в «Капсулированном духе» чувствуются ностальгия по миру, которого уже нет, и обращение к ценностям уже несуществующей страны. Неслучайно вспомнился здесь патетический финал «Безмолвного протеста» исследователя постколониальной теории Ольги Брейнингер: «...Несуществующей, но по-прежнему достаточно влиятельной, чтобы заставить литературу молчать о ней, что вновь возвращает нас к тезису о безмолвии русской литературы как о способе подавления памяти, инстинктивном отрицании болезненной, но необходимой переоценки прошлого. Именно такая задача стоит перед постсоветской литературой: сменить молчание на протест, обнажить последствия нанесенной травмы и выговорить вслух свою боль. Задача же критики — найти нужные инструменты для прочтения и интерпретации такой литературы, акцентирования ее главных тем — самоопределения, разрыва между двумя культурами, взаимодействия между прошлым и настоящим. И здесь теория постколониализма как нельзя более уместна» («Октябрь», 2012, №10).

Сам Отар Чиладзе в письме к переводчику романа Александру Эбаноидзе так откликнулся на «Капсулированный дух»: «Даже такой блестящий критик, как Аннинский, которого я особенно уважаю, и не только за оказанное мне внимание, вынужден был прочитать это обычное художественное произведение, как политический трактат» (грузинский журнал «Ахали саундзе», 2016, №1 (31)).

Поскольку контраргументы грузинского литератора на инвективы со стороны могут показаться необъективными, предпочту обратиться к статьям наших русских коллег, объяснивших истоки резкости чиладзевого текста феноменом «культурной травмы». В этом ряду особенно выделяется Евгений Беньяш: «Державное чувство россиян подвергается в последние полтора десятилетия постоянным уколам со стороны отложившихся от империи братских республик, — пишет критик, — ...но особенно почему-то болезненно воспринимаются "знаки неблагодарности" со стороны Грузии — возможно, к оскорбленной гордости великороссов примешивается вполне меркантильная, как и в случае с Крымом, ностальгия по утраченным пляжам? Но как бы то ни было, конфронтация в отношениях между Россией и Грузией принимает подчас опасные масштабы, причиняя им обоим серьезный ущерб (Не применен ли здесь еще и "комплекс обманутого возлюбленного"?! — З.А.) ...Писатель имеет к России большие претензии. Присоединив к себе в свое время Грузию и обеспечив ей тем самым защиту от внешнего врага, империя лишила древнюю страну пассионарности, а значит, и стимула к внутреннему развитию, а в дальнейшем, вынудив принять участие в большевистской революции, унизила Грузию окончательно. И вот этого Отар Чиладзе простить России не может, выплескивая свою безысходную неприязнь к империи на первые же страницы романа. Негативная тенденциозность автора задевает достоинство русского читателя, мешая объективному восприятию предложенного текста. Между тем, эта обидная тенденциозность выросла не на пустом месте. Она есть прямое следствие имперского высокомерия метрополии по отношению к младшим братьям. ...Лицам кавказской национальности. Они ведь нам по гроб обязаны, мы же для них столько сделали! И они лукаво подыгрывали: да, да, конечно, мы и наш старший брат скованы вечной дружбой, словом, навеки вместе! На самом деле в глубоких потемках чужих душ тлела неизбывная неприязнь, которая наконец и выплеснулась наружу» («Когда едешь на Кавказ...» // «Знамя», 2005, № 2).

В ограниченной объеме статьи невозможно процитировать все достойные внимания комментариев столь неоднозначного нарратива, так же, как и среагировать на все спорные утверждения. Однако главное не в отдельных озарениях или домыслах, а в том, что благодаря переводу шедевр грузинской прозы начала XXI века оказался в центре внимания русской эссеистики.

Вот в чем повезло Отару Чиладзе, так это в русском переводе «Годори»: критика называла его «русской версией» романа, а ее автор — прозаик Александр Эбаноидзе стал лауреатом премии Российского книжного союза «За лучший перевод с языков стран СНГ и Балтии».

Читатель русской версии «Годори» найдет примеры поразительной переводческой находчивости, когда самые экспрессивные пассажи романа, рассчитанные именно на грузинский слух, заново рождаются в обертонах русской фразы. Рассуждения о переводах часто завершаются фразой Эзры Паунда, требовавшего: «Больше смысла и меньше грамматики». Однако в данном случае с этой азбучной истины следовало бы и начать, а продолжить размышлением над не объяснимой ни одной концепцией перевода способностью воссоздания «эмоционального адекват» текста, столь характерной для переводческой манеры Александра Эбаноидзе.

Символично, что анализ русского перевода «Годори» (впервые опубликованного в журнале «Дружба народов» в 2004 году) часто воспринимается как отдельное эссе в статьях на «чиладзеvскую тему» у представителей нескольких поколений русских критиков: «Собственно, по своему уровню это даже не перевод в привычном смысле, а некое счастливое соавторство, давшее "Годори" русское рождение, — пишет Марина Тарасова. — ...Перед А.Эбаноидзе стояла почти невыполнимая задача найти русский языковой, стилистический эквивалент множеству скрытых и переосмысленных автором цитат, богатому пласту грузинского фольклора, афоризмам, притчам и стихотворным отрывкам, словесным перевертышам, да мало ли чему! Эбаноидзе со всем этим

мастерски справляется, словно соревнуясь с автором в архитектонике языка; вспоминается Томас Манн, лучшие образцы переводов мировой прозы на русский, видимо, творческая индивидуальность переводчика, склад художественного мышления как нельзя лучше совпадают с прозой Отара Чиладзе...» («Нева», 2008, № 3).

Полностью разделяя преклонение Марины Тарасовой перед переводческим мастерством Александра Эбаноидзе, не могу не поделиться своим единственным замечанием: одна из сквозных метафор в романе — это вездесущая мошकारа, воспринимаемая как библейский архетип казней господних. Но вся соль в том, что у Чиладзе более архаичное грузинское слово: «мумли», дословно переводимое как «гнус» (см. Русско-грузинский словарь, АН Грузии, Тбилиси, 1983). Казалось бы, сам Бог велел, рассказывая о гнусной династии Кашели, в русском переводе обыграть омонимическую экспрессию этого слова...

Сам Отар Чиладзе в письме к Александру Эбаноидзе так оценивал его переводческий талант: «Дорогой Саша! Только что закончил чтение твоего замечательного перевода. Это называется победой! Если уж переводить — то только так! Представь себе, мой "шедевр" меня же и взволновал, и это, в первую очередь, твоя заслуга — честно говоря, я даже не ожидал, что можно было с таким совершенством и почти без потерь перенести его на другой язык. Молодчина, брат! И, конечно же, благодарю тебя за тот страх и трепет, с которым я читал этот перевод. Большое спасибо. На этот раз не нахожу других слов для выражения своего восторга и наслаждения» («Ахали саундже», 2016, №1 (31)). Вряд ли какая-либо премия так осчастливит переводчика, как столь трогательное признание известного своей сдержанностью и немногословием автора.

Под занавес литературное клише диктует на ушко: «Автор "Годори" осчастливил и читателей», но, признаться, язык не поворачивается назвать «счастьем» чтение «Годори» (опять из поэтики заглавий: грузинское название этой плетеной корзины вынесено в заголовок русского перевода по настоянию автора). Отар Чиладзе завершил «Годори» за несколько лет до своей кончины, и невольно возникает мысль, что только почуяв дыхание смерти, можно отбросить все условности и с таким ожесточением выговорить в лицо своему обществу накапливаемую десятилетиями гневную тираду. Терять уже нечего... Как можно осчастливленным читать такой душераздирающий текст?!

«Этот роман — призыв одуматься, трезво оценить свои возможности, очиститься от чуждого, наносного, избавиться от пустых амбиций, трезво взглянуть на свое прошлое, настоящее и будущее. Идеологический (не боюсь этого слова) каркас романа облачен художественной плотью, позволяющей сравнивать это произведение с шедеврами нашей неповторимой архитектуры. Здесь Чиладзе не только зодчий, но и волшебный ваятель образов редкой пластической выразительности, его герои живы, они рядом, до них можно дотронуться, мы их слышим, мы должны их спасти, то есть спасти себя», — подытоживала впечатления от «Годори» Анаида Беставашили — московский переводчик и эссеист, еще со времен ее тбилисской молодости дружившая с Отаром Чиладзе и его окружением (Электронный портал Апсны, 19 марта 2013).

Таковы рефлексии русской критики на последний роман выдающегося грузинского писателя. Чиладзевскую плетеную корзину не так-то просто оказалось расплести... Замечательный русский перевод романа стал еще одним поводом вернуться к коллизиям «страшного и странного романа» (Станислав Рассадин), главная причина мистической притягательности которого, как мне кажется, в онтологическом страхе перед закамфужированной плетеной западней, которая подстерегает каждого из нас.

«А дни — как тополиный пух...»

Памяти Андрея Туркова

Наталья Игрунова

Человек меры

13 сентября будет год, как не стало Андрея Михайловича Туркова.

Заставляю себя думать: «Не говори с тоской: "Их нет", но с благодарностью: "Были"». И учусь выговаривать это «были».

Я ни в коей мере не хочу преувеличить степень близости наших с Андреем Михайловичем отношений — однако это ведь всегда чувствуешь: знакомы были давно, но лет 10-12 последние — особенно после смерти жены, Нины Сергеевны — он включил меня, а потом и моих родителей в свой круг. Помнил имена-отчества и дни рождения. Бывал у нас дома — последний раз — в марте, на папины 40 дней. Сказал коротко, а потом прочел Твардовского: «На дне моей жизни, /на самом доньшке / Захочется мне / посидеть на солнышке, / На теплом пёнушке. // И чтобы листва / красовалась палая /В наклонных лучах / недалёкого вечера. /И пусть оно так, / что морока немалая —/Твой век целиком,/да об этом уж нечего.// Я думаю свою / без помехи подслушаю, / Черту подведу / стариковскою палочкой:/ Нет, всё-таки нет, / ничего, что по случаю / Я здесь побывал/и отметился галочкой». Угадал одно из самых любимых папиных стихотворений. Звонил, когда хотелось поговорить, радовался моим звонкам — и я звонила запросто, когда хотелось, когда давно не виделись. Говорили обо всем — о новых книгах, об общих знакомых, о нашем журнале, о том, кто из нас что пишет, о зацепившей газетной статье, о Твардовском и Чехове, о музыке, о последних часах Нины Сергеевны, о литинститутских послевоенных однокурсниках и нынешних дипломниках, о болезнях, будничных проблемах и радостях. Легко мог признаться: «Я этого не знаю, вы должны мне рассказать...» В какой-то момент перестал смотреть мою правку в его текстах — и это очень радовало и обязывало. Как обязывает и его «горячо рекомендую коллегу» — в рекомендации в Союз писателей. Можно было делиться личным, советоваться — никогда, никому, ни намеком... Обязательно поздравлял со всеми праздниками. Только в День Победы — святое — поздравляла я. Последний раз позвонил 8 сентября — в мои именины. Кто-то написал о нем, перефразируя название его книги о Салтыкове-Щедрине: «мой суровый друг»... У меня ощущение совсем другое — тепла и какой-то бережности. И на это невозможно было не откликнуться теплом и нежностью. На той самой книжке о Щедрине — надпись: «Милой Наташе сердечно-пресердечно от хвораго пескаря то бишь автора». Он был какой-то очень *свой* человек. И в редакцию приходил с «тирольским» чаще

всего пирогом, попить чаю, поговорить, я бы даже сказала — поболтать. И ему всегда были рады.

Необычайно располагающий к себе человек — и при этом *отдельно стоящий*.

Эта отдельность не допускала даже намека на возможность фамильярности, и дело не в почтенном возрасте, возраст-то как раз совершенно не чувствовался — стремительная, несмотря на не сгибавшуюся с войны ногу, походка, лёгкость, с которой он брался написать о ком-то (если только его чем-то задевала тема), интерес к жизни, интерес к тому, что происходит в литературе, равнодушие, нестертость, острота эмоций. И вроде бы дистанцию он намеренно не обозначал... Были в этом какое-то зрелое мужское достоинство — и внутренняя свобода.

И критик он был негрупповой. Искусство ради искусства, чистое искусство, эстетическая критика — не его сфера. Думаю, в случае Туркова правильно было бы говорить о критике как сфере общественной мысли, не о группе, а о направлении. Так было в «новомирские» 60-70-е, так было в бурно-переломные 90-е, так сохранялось в 2000-е. Профессия критика в России исторически складывалась (и в советские годы оставалась, и в нынешние это все чаще проявляется) как требующая идеологического вектора. «Вектор» Туркова — это скорее демократическое направление в понимании XIX века. Это определяло и выбор героев: Салтыков-Щедрин, Чехов, Блок, Левитан, Абрамов, Твардовский... — и нравственные критерии.

Как-то зацепились с Андреем Михайловичем за чью-то заметку о преподавании литературы в школе — о том, что все настойчивее голоса об устаревании, непонятности, недоступности современному ребенку и классики XIX века, и даже уже писателей советского периода. А в результате вышли на разговор о роли интеллигенции, о «выращивании» «маленького человека» (по формуле) и маленького человека (по возрасту) в самостоятельно мыслящую личность, о демократической проповеди, которая в свое время привела к революции, о памяти, культурных кодах, о системе ценностей, не адаптируемой к нынешним установкам на успех и демонстрацию роскоши...

Он вообще был *человек меры*. Для него важны были эти рамки интеллигентного человека, и в литературе, и в жизни, невыпячивание себя, важны были понятия чести, достоинства, порядочности, равно как гражданственности, правдивости.

Лет десять назад я напечатала в «Известиях» колонку «Олег Кошевой — диджей нашего времени» о современном романе, построенном как римейк фадеевской «Молодой гвардии» и со многими восклицательными знаками рекомендованном издательством юному читателю в качестве книги «о любви к Родине и духе товарищества», написанной «без нудной идеологии и ложного патриотизма». Сила издательского убеждения была такова, что роман, начинавшийся с пассажа: «Старший лейтенант Лобода по утреннему холодку возвращался от бабы...», оказался на стеллаже с детской литературой — между рассказами Бориса Житкова и сказками Сергея Козлова про ежика и медвежонка. Коллеги нашли повод достойным дискуссии и дали прочесть мою рецензию Виктору Ерофееву. Ерофеев откликнулся: «...махать крыльями по этому поводу в негодовании не следует».

Вот что ответил ему Андрей Михайлович. Название заметки — наотмашь: «С точки зрения... пошлости»: «Наталья Игрунова “посмела” критиковать роман Дмитрия Иванова “Команда”, этакую пародию (или, как сейчас принято выражаться, римейк) на героев фадеевской “Молодой гвардии”, и даже сказать, что автор “попросту опошил” их. Приводимые в ее статье (“Известия, 14.10.08) цитаты убедительно подтверждают это. Однако писатель Виктор Ерофеев не только счел, что нечего по поводу таких “поделок” “махать крыльями” и пытаться “поднять волну патриотизма и консерватизма” (как мило мимоходом приравнен тут один к другому!). Но даже

авторитетно объявил, что “слово «пошлость» принадлежит XIX веку, этим словом уже совершенно невозможно размахивать, потому что никто не знает, что это такое” (“Известия” от 22.10.08). Не внемлет непонятливый литератор “подсказкам” старинушки Даля (“неприличный... вульгарный...”) или более современных словарей (“низкопробный в духовном, нравственном отношении... безвкусно грубый...”)! Похоже, ему вообще это слово не по душе, как одному бойкому чеховскому персонажу — дряхлый Фирс: “Надоел ты, дед... Хоть бы ты скорее подох”. И он в свою очередь (да простится мне последующий “плагиат”!) машет крыльями — не в собственную ли защиту? Защиту изобретателя такого, например, “римейка” давнего высказывания о России — колоссе на глиняных ногах: “Историю Советского Союза лучше всего изучать по нижнему белью... В сущности, мы были колоссом со спущенными чулками”. Что это, если не... ох, опять это слово!..» («Известия», 25.11.2008)

В литературе, как и в жизни, у него был негромкий голос. Свое место, своя роль, свой круг интересов. Голос был негромкий, непафосный, ненадрывный, но при этом очень узнаваемый, внятный и слышный. Он умел, не растекаясь в словах и эмоциях, сказать главное. Без него литературная жизнь будет другой, и критика будет другой — некому так бросаться на защиту, отстаивать правду и — не побоюсь сказать — идеалы.

В издательстве «Новый ключ» выходит книга, названная строкой из юношеского стихотворения Туркова: «А дни — как тополиный пух...» — составленная его сыном из написанных Андреем Михайловичем в последние дни заметок, интервью разных лет, статей о его творчестве и воспоминаний о нем и представляющая нам Человека, Писателя и Читателя.

Страницы не публиковавшихся ранее воспоминаний об Андрее Туркове — в этом номере «ДН».

Владимир Турков

Последняя верста¹

Для меня он всегда — «па», слово «отец» к нему как-то не прикладывалось... чуточку суховато... хотя и весьма уважительно, но немного торжественно — как будто снизу вверх и на некотором удалении. Для меня «па» всегда рядом. Не могу выговорить... «был».

Почти пятьдесят лет тому назад, вручая одну из своих книг, папа написал: «Димке² и его семейству от разбитной троицы — отца, свёкра и деда».

Эти свои звания он ценил, с течением времени став и четырежды прадедом, но никогда не стремился ни к другим званиям, ни к начальственным креслам или к металлу, позвякивающему на лацканах пиджака. Он работал.

Мой папа — из поколения 20–30-х годов прошлого века, из большой, ныне многофамильной, семьи Краевских, Стариковых, Владыкиных, Турковых... «Главными», исторически объединяющими, были Краевские, их корни уходят на Смоленщину и в Польшу. Если копнуть историю любой семьи, то понимаешь правоту известных слов «Мы с тобой одной крови». О чём папа никогда не забывал.

¹ Публикуется с сокращениями.

² Моё домашнее имя. — В.Т.

Один из Краевских — Александр Николаевич, врач по профессии, в начале XX века жил в Москве на Арбате в доходном доме, стоявшем в ныне сильно укороченном Серебряном переулке. Квартира на втором этаже состояла из пяти комнат, обладала всеми современными удобствами и уже забытыми — выходом на «чёрную» лестницу и маленькой каморкой для прислуги при кухне. И именно в этой квартире в смутные годы революции по инициативе Александра Николаевича была собрана значительная часть семьи, чтобы сообща пережить трудное время (также это помогло противостоять насильственному уплотнению).

В 30-е годы Александр Николаевич, пожалуй, по самому первому в СССР делу «врачей» (дело Никитина) был осужден. Приговор для него был «мягким» — трехлетняя ссылка за Урал, затем «минус двести» — он не мог жить ближе чем за 200 километров от Москвы. Поселившись под Тулой, он стал врачом больницы Косогорского металлургического комбината. Но и там все часто собирались вместе, а в летние месяцы на Косую гору съезжалась молодежь.

В семье его помнят, как Предка — человека мрачноватого, неразговорчивого, но который всегда, столкнувшись в коридоре с кем-то из младших, украдкой совал тому в руку конфету. А при утренних встречах с домашними по пути в ванную, будучи ещё в майке, произносил неизменную фразу: «Извините, я без галстука».

Врачом, видимо, он был хорошим, поскольку в дореволюционной Москве, среди немногих, у него было малодоступное новшество — телефон. Домашние, оценивая его как врача, вспоминали его слова, что воспаление лёгких можно определить по запаху больного: «От него пахнет пареным гусем».

Возможно, семейное единение и взаимопомощь, профессионализм и ответственность, виденные папой в детские годы, сыграли значительную роль в лепке его личности.

Также на него оказала большое влияние бабушка Юлия — добрейший, внимательный, интеллигентный человек, которая, по сути, занималась внуком постоянно, была его лучшим другом, и её смерть в середине 30-х годов тяжело им переживалась.

Несмотря на такую «домашность» и увлеченность книгами, мальчишкой папа играл во дворе в футбол и до конца жизни с увлечением его смотрел, досадуя, когда игра была скучной. Безликость он не любил во всех её проявлениях.

Ещё в молодые годы, на отдыхе, футбол из-за ранения был заменен на тоже любимый им волейбол, как-то значительно позже он мечтательно вспоминал: «Как мы с Мишей Козаковым в писательском Доме творчества в Дубултах в волейбол играли...»

Там же, на Рижском взморье, случилось ему сыграть в шахматы с будущим чемпионом мира Михаилом Талем, тогда ещё совсем молодым и не гроссмейстером. Проиграл, конечно. Когда же через несколько лет Таль играл на чемпионате, борясь за шахматную корону, переживал и был рад его успеху. Шахматы были увлечением папы со школьных лет.

Удивительно, как сугубо гуманитарный человек обладал способностями, казалось бы, совсем из противоположных сфер: великолепной памятью на цифры — все номера телефонов держал в голове; а когда собирался поехать по нескольким делам сразу, маршрут составлял почище любого современного логистика; да, и Москву знал так, что ориентировался в ней безо всякой карты — как будто, несмотря на ранение, исходил все-все её улицы и переулки (что было близко к истине).

Его ранение я не замечал много своих детских лет, для меня он был таким же, как и у всех, ПАПЫ — высоким, быстрым, надежным, интересным, работающим, уважаемым... и любимым. Я не помню, чтобы он повысил голос — ни на меня, ни на кого бы то ни было, чтобы сказал оскорбительное слово — ни в глаза, ни за чьей-либо спиной, чтобы использовал матерное... брезговал. Нотаций не читал, но всегда и без

слов была понятна его оценка. Поучал на рассказанных к месту случаях, цитатах и стихах.

А как читал стихи! Негромко, без надрыва и нажима, восхищаясь не собой — читающим, а самим стихом, его мыслью, звуком, словом...

По одному документу, из числа сохранившихся, в армию папа был призван 16 апреля 1943 года, а в другом указано, что уже 15 апреля того же года он был поставлен на довольствие в составе 3-й роты 59-го отдельного дорожностроительного батальона (рядовой, сапер). По его словам, был он и связным в Полевом управлении 21-й армии. Дома он не любил вспоминать войну и разговоры о себе не поддерживал, рассказывал о других, по его мнению, более достойных. Уволили его из армии 19 июля 1945 года после лечения в госпиталях, в которых провел более чем полгода из-за ранения, случившегося 1 января 1945 года под городом Жешув в Польше.

Вернувшись летом 45-го в Москву, папа вернулся к жизни: в Литинститут, в семью, к друзьям — в юность. На одной из вечеринок, устроенной двоюродной сестрой Екатериной Стариковой, он познакомился с её подругой, сокурсницей по филфаку МГУ — Лидией Грибовой, моей будущей мамой. Послевоенное радостное восприятие жизни, молодость, свадьба, ребенок и... трудная жизнь студенческой семьи, к тому же родители с обеих сторон, точнее, обе мамы, восприняли этот брак негативно, что, возможно, впоследствии как-то сказалось — через несколько лет они развелись. Но проблемы семейной жизни не коснулись их уважительного личного отношения друг к другу настолько, что при разводе судья, восхищенная их интеллигентным поведением, не смогла удержаться от возгласа: «Ну зачем же вам разводиться?» Меня это событие совсем не коснулось, и в моей памяти не сохранилось, у меня всегда были мама и папа, потом число родителей удвоилось. Я не возражал...

Порядочность, обязательность и, априори, доброжелательное отношение к людям — вот его жизненная основа, заложенная в трех его университетах: семья, война и Литинститут. Литература — вот предмет его интересов, его творчества, в котором проявляется его личность, его принципы, которые хорошо видны в его критических и полемических статьях и литературных портретах. Его искренность, прямота и корректное отношение к жизни и творчеству других, что ценили его друзья и читатели, порой вызывали неприязнь и злобу оппонентов, стоящих на других литературных и жизненных позициях.

Один московский поэт в известном литературном издании в полемике позволил себе упомянуть «колченого критика», вероятно, радуясь «удачному» эпитету, метя и в узнаваемую фигуру, пригвоздив физический недуг и намекнув на литературный. Да, была война, и было ранение, и осталась измененная на всю жизнь походка. Но его путь и в жизни, и в литературе — прямой и честный. Сразу отмечу, что исходно полемика касалась не его самого, а товарищей по цеху, доброе имя которых защищал папа. Кажется, в той же статье было брошено и обвинение, что критик в своих «слабеньких» работах прославлял начальников от литературы и что его руки по локоть в крови пострадавших от его «доносов». Хлесткое, бездоказательное заявление... Хочется повторить цитату из стихотворения Твардовского: «Честно я тянул свой воз», которая так же точно определяет и жизнь, и отношение к ней самого папы.

Работая в журнале «Молодая гвардия», папа встретился с Ниной Сергеевной Филипповой (тоже работавшей в этом журнале), которая в недалеком будущем стала его женой и первым критиком.

Прошедшая войну, пережившая первую блокадную зиму Ленинграда, Нина Сергеевна обладала тем же набором человеческих качеств и взглядов. Недаром говорят, что самые крепкие браки совершаются не на небесах, а на работе. И неудивительно, что все папины последние книги начинаются с посвящения именно ей.

Вершиной профессиональной карьеры Нины Сергеевны был пост главного редактора журнала «Знание-сила», который она подняла с уровня ведомственного издания министерства профтехобразования до очень известного, широкого профиля научно-популярного журнала с огромными для того времени, а для современного тем более, тиражами. Естественно, папа был в курсе её работы, и даже можно сказать — внештатным сотрудником журнала, переживая вместе с редакцией все трудности подцензурного советского времени настолько близко, что как-то при посещении сотрудниками редакции «Знание-сила» музея-усадьбы Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол произошел забавный случай. В зале музея висела фотография торжеств одного из современных юбилеев сатирика, на которой среди участников был и папа, что вызвало хоровой женский восторженный возглас, весьма удививший экскурсовода: «Это же наш муж!»

О человеческих качествах Нины Сергеевны (в моем детском произношении — тёНины) можно судить по давнему домашнему случаю — как-то при очередном визите в их дом, читая книгу, встретил незнакомое для себя слово и спросил: «Кто такая мачеха?» Папа быстро нашел понятный пример: «Это как тебе тётя Нина». «Ну, это не так страшно», — был мой ответ.

Повторю, их творческая и жизненная основа в целом очень близки!

Вместе с ними жила и мама тёНины — Нина Яковлевна, по рождению — из церковной семьи, по образованию — учительница земской школы, острая на язык и большая любительница народных поговорок, а по жизни — тётца, но извечного конфликта с зятем не было и в помине. Она вела хозяйство, любила потчевать и своих домашних, и приходящих гостей. Оценивая наше с папой «отношение» к её стряпне, она одобрительно говорила: «На брюхо плечисты!» Однажды, что-то выговаривая дочери, сказала: «Нинка, я бы с тобою развелась, но Андрюшенька очень покушать любит»...

Вспоминаются однажды сказанные тёНинины слова: «Твой отец способен избаловать кого угодно... даже книжный шкаф». Книжный шкаф? Наверно, кроме способности «избаловать» имелась в виду и удивительная скорость заполнения домашних книжных полок. Трудно себе представить папу без книги в руках.

Перед началом бурного времени перестройки один из сотрудников газеты «Известия» предложил папе вести постоянную колонку о книгах — «Книги: новинка недели», и почти каждую неделю, начиная с 1984 года, редакционная машина стала привозить стопку вышедших из печати книг... и немалую. Все они были аккуратно прочитаны, выбрана, по папиному мнению, самая лучшая, или актуальная, или самая для читателей интересная, и написана рецензия, которая для скорости часто надиктовывалась по телефону. С годами вал событий отодвигал эту колонку всё дальше, на более поздние номера, редакционные интересы и начальство сменились, тот человек ушел из редакции, и начавшееся так бурно сотрудничество практически сошло на нет.

В тяжелые для всех времена, которые обрушились на людей в начале 90-х, они выживали только благодаря папиной повышенной инвалидной пенсии, о чём тёНина благодарно, но и с горечью, говорила: «Нога-кормилица».

...Високосный 2016-й для папы был более спокойным в отличие от предыдущего 2015-го, в котором случилось аж четыре (!) больничных периода: рожистое воспаление раненой ноги, подобное было в 1945 году; сердечные недомогания; тяжелая форма анемии. Со всеми проблемами удалось справиться — лекарства были подобраны, ситуация стабилизировалась, и к лету длина прогулок в Красновидове стала такой же, как и прежде. Он радовался, что ходить стал быстрее и без одышки, много читал и работал...

Лето завершалось в хорошем настроении.

В памятный день — 7 сентября традиционно съездили на Востряковское, положить букет цветов Нине Сергеевне в её день рождения. Вернулись в Красновидово. А 8-го папа встал разбитый, спал плохо, отменил свой визит к Людмиле Борисовне Чёрной, воспоминания которой недавно прочитал с большим удовольствием.

Жаловаться папа не любил, из-за своей терпеливости внимание на здоровье обращал в последнюю очередь. К вечеру поднялась температура, явной причины не было, но занервничали и утром поехали в Москву, прямо в Боткинскую больницу, где в приемном отделении провели несколько часов. Выслушали раздраженное ворчание дежурного терапевта, что и приехали не по скорой, что и хотим Бог знает чего...

И только после рентгена, который показал какое-то затемнение в легком, к 17 часам оправили в пульмонологическое отделение, врачи которого уже уходили домой: «Ждите, придет дежурный по корпусу». По корпусу!

Назначили жаропонижающее и антибиотики, температуру сбили, но началась прогрессирующая слабость, был вял, но в сознании, отвечал на звонки знакомых, а 13 сентября — катастрофа, не ответил на утренний звонок. Позвонил на пост медсестре, поднял врача... Через час перезвонил — врач сообщает: «Переводим в реанимацию».

Доехать мы не успели...

Осень 2016 г.

Юрий Манн

В школе дебютов

Пишущие люди обычно с особой теплотой хранят воспоминания о первых своих публикациях, а также о причастных к ним людям и обстоятельствам. У автора этих строк тоже есть по этой части очень скромный опыт.

Моя заметка к столетию со дня смерти Батюшкова — заметка, которая сегодня никого не удивила бы. Несколько иначе обстояло дело в момент ее появления, около шестидесяти лет тому назад, — в то время, когда патриотизм, как правило, был пронизан риторикой, официальным вымученным чувством. В стихотворениях же Батюшкова патриотические ноты переплетались и замечательно искренними личными интонациями — и эти интонации сочетались с элегизмом, эпикуреизмом, глубоко выстраданными авторскими переживаниями. И критику, наблюдавшему этот процесс как будто бы строго со стороны, невольно предстояло пережить его как глубоко личный. Этот тон не надо было угадывать — он нагладен, он на поверхности.

Приобщение к критике

...В какой-то день я отправился в редакцию журнала «Огонек» и вошел в первый же попавшийся мне по пути кабинет. Имя редактора, как потом я узнал, заведующего отделом критики, мне ничего не говорило; но, очевидно, еще более «немым» было для редактора мое имя. А между тем мне безумно хотелось напечататься.

И свое желание я не смог скрыть от редактора — Андрея Михайловича Туркова. «Вы что-нибудь уже сочинили?» — спросил Турков и велел на следующий день прийти

в редакцию пораньше. И эти несколько часов были посвящены замечательно интересной, живой беседе, которую вел Турков.

Но насколько же необычным было мое приобщение к критике, причем к критике по тому времени одного из самых авторитетных журналов! Никто меня не рекомендовал. Не говорил про меня редактору хорошие слова. Не давал советов. И пришел я буквально с улицы. Кстати, это был не единственный такого рода визит к Туркову. Чуть позже Андрей Михайлович, работая в журнале «Молодая гвардия», поручил мне написать статью о гоголевском «Носе», статья открыла в журнале постоянный раздел — под грифом «Работы молодых литераторов».

Работа с молодыми, помощь начинающим всегда отличали Андрея Михайловича. Помнится, в честь очередного юбилея Туркова в Доме литераторов в Москве обсуждалось предложение: выпустить сборник работ молодых литераторов, созданных при участии и помощи Андрея Михайловича. В школе дебютов — так примерно должен был называться этот сборник. Жаль, что он пока не вышел в свет.

Февраль 2017 г.

Лола Звонарёва

Вспоминая Андрея Михайловича Туркова

...Когда я впервые встретила с Андреем Михайловичем перед поездкой в Польшу на конференцию, я хорошо знала все, что он написал: он был нашим семейным литературным кумиром. Матушка передавала ему восхищенные приветы от себя и студентов, открывавших для себя русскую литературу по его книгам.

Бой у кассы на Белорусском вокзале

Мы встретились на Белорусском, у международных касс, чтобы купить билеты в один вагон: тогда сотрудникам Российского центра науки и культуры было бы нас удобнее встречать на огромном варшавском вокзале. Это было зимой 1994 года. В то время тысячи людей из разных российских городов и самых разных профессий превратились в торговцев-челноков. За билетами в Польшу каждый день выстраивались огромные очереди.

Мы с Андреем Михайловичем стояли у закрытого на обеденный перерыв окошка кассы и мирно беседовали. И вдруг наша касса внезапно открылась: показалось недовольно-сонное лицо кассирши. И неожиданно огромная толпа от соседних касс рванулась к нашему окну, толпа напирала, все, крича, совали паспорта и деньги...

Мне показалось в какой-то момент, что меня сейчас раздавят, как растерявшихся зевак на печально знаменитых похоронах Сталина... Но тут Андрей Михайлович, мгновенно среагировав на образовавшуюся угрозу, буквально закрыл меня телом от напавшей толпы, воспользовавшись своим высоким ростом и сильными руками. Он вежливо, но настойчиво стал останавливать разгоряченных, напавших со всех сторон людей, и вскоре порядок был восстановлен.

Я, потрясенная, горячо благодарила, а он церемонно извинялся, как будто в поведении озверевших, ожесточенных людей была и его вина...

Зимняя встреча с юными следопытами

Зима 2011 года выдалась на редкость холодной. 75-летний художник Виктор Чижиков побоялся после недавнего инфаркта прийти на выступление в детскую библиотеку. Не без внутреннего волнения звоню Андрею Михайловичу. Юные следопыты-«смирновцы» из Краснопресненского Дома детского творчества попросили его выступить перед ними, вспомнить фронтовых поэтов. Андрей Михайлович согласился, мы встретились в метро «Краснопресненская» и пошли пешком через парк.

Трогательная композиция, подготовленная подростками, из стихов и песен военных лет порадовала Андрея Михайловича. Он видел: его здесь ждали, читали его книги. В этот вечер он увлеченно рассказывал и вдохновенно читал стихи друзей-фронтовиков в полной тишине, дети и учителя затаили дыхание. Выступление завершилось на таком эмоциональном подъеме, что гром аплодисментов сотрясал все здание четырехэтажного Дома детского творчества.

Дети подарили герою вечера огромный букет красных гвоздик. Перед уходом мы бережно заворачивали их в бумагу, оберегая от жгучего январского мороза.

Мы вновь пошли через парк, подгоняемые мокрым снегом и ледяным ветром. Я заметила, как бережно прижимает к груди цветы Андрей Михайлович. Поймав мой взгляд, он пояснил: «Хочу завтра отнести их на могилу к жене, надо, чтобы дожили...»

Март 2017 г.

*Ксения Кнорре-Дмитриева***Человек «из того времени»**

С Андреем Михайловичем меня тесным образом связывают две линии: профессиональная и личная. И, конечно, я могу в какой-то степени считать Андрея Михайловича своим наставником в профессии исключительно благодаря тому, что он был другом нашей семьи, а точнее, другом детства моего дедушки, Алексея Анатольевича Стеклова. Поэтому он априори с симпатией относился ко всем нам, дедушкиным потомкам, поддерживал нас в наших начинаниях и помогал мне советами и идеями в журналистской и литературоведческой работе.

Внезапная смерть моего дедушки в достаточно молодом возрасте была шоком для всех, кто его окружал, общение его друзей с семьей естественным образом сошло на нет, потерялась также связь и с Андреем Михайловичем. Но после долгого перерыва в отношениях с нашей семьей он, вопреки логике, возобновил общение, и для всех нас это имело особое значение: все, кто помнил дедушку живым, постепенно уходили, и вдруг с Андреем Михайловичем к нам вернулся огромный кусок дедушкиной жизни. Думаю, что и на Андрея Михайловича, которому к тому моменту было уже около 80 лет, произвел впечатление тот факт, что дедушки нет уже больше тридцати лет, но его семья, в которой всё больше тех, кто никогда его не знал, ежегодно собирается за большим столом в день его рождения. Однажды он пришёл в наш дом на это торжество и с тех пор аккуратно посещал наши семейные праздники. Для меня это был очень важный урок: для настоящей дружбы и верности нет срока давности, и с истинными чувствами ничего не происходит со временем, они не меняются из-за того, что тот, кого по-настоящему любили, умер. Последний раз Андрей Михайлович был у нас на

дне рождения бабушки в апреле 2016 года. В ноябре 2016-го, когда мы отмечали день рождения бабушки (к сожалению, уже в одиннадцатый раз без неё), Андрея Михайловича с нами уже не было...

Удивительна и прекрасна была в нём нежность к давно ушедшему другу. На всех дедушкиных днях рождения он обязательно что-то о нём рассказывал. Благодаря ему для меня дедушка, которого я никогда не видела, оживал, становился близким и понятным, у него появлялись какие-то характерные черты, любимые словечки — Андрей Михайлович ведь был потрясающим рассказчиком и талантливым писателем. Его истории звучали иногда забавно, иногда горько, но всегда очень живо, чувствовалось, что ни боль от утраты, ни радость от общения никуда не делись. Когда Андрей Михайлович рассказывал о своём друге, было видно, как он скучает по нему. Он хранил сделанные дедушкой фотографии, и некоторые из них — например, два черно-белых сельских пейзажа — десятилетиями стояли у него на видном месте, за стеклом книжной полки.

Когда я немного подросла и оказалось, что я могу поддерживать беседу о литературе, а ещё позднее выяснилось (думаю, к нашей взаимной радости), что мы из одного лагеря и по политическим и общественным взглядам, у нас появились новые темы для разговоров. Мы стали общаться с Андреем Михайловичем не только на семейных торжествах. Несколько раз я приезжала к нему в гости. Мы пили чай в его чудесной книжной, немного старинной, немного советской квартире, где тикали часы и были опущены плотные портьеры, и говорили о литературе, о дедушке, о жизни. И хотя я старалась поменьше говорить и побольше слушать, Андрей Михайлович был очень располагающим к себе слушателем, он всегда смотрел внимательно и серьезно, никогда не спешил и не отвлекался, видно было, что ему действительно интересно, поэтому ему легко было рассказывать всё. Благодаря этому в нашем общении случались моменты большой искренности и близости, и теперь я точно знаю, что это очень редкие и важные эпизоды в жизни каждого.

В профессии Андрей Михайлович был для меня наставником. Наставник — это тот, кто помогает советами, учит ремеслу и сам по себе является образцом. В этом смысле мне, конечно, невероятно повезло совпасть с Андреем Михайловичем в месте и времени, повезло, что он относился ко мне с большой симпатией, повезло, что у нас были близкие области профессиональных интересов. Причем, что важно, это было очень мудрое и ненавязчивое наставничество. Андрей Михайлович не говорил «это бы стоило написать так-то», не давал прямых рекомендаций, если я об этом не просила, но он рассказывал случаи из своей работы, вспоминал о том, как вели себя другие представители нашей профессии, рассказывал о своей методике работы и таким образом поддерживал меня в том направлении, в котором я двигалась, давал мне в руки нужные инструменты, а также незаметно учил жизненно необходимым публицисту качествам: бескомпромиссности, искренности, эрудированности, этичности, уважению, гуманизму — всему тому, чего у него было, возможно, больше, чем у кого бы то ни было в нашей профессии. Поэтому для меня его похвала имела особое значение — а ему никогда не было сложно позвонить и сказать: Ксюша, прочитал вашу статью, вы большая молодец, очень понравилась такая-то ваша мысль — и это поражало в эпоху, когда всем некогда, когда у людей находится время только на то, чтобы что-то отругать. К тому же Андрей Михайлович всегда всё прекрасно помнил — я не говорю о рабочих обязательствах — тут мне, конечно, учиться и учиться его пунктуальности и точности, — но и о том, что, кто, когда и где написал и сказал. И иногда в разговоре снова повторял: вот вы тогда написали... отличная мысль... И этой естественной для Андрея Михайловича теплоте, его умению легко, искренне, не смущая, сказать что-то доброе человеку тоже стоило бы поучиться многим из нас, независимо от профессии.

Для меня Андрей Михайлович был человеком «из того времени», о которых

много пишут, но которых на самом деле, возможно, почти не существовало: бескомпромиссные, бескорыстные, живущие высокими целями, честные, принципиальные, беспощадные к себе, добрые к другим, милосердные и строгие. А он был — и очень грустно, что приходится говорить об этом в прошедшем времени. Он был прекрасным, мудрым, благородным, искренним и, боюсь, последним.

Январь 2017 г.

Дмитрий Шеваров

Отдаленный звук человечности

С Андреем Михайловичем меня познакомила Нателла Георгиевна Лордкипанидзе, выдающийся театральный критик, сподвижница Товстоногова и Ефремова, человек доброжелательный, сердечный, глубокий и при этом невероятно широкого круга общения. В конце 1990-х годов мы работали вместе в газете «Первое сентября», где Нателла Георгиевна по просьбе Симона Львовича Соловейчика вела отдел искусства и литературы. Я часто мимоходом слышал, как она планирует свою еженедельную страницу с нашим ответсегом Ирошкой: «Вот здесь будет беседа с Мишей, здесь мы поставим заметку про Юру, а в подвал я попрошу написать Андрея. Напишет ли он за два дня? Напишет. Он знает слово «надо», которое в вашем поколении многие и не слышали...»

Мишей она звала Михаила Абрамовича Швейцера, Юрой — Юрия Борисовича Норштейна, Андреем — Андрея Михайловича Туркова. Я любил фильмы Швейцера, боготворил Норштейна, а к Туркову относился как к легенде, ведь его статьи я читал еще в школе.

Однажды мы готовили номер к 9 мая, и Нателла Георгиевна сказала: «Позвони Андрею, он ведь воевал. О себе он не будет рассказывать, я его знаю, но, может, расскажет о Твардовском...»

Я позвонил, и потом в газете вышла наша беседа о войне. В этой беседе Андрей Михайлович говорил о себе лишь потому, что он говорил о поколении. О своих ровесниках, не вернувшихся с войны. Долг перед ними он взял как крест еще в 1945-м и нес его до конца.

Встречи наши были до обидного редки и коротки. Слава Богу, был телефон. Однажды Андрей Михайлович позвонил сам, и это было для меня подарком.

Последний раз мы виделись в январе 2015 года в музее А.С. Пушкина на Арбате. Я пригласил Андрея Михайловича на представление своей книжки о поэтах 1812 года. Знал, что он нездоров, поэтому был поражен его приходом — по гололеду, по темным зимним улицам. Он пришел точно к назначенному часу, прошел, чуть хромя, на второй этаж, в гостиную, где должен был проходить вечер, и сел в самый дальний угол. Сосредоточенно слушал выступающих. После вечера я должен был бы проводить Андрея Михайловича, но закрутился с гостями, с книжками, не догадался...

После этого мы еще несколько раз говорили по телефону, я рассказывал ему о своей работе с архивом Семена Гудзенко и чувствовал, как для него это важно. Он очень поддерживал мои занятия фронтовой поэзией, считая, что о погибших молодых поэтах мы до сих пор знаем очень мало.

Перебираю сейчас книги, которые Андрей Михайлович дарил мне. Его надписи

на книгах полны тепла и самоиронии: «...от старенького автора дружески», «...с очень давней симпатией от дряхлеющего коллеги».

Нет, вовсе не случайно и в его художавой фигуре, и в его лаконичном стиле, и его чутких отношениях с людьми было так много чеховского.

Книга Туркова об Антоне Павловиче завершается словами, которые сейчас я считаю справедливым отнести к самому Андрею Михайловичу: «Сквозь гул мировых событий, какофонию теледебатов и митинговых речей вновь и вновь доносится до нас этот «отдаленный, точно с неба... звук» чеховского искусства, чеховской человечности».

Декабрь 2016 г.

Виктор Козько

Светлой памяти прошедшего

Горько писать, вспоминая светлого человека уже не в дороге, не под солнцем. Еще помня, как он некогда ходил, улыбался, что-то говорил и молчал. Думал. А он умел думать всегда и всюду. Не докучливо, весь в себе, но и одновременно вроде бы говоря с тобой, так что было порой непонятно, ты с ним, около него, или один, наедине с собой. Это было удивительное согласие и единение не только с ним, но и с миром, по которому он неторопливо, слегка прихрамывая, шел, по окружающей его жизни, сливаясь с ней и попутчиком, плотно сжав губы, принимая и обласкивая взглядом все встречное и всех встречающих. Безвздошно открытый, подтянутый и прямой.

Несмотря на фронтное прихрамывание, он умел и любил ходить. Ходить именно по-турковски. Смотреть, видеть, примечать и сохранять примеченное, что не каждому дано в нашей сбивающей пульс суете. Это, видимо, было у него от рождения. А еще — интеллигентности и интеллекта, внутреннего, прирожденного или приобретенного критическим глазом равновесия, несуетности. Внутреннего наполнения и непрерывной работы мысли, души, от чего все, за что бы он ни брался, что бы ни делал, получалось красиво и с достоинством.

Вот так, не торопясь, почти каликово, шли мы по траве-мураве изредка проезжей дороги к озеру Княжбор. Единой дороги, связывающей мою детдомовскую деревню Вильча, что на гомельском Полесье, с внешним миром. Иных дорог, кроме водных, речек Случь и Припять, не было. Это чтобы удержать нас, детдомовцев, от соблазна побегов: до первого железнодорожного полустанка пятнадцать километров, до райцентра, станции Житковичи, тридцать трудно проезжих и машинно, по гати, гребне из бревен, проложенной еще немцами во время оккупации.

Калики перехожие — это Андрей Михайлович Турков, его жена Нина Сергеевна Филиппова, моя жена Нина Тимофеевна и я, поводырь. Озера Княжбор, собственно говоря, не было. Лишь память о нем — наполненность водой во время весенних паводков и исчезновение в засушливые годы, как и остаточная память о некогда большой и роскошной среди болот княжьей деревне Княжбор — с десятком изб с поседевшими камышовыми крышами. Вот почему туда вела только видимость дороги.

Но мне очень хотелось приблизить и показать Турковым сохраненную до наших дней полесскую глубинную вечность, хотя в тот предвечерний летний день она была до первобытности комариной. Такое хмарное нашествие их здесь мне довелось

наблюдать только в детдомовском голопузом детстве, когда нас в одних трусах выводили в болота на добычу валерианового корня. У меня уже к утреннему подъему так вспухали икры, что их можно было рубить топором.

Теперь же мы защищались от комариных набегов ветками ольхи. Размахивали ими, как лошади хвостами, и непрерывно обрызгивались репеллентом. Не помогало. Наоборот, комары зверели, словно мы их медом приманивали. Вознаграждены мы были восставшим перед нами из прибрежных зарослей трясиным озером, бездной чернью и покоем воды. Озеро раскосым, на две стороны от седого мостка татарским глазом изучающе всматривалось в нас. И, казалось, не очень приятно: кому нравится, когда его изучают и препарируют.

А вот мостки, прокинутые через него, были радушны и приветливы. Выбеленные дождями и снегами, оглаженные зимними застругами метелей, они походили на деда-полешука в белых домотканых одеждах, прилегшего среди воды, по обе стороны раскинув натруженные добычей торфа загорелые руки. Я не помнил, чтобы по этому мостку кто-то когда-то проезжал. Деревня Княжбор хирела, а мосток был лишь крестьянской данью вековой традиции и верности жизни, почему его каждый год и подлаживали. Стоят две деревни напротив друг друга через воду — значит, должна быть и кладочка между ними. А вдруг, а неожиданно...

Озера тоже чурались. Водилась ли в нем рыба, неведомо. Ловили ее в озерах и старицах иных, коих было вблизи рек Случь и Припять около двадцати. Сушили и набивали мешками выюнов и карасей для петровских сенокосных и зимних филипповских постов. А свежая речная рыба — щуки, окуни, лещи и язи — всегда на сковороде, в чугунке и в печи, сушеная.

У княжборской же озерной воды было, если так можно сказать, некое отречение и отторжение от людей и деревенского быта. Само озеро, похоже, было ненасильственно отторгнуто временем от проточных вод близлежащих рек. Ушло от них и превратилось в старицу и состарилось в одиночестве. Тем оно было мило и дорого мне и тогда, и сейчас, когда мы с Турковыми, еще, можно считать, молодые, стояли на плахах и бревнах древнего мостика у обиженного, уловленного вечностью в западню наших дней Княжьего озера и боролись с тучами и ордами сегодняшнего помета комаров. Мы уже нисколько не обижались на них. Потому что было действительно как в старину, в дарованную нам на мгновение вечность.

Только когда покинули озеро и вступили в вековую дуброву с кряжистыми полесскими дубами, вольно и вразбег стоящими друг от друга, Андрей Михайлович немного приотстал. Приотстал и я:

— Болит нога?

— Что вы, что вы, — похоже, удивился, если не обиделся, Андрей Михайлович. — Я на свою ногу не обижаюсь. Это моя кормилица.

Да, уже приближались времена, когда увечье, а тем более фронтовое, надо было благословлять, что, хотя и не без горечи, подтвердила и Нина Сергеевна.

Вот таким был наш коллективный поход в полесскую вечность. «То, что вечно, человечно», — утверждал А.Фет. — «Пожалуй, не менее вечно и обратное, — слегка перефразируя его, писал и А.М.Турков. — То, что человечно — вечно...» К неподдельной естественности в природе, жесте, молчании стремился и сам Андрей Михайлович. Потому он и оказался на Полесье, еще одушевленном тогда. И последняя нота или деталь нашего проникновения в Княжью первобытность. Придя домой, в хатку, купленную мной для дачи и в качестве памяти о том, как детдомовцы спасли, отстояли ее от пожара, мы обнаружили, что в чем-то комары были правы, неистово пожирая нас. Мы активно орошали себя не убийственным для них репеллентом, а дихлофосом, снадобьем от тараканов. Перепутали баллончики, за что и поплатились от комаров и тараканов.

Последних, правда, не знаю, почему, в те годы, и ранее, и позднее в Вильче не

наблюдалось. Чистые годы, чистая деревня. Но мы с женой в ожидании московских гостей, четы Турковых, перестарались. А случился этот приезд довольно неожиданно. Хотя, ближе узнав Андрея Михайловича, я понял, что был этот приезд и предсказуемым: он был предан неожиданностям дороги, путешествий в самобытность сохраненного еще прошлого. К тем, кто еще зовется народом, к кому всегда были так приглядчивы настоящая интеллигенция и настоящая литература. Не исключая и того, что этому способствовало и фронтовое ранение, и именно ноги, многовековое крестьянское упрямство доказать тому же Фету: «Нет, мы еще не отжили!» Наши ноги еще хоть куда, прошли войну, одолеем и мир.

Как раз на одном из международных круглых столов, посвященных Великой Отечественной войне, который был организован журналом «Вопросы литературы», я пригласил участников столичного «стола» за стол на Полесье. Туда, где была война и оккупация, где жили не менее полутысячи ее недобитков и огрызков — детей-сирот. Приглашение было скорее символическим. Но после совещания ко мне подошел Андрей Михайлович и в своей немногословной манере сказал:

— Вполне возможно.

«Вполне возможно» состоялось уже в ближайшее время. Не успели даже схлынуть паводковые весенние воды. А в том году они были очень обильными. Обычно наводнение здесь майское, когда начинают таять снега на Карпатах, но к началу лета Припять и Случь входят в берега. Тогда же большая вода держалась едва ли не до середины лета. И безбрежно, подтопив даже подступы к деревне, перехлестывая через дорогу. Почти как в моем детстве, когда мы добирались в школу на телегах и лодках. Год был, как уже говорилось, комариный, изобильно водный и крикливо лягушачий, особенно по вечерам, до глубокой ночи, а порой и до рассвета.

Турковы удивлялись. А наша соседка, учительница математики в Вильчанской школе Мария Герасимовна Конопацкая, объясняла:

— Это наш деревенский, полесский хор имени Пятницкого. Почти как московский.

Я знал многих людей, не терпящих живых сельских звуков. Турковы были не из их породы. Мария Герасимовна поила их парным молоком. Другая соседка, которую по-деревенски звали Фурцевой — в свое время она работала уборщицей в сельском клубе — снабжала кисляком, кислым молоком и простоквашей. В то время деревня еще держала коров. И местные куры исправно неслись благодаря голосистым петухам, исправно поющим после часа Быка и в молочных рассветах. Иногда муж Марии Герасимовны, колхозный бригадир Петр Савельевич, подкидывал свежей речной рыбы.

Вот и все их пропитание. Никаких изысков. Сельповский магазин не баловал: хлеб привозили раз в три дня. По выходным навевались мы с женой, привозили то-другое из Минска. Переживали за скудость и однообразие их жизни в полесской глуши. Но, похоже, глушь и радовала Турковых, по крайней мере Андрея Михайловича. Изредка он вспоминал, сколько дорог им исхожено по русским глубинкам. Он любил деревенские проселки, старину, но никогда не выпививал этого. Была в нем тихая сердечная привязанность и любовь, где все открытые захлебы излишни, а потому зачастую просто лживы.

Он слышал голоса ушедших и живущих на отшибе больших городов, о чем и писал: «Лет тридцать назад под Каргополем, в деревне Красная ляча, случилось мне подобрать в брошенном доме цеп, которым некогда на гумне обмолачивали зерно и о котором пословица сложена: «Мужика не шуба греет, а цеп». Глядя на его отполированное до блеска крестьянскими руками дерево, понимаешь, на чем держались воощенные паркеты и великолепные дворцы».

Читая сегодня эти строки, я вспоминаю его и Нины Сергеевны восторг, с каким они говорили о столике, за которым в их доме в Москве мы трапезничали. Не помню,

какого уж давнего века был тот столик, инкрустированный старинными замысловатыми орнаментами.

— На свалке, на свалке, среди мусора нашли. Древность не в почете сегодня...

В одну из последних встреч, беглую и мимолетную из-за недостатка у меня предпоездного времени, мы шли по центру Москвы в поисках уголка, где можно было тихо и уединенно посидеть. Столица загородно и дачно опустела, тем не менее тихого уголка, согласного приютить нас, не находилось. Всюду у каких-то входов стояли очереди или были те входы так слепящи отечественной, а больше зарубежной зазывностью, что мы невольно ускоряли шаг, совково проходили мимо.

Я был расстроен. Андрей Михайлович почувствовал мое состояние, как всегда он был настроен на волну другого человека, всюду оставаясь самим собой.

— Не надо переживать, — сказал он. — Это город давно не мой.

Я вспомнил горечь его слов, запнувшись на абзаце вопросительного его эссе: «Перестать ли нам быть самими собой?» «Слов нет, бывший Калининский проспект позволил решить определенные транспортные проблемы (хотя злые языки уверяли, что едва ли не главная из них была связана с удобствами для обитателей Кремля), но при этом был стерт с лица земли один из стариннейших и колоритнейших уголков города, перерублены или напрочь ампутированы живописные переулки, веками ластившиеся к жителям и прохожим и носившие уютные, домашние, обжитые множеством поколений имена: Кривоарбатский, Серебряный, Николо-Песковский, Собачья площадка».

В тот вечер я спросил Андрея Михайловича, не желает ли он повторить поездку в пейзажную полесскую глубинку.

— А что? — ответил Андрей Михайлович. — Не исключено.

К сожалению, оказалось, что исключено. Может, и к лучшему. Недавно мне позвонили из Вильчи, где отдыхали когда-то Турковы. Звонил бывший заведующий клубом, рыбак и грибник Александр Танчинский. Речки Случь, поведал он, уже почти не существует. Нет так называемого Бабского пляжа, на белом-белом песке которого нежились вместе с деревенским человеком и Андрей Михайлович с Ниной Сергеевной. Вода подрезала и утопила все заедино — печаль, слезы и радость. Можно считать, что и самой былой деревни под сотню домов — нет. Коренных вильчанцев из двухсот на сей момент осталось девять человек. Дороги на Княжбор тоже нет — заросла, как нет и деревни Княжбор, и мостков через Княжье озеро — спрахли и провалились.

Как ни горестно сознавать, но сегодня наши радости в нетях, как этот прощальный автограф, уже можно считать, из вечности: «Милым Косёчкам Тимофеевне и Афанасьевичу — запоздалое приложение на память о нас с Ниной, которая, увы, этой книжки не дождалась — с нежностью от старенького совка. А.Турков».

P.S. Не могу не сказать, как мистически роково в одно время для меня сбежалось: слово об Андрее Михайловиче Туркове и просьба поделиться воспоминаниями о Викторе Турове, белорусском кинорежиссере, с которым вместе работал, и фильм которого «Через кладбище» по решению ЮНЕСКО внесен в список лучших фильмов прошлого столетия. А еще съездить и выступить в городе Турове, бывшем центре Турово-Пинского княжества, в котором послевоенные детдомовцы искали среди останков разрушенных храмов и монастырей подземные ходы в иную жизнь, в Киево-Печерскую лавру.

Сегодня на Замковой горе в Турове на диво всем стал расти, восставать из земли каменный крест. Как это все светло, печально и обязующе.

Декабрь 2016 г.

Ольга Балла

Тихий шорох времени

Василий ГОЛОВАНОВ. На берегу неба: Повести и рассказы. — М.: Новое литературное обозрение, 2017. — 296 с.

В своей новой, совсем небольшой, по сравнению с недавними предыдущими, книге Василий Голованов предстает перед нами таким, какого мы, даже читавшие его много и прилежно начиная с «Тачанок с Юга» (1997) и «Острова, или Оправдания бессмысленных путешествий» (2002), не то чтобы никогда не видели — но почти забыли, потеряли из виду.

Точнее, узнаваемого здесь очень много. Это — сквозные, пронизывающие все, как лихорадка, мотивы ухода (даже — бегства) и одиночества, спасительности и целительности — в случае несчастий ли, вообще ли жизненных неурядиц — перемещений в пространстве, лучше всего — в больших пространствах. Настойчивое чувство ложности города и истинности внегородской природы, потребность — для полноты и глубины жизни — в телесном соприкосновении с нею. Вообще — тоска по свободе, по «подлинной», чистой и, как правило, вне городской цивилизации обретаемой жизни, тоска, которую автор одной давней рецензии на головановский «Остров...», Игорь Шевелев, назвал «шестидесятническим проклятием»¹. Эта тоска, конечно, куда глубже шестидесятничества (если угодно, мы обнаружим ее и в христианстве с его пониманием природы человека как поврежденной грехопадением и нуждающейся в исправлении и очищении. Головановские герои в своих больших пространствах проживают в некотором смысле религиозный опыт, хотя он далеко не всегда называется этим именем.) Только у Голованова тоска по свободе и подлинности еще горше, потому что он — безутешнее и шестидесятников, и верующих христиан, хотя религиозная топка, пусть довольно сдержанная, в его текстах — в частности, вошедших в новый сборник — встречается. И тоска эта у него если и утоляется, то лишь эпизодически, ненадолго — в рассказах сборника это особенно видно.

Этот тематический комплекс настолько устойчив, что можно даже сказать, что Голованов на разных — и весьма изобильных в своем многообразии — материалах пишет, по существу, об одном и том же, во множестве пространственных образов изживает одно и то же беспокойство. (Из этого ряда по видимости выпадает разве что история махновского движения, которой Голованов занимался в «Тачанках с Юга» и в вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей» биографии Нестора Махно, — но, если вдуматься, лишь по видимости: это ли не о тоске по свободе и подлинности,

¹ http://www.litkarta.ru/dossier/ostrova-v-okeane/dossier_965/

полноте и глубине, это ли не о стремлении вырваться?) Все эти мотивы, сросшиеся в своей упорной воспроизводимости в нечто, достойное названия личного мифа, есть и здесь, не говоря уже о деталях, видимо, попросту автобиографических, которыми Голованов щедро наделяет героев своих повестей и рассказов: и неудачный первый брак, и двое оставленных с бывшей женой детей, и пожар на съемной, но очень любимой даче, где сгорело почти все имущество, включая архив и книги, и потребность в одиночестве для работы, и воля к бегству. (Вообще, он предпочитает рассказ от первого лица, что, разумеется, не значит, будто он пишет о себе, — значит только, что ему интереснее прочего видение изнутри, «субъективная камера».)

Несмотря на все эти узнаваемости, новое собрание художественных текстов Голованова вполне способно стать стимулом к тому, чтобы основательно пересмотреть сложившееся представление об авторе. Еще точнее: оно поможет нам прояснить те его черты, которые в его «травелогических» книгах — в «Пространствах и лабиринтах» (2008), в сборнике «К развалинам Чевенгура» (2013), в почти мирообъемлющей «Каспийской книге» (2015) — могут показаться отошедшими на второй план. (Справедливости ради надо сказать, что некоторые из вошедших в книгу текстов — повести «Танк» и «Время чаепития», рассказы «Последнее слово» — под названием «Ежков», «Ствол, подпирающий небо» — уже издавались «Вагриусом» в сборнике, носящем имя одного из них — «Время чаепития», но было это давно, в 2004 году.) «Путевая проза», растущая на границах жанров, вбирающая в себя признаки и художественной, и документальной, и все их подчиняющая своим целям. Каким же? Конечно, исследовательским.

Главная-то установка у него, упорно — и не без оснований — думалось, именно исследовательская. Особенного, конечно, свойства: художественно-исследовательская, — но тем не менее. И если она и эстетическая, то в существенно расширенном смысле — разумеющем эстетику как рефлексии о чувственном восприятии вообще. Такой рефлексии у Голованова — которого знают сейчас главным образом как писателя-путешественника, осмысляющего взаимодействие человека и пространств на основе собственного опыта — действительно много. То, что он делает на протяжении многих лет, культивируя самого себя как чувствующее орудие такого исследования, безусловно, своего рода эстетическая (и, разумеется, экзистенциальная) практика. Но основная цель всего этого предприятия, думалось, — все-таки познание: того, как устроен человек. Мне и самой уже случилось как-то назвать его философом-практиком. Собирателем пространств, человек, мыслящий пространствами, для самого события мысли нуждающийся в их размахе — и создатель больших синтезов своего пространственного опыта.

Так вот, сборник «На берегу неба» позволяет увидеть — сначала подумалось, противоположный полюс такой практики, но стоило всмотреться, стало ясно: ее глубокий корень. Он представляет нам Голованова-лирика, а лирик он тончайший, чувствующий, как растут травы, слышащий, как идет время. По поводу «Каспийской книги» меня угораздило в свое время сказать, что на уровне работы со словом как таковым у него не происходит ничего особенного, не этим, дескать, автор озабочен. Теперь я беру свои слова назад: со словом здесь идет нежнейше-тонкая работа, с вниманием к каждому звуку.

«Дул ветер с воды, я уселся под кустом акации, некоторое время ловил кожей свет, тепло солнца, потом, помимо стрекота кузнечиков, услышал вокруг сухой треск и такое же сухое сыпание — это было похоже на работу какого-то сложного часового механизма природы. Треск — и сухой шорох осыпающихся застывших крупинки времени; снова треск — и снова сыплются семена времени, а иногда даже несколько сухих, лопающихся звуков одновременно и, соответственно, гуще и плотнее шорох

падений... Оказалось, это лопаются стручки акаций, когда-то, во времена ГУЛАГа, высаженных здесь, на берегу водохранилища, возле конторы какого-нибудь лагпункта. <...> Стручки были небольшие, красно-коричневые, уже скрученные жаром лета; и вот — в этот день было жарко, сухо, налетал ветер с чистой желтоватой воды, разгоняясь и пробуя силу на просторе. Мне повезло, я, значит, попал *в тот час лета, когда лопаются стручки*, и он, как все в природе, короток и прекрасен, этот час, когда в звуковую палитру мира добавляется тихое, сухое потрескивание и такое же тихое рассыпание».

Такой живой, дышащей ткани бытия, «тихого шороха времени» у него очень много — в каждом из вошедших сюда текстов, о чем бы ни шла речь.

Стоит признать, что в качестве лирика Голованов часто оказывается сильнее, глубже и точнее, чем в качестве выстраивателя сюжетов. Сюжет ему дается не всегда — иной раз рвется, ломается, выглядит надуманным и вообще служащим, скорее, поводом к тому, чтобы выговорить переполняющую автора, самооценную жизнь. Так ломается в нескольких точках, притом даже интонационно, сюжет повести «Танк» — с несколькими вполне самодостаточными тематическими линиями (их тут по меньшей мере три) и, отдельно, — с очень интересно задуманным, но скудно осуществленным внутренним сюжетом: историей немецкого танка 1941 года, застрявшего во времени в подмосковных лесах. Она, кажется, избыточна в этом вообще-то переполненном смыслами повествовании, не очень работает на его задачи, разве что структурно образуя его сквозную несущую конструкцию, но сама по себе полна возможностей, которые остаются практически не использованными. Застывшие во времени немцы изъясняются штампами из представлений о том, как и о чем должны говорить немцы в России. «— Никакая это не бронетехника, — возразил механик с опрехшей головой. — Это люди из лесничества крадут лес и торгуют им направо и налево. Воровство всегда было бичом этой страны... Я знаю это еще из описаний академиков Екатерины Великой...

— Если это воришки, то их надо проучить, — сказал командир. — Я не люблю воровства. Я люблю Ordnung». Ну конечно, если немцы, то непременно морализаторы, законники и любят Ordnung, и в этом вечном для них лесу им больше нечего делать, кроме как демонстрировать свою типичность. Если главный герой, как утверждает с самого начала, сам выдумал этот танк с его экипажем, то мог бы, право, выдумать его и не так карикатурно, тем более, что он — явно человек сложный и тонкий и видящий людей с подробной чуткостью. (В этой чуткости видения герой «Танка» — несомненное альтер эго автора, который вообще видит людей чрезвычайно ясно и детально — в этом смысле эта его проза вполне достойна названия психологической — и умеет виртуозно выстраивать ситуативные взаимодействия своих персонажей. Хороший пример — повесть «Нерест», жесткая, даже, пожалуй, жестокая и очень честная, все герои которой прожиты изнутри. В ней, кстати, Голованов буквально расправляется с собственным глубинным, коренным мифом «подлинности», «настоящего». Вообще-то он человек без иллюзий.)

Так пропадает в никуда намеченная была тема «убийц», ясно увиденных в метро осенью 1999-го героем рассказа «Эти квартиры»: «В метро я сразу увидел убийц. Их было трое. Чтобы понять, что они убийцы, потребовались доли секунды. Подошел поезд. Одни люди вышли из вагона, другие стали входить. Те трое, по-прежнему стоя у открытых дверей, негромко обменялись словами на грубом, непонятном языке. Я шагнул в вагон и, обернувшись, прямо поглядел на них. У одного в руке был белый полиэтиленовый пакет. Если он бросит пакет в вагон, я выбью ногой стекло и выброшу взрывное устройство обратно».

История вышла совсем не о том и даже, по существу, никак не привязанная к «осени террора», и иницилирующие повествование «убийцы», кажется, возникают здесь только затем, чтобы зацепить читательское внимание (да, это им удастся) — да разве что обозначить высокую внутреннюю тревожность и напряженность героя (это им тоже удастся прекрасно).

Из рассказов же лучше всего выходят у него те, в которых сюжетная линия очень коротка — не линия даже, а если не точка, то сюжетное пятно с широкими размытыми краями, захватывающими внесюжетные пространства, — одно небольшое движение, собирающее в себя сразу цельный — большой, но один — кусок жизни (таков, например, «Шиповник»), или те, что бессюжетны вовсе, точнее — с сюжетом внутренним, когда внешне не происходит почти ничего, а внутренне — проходит целая жизнь или огромные ее пласты (как в рассказе «Бульвар», где все внешнее событие только в том, что герой идет по Звездному бульвару, на котором вырос, поздравить с 16-летием свою старшую дочь, а событие внутреннее — вся биография не только этого человека, но всего здешнего пространства, включающая и те времена, когда героя уже не будет в живых). Самое сильное, самое завораживающее у Голованова — по моему, конечно, субъективному чувству — это громадные пространства созерцания, разворачивающиеся всякий раз из какой-нибудь одной, по существу, произвольно взятой точки, и постоянно слышимый, не заглушаемый никакими событиями «тихий шорох времени».

Евгения Доброва

Книга с потерянным смыслом

Редактор Игорь Воеводин рискнул издать экспериментальный, «артхаусный», по его определению, роман в коммерческом издательстве «Эксмо» — и теперь называет его литературным событием года и сравнивает с выходом «Лолиты». Уникальный, авангардный, протестный — такие определения звучат в адрес первого прозаического текста поэта Инги Кузнецовой. Внимания он привлек немало — всегда интересно, когда известный автор открывается с новой стороны.

Пэчворк — техника лоскутного шитья. В этом и заключается смысл названия книги. Она написана в технике «фрагментарное письмо» и состоит из часто не связанных между собой подглавок разной величины — от строчки до нескольких страниц. О чем они? О метании разума и чувств. О раздвоении сознания. О потере ориентиров. Об интеллигентном филологическом безумии с его бредовыми снами и вытекающей сквозь пальцы явью.

Действие романа происходит в России (упоминаются «хрущевки») в наше время. Безымянной главной героине «приблизительно двенадцать тысяч дней» (33 года). Она живет в маленьком городке, где подрабатывает репетитором — занимается с аутичным мальчиком Васей и школьницей Катей. Сообщается о филологической идентификации героини (она говорит, что не хочет больше работать редактором фальшивых текстов). У нее есть две субличности: «я-1» и «я-2». Первая — персона созерцания, вторая — персона действия. «Я-1» может думать обо

всем, но ничего не может предпринять. «Я-2», наоборот, действует не раздумывая. «Быть творцом своей судьбы — или персонажем своей судьбы», — скажет героиня в финале романа.

Она — мутант, ее кишки превратились в стекло, она не в состоянии принимать пищу, только пьет воду и сок. Как же она все-таки питается? Оказывается, героиня ест образы. Она — симболофаг. Чтобы перекусить, ей надо посмотреть на яркие открытки или глянцево-журналы в киоске «Союзпечати». Это для нее как бутерброды. Главное, не читать эту попу про Мальдивы.

«Пэчворк» — произведение с большой степенью не только аллегоричности, но и абстрактности. Абстрактны места действия, абстрактны персонажи, не заслужившие даже имен (кроме героев-детей).

Игра с не-даванием имени или обесцениванием его, эта филологическая аллегория не-важного, не достойного названия, придумана в литературе уже давно. «Как твое имя меня называют Веткой я Ветка акации я Ветка железной дороги я Вета беременная от ласковой птицы по имени Найтингейл я беременна будущим летом и крушением товарняка вот берите меня берите я все равно отцветаю это совсем недорого я на станции стою не больше рубля я продаюсь по билетам а хотите езжайте так бесплатно ревизора не будет». Это не «Пэчворк», это Саша Соколов, «Школа для дураков», интонации которой мы то и дело слышим у Инги Кузнецовой. «Я забочусь только о комфорте перелетных птиц, — сообщает ее героиня про себя, — о сытости своих недоброжелателей, о достаточных часах отдыха своих псевдона начальников,

о достаточных степенях сдвига своих собеседников, достаточной смелости весенних почек, вообще об их готовности к "ложной весне", которая случается и летом, и осенью, и зимой».

К такому ирреалистическому персонажу не возникает читательского «присоединения» (за что борются 90% прозаиков) — в отличие, скажем, от героини другого нашумевшего «шизофренического» романа этого сезона, «F20» Анны Козловой¹, — там с эмпатией все как надо.

Событийный ряд «Пэчворка» намеренно скудный. На весь роман — полтора десятка сцен с действием. Героиня проводит развивающее занятие с аутичным мальчиком Васей в кафе. Старик в парке демонстрирует героине дохлого крота, достав его из рюкзака (а что еще должен демонстрировать старик молодой женщине в таком эстетском произведении?). Героиня отговаривает ученицу от самоубийства. Едет в автобусе из своего городка в мегаполис. Примеряет вещи в секонд-хенде. Встречается со своим знакомым по имени Д., идет с ним в клуб, «злачное место», чтобы увидеть своего бывшего мужчину Неандертальца — она все еще любит его. Видит. Тот произносит на публику речь на тему взаимоотношения государства и общества. Получив эсэмэс, героиня узнает, что лишилась клиентки (мама спасенной от суицида девочки не хочет продолжать их занятия), режет ножом палец, ее останавливает Д. К разговору о государстве подключаются другие парни. Затем сама героиня, выпив для смелости вина, произносит манифест о тирании. В клубе начинается облава. Героиня убегает с Д., он привозит ее к себе домой, окружает заботой, они вместе засыпают. Героиня проводит сутки у Д., узнает, что Неандерталец уехал из страны, потом раздается звонок от аутичного мальчика, он просит приехать. Героиня срывается и мчится к несчастному ребенку. Зная, что больше не вернется к заботливому Д. Конец.

Все остальное (а в романе двести страниц) — размышления, сны, «стада воспоминаний», поток то ясного, то спутанного сознания, «смерч абсурдности», «битва с символами». Упрятанные в слоеные пироги гипертекста,

соединенные «метафорическими дугами», пересыпанные скрытыми цитатами и каламбурами. Например: «Придется довольствоваться лубочным зрелищем типа "Как внутренние авторы внутреннего редактора хоронили"». И далее: «Когда этот редактор умрет, из меня вылетит бабочка, на которую кто-нибудь наступит».

Несмотря на то, что автор декларирует главную тему как исследование феномена насилия, здесь мы видим скорее идею *желанного страдания*. Какое же это насилие — героиня сама на автобусе едет за тридевять земель к своему «садисту» (то есть возлюбленному). Да, в двух-трех эпизодах есть намеки на пережитое сексуальное принуждение. Но не более. Если уж формулировать тему романа непременно со словом «насилие», это, скорее, о тоске по насилию. «За свое самоуничтожение ты отвечаешь сама». А про насилие — читайте у Алексиевич.

Проблема героини связана вовсе не с насилием. Вот мысли-маркеры ее состояния:

«Я не вижу принципиальной разницы между быть/не быть».

«Я прекрасно осознаю, что не проживу слишком долго».

«Это ведь слишком нагло — быть. В общем-то, безвкусная претензия. Мне всегда было немного стыдно».

О чем эти фразы? О потере смысла жизни? О стыде бытия? Героиня чувствует себя немного виноватой — ну, по крайней мере неловко — из-за того, что *она есть*. Она никогда не знает, куда себя девать и как жить, в голове у нее «древесина абсурда, его годовые кольца», в лучшем случае каша у нее в голове, пусть на обалденно красивой тарелочке, — в тексте это трансформируется в элегантный поток сознания: «снильмы» и т.д. По сути, перед нами экзистенциальный роман. Со всеми его проклятыми вопросами.

«Как все-таки прясть эту жуть, эту жизнь?»

«Для чего эти раны, в которые хлещет мир?»

«Все дело в том, что у меня не выходит быть человеком. Просто и вполне человеком».

Что делать со своей нелепой бесхребетной жизнью? С неприкаянной собой, снедаемой внутренними противоречиями? Разве что

¹ Анна Козлова. F20: Кинороман. — «ДН», 2016, № 10.

застрелиться. Из водного пистолета. Перелицуем, как обычно, трагедию на фарс.

Инга Кузнецова часто делает текст нарочито бессмысленным. Смысл происходящего ускользает от ее героини, так же как от безумного героя «Школы для дураков». Этих персонажей мы запросто можем встретить в приемной одного психиатра.

Смысл ускользает — остается красота (или некрасота) внешней оболочки. Во всяком случае, ее забавность. Внешнее понятнее внутреннего. Доступнее. На его созерцание и обдумывание тратится больше внимания. Поэтому мы видим всю линейку художественных приемов, с помощью которых это удобно отстроить.

Оригинальные эпитеты («рассохшийся стул с лордозными ножками»), *метафоры* («абелярство нежности»), *сравнения* («неподвижный язык лежит во рту, как уж, раздавленный на дороге»; «лифт пахнет именно так, как должна пахнуть фраза "прощай, молодость", отнятая у войлочных бот»). В книге много необычных и красивых образов, связанных с предметами. Многие абзацы напоминают стихотворения в прозе Франсиса Понжа, воспевающего неочевидную поэзию вещей:

«Но, сложенная по пакетам, укрошенная, одежда мгновенно превратилась во фронт отчуждения. Я в ней запутывалась. Цветные колготки слипались с шарфами. Таблетки прощупывались как бусы, и наоборот. Зачем все они? Я уходила, чтобы болтаться, сжавшись, внутри этого "дома моделей", как ссохшийся жук внутри своего хитина. Переноса проглоченный эмбрион себя же. Эмбрион, на время проглотивший язык».

Игра слов. «Снильм». «Любитва». «Все у нас моментально, даже когда кому-то кажется, что, напротив, монументально». «Небо занялось огнями, ему есть чем заняться». «Я — это тень события. Оно отбрасывает меня». «Неужели «надежда» имеет в виду именно

"надо ждать"? Русский — жесток». «Я... человек с неограниченными невозможностями».

Тут же — обыгрывание симптоматического для шизофреников непонимания переносных значений слов. Про голоса: «осенью их нужно отдавать, но почему-то можно только по одному».

Афористичность. «Растения не танцуют и не бегут, почти все они не ловят, но интенсивно впитывают — и это дает им раннюю зрелость, в отличие от нас». «Опыт невесомости не помогает космонавтам адаптироваться к последующей жизни на Земле». «Оливье — символ сытой устойчивости». Вообще, текст очень остроумный, можно растаскивать на цитаты.

Софистика, ложные истины. «Все убедительное недолговечно».

В этом полном стилистических и смысловых изысков романе можно найти все признаки *антиромана* — жанра, связанного с именами Роб-Грийе и Натали Саррот, с его отказом от характеристик романа классического типа, таких как внятность изложения; развернутый сюжет с четкими коллизиями и вообще жесткой причинной связью; продуманная система персонажей, стремящихся к своим целям и их достигающих либо не достигающих. Ничего из этого в «Пэчворке» мы не увидим. Как и положено антироману, он культивирует бессознательное — здесь льются потоки сознания и нарастают годовые кольца абсурда.

И — это очень филологический роман: положим в писательский тигель «Школу для дураков», «Замок» Кафки, экспериментальную прозу Натали Саррот, хорошенько встряхнем, добавим словесные кружева Бруно Шульца, шепотку абсурдизма Хармса, подсыпьем безуминку Достоевского — и разольем по бокалам причудливый и нервный текст, похожий на «рассыпавшееся письмо в толстостенной бутылке, которое выловят и попытаются прочесть глубоководные рыбы, но ничего не поймут в знаках, напоминающих им рыболовные крючки».

Елена Сафронова

Человек с горящей головнёй

Новая, одиннадцатая книга Александра Кабанова вышла в харьковском издательстве «Фолио». Это же издательство выпускало другие книги Кабанова: «Весь» в 2008 году, «Нарру бездна to you» в 2011 году, «Волхвы в планетарии» в 2014 году.

Как гласит аннотация, сегодняшний сборник составили стихи, написанные поэтом в 2014—2017 годах, а также избранные тексты из книги «Волхвы в планетарии».

Название новинки на первый взгляд выглядит демаршем. Или политическим высказыванием. «На языке врага: стихи о войне и мире» — куда, казалось бы, яснее и страшнее?..

Тезисы о вражеской речи, о войне и противостоянии находят объяснение во втором же стихотворении в книге, включенном в блок с совсем уже газетным заголовком «Выход из котла» (Дебальцевского или адского, читателю предложено решить самостоятельно):

Снилось мне, что я умру,
умер я и мне приснилось:
кто-то плачет на ветру,
чьё-то сердце притомилось.
Кто-то спутал берега,
как прогнившие мотузки:
изучай язык врага —
научись молчать по-русски.
(...)
Иловайская дуга,
память с видом на руину:
жил — на языке врага,
умирал — за Украину.

Однако прежде чем открыть собственно стихи, внимательный читатель не сможет миновать эпиграф — а он стоит прямо под

«Выходом из котла»: «Язык не виноват. Всегда виноваты люди».

Аннотация называет эти слова ключевым смыслообразующим тезисом новой книги поэта.

Эпиграф предупреждает: нельзя читать стихи Кабанова так же «прямо», как читают передовицу либо интернет-известия. Поэзию не воспринимают одномерно. Впрочем, как и язык. Он, действительно, не виноват, что одни и те же буквы используются для написания пропагандистских воззваний, сводок боевых действий, признаний в любви и стихов.

Структура книги непроста: в ней два объемных раздела, включающих еще по одному циклу стихов. Итого четыре блока; всем им даны названия. Первый раздел «Выход из котла» содержит несколько десятков стихотворений «Из цикла "Русско-украинская война"». Второй, «Стихи разных лет», вмещает обширную подборку «Из цикла "Приборы бытия"». Иными словами, сборник условно поделен на «войну» и «мир». От души отлегло: мира количественно больше.

Первая часть книги, осененная горячим, болевым названием и знаковым эпиграфом, рассказывает, как люди провинились перед языком (да и друг перед другом).

Вдоль насыпи — тепло и сухо,
вдыхая воздух, как пластид, —
ползёт отрезанное ухо,
дырявой мочкою свистит.
Ползёт сквозь шишел через мышел,
видать — на исповедь, к врачу:
нет, это — нас Луганск услышал,
нет, это — нас Донецк почув.

Война предпочитает гречку,
набор изделий макаронных:
как сытые собаки в течку —
слипаются глаза влюблённых.

(...)
 хозяин дома — бывший плотник,
 Господь похож на чёрный ящик,
 а мир — подбитый беспилотник.
 Нас кто-то отловил и запер,
 прошла мечта, осталась мрія,
 и этот плотник нынче — снайпер,
 и с ним жена его — Мария.

...Там опять говорит и показывает Христос:
 о любви и мире, всеобщей любви и мире,
 как привел к терриконам заблудших овец и коз,
 как, вначале, враги — мочили его в сортире,
 а затем, глупцы — распяли в прямом эфире,
 и теперь, по скайпу, ты можешь задать вопрос.

Современные стихи Кабанова — горькие
 хроники существования человека, мир
 которого рухнул, жизнь дала трещину, а
 привычные идеалы, так называемые вечные
 ценности, девальвировались на глазах. Единствен-
 ная «вечная ценность», если допустимо
 такое толкование, от которой человечество не
 отказывается, увы, никогда, — это война:

Мы — одни, и мы — запрещены,
 смазанные кровью и виной,
 все мы вышли — из одной войны,
 и уйдём с последнею войною.

Это — пост в фейсбуке, а это блокпост —
 на востоке,
 наши потери: пять забаненных, шесть
 «двухсотых»...

(...)
 Да пребудут благословенны: её маечка
 от лакосты,
 скоростной вай-фай, ваши лайки и перепосты,
 ведь герои не умирают, не умирают герои,
 это — первый блокпост у стен осаждённой
 Трои.

В трагическом видении Кабанова «блокпост
 на востоке» становится блокпостом Троянской
 войны. А ведь война — не единственное, чем
 люди уничтожают друг друга. Они придумали
 и голод («Хлеб наш насущный даждь нам
 днесь, / Господи, постоянно хочется есть, /
 хорошо, что прячешься, и поэтому
 невредим...»), и концлагеря (им посвящено
 стихотворение «№10101968», недлинное,
 трехчастное, концентрированная поэма), и
 прочие «апокалипсические забавы»
 (определение из стихотворения «Бэтмен
 Сагайдачный»).

Трагическое мироощущение — не сиюми-
 нутное, навеянное «своеобразием текущего

момента» впечатление поэта. Восемь лет назад
 были написаны строки:

От того и паршиво, что вокруг нажива,
 лишь в деревне — тишь да самогон в бокале,
 иногда меня окликают точильщик Шива
 и его жена — смертоносная Кали...

Стихотворение с участием Шивы и Кали —
 индуистских божеств, означающих
 разрушительное начало мира, — озаглавлено
 «Острое». «Острота» мира для Кабанова состоит
 в том, что он в любой момент может смениться
 бойней, а человек в нем обречен «если что и
 вынести, то вслепую /— эту речь несвязную,
 боль тупую». Повторюсь, так автор писал в
 благополучном, глядя из дня нынешнего,
 2009 году.

Но это не первый случай, когда стихотворец,
 рожденный в Херсоне, живущий в Киеве,
 считающийся, по утверждению «Википедии»,
 «украинским русскоязычным поэтом», как
 говорится, накаркал. В интервью, данном
 весной 2016 года Кабановым 112-му
 украинскому телеканалу, поэт отвечает
 журналистке на вопрос, чем был для него
 предшествующий период: «Годы были —
 ожиданием катастроф. Как раз начал писаться
 в 2011—2012 гг. цикл стихов «Русско-
 украинская война» (!). На резонный вопрос
 телеведущей о предчувствии Кабанов
 формулирует: «Когда долго занимаешься чем-
 то, то это не пророчество, а ощущение беды,
 которая надвигается. Эту беду можно каким-
 то образом выговорить и замолить (вдруг все
 будет нормально?)...» Но удастся ли поэту
 замолить беду? Не признается ли он в
 собственном бессилии, написав в отчаянии:

...я понимал, что люди — спасены,
 но кто тебе сказал, что их простили?

В процитированном интервью ведущая
 прощается с аудиторией словами: «Сегодня
 мы были с Сашей Кабановым, человеком,
 который пишет прекрасные стихи». Это самая
 справедливая и, пожалуй, единственно
 возможная характеристика нашего героя,
 абстрагированная от политики во имя искусства
 и данная в настоящем протяженном времени.
 Он не оставляет поэзии, несмотря ни на какие
 внешние бесчеловечные обстоятельства.

Значит, не оставляет и попыток добиться для людей спасения и прощения.

Потому, вероятно, цикл со «скандальным» названием поразительно разнороден по тематике. То он поворачивается к читателю реалиями беспокойной поры — Ангелой (Меркель, разумеется), Обамой, полковником АНБ, пограничниками-первопроходцами, запахом раскаленного металла в ночном воздухе, противоголоном, бластером, блиндажом. А то — интонациями раздумчиво-удрученными, если не скорбными:

Степь горит, ночной огонь кудрявится,
дождь, вслепую, зашивает рот,
кто-то обязательно появится:
Нобеля получит и умрёт.
Вспыхнет над славянами и готтами
древняя сверхновая звезда,
жизнь полна любовью и пустотами,
и бесплатной смертью навсегда.
(...)
Холодок мерцающего лезвия,
степь горит, незнамо отчего,
русский бог, как русская поэзия:
вот он — есть, а вот и нет — его.

Если и воспринимать книгу «На языке врага» как демарш, то не одной воюющей стороны против другой, а музыки, умоляющей пушки замолчать. В этом, по моему убеждению, и состоит гуманистический пафос выхода сегодня в украинском издательстве толстенной (почти 300 страниц!) книги Кабанова на русском — языке не врага, а Пушкина (он активно присутствует на страницах книги, порой в контексте саркастическом, но автор неизменно демонстрирует ему уважение). Сборник — не что иное, как многолистное заклинание.

Во второй раздел книги, бесхитростно окрещенный «Стихи разных лет», включены, кажется, все тексты Кабанова, вошедшие в литературный оборот в «нулевые» и «десятые». Некоторые из них уже правомерно называть хрестоматийными. Например, знаменитое «Отъезжающим», относящееся к началу «нулевых», к той поре, когда Александр Кабанов считался «сетевым» поэтом. На одном из фестивалей сетевой поэзии в Подмоскowie и состоялось наше знакомство с ним, и именно этот завораживающий речитатив начитывал мне автор на диктофон — приятно вспомнить!

Пусть охрипший трамвайчик на винт наматывает
судьбу,
Путь бутылочный мальчик сыграет «про ящик»
в трубу!
Победили: ни зло, ни добро, ни любовь,
ни стихи.
Просто — время пришло, и Господь —
отпускает грехи.
Чтоб и далее плыть, на особенный свет вдалеке,
В одиночестве стыть, но теперь налегке, налегке.
Ускользая в зарю, до зарезу не зная о чём
Я тебе говорю, для чего укрываю плащом?

В 2005 году — том же, когда я брала у Кабанова интервью со стихами — у него в Санкт-Петербурге вышла книга стихов «Крысолов» с послесловием Бахыта Кенжеева. Кенжеев уделил много внимания феномену «сетевого творчества», бывшему в те годы одним из жупелов для культурной среды: «Едва ли не самая горячая тема сегодняшних литературных дискуссий — сетевое творчество. ...Профессиональное творчество, которое тоже появляется в Сети, тонет в море претенциозной и самодовольной чуши. Впрочем, эта чушь обильно печатается и на бумаге...» Но начав за упокой, Кенжеев закончил победительно за здравие: «Тем отраднее всякий редкий раз, когда убеждаешься, что поэзия не умирает, что появляются новые замечательные имена — немногочисленные, как и полагается в нашем неторопливом Божьем мире. Одно из первых мест в этом ряду, несомненно, занимает Александр Кабанов». И предложил чеканное объяснение уникальности кабановской поэтики: «Его стихи энергичны. Современны. Благодарно опираются на наследие классиков. Смиранны и в то же время задиристы. И — на удивление пронзительны».

«Поэт идет от звука, покоряясь ему, доверяя стихии языка, и столкновение фоном рождает порой самые неожиданные смыслы и ассоциации. ...виртуозная звукопись Кабанова заставляет внимать ей с восхищением. Традиционная для лирика тема любви звучит у него чрезвычайно остро и тоже зачастую рискованно», — вторил Кенжееву Александр Житинский в отзыве на «Крысолова».

Может, и не было бы смысла вспоминать сейчас «дела давно минувших дней» — но все те оценки до сих пор актуальны. Выбранный Кабановым дискурс мало изменился, виртуозная звукопись осталась при нем: «Был

четверг от слова "четвертовать"», «оказалось: Дзержинский — прав и Бжезинский — прав», «Хан Гирей любил снегирей, окружённый тройным эскортом, / хан Гирей — гиревым занимался спортом».

Высший пилотаж — когда звукопись смыкается с опорой на классику:

Смотри, через плечо, на эти рельсы:
как пальмовое масло пролилось,
и Аннушку Каренину — карельцы
ведут к путям, промасленным насквозь.

Энергичность сменилась страстностью. А современность и пронзительность кабановской лирики в доказательствах не нуждается.

Не утратила своевременности еще одна оценка, данная Алексеем Ивантером в предисловии к большой публикации стихов Кабанова на сайте «Русский переплёт» ещё в 2003 году: «Александр Кабанов — поэт страстный и словосольный». Неологизм Ивантера относится, вероятно, к «соленым» словечкам в творчестве Кабанова. Они никуда не делись, а в стихах последних лет их, может быть, даже прибавилось, что объяснимо. Для Ивантера это — язык протеста, но с важной оговоркой: «...протест Кабанова — не гражданский и даже не личностный, а чисто-конкретно эстетический». И это справедливо: может ли муза, старающаяся заставить пушки себя услышать, прибегать к нежному лепету?..

Возможно, сохранение своего поэтического «я» — это следствие того, что в русскую поэзию Кабанов пришел взрослым человеком и состоявшимся автором, твердо знающим, что он хочет сказать — и как хочет сказать. А возможно, в выбранной поэтом конфронтации с пушками особое значение имеют аллюзии к классике, центоны и сознательное, резкое нарушение норм приличий — опять же, дабы заметили. Так он говорит почти тридцать лет, но слышат ли его?

Как запретные книги на площади
нас сжигают к исходу дня,
и приходят собаки и лошади,
чтоб погреться возле огня.
Нас листают костёр неистово,
пепел носится вороньём,
слово — это уже не истина,
это слабое эхо её.

(...)

Нас сжигают, как бесполезные
на сегодняшний день стихи,
но бессильны крюки железные,
не нащупавшие трухи.

(...)

Наши буковки в землю зяблую
сеет ветер, но это он —
расшатал, от безделья, яблоню,
под которой дремал Ньютон.
Ересь — это страницы чистые
вкровьиздатовских тонких книг,
сеет ветер — взойдет не истина,
а всего лишь правда, на миг.

Не правда ли, звучит «на злобу дня»?..
А сказано в 1991 году.

Ряд стихов в книге «На языке врага» автором датирован, другие намеренно оставлены вне хронологии. Но по стилистике, образности, поэтическим приемам, а тем паче по настроению читатель их датировать не сможет. Иронический взгляд на вещи, разумеется, маскирующий разрывающееся от горя сердце и готовые хлынуть слезы, присущ Кабанову издавна. Для поэта он — естественное состояние души, как ещё в 2007 году было сказано и повторено в новой книге:

Жил да был человек настоящий,
если хочешь, о нем напиши:
он бродил с головней горячей,
спотыкаясь в потёмках души.

(...)

Будет биться на счастье посуда,
и на полке дремать Геродот,
Даже родина будет, покуда —
Человек с головнёю бредёт.

Человек с горячей головней — не таков ли извечный, незыблемый поэтический символ и месседж Александра Кабанова?..

Данила Давыдов

Тонкая настройка слуха

Всегда необычайно важно увидеть в творчестве того или иного писателя свойства, на первый взгляд не предусмотренные общей рамкой его работы, задачами, за ней стоящими, наконец, что не менее важно, подразумеваемым контекстом. В полной мере это относится к прозе Владимира Владимировича Курносенко (1947—2012), чей том избранного «Совлечение бытия» достаточно представителен, хотя и не включает поздние тексты.

О вышеупомянутом «выламывании» Курносенко из пространства ожидания писал и Лев Аннинский на страницах «Дружбы народов» (2006, №10). Эта статья приведена и в нынешнем томе в качестве основы для послесловия: *«Я понимаю удивление Владимира Амлинского, лет двадцать тому назад опекавшего “по линии Союза” тогдашних молодых прозаиков: к нему на семинар пришел молодой прозаик, только что закончивший клиническую ординатуру в Челябинском мединституте; от него ждали “рассказов о врачах” (ну, еще — о ближних и дальних родичах, украинцах, ставших сибиряками, — о них тоже увлеченно рассказывал Курносенко в “цементные годы” и позже)»*.

А он что предъявил? “Римлянина”? А мог бы еще и “Эфиопку”, “Гретхен”, “Матео из Армении”, “Любовь Бахадыра”. Есть и покруче. “Евпатий” — роман из эпохи монгольского феодализма и славянской борьбы за независимость». Иными словами, неся на «внешнем» облике ожидаемые черты просвещенного почвенничества, Курносенко обращался ко всей мировой культуре, ощущал историю как повод для осмысления — в первую очередь, антропологического.

Мы не случайно вспомнили об антропологическом характере творчества

Курносенко. Врачебная профессия и христианское исповедание, конечно же, в значительной степени определяют внимание писателя к самой природе человеческого. Но, конечно, это еще и свойство творческой установки и личного мировоззрения, никак не сводимых к профессиональным или конфессиональным этикеткам. Любовь, творчество, религиозный поиск, быт и так далее — определять через эти тривиальные тематические блоки работу писателя также не хочется, поскольку основой ее предстает наиглубиннейшая рефлексия, постоянное нахождение в зоне «проклятых вопросов».

Конечно же, в этом смысле это — проза, и она очень естественно смотрится в системе ортодоксально понятой отечественной словесности, даже каким-то образом приводит ее к логическому — не завершению, нет — но некоему перевалу. Фабула текстов Курносенко подчас пересказываема как раз через некие общие тематические блоки, основу же сюжета составляют многочисленные диалоги, композиционные ретардации, сцены мучительного самоопределения героев. Наконец многие страницы произведений Курносенко прямо переходят из нарратива в эссеистику (вот в романе «И друг, и враг, и пир», к примеру: *«Когда заканчивается, изжигается чья-то жизнь, это, наверно, немного похоже на комнату, из которой вынесли мебель. Все недоступные веннику, пылесосу и тряпке уголки-закуточки обнажаются и теряют былую таинственность. С вещами из комнаты точно уходит душа, а со страстями, чувствуется большинством, из жизни словно бы уходит жизнь...»*). Подчас такой эссеистический настрой занимает повествователя куда больше, нежели классическое изложение событий в духе «Иван Петрович родился, жил и умер» (кстати, подобное линейное прозаическое письмо с очевидностью вызывает у Курносенко протест, и он умеет превратить самую тривиальную историю

Владимир Курносенко. Совлечение бытия. Избранное / Послесл. Л.Аннинского. — М.: Время, 2017. — 800 с. — (Серия «Самое время!»).

в запутаннейший сюжетно-повествовательный клубок (неслучайно в этом смысле авторское жанровое обозначение «фуга», прямо переносящее сложные законы музыкального высказывания на литературные). Конечно, вершинный в этом смысле роман «И друг, и враг, и пир», в котором классический прием текста в тексте усложняется частичной реконструкцией, интерпретацией, редактурой «внутреннего» текста, но и текст «внешний» оказывается напластованием многих временных и зрительных уровней. Здесь нет игры, поскольку именно через эту многомерность взгляда автору удается продемонстрировать эволюции и трансформации, происходящие с героями-повествователями «внутреннего» и «внешнего» текстов. Впрочем, подобная многомерность присутствует и в романе «Совлечение бытия», и в повести «Сентябрь».

Перед нами, вероятно, и онтологическая, и антропологическая позиция одновременно, демонстрация механизмов нелинейности бытия — и как такового, и сконцентрированного в личной судьбе, а в конечном счете приводящая к многомерности личностных историй, к тому самому скрещению судеб, которое так важно для литературной традиции, но которое может проявляться не только в нарочитости поэтики совпадений (как это, например, неоднократно отмечалось по отношению к сюжету «Доктора Живаго»), но и так, как делал Курносенко, демонстрируя скорее не-встречи, ситуации непонимания, коммуникативного коллапса, а следовательно, и антропологической катастрофы или, чтобы снизить пафос, драмы: *«Старушки что-то там еще говорили громко, а он стоял уже в каменной яме (Аким жил в полуподвале, в ведомственной дворницкой квартире) и трогал пальцем облупленную коричневую дверь. Десять лет назад вот здесь же, у этих дверей, он стоял, и песок... песок скрипел под его ботинками; он простоял тогда час или, может, десять минут, переминаясь, как лошадь в стойле, а в груди, тяжело раскаляясь, грелся тогда у него кирпич. А он стоял и не уходил. А потом всё-таки ушел. Хотя ничего не изменилось, только кирпич провалился ниже, в живот. А про себя он так и не понял, зачем приходил. Убивать?»* («Сентябрь»).

При этом писатель отнюдь не приводит ситуативный ряд повествования к абсурду или бихевиоризму, он остается в рамках конвенционального миметического письма,

но письмо это, повторим сказанное выше, все равно немного странно по отношению к системе ожиданий среднестатистического читателя. Возможно, дело в некоем не вполне проговоренном сомнамбулизме, в котором пребывают многие персонажи Курносенко, совершая действия, обдумывая совершенное, просто думая как будто в полусне или на грани засыпания: *«Шел, возвращаясь неизвестно с кем и неизвестно куда. Знакомо светился на середине пути раздвоенный ствол плачущей березы на фоне потемневшего неба; изогнутые, женственные, колеблемые воздушными потоками ее веточки...»* («Совлечение бытия»). В этом есть даже некоторая импрессионистическая нотка, ненарочитая, но безусловно улавливаемая и введенная более чем сознательно: жесткость обыденности демонстрируется смазанной, не вполне реальной, всего лишь оболочкой, ложным отображением истинного бытия (здесь можно увидеть и чеховские, и даже набоковские мотивы).

Одновременно с углубленностью в эссеистический модус повествования, которая переходит порой чуть ли не в этико-религиозный трактат, насыщенный цитатами, порой крайне неожиданными, заставляет вспомнить не только о русской классической традиции, но и некоторых важнейших движениях западной литературы, в первую очередь об экзистенциализме. Курносенко не боится говорить напрямую, давать оценки, но он замечательно умеет уходить в кажущуюся безоценочность, безэмоциональное будто бы письмо (блестящий пример — рассказ «Микроба»: *«Он уступил. Так, из экономии сил, чтобы просто не спорить с ней. И они очутились в подъезде, в узеньком и игрушечно-несерьезном, как и вся эта новая, по ощущению мужчины, скороспелая, скомканная и не сознающая себя жизнь, и его Старшая, кто бы мог подумать, оказалась дома — в лагере труда и отдыха осуществлялась как раз пересмена»*).

Именно это совмещение «голового» и рефлексивного письма создает неповторимый контрапункт, позволяющий называть прозу Курносенко антропологически ориентированной. Проблема человека становится для писателя центральной, и здесь не стоит вспоминать о том, что человек всегда пишет о человеке и только о человеке: это так, но вопрос — как, зачем и с какой установкой он пишет. Курносенко исследует само наличие

человека в этом мире, и все неожиданные свойства его прозы складываются тут воедино. Никак не получится свести взгляд писателя к исключительно религиозному, хотя основания для этого вроде бы и есть. Но сам пафос вопрошания о месте человека в мире, о возможности понимания другого находится во взаимодействии не только с евангельским текстом, но и с весьма неортодоксальной философией, не только с авторами классической литературы, но и с ведущими модернистами. Неслучайно подтверждение антропологической установки Курносенко в одном из его эссеистических отступлений (в романе «Совлечение бытия») отсылает не к Писанию, а к загадочному постимперсониисту: *«Не знаю ничего более художественного, — писал*

брату Винсент Ван Гог, — чем любовь к человеку». Неслучайны и размышления героя (явственного альтер эго писателя) этого романа о таком писателе, как Андрей Платонов, который вообще-то должен быть одним из наиглавнейших предшественников Курносенко.

Странный эффект: то кажется, что писатель всю жизнь продолжал некую одну книгу, переходя с одного плана повествования на другой. Иногда же — что перед нами какой-то грандиозный космический спектакль, в котором даже самому второстепенному персонажу придан свой голос. Точнее, конечно же, этот голос услышан, а для этого было необходимо обладать очень тонкой настройкой слуха и подлинным интересом и сочувствием к тем голосам, которые оказались услышаны.

Александр Люсый

Что видит новый Гильгамеш?¹

Гильгамеш — один из самых первых, и сразу же с исчерпывающим зрением, герой мировой литературы. «Новый Гильгамеш» — новый киевский альманах, собирающий новое литературное зрение из перспективных видений, заключенных в старые и новых произведения авторов, рассеянных по всему миру, не только в Киеве, но и в Москве,

Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Чикаго, Берлине, Мюнхене, Париже, Тель-Авиве, Иерусалиме, Харькове, Донецке, Батуми, Мельбурне, Иркутске, Алма-Ате, Лас-Вегасе, Афинах, Вероне, Штутгарте, Хале, Франкентале, Якутске, Южно-Сахалинске, Коктебеле.

В самом начале возникает фигура Ирины Евсы в белом халате офтальмолога с указкой, упирающейся в классический диагностический алфавит.

Редко-редко дохнёт молодой, как Державин, освежающий душу борей. Справа — бухта мигает не бригом, так берегом с парашютом в ледовой коре.

Если вы это способны увидеть или хотя бы понять, можно и дальше двигаться посредством такого видения, как «автостопом», сквозь сезоны считывая пространства с присущими им знаками препинания и движения.

«Новый Гильгамеш». Литературно-художественный альманах. — Киев: Издательство «Каяла», 2017.

¹ *Гильгамеш* — аккадское имя; шумерский вариант, по-видимому, образован от формы «Бильга-мес», что, возможно, значит «Предок героя». Искатель приключений, храбрец, но фигура трагическая, символ человеческого тщеславия, неуёмной жажды как познания, так и известности, как славы, так и бессмертия. «Эпос о Гильгамеше», или поэма «О всё издавшем» — одно из старейших сохранившихся литературных произведений в мире.

играли в карты переводной всегда оставалось
 столько
 не корову же ты проигрываешь в самом деле
 надо уметь проигрывать

Да, античность отсюда достаточно близка,
 греческий, «троянский» и латинский языки
 зачерпываются, как элементы новой речи.
 Татьяна Ретивова так представляет поиск нового
 языка в стихотворении «К слову», предваряя
 его эпиграфом: «О войне ни слова»:

Слово брело
 Восвояси, туда
 Сюда, сомне si
 Сомне са. Оно
 Пропускало мат,
 Летало за
 Пределами
 Пятой строки,
 Домой. Между
 Царственно,
 Оповещая меня
 О каждом синапсе
 На горизонте. На
 Мекала без восторга на
 Пасквиль этих строк.
 Слово поражало
 Своей изворотливостью,
 Не признавая ни границ
 Ни гендерных маркеров,
 Оно понимало меня
 С полуслова. Иногда
 Слово не помещалось
 На титульном листе.
 Оно тогда затевало
 Игру слов на заднем
 Сидении воображения
 Моего.
 Все сотки моего пространства
 Сочтены корнями бузины...

При всем средоточии в Киеве разных
 смыслов язык не поворачивается назвать этот
 блуждающий город мегаполисом, черты
 которого проступают у Дмитрия Трубунного
 в образе Донецка: «Я жил тогда в Донецке
 пыльным...» Общий набросок мегаполиса
 метафорически точен.

Город.
 Геометрически точно рассчитанное безумие.
 Город.
 Кем-то придуманный во время бессонницы.

История, с точки зрения (как такового),
 исподволь вносит свои живописные нюансы:
 «Кому — бессонница. Кому — ночной дозор».

Поэт посредством города видит: «Между
 мирами трещина, зазор, И поздний ангел
 борется с прохожим».

Мёртвые к нам не приходят во сне,
 Не беспокоят зря.
 Все мы остались на этой войне
 Под розгами ноября.
 С той стороны продолжается жизнь,
 Вертится синий шар.
 Все мы сегодня здесь собрались,
 Чтобы держать удар.
 Благословляет на вечный пост
 Вечный двадцатый век.
 И на просторе, открытом всерьёз,
 Снова стоим за всех.

Мегаполис был «приспособленный под рай»,
 а стал адом, пройти через который, возможно,
 помогут ставшие вечными спутники: «Кто-то —
 Рильке или Рыжий // Проведёт меня сквозь
 ад». Чистилищем ведаёт «ангел участковый».

Когда бы знать, где выскочит душа,
 Своё существование обнаружит,
 Крылом осенним тихо прошуршав,
 Покой убогий навсегда нарушит.
 Тогда придёт былая простота,
 Жестокая, как небо над Белградом,
 Длиннее, чем кружение листа
 Над кладбищем ноябрьского сада.

Вечное возвращение перевернутой истории
 с новыми героями нашего времени и
 многоточиями между ними.

Ушёл из жизни человек,
 Расстался с миром.
 Поднимем кубок за побег,
 За дезертира,
 За предсказуемость конца.
 Но между прочим
 Всегда есть место у Творца
 Для многоточий.

Многоточий-осколков, как это видит
 Михаил Юдовский: «В витраже церковном не
 видя толка, я заранее свылся с судьбой осколка».
 А для Ганны Шевченко символом зрения
 остается шахтерский террикон.

Тёмен неба магический круг,
 ковылей непрогледен атлас,
 пламенеет от маминых рук
 террикона единственный глаз.

«Новый Гильгамеш» в своих зрительных
 фиксациях задействовал самые разные

пространственные уровни, направления, границы и безграничности, как это свойственно Светлане Михеевой:

Бурятская степь безотраднa.
И валенки мне велики.
Зачем начала, Ариадна,
Разматывать эти клубки?
.....
Что толку от праздничной нитки,
Когда возмущённый простор
Сквозь хилое тело калитки
Врывается прямо на двор.

Геннадий Кацов видит сны, посредством которых и возможна коммуникация — с ушедшим отцом и мирозданием как таковым, с привлечением особой сновидческой грамматики.

Он говорит: «Основное — порядок снов.
Здесь все молчат, и за столько прошедших
дней
Мы не сказали с соседом и пары слов.
Чем беспробудней здесь сон —
результат верней».
То есть, сон в радость ему, ну и в руку — мне.
Он говорит: «Надо только успеть в сюжет
Вставить конкретные месяц, и день, и час,
И перечислить в родительном падеже
Мне, как родителю тех, кто покинут — вас».

Андрей Коровин склонен скорее к построению внепространственных литературных вертикалей, к примеру, в виде слоеного пирога в своей «Жизни в искусстве»:

Моцарт идёт
прослойкой у Брамса
Бах у Бетховена
поэзия
торт Наполеон
у Пушкина внутри
обнаруживаешь Байрона
Горация Флавия
каких-то французов
искусство
слоёный пирог
любви
вдохновения
ужаса

Некоторое соответствие такому внутреннему пейзажу обнаруживается в анестезиологической повести Владимира Загребы «Леонардо да Винчи», в которой воображается застолье, блюда, приправы и напитки которого названы именами представителей современной

эмигрантской литературы: «Пиво "В.Батшев" — по-писательски безграничное, заграничное... тёмное, дрожжевое и пшеничное...». Масштабы обзрений профессионально соотносятся со степенями обезболивания: «Вам полную или местную?»

Александр Самарцев, по собственному признанию, оказался настолько шокирован открытием, что «Кукурузник» ЛИ-2 — на самом деле «Дуглас», что это таким образом *напылило* его зрительские замутнения:

И ты Москва кассирша ли сноха
посольская а в праздник ментовская
то Саския то крестница Мазая
Сейшелы середь вежливой Саха
турецкими фонтанами встречая
По этим брызгам буду напылён
как бы под монастырь слепая Ванга
Кремль локотком перепихнув с икон
на мрамор мутной зелени Сбербанка...

Историческое же «открытие» Арсена Баянова в повести «Доктор смерть и печенег», наполненной рассуждениями о подлинности и навязанности истории как таковой в процессе астральных превращений тела и души, не лезет ни в какие кочевые и империоведческие ворота. Мистический собеседник авторского героя, наряду с изложением «преданий» о том, что «авары» обладали даром «днем быть человеками, а ночью суть волками», а сам явно претендуя на роль продолжателя дела таких «аваров», в качестве реальной исторической линии повествует: «Потом, в 6 веке, авары, или жуань-жуани, или обры, создали Аварский Каганат на части территории современной Италии, именуемой Ломбардией, во главе которой стоял Каган Баян. Через несколько веков они вошли в состав Священной Римской Империи, которую образовал Карл Великий». Неверно, Карл! Священная Римская империя была основана в 962 году восточно-франкским королем Оттоном I Великим, рассматриваясь как продолжение античной Римской империи и франкской империи Карла Великого (742/747 или 748 — 814).

Проза «Нового Гильгамеша» в целом несколько уступает поэзии если не количественно, то качественно. Но в целом заявка на новое видение себя оправдала, будем ждать от альманаха дальнейшей всевидящей поступи.

Женя Декина

Магический кристалл легенды

В современном хаотическом мире с разрушенной системой ценностей и сбитыми ориентирами, когда литература все больше отдаляется от поиска смыслов к поиску эффектных формальных приемов, книга Александра Евсюкова «Контур легенды» выглядит противостоящей мейнстриму.

Профессиональная среда уже отреагировала на книгу, причем отреагировала остро и противоречиво. Так, прозаик и драматург Фарид Нагимов, написавший предисловие, отмечает большое внимание автора к вещным деталям, которые создают особенную реалистическую поэтику рассказов, делают их достоверными. И в это же время доктор филологических наук критик Сергей Казначеев в рецензии «В поисках пути, или Как прописать контур», опубликованной «Литературной газетой», отмечает, что повседневного существования персонажей в обыденной реальности рассказам явно не хватает, все строится на сюжете. И это он считает показателем того, что автор еще не сформировался и находится в процессе поиска литературного пути: *«Вспомним Толстого: его Наташа, Пьер, князь Андрей, Николай Ростов, Платон Каратаев, Стива Облонский, Константин Левин, Каренин, князь Нехлюдов, Катюша Маслова — обычные люди, такие, как все мы, но их образы западают в душу навечно. Вот этой простоте, основательности, несокрушимой правде обыденной жизни автору книги ещё предстоит научиться»*.

Однако мне видится, что это не так. И дело не в том, что все перечисленные Казначеевым — герои больших романов, а не рассказов, как в «Контуре легенды», так что более корректным выглядело бы сравнение с произведениями Чехова. И даже не в том, что Александр Евсюков — профессиональный писатель, который пишет всю свою жизнь, вопрос в особенном типе его поэтики. Повседневная обыденная жизнь, планомерно

текущая (которую сейчас и принято описывать в литературе), этому автору неинтересна. Он выбирает ключевые, переломные моменты и сосредотачивается именно на них, что точно подметила Анастасия Рогова в коротком отзыве в газете «Известия».

А выражается это не столько в отказе от формальных изысков в пользу сюжета, сколько в ином типе гуманизма, не свойственного современной российской литературе. Это особый тип мировоззрения автора, взрослого, психически здорового человека, подходящего к миру со своей системой ценностей, и не проверяющего свои взгляды на соответствие требованиям существующей реальности, а будто выправляющего искривленную реальность в соответствии с теми вполне естественными человеческими законами и истинами, по которым мир и должен существовать.

Герои Евсюкова — крепкие, правильные, цельные люди. Они из тех, кто принимает удар на себя, кто не позволяет плохому поступку или неверному действию распространиться дальше, искривляя собой всю реальность. Так главный герой рассказа «Сука» не может покончить с собой, потому что отвлекается на чужую боль. И хотя в рассказе эта ситуация выглядит довольно будничной и даже ироничной, но под этим скрывается мощный экзистенциальный подтекст — мир не даст тебе умереть, потому что ты и есть главный оплот и мера истинности этого мира. *«Он дышал-дышал-дышал, его лицо на ходу оживало. Шагнул к Зосе, подал руку и, едва уняв это свое новое дыхание, спросил: — Ну, сколько там твоя колбаса?..»*

Поступать правильно, брать на себя ответственность — больно. Но герои Евсюкова хорошо понимают, что кому-то все равно придется это сделать и не могут переложить ответственность на других. К примеру, в рассказе «День палача» главного героя Виктора просят убить собаку, с которой после смерти хозяина невозможно справиться, и он, человек по природе своей чувствительный и добро-

душный, соглашается, как бы тяжело ему это ни давалось.

— *Я за ребёнка боюсь. Ну и вообще — прохода нет...* — признался Тимофей.

— *Сам чего не сделаешь?*

— *С оружием не дружу. Пацаном ещё ствол в руках взорвался, палец пришивали потом... — и показал на стыке с ладонью что-то похожее на шов».*

Именно так и должен поступать настоящий мужчина. И эта органическая уверенность в том, что так и должно быть, находится даже у маленького мальчика Юлия из рассказа «После лета», который, наблюдая за природой, открывает для себя, что жалостью и сожалением ничего в грубом животном мире не разрешишь, дает отпор школьному обидчику и взрослеет:

«*Юлий ответил еще дважды. Потом физрук с кем-то из старших их разняли. Лёха, снова заикаясь, выкрикивал все угрозы, какие только знал.*

На голове и груди Юлия больно горели ссадины, но теперь он смотрел на площадку, на школу и улицу за воротами уже другим, уверенным взглядом».

Если ты поступаешь правильно, то оказываешься защищен от всего негативного, и с этой точки зрения особенный интерес вызывают мистические рассказы книги. Что интересно, при такой гуманистически реалистической концепции человека, мир в представлении автора нерационален, одухотворен. И даже животные имеют в себе подчас такую же нравственную глубину и силу, как и люди. К примеру, в рассказе «Персик» кот становится защитником дома, отгоняя чужаков, которым не в состоянии противостоять зажатые социальными требованиями люди.

В художественном мире Александра Евсюкова есть место Богу, который слышит человека и помогает ему найти опору, как в рассказе «Один», где послушник просит у Бога показать ему хотя бы одну звезду, и отчаявшись, находит не звезду на небе, а морскую звезду в проруби. Или в рассказе «Ведьма» (удостоенном в 2016 году российско-итальянской премии «Радуга»), где из-за проклятия чуть было не погибает муж героини, но она оказывается в состоянии его отмолить. Мистическое, потустороннее воздействие порой прорывается в реальность, но если герой чист помыслами и верен себе, то он оказывается в состоянии противостоять этому, а значит, по сути, — в состоянии изменить мир одной только силой веры и своей праведностью.

И даже если персонаж поступает неверно, совершает какой-то проступок, то он находит в себе силы исправить это. К примеру,

в рассказе «Поезд с юга» главный герой Павел становится жертвой шулеров и все им проигрывает. Один из шулеров предлагает вернуть имущество в обмен на трусики грубо отшившей его проводницы. Павел идет у него на поводу и соблазняет женщину. Однако то истинное и настоящее, что между ними возникло, уже не позволяет ему поступить корыстно. «*...Только сегодня. Один раз. Как провалилась. Она как-то яростно затушила сигарету об стол. Он почувствовал, как она с вызовом смотрит на него в темноте. Он прижался к ней и неожиданно встал в одно слово: — Прости...*» И защищая ее честь, он врет, что так и не переспал с ней. Это удивительный в своей глубине рассказ. Казалось бы, Павел изменил жене, оказался азартен и безрассуден, согласился на дурной поступок, однако в последний момент он находит в себе силы все же остаться человеком. Не для этих случайных попутчиков, а для себя самого, что гораздо важнее в системе авторских ценностей.

Герои Александра Евсюкова умеют брать на себя ответственность, признавать ошибки, меняться, как главный герой финального рассказа книги «Чёрный орел», тоже замечательного по своей глубине. Сначала перед нами инициация главного героя, которая показана через развенчание мифа о великом предке. Главный герой мнит себя частью Истории, потому как предок его — герой. Но вскоре выясняет, что тот был болтуном и пропойцей, и принимает удар на себя — соглашается выплатить колоссальные долги своего деда, чтобы закрыть этот позор всего рода. Но на этом автор не оставляет героя, он идет дальше и утверждает главенство мифа над реальностью. На обратном пути герой встречает одну из бывших возлюбленных деда и понимает: то, что было на самом деле, совершенно не важно — важен тот следволшебства, красоты и захватывающего приключения, который сумел оставить в мире его дед.

«*Потом у меня появился муж, родились дети. Мы хорошо жили, и я была порядочной женой. Но только Фаунтлерой всегда был моим героем. Потому что таким и должен быть настоящий мужчина. Романтиком. Тем, кто всегда находит самые нужные женщине слова. Даже если знает их всего четыре десятка. Именно его я всегда вспоминала в тяжелые минуты.*

И еще ту музыку, которую он играл нам тогда. До сих пор ее слышу».

В этой книге все правильно, все хорошо, и все так, как оно должно быть. Это островок ясности и гармонии в мире несправедливости, боли и страдания. Место, где можно отдохнуть, набраться сил и почувствовать, что ты не один.

Борис Кутенков

Своевременно и грустно

Одинокий памятник литературной жизни

Удивительно своевременная и удивительно грустная книга.

Своевременная — как подведение итогов нескольких этапов литературной жизни, о которых пишет Людмила Вязмитинова, выстраивая четкую хронологическую и поколенческую периодизацию: период 1986—87 гг./2001—02 гг. с кульминацией в 1996 г., но если брать более широко, говоря о большом периоде глобальных перемен, то можно выделить три периода — 1986—87 гг./1996 г., 1996—97 гг./2006 г. и 2006—07 гг./2016 г. Что касается 1996, 2006 и 2016 гг., то это, условно говоря, годы кульминации десятилетий, когда завершается начатое в середине предыдущего десятилетия. На середину десятилетия приходится упрочение в литературе поколения, заявившего о себе в предыдущее десятилетие, и выход на сцену нового, победа которого придется на середину следующего десятилетия. Так, можно говорить о "поколении 90-х", "поколении 00-х" и — уже — о "поколении 10-х". Почему грустная — уточним позже.

В книге, уже нареченной некоторыми «памятником литературной жизни», концептуальные статьи для удобства чтения перемежаются заметками, публиковавшимися в «Ex Libris НГ», «Библио-Глобусе», Живом Журнале автора. Все тексты снабжены датами соответствующих публикаций, многие — интернет-ссылками; в дополнение — роскошная фотографическая вкладка с изображениями основных участников описываемых событий. Книга хорошо издана — и ее приятно как

читать, так и перелистывать, обращаясь к тому или иному этапу литературной истории.

Включившая тексты разнообразных жанров — среди которых особое место занимают обзорные репортажи о литературных мероприятиях, фиксируемые Вязмитиновой на протяжении без малого двадцати лет — книга неуклонно движется к ее, литературной жизни, трансформации, пришедшейся на последние годы. Трансформации, в которой, по симптоматичному замечанию Ильи Кукулина из предисловия к книге, «оперативное предъявление и обсуждение новых текстов все больше перемещается в социальные сети — или требует новых форматов, не импровизированных обсуждений в продолжение чтения, а продуманных лекционных или семинарских занятий вне стен академических учреждений». «Импровизированные обсуждения», впрочем, никуда не делись — однако структурированные репортажи все отчетливее заменяются мимолетными обсуждениями мероприятий в социальных сетях. Недостатки таких обсуждений, разумеется, хаотичность и сиюминутная запальчивость, а также мгновенная поглощаемость бездонным Интернетом. Необходимость же в критической инвентаризации отступает перед разобщением литературного поля и пониманием чрезвычайной разнородности его участников, трудно воспринимаемых в контексте единого целого. И замечание Людмилы Вязмитиновой из открывающего книгу интервью 2012 года — «Литература — одна. Пусть сложным образом устроенная, вмещающая в себя разные составляющие, но одна» — выглядит все более спорным на фоне политизации литературы, усилившей тенденцию разобщения. «В эпоху

Людмила Вязмитинова. Тексты в периодике. 1998—2015. — Москва: ИП Елена Алексеевна Пахомова, 2016. — 780 с.

социальных сетей» — именно так называется один из вошедших в книгу обзорных текстов, что, на мой взгляд, отлично характеризует тот фон, на котором разворачивается ныне литературная жизнь Москвы. Это определение уместно и в смысле некоторой избыточности журнально-критической дискуссии по отношению к биению «фейсбучного» пульса, и как характеристика нового типа восприятия информации, в котором реципиент сближается с текстом «лицом к лицу». В целом этот заголовок точно характеризует заключительный период отраженной в книге Вязмитиновой литературной жизни.

Последний по хронологии текст, как раз и замыкающий этот период, — «Найти золотую скрепку. О московских литературных мероприятиях конца года» — в книге датирован 2016 годом. Этот аналитический репортаж, опубликованный в журнале «Литература», в некотором смысле знаменует окончание самого жанра: после него в подобном ключе ничего не написано, и альтернативы деятельности Вязмитиновой в современном литпроцессе словно бы нет. Объективные причины кризиса обозначил Александр Гаврилов в интервью «Литературе» (№ 79, 2016): «...исчезает потребитель этого самого типа обзоров. Исчезает тип такого потребителя и актора культуры, который потребляет все. Мы по старой памяти предполагаем, что есть неведомый нам персонаж, который с равным интересом ходит на чтения Всеволода Емелина, Александра Скидана, Владимира Аристову и Арс-Пегаса, но, честно говоря, представить человека, который делает это по доброй воле, а не профессиональной надобности, я не решаюсь. Можно представить себе, что где-то сидит такой человек, но, по-видимому, он один. И он нигде не сидит — он все время ходит: с одного мероприятия на другое. Зачем, бедолага, он живет такой жизнью? Прямо жалко его». Такой человек, по-видимому, есть — это Людмила Вязмитинова. И сочетание, необходимое для появления подобного «типа актора», — наличие экстравертного типа восприятия, наличие свободного времени и желания для походов на мероприятия и последующего их анализа, обладание аналитическим мышлением для попытки свести разрозненные события в единый контекст, — по-видимому, воплощено только в ней. Но любой задор способны задавить объективные обстоятельства. И если в заметке 2004 года

говорится о «группах, среди которых существует определенное эстетическое взаимосогласие», то сегодня такие определения, как «взаимосогласие», все чаще приходится заменить на «разобщение», а то и мирное «равнодушие». Прибавим к факторам, перечисленным Гавриловым, препятствия «профессиональной надобности», как то: понимание неприбыльности финансовых вложений со стороны «грантодающих» институций — и как следствие, отсутствие задора у аналитиков, действующих в условиях культурной сегментации. По ироническим замечаниям некоторых из них, «нужно зарабатывать для того, чтобы заниматься критикой». Эпитет «грустная» по отношению к книге из первого абзаца рецензии (несмотря на отсутствие в писаниях Вязмитиновой минорного настроения), думаю, уже не нуждается в пояснениях.

Первый текст, опубликованный в книге следом за предисловиями и интервью, написан о Руслане Элине (1963—2001), культуртрегере и поэте, во многом заложившем основы постсоветской «салонной» литературной жизни. Под устоявшимся определением «салонная» имеется в виду именно форма существования, позже уступившая периоду «кафе», а затем, по классификации Вязмитиновой, эпохе «библиотек и музеев». Эта «салонная» эпоха, по убеждениям Елены Пахомовой (куратора открытого Элиным совместно с ней салона «Классики XXI века» и директора Чеховской библиотеки, а также издателя соответствующей книги), была принципиально отлична вниманием к литературе различных сегментов гуманитарной интеллигенции (чего не наблюдается сейчас). Памяти Руслана Элинина — как символа и зачинателя ушедшего периода литературной жизни — посвящена книга. Два ключевых текста — аналитический репортаж 2015 года и рассказ о начале бурной деятельности Элинина и его значении в становлении эпохи 90-х — удачно образуют «кольцевую» композицию книги, знаменуя начало развития и окончание заключенного в ней большого периода.

По образу мышления Людмила Вязмитинова принадлежит к критикам филологического типа — во многом сформировавшим ту свободную литературу 90-х, наследующую неподцензурной, для анализа которой характерны восприятие текста как данности и рассмотрение внутри большого

контекста. В ситуации нового (тогда) постсоветского контекста, требующего нового осмысления, филологический метод превалирует над оценочно-критическим, а стиль (местами несколько тяжеловесный) — над художественным мышлением, характерным для традиции русской критики. Все это вызывало и вызывает нарекания у оппонентов «новых филологов», придерживающихся «традиционалистского» взгляда на критику (из последних свидетельств такого эстетического размежевания можно вспомнить едкую статью Сергея Чуприна об Илье Кукулине, впервые опубликованную в 7-м номере «Знамени», 2013). К чести Вязмитиновой, надо отметить ее внимание к различным точкам литературного пространства: начинавшая как исследователь концептуализма, во многом заложившая теоретическую базу для осмысления этого явления, — автор этой книги равно размещает на своей литературной карте и «традиционалиста» Олега Дозморова, и «авангардиста» Данилу Давыдова. Критериями отношения к поэтическому тексту для Вязмитиновой по-прежнему остается его субъективно понимаемая подлинность и «лотмановский» «сложно построенный смысл». Вязмитинова, автор первых публикаций о таких поэтах, как М. Степанова, Д. Воденников, А. Родионов, Н. Черных (условно говоря, круг «Вавилона» и впоследствии журнала «Воздух»), не примкнула ни к какой группировке, оставшись вне традиций «групповщины» и «кружковщины». Можно спорить о том, насколько метод априорного вдумчивого доброжелательства по отношению к еще не устоявшимся явлениям современности лишает критику полемизма — ее сущностного свойства. Тем не менее, уже при чтении первых, этапных статей конца 90-х чувствуется, что новое время требовало попытки прояснения современности — и поиска наиболее типических его черт. И невозможно не отметить положительную сторону этого подхода — отсутствие тона высокомерия, впервые в истории русской критики приводящее к разрушению критической субординации и ставящее критика в позицию равноправного свидетеля литературной жизни. Нередко это отсутствие дистанции было следствием сочетания разнородных позиций — критика и поэта, живого участника происходящего.

Сергей Костырко в отзыве на книгу («Новый мир», № 1, 2017) отмечает, что «проверка

временем — проверка жесткая. Похоже, выстроенный Вязмитиновой образ русской поэзии проверку эту выдержал». Тому подтверждение — не только верифицируемость имен, открываемых Вязмитиновой в 90-е (тех же Степановой, Воденникова, Черных), а ныне равно убедительных для представителей разных эстетических группировок. Свидетельство же ее критического риска — продолжение непрерывного взглядывания в меняющуюся, дискретную литературную действительность, отсутствие боязни (свойственной многим критикам) ставить на имена, еще не ставшие достаточно репрезентативными для литературного процесса. Те, на кого критик «ставила» в 90-е, как видим, таковыми стали. Станут ли представители новых поколений, когда все более сомнительным выглядит само понятие «консенсусного имени»?..

Вглядывание в специфику творческого типа поэта сочетается у Вязмитиновой с осмыслением «-измов» и течений. В такой модели филологического знания, распространяемого на современную литературу, критика предстает как особый род академического мышления. И в конечном счете, степень достоверности представленного критиком материала (цитатного и аналитического) определяется только нашим личным осознанием или неосознанием этой достоверности: ориентирование читателя, связанное с прямой оценочностью, здесь заменяется ракурсом внутритекстового и внутрилитературного рассмотрения. Проще говоря, критик в этой книге не «пасет народы», избегая резкости и однозначности суждений; исключение — статьи о поэзии Наталии Черных, написанные со сдержанной эмоцией восхищения, или рецензия на книгу прозы Леры Манович, завершающаяся экспрессивным возгласом «Ай да Манович! Ай да сукина дочь!». Подробности репортажей преподносятся здесь с хронологической и аналитической беспристрастностью, и название книги — уместное, принципиально негромкое, устранившее позицию автора и ставящее его в положение фиксатора-летописца — контрастирует с важностью содержания. Но это название характерно: текст для филолога Людмилы Вязмитиновой (в ситуации скорее с аналитическими статьями, не репортажами) — именно текст, явленный как данность, которому нужно найти место во внимательно изученной системе литературных координат, с

позиции определенного критического самоустранения. В обзорных текстах и заметках филологический тип мышления, дающий всходы на почве газетного репортажа (и подменяющий тип журналистский, как раз и необходимый для заметок о мероприятиях), порождает неоднозначный синкретический эффект жанра. Этот эффект характерен присутствием тяжеловесности там, где привычно быстрое и легкое описание события, но сам термин «аналитический репортаж» поневоле оксюморонный.

Надо сказать, что не все близко мне в «самоустраняющей» критической методологии Людмилы Вязмитиновой. Не всегда действует на пользу восприятию отсутствие полемики задора — и это при том, что автор, надо сказать, человек страстный. Тенденция подавления полемики темперамента в критике — характерная, отнюдь не являющаяся свойством самой Вязмитиновой, и честно говоря, ее психологическую природу до сих пор не удается объяснить: вероятно, негласные правила этики и определенная «поза перед критическим текстом» имеют место, однако подобный тип литературного поведения, бесспорно, куда ценнее невоздержанной брани. Как редактор убрал бы и такие общие места, как «расширяя выразительные средства и работая с метафорами разной степени сложности»: на мой взгляд, любой поэт расширяет арсенал выразительных средств, однако не в этом его цель, а степень сложности метафор и не может быть одинаковой. Или, например, слова о поэзии Олега Дозморова: «Многие стихи Дозморова моментально запоминаются, это значит, что слова в них подобраны точно, и они — о самом важном». Не оспаривая саму субъективную оценку применительно к стихам, хочется отметить несоответствие «самого важного» (для критика, для поэта или же важного

объективно?) и запоминаемости, которое есть свойство восприятия, а не объективная характеристика. Определенные «кочующие сюжеты» описаний литературных вечеров (о «непринужденной обстановке» и «теплой атмосфере») также не способствуют живости и разнообразию, однако не портят общей картины. Каким-то из мероприятий, описываемых Вязмитиновой, я сам был свидетелем; большинство из них изучаю с живым интересом, и со временем эти рассказы будут иметь все большую архивную ценность. Особое положение здесь занимает эмигрантская литературная жизнь (рассказы о ней обусловлены «двойной» жизнью автора между Россией и Америкой на протяжении многих лет).

В заключение стоит отметить, что книга вышла вне издательских серий и форматов (в рамках дискуссии, посвященной этой книге на выставке «Литературная Атлантида», отмечалось, что именно филологической ветви критического процесса в 90-е и 2000-е уделялось мало внимания, и Вязмитинова стала едва ли не первым критиком, собравшим в книгу статьи тех лет¹). Все это дополнительно ставит «Тексты в периодике» в положение одинокого памятника ушедшему литературному периоду: разношерстному, представшему теперь — впервые в истории новейшей критики — в единстве целостного осмысления.

¹ Из сборников статей, близких этой методологии, можно назвать «Контексты и мифы» Даниила Давыдова («Арт Хаус Медиа», 2010) и «Машины зашумевшего времени» Ильи Кукулина («Новое литературное обозрение», 2015). Книга Кукулина, впрочем, скорее исследование — о советском монтаже как методе неофициальной культуры, нежели сборник критических статей.

Юрий Подпоренко

Юбилей, который НЕ состоялся

Представленные на вклейке работы художников стран Балтии должны были экспонироваться на XX Московском международном художественном салоне «ЦДХ-2017». Но, увы, в силу целого ряда важных, но нетворческих обстоятельств этот Салон, который должен был стать юбилейным, не состоялся. А ведь его подготовка была практически завершена, и был подготовлен к сдаче в печать каталог Салона, в котором участвовали и работы, предоставленные Союзами художников Латвии, Литвы и Эстонии.

Стоит заметить, что Союзы художников этих стран, хотя и не являлись членами Международной конфедерации Союзов художников, на протяжении пятнадцати лет были неперенными участниками салонов и только в последние годы в силу политических обстоятельств не привозили свои работы в Москву. Тем более досадно, что в этом году художники стран Балтии были готовы участвовать, но теперь уже наши внутренние обстоятельства им этого не позволили.

В Западной Европе объединение художников в национальные Союзы не распространено, однако в странах Балтии Союзы художников, будучи рудиментом советского устройства, сохранились и успешно ведут свою деятельность.

Но дело, конечно, не в этих, довольно формальных принципах объединения, а в том, что прибалтийские художники не отказываются решительно от фигуративного искусства и традиций реализма, а смело экспериментируют с формой, создавая произведения, вступающие в диалог со зрителем, провоцируя с его стороны соучастие, сотворчество. И такой активной творческой позицией вызывают, как правило, значительный зрительский интерес.

Так, *Рихардс Делверс* (род. 1968), окончивший в 1995 году Латвийскую академию художеств, активно экспонирует свои работы, став участником более 60 выставок в своей стране и во многих странах мира. Назвав одну из пейзажных работ «Nature morte», он как бы сдирает с этих латинских слов приставшее к ним жанровое определение натюрморта и возвращает им первоначальное значение — «мертвая природа». И пейзаж с таким названием обретает иное звучание.

Молодой живописец *Отто Зитманис* (род. 1980), стремительно обретший известность, работает в стилистике условного фантастического реализма, где сквозь буйство красок и экспрессию проступают ирония и едкий сарказм, как в его полотне «Скоро будешь свободным».

Сигита Даугуле (род. 1971) выплескивает на свои холсты причудливый и многогранный Космос, вмещающий в себя и прочитанные ею книги классиков мировой литературы, и воссозданные внутренним видением художника сюжеты. Ее работы обращены к образованному зрителю, готовому к внутренней работе, необходимой для того, чтобы сопоставить, скажем, собственные представления о

Прусте с тем образом, который проступает сквозь сумрачный хаос на полотне «Поиск потерянного времени».

Оригинальные поиски образных решений ведут и художники Литвы.

Рамунас Грикявичус (род. 1964) из Паневежиса, член Союза художников Литовской Республики с 1997 года, нащупывает своим внутренним взором необычное во вроде бы привычном и банальном окружающем мире. Он делает «героями» своих полотен то ступени старой лестницы («Лестница Grigas»), то линию горизонта, перекрытую стеной («Horizon Line»), а то и лампочку-временку, кое-как подвешенную под потолком («Искусственный свет»). Такая авторская дегероизация побуждает зрителя смотреть вокруг себя другими глазами.

Кристина Алишаускайте (род. 1984), участница многочисленных выставок, в том числе и ярмарки «Арт-Москва в Центральном Доме Художника», в своих портретных работах то эпатирует зрителя акцентом на вроде бы незначительной детали («Черные тени для век»), то дает безбрежный простор для зрительских домыслов, оставляя пустым овал лица («Кто ты?»).

Представитель старшего поколения литовских художников *Вигантас Паукиште* (род. 1957) создает свои фантасмагорические образы в стилистике психоделического хоррора, вызывая фигурами-призраками и контрастными красками чувство ирреальности происходящего («Свет»).

Самобытными творческими поисками пропитаны и работы эстонских живописцев.

Марию Сидляевич (род. 1982) интересует создание лаконичных визуальных образов, она смело экспериментирует в техниках живописи и графики, находит порой парадоксальные композиционные решения («Маман»). В 2014 году она закончила Эстонскую Художественную Академию, с 2015 года является председателем Союза Живописцев Эстонии.

Манера *Эйнара Вене* (род. 1952) хорошо знакома эстонскому зрителю и легко узнаваема. В картинах Вене можно встретить как христианскую символику («Скрипка без струн»), так и мифологию разных культур и народов. Его полотна наполнены философскими аллюзиями, сказочными реалиями, в которых обитают герои, своим обликом напоминающие персонажей искусства эпохи Кватроченто. Также в некоторых работах можно встретить и прямые цитаты из таких классиков эпохи Возрождения, как братья ван Эйк, Иероним Босх или Питер Брейгель.



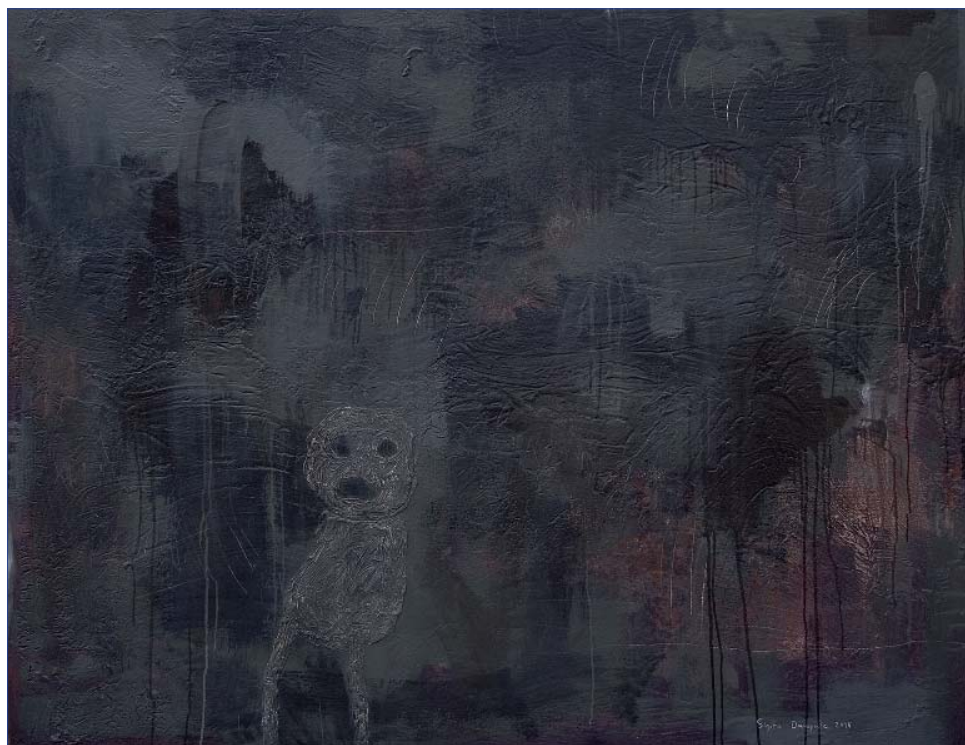
Рихардс Делверс (Латвия)

NATURE MORTE, 2016

холст, масло



Отто Зитманис (Латвия)
СКОРО БУДЕШЬ СВОБОДНЫМ, 2015
холст, акрил



Сигита Даугуле (Латвия)
ПОИСК ПОТЕРЯННОГО ВРЕМЕНИ, 2015
холст, масло



Рамунас Грикявичус (Литва)
ИСКУССТВЕННЫЙ СВЕТ, 2008
холст, масло



Кристина Алишаускайте (Литва)

КТО ТЫ, 2015

холст, масло



Вигантас Паукште (Литва)

СВЕТ, 2016.
холст, масло



Эйнар Вене (Эстония)
СКРИПКА БЕЗ СТРУН, 2008
холст, масло



Мария Сидляревич (Эстония)

МАМАН, 2016

холст, масло, чернгильная ручка, коллаж

Миг безвременья

Рубрику ведет Лев Аннинский

...По хулиганке, а на самом деле — по политике...

Арслан Хасавов

Выворот политики в хулиганство соотнесен у Арслана Хасавова с достижением одного из его героев (отсидел полтора года в Бутырке, формально — за хулиганство, а на самом деле — «по политике»), но выворот этот вполне можно отнести и к главному герою его романа, и к повествователю, от имени которого излагаются события, и вообще ко всему молодому постсоветскому поколению, которое рванулось исправить этот мир, опираясь на великие принципы, а влетело — в «пустоту безвременья».

То есть: в нашу нынешнюю современность.

Хасавов — исповедник этого нынешнего поколения тридцатилетних, именно поколения как целого, без социальных, национальных или прочих биографических уточнений.

Иногда он с любовью вспоминает свое ашхабадское детство¹. Но не мыслит о себе как о туркменском писателе. Только как русский! Пишет — по-русски. И мыслит — как россиянин.

Приехав с юга в Петербург, не выказывает никакой среднеазиатской своеобразности, а сразу и безоговорочно отдает сердце великому городу на Неве.

«Смотрит сквозь широкие окна на залитый солнцем проспект»...

«Влюбляется с северную Пальмиру, ставшую едва ли не чудом»...

«Он в Петербурге, ура!»

А в Москве?

И в Москве!

Под жадным московским солнцем «все сливается в подвижный калейдоскоп, в котором каждый может найти что-то для себя».

Выйдя на площадь, герой Хасавова находит для себя следующий вариант самоутверждения:

«Площадь превратилась в ад — здесь и сейчас происходило то, что передергивало затвор истории. Чем все это могло кончиться, вряд ли было известно даже Господу Богу.

— В атаку! — крикнул Артур и, движимый внутренним подъемом, достал из внутреннего кармана лимонку, вырвал чеку и бросил в сторону военных. Служащих разбросало в разные стороны, некоторые тут же застыли без движения, другие продолжали шумно стонать, держась за окровавленные конечности или то, что от них осталось».

Ради чего это уличное неистовство? Ради справедливости?! Конечно. Что дальше? Дальше — пламя лимонки выжигает из души все, что диктовало ей образ действий.

¹ См. эссе Арслана Хасавова «Здесь и сейчас» в рубрике «Моя малая Родина» этого номера.

«Все проблемы мира отступили на шаг — вечно голодающие дети Африки, нестабильность на Ближнем Востоке, покушения и заказные убийства, будет ли наконец захоронен Ленин, — все разом потеряло значение. Верховный главнокомандующий, нервно заламывая руки, отдавал из-за красной стены один приказ жестче другого — пленных можно было не брать.

Молодые мужчины, женщины, старики, подростки, городские сумасшедшие — все смешалось, и распутать этот гордиев узел мог разве что решительный удар меча Александра Македонского».

Александр Македонский не успевает распутать этот гордиев узел, ибо узел на глазах закручивается в совершенно невообразимую удушающую петлю: герой романа чувствует, что он утрачивает изначальную веру.

Какую веру? Можно сказать: советскую, а можно заглянуть и поглубже: православно-христианскую.

А обретает — что? Могли бы тут взять реванш и католичество, и протестантизм, или что-нибудь экзотически восточное, вроде даосизма или конфуцианства, а то и японское...

Но у Хасавова все проще и страшнее: «исламская волна»...

Переменил веру отец героя, коммунист старой закалки. Краснозвездную буденновку выбросил, надел темно-зеленую кепку «цвета религии, защитником которой стал скорее поневоле, чем осознанно».

Последнее уточнение неслучайно: всех несет рок событий. Миг безвременья выворачивает мозги всем без разбора, так кто где окажется — не угадать.

От отечественных разборок отец героя спасается, сбежав из России.

Герой опустошен: «Мне больше нечего предложить миру. Нечего».

«Нескончаемый ад папиного уголовного дела» стирает грань между политикой и уголовщиной. Исчезает базисная ориентация — изначальная вера.

Душа замирает.

«Бывший некогда идейным борцом и даже неоднократно задерживавшийся за участие в несанкционированных митингах — теперь он осознал, что главная сила — власть и деньги, а правда, если она вообще существует, плетется где-то в конце, да еще и понуриив косматую голову, стыдливо переставляя ноги».

С этого поворота герой романа, бывший для повествователя образцом для подражания, становится предателем, которого он, повествователь, готов избить до смерти.

Сам герой пытается найти себе место в денежно-рыночной реальности.

«Вот он здесь — среди тысяч москвичей и, как принято говорить, гостей столицы, но в скоплении людей чувство одиночества отчего-то многократно усиливается... Чего-то ему все-таки не хватает...»

Не хватает — веры. А без веры все теряет смысл. Идти некуда.

«Где он должен быть на самом деле? Искать правду в конфликте в Сирии или, может, в соседней Украине, а то и вовсе в постоянно пульсирующем родном Кавказе? Вечная неудовлетворенность моментом и своим местом в событиях были в последние годы определяющими характеристиками его существования. Слова «обстоятельства», «ответственность» и «необходимость», кажется, проносились в его крови, с жутким грохотом притормаживая в районе висков. Все это, безусловно, вызывало чувство глубокой неудовлетворенности, ощущения упущенных или снова и снова упускаемых возможностей. Сама жизнь при таких условиях казалась тюремной камерой, из-за решеток которой все виделось каким-то безумным и бессмысленным спектаклем...»

Камера — та самая...

А сейчас возникнет словцо, которое, замаячив между политикой и хулиганством, придаст тексту современный окрас:

«...Тысячи возможных геолокаций (вот оно! — Л.А.)... сотни сценариев, в которых

Артур отчего-то всегда играл исключительно второстепенные роли, угнетали его. Работа за мелкий прайс, называемый средней зарплатой, казалась глупой тратой времени, а достойных задач, где он мог бы приложить максимум своих усилий, все никак не находилось. Все казалось бредом сумасшедшего, которым, судя по всему, окружающая реальность в той или иной мере и была».

Юмора хватает как раз на то, чтобы подкожный жир, выросший от сидячего образа жизни, назвать «поясом шахида».

Хочется «склеить распавшийся мир»?

Не склеивается.

«Что делать? Как быть? К чему все это?»

Нет ответов.

Герой, забыв о «буйном духе», некогда его расправлявшем, отворачивается, «будто его и не было никогда».

Герой «растворяется в толпе». Финал!

В финале рассказчику хочется «достать револьвер и, запрыгнув на стол, выстрелить в потолок, так, чтобы штукатурка осыпалась на холеные головы собравшихся, а чувство собственной значимости сменилось животным паническим страхом».

Герою ничего не хочется. Он ни во что не верит и ничего не ждет.

Роман Арслана Хасавова — горькая исповедь поколения, которое, попав на миг безвременья, теряет веру и утрачивает смысл существования.

Какая это вера? По существу религиозная, даже если она вывернута в атеизм. Эти вывороты еще можно осознать. Но когда осознавать нечего и выворачивать не во что, — исчезает сама база духовной веры...

Вот так: силы не истрачены, а приложить их некуда. Смысла нет ни в душе, ни рядом...

Нет? Или все-таки есть?

Есть.

Где?!

Да рядом же!

Надо только, чтобы читатель, добравшийся до конца романа Хасавова, пролистнул еще пять страничек и в той же июньской книжке журнала «Нева» обнаружил еще один роман — «Теодицею». Принадлежащий перу Игоря Шумейко.

Того самого Игоря Шумейко, который несколько лет назад вошел в центр внимания историков книгой «Вторая Мировая. Перегрузка», где расставлял по местам застрельщиков и закоперщиков Второй мировой войны.

Теперь, приглашая читателей «продолжить путь по религиозному лабиринту», он, Шумейко, чает объединить «консультантов» по всем церквам, сектам, исповеданиям: и тем самым всем вернуть веру.

«Зейдиты, друзья, езиды, алавиты, исмаилиты, мормоны, сикхи, джайнисты синтоисты...»

Главное, никого не забыть.

«И чтобы все миллиарды землян, кроме разве каких дикарей, джунглевых счастливицев, так и не узнавших о начавшейся, но замершей в дебюте Атомной войны, все дружно молились бы о спасении. Разноязыко, разноречиво, равноусердно».

В этом равноусердном сожитии все умственно-справедливо и даже теоретически перспективно. Вернуть базисную веру! Всем!

Но как это сожитие воскрешенных вер преобразится в умах и душах конкретных участников? И в частности в России, где от веку мировая всеотзывчивость выворачивалась в бунт, бессмысленный и беспощадный?

Лучше не предугадывать?

А то, глядишь, исторический миг безвременья опять обернется веком, полным боли.

Summary

Asya UMAROVA. Come Free

The protagonists of A. Umarova's long short story — the 22-year-old Chechen Malica and the young American Kat — left their homes each by her own reasons. They are quite different but have one thing in common: they were suffocating among the compatriots, they were not like them. This long short story is about the search of oneself. Their youth is confused, poor and homeless, but after all however lucky their lives have developed they always remember the blessed "Italian courtyard" at the outskirts of Tbilisi.

Valerij BILINSKIJ. Night with an Idiot

The writer's mission is to "explore the life". V. Bilinskij in his series of short stories is reflecting on what the death is. He is plunging into metaphysical abysses of his childhood memoirs, intricate dreams and phantasmagoric stories, though the answer is known to him in advance: there is no death.

Vasilij AVCHENCO. Cylindrical Beet

The sarcastic author seems to depict the most mediocre everyday life — the dreary days of a provincial "smishnik" (reporter on flash-mobs) on the eve of the deputies' elections. Funny. Bitter. Sad.

Anatoliy GAVRILOV, Pavel ELOKHIN. Notes of a Freelancer

The world gone to the pieces of advertising slogans, news with the creeping line, routine emotions and expected moves is presented in this story either as reflection of the clip-consciousness or as the obsessive delirium of a person who had suffered a traumatic brain injury.

Natalia KLUCHAREVA. Short Stories

To achieve harmony with themselves and the world the young protagonists of these short stories are capable to make friends with a heaven star and to write letters to the poet Nickolay Gumilev.

Poetry

The mature philosophical poems of the peterburger Elena Elagina, our regular author, neighbour with the lyrical monologues of Olga Zlotnikova (Minsk) and uninhibited verses of Mikhail Florya (Kishinev) — the debutants of "DN". Supporting the translation traditions we present under the heading "Minskaya initsiativa" (Minsk Initiative) one poem by the famous Belorussian poet Mikhas Streltsov in original and in translations to Russian and Ukraine made by contemporary poets.

Andrey STOLYAROV. War of the Worlds

The author analyses History of Islam and suggests some answers to the question: why the West has become the enemy number one for the Islamic world nowadays?

In the critical section Olga GERTMAN and Zaza ABZIANIDZE analyse the last novels by one of the major Georgian prosaists of the XX century Otar Chiladze "Avelum" and "Godory" as well as their translations into Russian.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

дружбанародов.com

и на сайте **vipishi.ru**

**[http://vipishi.ru/internet-catalog-podpiski/item/inet/330/32/35335/
druzhba-narodov/](http://vipishi.ru/internet-catalog-podpiski/item/inet/330/32/35335/druzhba-narodov/)**

Верстка Елены ЖИРНОВОЙ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

«ДН» — 2017

Романы, повести:

Севак АРАМАЗД. Гора солнца. *Роман. С армянского*

Владимир БЕРЕЗИН. Расцвет жизненных сил. *Главы из новой книги*

Игорь БУЛКАТЫ. Цорион. *Повесть*

Керен КЛИМОВСКИ. Дорога. Скорость. Высоцкий. *Повесть*

Александр МЕЛИХОВ. Вестники. *Повесть*

Владимир ЛИДСКИЙ. Эскимосско-чукчанская война. *Повесть*

Юрий ОКЛЯНСКИЙ. Зять владыки. *Документальная повесть об Алексее Аджубее*

Юрий СЕРЕБРЯНСКИЙ. Новая повесть

Теймураз ТВАЛТВАДЗЕ. Небесная Call of Duty. *Повесть*

Булат ХАНОВ. Восточное направление. *Повесть*

Левон ХЕЧОЯН. Чёрная книга, тяжёлый жук. *Роман. С армянского*

Отар ЧХЕИДЗЕ. Артистический переворот. *Роман. С грузинского*

Владимир ШПАКОВ. Формула Атлантиды. *Роман*

Архив:

Лев АННИНСКИЙ — Игорь ДЕДКОВ. Из переписки 1973–1987 гг.

Ольга КЛЮКИНА. Муравей на мониторе. *Как мы жили*

с Инной Львовной ЛИСНЯНСКОЙ летом на даче

Новые сочинения: Василия АВЧЕНКО, Ольги БРЕЙНИНГЕР, Алисы ГАНИЕВОЙ, Валерия БЫЛИНСКОГО, Андрея ВОЛОСА, Эльчина ГУСЕЙНБЕЙЛИ, Елены ДОЛГОПЯТ, Натальи КЛЮЧАРЁВОЙ, Алексея КОЛОБРОДОВА, Ильи КОЧЕРГИНА, Фариды НАГИМА, Владимира НЕКЛЯЕВА, Ульи НОВЫ, Дмитрия НОВИКОВА, Светланы ПЕТРОВОЙ, Мариам ПЕТРОСЯН, Романа СЕНЧИНА, Александра СНЕГИРЁВА, Владимира ТОРЧИЛИНА, Макса ФРАЯ, Александра ХУРГИНА, Дмитрия ШЕВАРОВА, Евгения ШКЛОВСКОГО

Новые имена: участники Форума в Липках, Волошинского фестиваля, фестиваля «Литературный ковчег» и наши собственные открытия

Новые стихи и переводы: Шамшада АБДУЛЛАЕВА, Сухбата АФЛАТУНИ, Ефима БЕРШИНА, Германа ВЛАСОВА, Андрея ГРИЦМАНА, Алексея ИВАНТЕРА, Игоря ИРТЕНЬЕВА, Александра КАБАНОВА, Инны КАБЫШ, Бахыта КЕНЖЕЕВА, Григория КРУЖКОВА, Марины КУДИМОВОЙ, Инги КУЗНЕЦОВОЙ, Виктора КУЛЛЭ, Станислава ЛИВИНСКОГО, Вадима МУРАТХАНОВА, Олеси НИКОЛАЕВОЙ, Александра ОРЛОВА, Натальи ПОЛЯКОВОЙ, Геннадия РУСАКОВА, Юрия РЯШЕНЦЕВА, Анны САЕД-ШАХ, Владимира САЛИМОНА, Ильи ФАЛИКОВА, Олега ХЛЕБНИКОВА, Вячеслава ШАПОВАЛОВА, Санджара ЯНЫШЕВА и других авторов

Следите за рубриками:

«ДРУЖБА НА ВЫРОСТ»

«ПЕРВЫЕ СТИХИ» *Сергея НАДЕЕВА*

«БИБЛИОНАВТИКА» *Ольги БАЛЛА*

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР» *Евгения АБДУЛЛАЕВА*